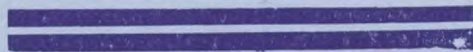


ISSN 0130-7673

НОВОЫЙ  
МИР

7



1989

Н  
М

Н  
М  
И  
Н  
О  
В  
Ы  
Й  
М  
И  
Р

1989



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 7

Июль, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАЛЕРИЯ АЛФЕЕВА — Джвари, повесть	3
БОРИС ЧИЧИБАВИН — Мой лес вечерний, стихи	83
ЛЕОНИД ГАБЫШЕВ — Одян, или Воздух свободы. Окончание	85
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — Превращения, стихи	134
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Нобелевская лекция. Предисловие С. Зальгина	135
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — Объяснительная записка, стихи	145

### ПУБЛИЦИСТИКА

И. ШАФАРЕВИЧ — Две дороги — к одному обрыву	147
А. МИГРАНЯН — Долгий путь к европейскому дому	166
С. С. АВЕРИНЦЕВ — «Но ты, священная свобода...». Отзвуки Великой французской революции в русской культуре	185

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*Из истории русской общественной мысли*

В. В. РОЗАНОВ — Русский Нил. Подготовка текста, вступительная статья и комментарий Виктора Сукача. Мариэтта Чудакова — Плывущий корабль	188
«РАЗГОВОР НАШ МНЕ ОЧЕНЬ ПАМЯТЕН...». Неопубликованные письма Л. Н. Толстого. Публикация и комментарии Е. Меламеда	236

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. КОРЖАВИН — Анна Ахматова и «серебряный век»	240
--	-----

(См на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	262
Александр Архангельский. Строгость и ясность. Евг. Иванова. О слепых поводырях...	
<i>Политика и наука</i>	267
Р. Музафаров, Г. Федоров. Рассчитано на неведение.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Л. Б у с у е к.— Мария Белкина. Скрещение судеб. ✦	
И. П и т л я р.— Тамара Хмельницкая. В глубь характера. О психоло- гизме в современной советской прозе	270
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

---

---

ВАЛЕРИЯ АЛФЕЕВА

\*

## ДЖВАРИ

Повесть

ПОСВЯЩАЮ СЫНУ.

Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный,  
и одежды не имам да вниду в оны. Просвети  
одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.

*Экзапостиларий Страстного Четверга.*

Отец Давид вел нас в монастырь. Мы долго ехали на машине, а когда дорога кончилась, пошли через зеленый луг к лесу. За ним синели дальние горы. Июльское утро тихо наливалось солнечным светом и зноем.

Рыжебородый, в джинсах и клетчатой рубашке, с тяжелым рюкзаком, отец Давид неспешно шел по траве между мной и моим сыном и рассказывал, как сам был послушником в Джвари.

— Жена говорит: «Ты что же, хочешь уйти в монастырь?» Я говорю: «Как не хотеть... Конечно, хочу». «Можешь уходить, я тебя не держу».

Он бросил жену и троих детей, стал послушником. Тогда и увидел, как бесы выгоняют монахов в мир. Его все время мучали мысли о семье. По ночам просыпался от страха: казалось, что-то случилось и надо ехать домой, пока не поздно. Вместе с игуменом они и отправились на переговоры.

— Отец Михаил говорит Тамаре, моей жене: «Давид будет хорошим монахом. А как ты одна вырастишь троих детей? Может, ты сторяча его отпустила?» У нас в грузинской церкви такой порядок: женатого человека могут принять в монастырь, только если жена не против. Конечно, она отпустила меня сторяча, от обиды. Да и я не должен был их оставлять: старшему сыну было только четыре года.

— Больше не хотите в монастырь?

— В монастырь я всегда хочу. Но придется подождать лет десять — пятнадцать, пока дети вырастут.

С тех пор он впервые решил посетить Джвари, уже священником.

Дорога ведет через зеленый тоннель из старых вязов. Когда-то по ней шли арбы из монастыря и лежащих вокруг селений. Она давно заброшена и устлана отсыревшей прошлогодней листвой.

Потом кончается и эта дорога, дальше сухие тропинки разбредаются в перегретом лесу, поднимаются к перевалу.

Часа через полтора выходим на узкую седловину, переброшенную, как мост, между двумя ущельями.

Справа ущелье раскрыто широко и тянется до горизонта. В глубине под нами черной точкой кружится коршун, обозначив высоту птичьего полета. Еще глубже сверкающей и будто неподвижной лентой вьется речка, разделяя поросшие лесом склоны.

Слева ущелье узкое, сплошь заросшее. На противоположном его хребте стоят два тополя, похожие на заячьи уши, под ними поляна с одиноким хутором и стогами.

Отец Давид говорит, что тополя так и называются — «заячьи уши». А вокруг далеко нет жилья и такие глухие леса, что очень просто уйти и не вернуться. Год назад ушел из монастыря пожилой реставратор и двадцать дней блуждал по горам, не встретив ни жилья, ни дороги, — его нашли через день после смерти. В другой раз дьякон, совсем молодой, шел в Джвари и сорвался с этой седловины.

Митя стоит на валуне над обрывом и смотрит вниз — тоненький мальчик с выгоревшими волосами под чистой небесной голубизной.

— Жалко... — говорит он, — даже священником не успел стать.

Отец Давид поднял голову.

— Ты думаешь, если священником стал, можно и умирать?

Он прислонился рюкзаком к стволу. Крупные капли пота проливаются по лбу ручейками: его рюкзак мы вместе набивали кругами свежего хлеба, сахаром, чаем, крупами, пакетами мясного супа для монастырских собак.

Пока мы отдыхаем, он рассказывает, как двенадцать лет назад увидел Джвари впервые. Шли с другом весь день, заблудились, устали и уже не надеялись найти монастырь, когда вышли на седловину. Она показалась опасно узкой. Друг пошел один посмотреть, что за ней. Потом позвал.

— Был сентябрь... В ущельях уже темнело. А над монастырем солнце садится, и лес вокруг желтый, красный, зеленый. Крыша на храме была ржавая, тоже показалась золотой на закате...

Когда он умолкает, лицо кажется закрытым, пока не озарится изнутри внимательным взглядом. А сейчас в глазах его как будто еще стоят отсветы того заката.

— Я попрошу о вас, Вероника... Но думаю, что это не поможет. Вы — исключение уже потому, что придете со мной. Игумен никому не разрешает приводить женщин. Он свою мать принимает только на двадцать минут. Что это был бы за монастырь, если бы туда ходили матери, сестры, подруги?

Я знаю. Но иду в Джвари с этой надеждой: остаться там хоть на несколько дней.

Так уже случилось со мной и раньше: вся жизнь сходилась к одному почти неисполнимому желанию. Но казалось, если оно не исполнится — жизнь не состоится.

Отец Давид шел впереди по крутому склону. Потом остановился, впервые за всю дорогу снял рюкзак. И, глядя вниз, в просвет между деревьями, перекрестился.

Мы тоже вышли на обрыв рядом с ним. И оказались словно на краю чаши, замкнувшей светлый горный простор. Над ним стояла прозрачная синева с летучими облачками. Горы нисходили к середине чаши зелеными склонами, уступами, желтыми обрывами. И там, в центральной точке видимого мира, над зеленью поляны стоял древний светлый храм с высоким барабаном и пирамидальным куполом. Храм завершал собой этот наполненный зноем, солнцем и тишиной простор, был его осмыслением, светящейся сердцевиной.

— Если крикнуть отсюда, там услышат... — И отец Давид приложил ладони ко рту. — Мамао<sup>1</sup> Микаэл! Мамао Ми-ка-эл!

Стозвалось только дальнее эхо.

Тропинки вливались в узкие ложа давно пересохших ручьев. В пору таяния снегов они несутся здесь, прорывая каменистую породу, оставляя в ней ступенчатые изломы. А теперь мы спускаемся по ним, хватаясь за обнаженные корневища, опираясь на оба берега сразу.

<sup>1</sup> Отец (груз.).

У чистой речки, мелко разлившейся по дну ущелья, мы сделали последний привал и умылись. Оставался подъем на противоположный склон.

Ворота были закрыты. Мы поднялись вдоль стены, вошли в калитку и оказались возле открытой террасы второго этажа старого дома. Оттуда по каменной лесенке спустились вниз.

Отец Давид на несколько мгновений опередил нас, и мы не видели, как они встретились.

А когда мы вошли, трое мужчин в черных монашеских одеждах стояли, только что поднявшись из-за стола. Трапезная показалась полутемной после ярчайшего дня. Ближе всех ко мне стоял высокий худой монах в вязаном жилете и шапочке-колпачке, сдвинутой чуть набок, похожей на лыжную. Он доброжелательно улыбался, и близко посаженные глаза рассматривали меня с живым интересом.

Я молча поклонилась и подошла под благословение.

Он благословил, но не протянул для поцелуя руку, как обычно, а только слегка коснулся ладонью моей головы. И так же благословил сына.

Сели за стол. Игумен во главе его, отец Давид рядом. Напротив меня — монах с угольно-черными глазами и густой бородой, назвавшийся иеродиаконом Венедиктом. Только невысокий послушник, тоже черноглазый и чернобородый, в скуфье, в подряснике, подпоясанном ремнем, остался стоять.

Дощатый стол и две деревянные скамьи с потемневшими прямыми спинками занимали почти всю трапезную. Глиняное блюдо с крупно разломленным лавашем стояло посередине, между блюдами с помидорами, огурцами, зеленью. В открытой банке варенья гудела оса.

Отец Давид произнес несколько фраз по-грузински. Игумен чуть приподнял брови и склонил голову, глядя на меня так же открыто, доброжелательно, но и слегка насмешливо.

— Писатель...— будто переводя смысл сказанного, повторил он.— Это хорошо. Сможете разделить с другими то, что обрели сами...

Слова он находил осторожно, подбирая верную интонацию.

— К сожалению, мне нечего разделить.— Я не ответила на его улыбку от волнения и оттого, что слишком важный сразу начался разговор.— Я только разрешила все вопросы, отделявшие меня от веры, и увидела, что могу обрести. Но еще ничего не обрела.

Послушник поднял большую кастрюлю и понес ее подогревать.

— Благодарите Бога, что увидели. Сколько сейчас людей имеют глаза — и не видят, имеют уши — и не слышат...

— И не обратятся, чтобы Он исцелил их...— продолжила я близко к тексту из пророка Исаяи.— Но понять это — прийти к порогу. А дальше и должно быть обращение, исцеление. Что толку, если я знаю, что надо любить людей, но не умею любить их? Или понимаю, что молитва — общение с Богом, сердцевина жизни, а не имею навыка молитвы.

— Надо благодарить Бога и радоваться,— спокойно повторил отец Михаил.— Нельзя быть всегда голодным. С вами и так произошло чудо...

— Да, чудо...— уже горячо отозвалась я.— Так мы и живем последний год — радуемся о Боге и благодарим.

— И сын разделяет... эти настроения?

— Разделяет...— серьезно и с некоторой поспешностью ответил сын.

Все засмеялись.

Послушник поставил перед нами кастрюлю и чистые миски.

— Суп опять остынет...— Отец Михаил поднялся.— И извините нас, у монахов не принято сидеть за столом с женщинами — трапеза тоже имеет мистический смысл. Пообедайте, потом мы еще пого-

ворим. А изменяться придется — куда вы теперь денетесь? Покоя не будет, надо начинать жизнь заново.

— Поэтому мы и пришли к вам.

Он остановился в дверях, касаясь притолоки верхом шапки, помолчал, посмотрел внимательно на нас обоих, улыбнулся и вышел.

Отец Давид по-грузински прочел «Отче наш»:

— Мамао чвено...

Это были первые слова, которые я запомнила на грузинском языке.

Я разлила суп в миски, сначала отцу Давиду, потом нам. В зеленоватой водице плавали стручки фасоли, кусочки картошки и моркови.

— Это Арчил, послушник, суп варил, — пояснил отец Давид по-ощрительно, когда все вышли.

— Ничего, пища благословенная, — ответил Митя.

Зато очень вкусен был лаваш с зеленью, ломтиками помидоров и огурцов. Арчил принес и открыл банку сгущенки. И после ухода отца Давида мы еще пили чай, утоляя долгую жажду и отдыхая от жары.

Свет падал через дверной проем и зарешеченное окно, выходящее в заросший травой монастырский двор. Мы огляделись. В углу застекленный шкафчик с продуктами, напротив двери — тумбочка и узкая койка. У стены сложены матрацы и одеяла, прикрытые сверху, очевидно, приготовленные для будущих насельников монастыря. Три маленькие иконки над столом, литография с ликом Казанской Богоматери. Подсвечники на две свечи с оплывшим воском. Большие глиняные кувшины. Все просто, строго и будто уже знакомо.

Мы вышли в тень под навесом террасы, опирающейся на столбы. За чертой тени в высокой траве, как полупрозрачные светильники, нанизанные на стебель, горели желтые цветы мальвы.

Джвари был огромен. Изломы крыши, сверкающей новым листовым железом, возносились над сосной, а купол плыл в облаках.

Изнутри храм был сплошь в лесах. Под ними, в отделенной от алтаря части с жертвенником, Митя увидел фисгармонию. Открыл крышку, и сильные звуки отозвались под куполом.

— Фисгармония может стоять сто лет и не расстроиться... — Он сел спиной к жертвеннику и с удовольствием принялся импровизировать.

Я устроилась на досках рядом.

Полоса света падала через оконный проем, проявляя часть фрески.

Подошел иеродиакон Венедикт и молча опустился на корточки у стены рядом с фисгармонией. Так он и сидел неподвижно, расставив согнутые в коленях ноги, облокотившись на колени и сплетя пальцы. Смотрел он слегка исподлобья, и темный взгляд был словно сосредоточен на чем-то, не относящемся к нам. Сильно лысеющая со лба голова, вмятина посередине переносицы, как будто перебитой, черные, крупно вьющиеся волосы и мелко вьющаяся черная борода — в этом лице была характерность и выразительность, но выражение его не было мне понятно. Одет он был в выгоревшую вельветовую рясу, когда-то синюю или фиолетовую, но давно потерявшую цвет, а из-под ворота рясы торчали тесемки нижней рубахи. И сапоги задубели, потрескались, порыжели.

— А ты можешь сыграть, что будут петь на панихиде по мне? — спросил он вдруг.

— Нет...

— Ты еще в похоронах не понимаешь... Сколько тебе лет?

— Скоро будет шестнадцать.

Отец Венедикт неопределенно покачал головой, как будто ожидал от него большего. Так они переговаривались в паузах, потом Ми-

тя увлекся — он мог играть часами. Некоторое время спустя я обернулась и обнаружила, что игумен тоже сидит на нижней перекладине лесов и слушает, подперев кулаком щеку, а отец Давид стоит рядом. И Митя заметил их.

— Ты играй, не отвлекайся, — сказал игумен.

Но все, конечно, сразу отвлеклись.

Вместе стояли под лесами и слушали отца Михаила. Он говорил, что храм построен еще при царице Тамаре, в двенадцатом веке. Один царедворец, знатный князь Орбелиани, участвовал в заговоре против нее. Заговор раскрыли, князя насильно постригли в монахи и выслали сюда. Вера в те давние времена была твердая, и князь, хотя дал обеты не по своей воле, считал, что перед Богом обязан их исполнить. Джвари он строил для себя, и это был один из самых богатых монастырей.

— А теперь, если хотите, я покажу вам его келью.

Мы прошли вдоль стены храма к пристройке. Венедикт принес ключи, открыл тяжелую дверь. Отвалил настил из сколоченных досок, как крышку люка. Под ним обнаружился спуск в подвал. Мы сошли по перекладинам и оказались почти в полной темноте. Игумен зажег три свечи. В зыбком свете, отбрасывающем наши бесформенные тени, обозначился провал в стене.

— Наклоните головы и войдите. Не пугайтесь, там сложено то, что осталось от прежних монахов.

Дневной свет совсем не проникал в этот земляной мешок. Митя обвел свечой низкий потолок, дощатый барьер вдоль стены...

Несколько черепов лежало за барьером. Под ними тускло белела груда костей.

— Скоро и мы будем так выглядеть... — мрачно пообещал Венедикт, должно быть, склонный к гробовому юмору. — Надо почаще сюда заходить, чтобы не забываться. А мне лучше вообще остаться здесь.

— Это и есть княжеская келья? — уточнил Митя.

— Это монашеская келья... — ответил игумен. — Такие кельи и нужны монахам, чтобы спрятаться от мира... А ты, Димитрий, хотел бы здесь поселиться?

— Хотел бы... — нерешительно сказал Митя.

— Это плохо. Значит, ты гордый. Такой подвиг нам не по силам. — Лицо игумена в перемежающихся отсветах и тенях мне показалось грустным. — Надо бы отслужить здесь панихиду...

Мы выбрались на свет, вернулись в храм. За лесами невозможно было рассмотреть росписи. Только круглолицая царица Тамара со сросшимися бровями, в короне, ктитор<sup>2</sup> с макетом храма в руке и сын царицы занимали свободную стену. Странно было представить, что восемь веков назад здесь же стоял опальный князь. Как видел он это лицо царицы? С гневом? С молитвой о ненавидящих и обидевших нас? Или примиренно, с благодарностью за то, что через царскую немилость Бог проявил свою высшую волю о нем, некогда гордом князе, расточавшем дни в заговорах, пирах и охотах?

Игумен рассказывает, что в краски тогда подмешивали минералы и толченые драгоценные камни, поэтому фрески сохранились почти тысячу лет и не потеряли глубины цвета. Реставраторы только укрепляют росписи, чтобы не осыпались. Они работали прошлым летом и должны приехать дня через два-три.

Мы переглянулись с отцом Давидом. Когда мы собирались идти в Джвари, с реставраторами он связывал мой единственный шанс остаться в монастыре: среди них были две женщины. А одной больше, одной меньше — не все ли равно?

— Наверху, — отец Михаил указал под купол, — есть Страстной цикл: «Тайная вечеря», «Распятие»... Позже вы поднимитесь туда.

<sup>2</sup> Строитель.



Реставраторы от росписей в восторге, хотя для них евангельские сюжеты потеряли связь с Богом.

— Как и все современное искусство... Священник Павел Флоренский говорил, что культура — это то, что отпало от культа, а потому лишилось корней... — говорила я, услышав из его слов лучше всего слово «позже»: неужели и правда у нас есть будущее время здесь? — Живопись — это иконопись, потерявшая Бога. Так и быт, и семейный уклад, и весь строй духовной жизни — формы сохранились, а сердцевина иссохла. Как бывает в орехе: скорлупа цела, а внутри прах...

Раньше в Страстную Пятницу люди шли с цветными фонариками: несли домой свечу из храма. От этой свечи зажигалась лампада в красном углу, от лампы — очаг. И освящался дом, и очаг, и пища, сваренная на очаге, освящались поля и плоды. И сам человек освящался через Причастие от небесного огня, сходящего на землю во время литургии. И каждое событие жизни благословлялось Богом — через крещение, венчание, отпевание умерших...

— Такой идиллии не было никогда, — возразил игумен. — Таинства не действуют магически. И освящается человек по вере — бывает даже, что причащается в осуждение...

— Конечно, но не было и такой пустыни, когда тысячи, сотни тысяч людей не только не причащаются, но и не знают, что такое Причастие.

Я обрела дар свободной речи, и слова не падали в пустоту. Вот совершалось одно из чудес, которыми живет мир Божий: мы стояли на краю земли, в храме, укрытом в горах, — два грузинских монаха, священник-грузин и мы с сыном, только что вошедшие в их мир и, казалось бы, всем строем судьбы иноприродные им. Но я начинала ощущать, что мы не чужие, потому что у всех нас, вместе с князем-монахом, построившим храм, есть общая родина — наше небесное Отечество, и там мы уже соединены узами не менее прочными, чем узы родства.

— А теперь стало много людей, особенно из интеллигентов, которые говорят, что верят в Бога, но не принимают Церковь, — говорит Венедикт. — Чем вы это объясняете?

— Они верят не в Бога и не в Христа. Это просто невнятное ощущение, что есть нечто более высокое, чем мы сами, мир иной. А что это за мир и что вмещает слово «Бог» — здесь зона полного неведения и невежества.

Я заговорила о том, что наука давно пришла к осознанию своих пределов. Она не отвечает на главные вопросы бытия, не знает ни начала мира, ни тайны жизни и ее причины. Но даже примиряясь с существованием Бога, рационализм старается Его абстрагировать, подменить безличным духом или абсолютной идеей. Все это ни к чему не обязывает, а для многих и ничего не меняет.

Для современного сознания гораздо труднее принять Христа как Бога, принять тайну Евхаристии, поверить, что в образе хлеба и вина мы причащаемся Его Плоти и Крови.

— Вы принимаете эту тайну? — спрашивает отец Михаил.

— Слава Богу, теперь я принимаю все таинства Церкви. — Пять последних лет я и потратила на то, чтобы к ним обратиться — сначала разумом, потом сердцем, плотью и кровью. И вся жизнь теперь стала таинством и откровением Тайны.

Игумен стоял, опираясь рукой на доску над моей головой. Умные, с усмешкой глаза внимательно смотрели на меня.

— Вы говорите высокие вещи. А мы здесь люди простые. Мы знаем только, как надо жить, чтобы спастись.

Я улыбнулась, почувствовав, что слишком много говорю.

— А я как раз этого и не знаю. Мы оба говорим о высоком, но вы — как власть имеющий, а я — как книжники.

Ему понравилось, что я понимаю это сама.

Игумен и отец Давид ушли через двор по траве, по лестнице к террасе и дальше по холму — там поднималась над деревьями крыша игуменской кельи. Давид оставался духовным сыном отца Михаила и хотел исповедоваться. Решалась и наша участь.

Мы с Митей вышли погулять. Но вскоре вернулись, сели на выступе стены у раскрытых ворот и стали ждать.

Наконец они оба появились в воротах. Игумен постукивал прутом по голенищу сапога, едва прикрытого сверху старым подрясником, — наверно, в монастыре не нашлось подрясника, достаточно длинного для его роста.

— Ждете? — улыбался он.

— Ждем.

— А чего ждете? — поинтересовался он вежливо.

— Что вы разрешите нам остаться.

Он сел на каменный выступ рядом с Митей.

— И как это вы сюда добрались, паломники?.. Вас там не ищут?

— Нас некому искать, вся семья здесь.

— Этого достаточно: «Где двое или трое собраны во имя Мое..»

— «...там Я посреди них», — не удержался Митя.

Мы все улыбнулись.

Отец Давид тоже смотрел на игумена выжидательно. Очевидно, и он еще не знал, как все решится.

— Пора к вечерне готовиться... — Игумен поднялся. Постоял напротив нас в воротах, будто раздумывая. И сказал просто: — Ну что ж, оставайтесь...

— Слава Богу... — Все напряжение, тревога, ожидание прошли. Я тоже невольно встала, перекрестилась на храм, засмеялась, а на глазах выступили слезы. — Слава Богу!

Рядом с главным храмом мы и не заметили маленькую базилику. Арчил открывал ее к службе.

Строгая, простая, совершенных пропорций, она была по-своему хороша. Светлые каменные плиты под треугольной крышей из того же камня, никаких излишеств. Только орнамент плетенки вдоль портала, над ним — крест в круге, да узкий проем окна обведен рельефными линиями в форме ключа от рая, украшающего восточные фасады древних грузинских церквей.

Пока строители возводили высокие стены главного храма, увенчивали его барабаном, пока живописцы толкли драгоценные камни из княжеской казны на краски для Голгофы, сам князь молился в этой базилике, похожей на часовню.

Мы с Митей обошли ее вокруг и опять оказались у пристройки над кельей первого монаха. Дверь была приоткрыта, и Митя заглянул в полутьму.

— Димитрий, заходи, — позвал оттуда Венедикт, — мы тебе сапоги подберем.

Мы зашли вместе.

Пристройка использовалась под кладовую и была загромождена шкафами, ящиками, корзинами, грудями старых церковных журналов, кастрюлями и тазами, разобранными ульями.

Иеродиакон извлекал на свет сапоги больших размеров, все вроде тех, которые носил сам.

— А зачем мне сапоги? — осведомился Митя.

— Это традиционная монашеская обувь. А ты тоже будешь носить все монастырское, хочешь?

— Как не хотеть... — ответил Митя словами отца Давида и обернулся ко мне, удивленно раскрыв глаза.

Сапоги он выбрал на взгляд, наименьшие по размеру, хотя и тот оказался сорок вторым.

— Ничего, я научу тебя надевать портянки, и будут как раз, — одобрил Венедикт.

Из старой одежды, висевшей в шкафу, он извлек рубашку, свитер, рванный на локтях, солдатские штаны и, наконец, подрясник, очень длинный. Его шил для себя охотник, посещавший монастырь. Он не очень хорошо представлял, как шьются подрясники, и сшил рясу с широкими рукавами, но с круглым вырезом на шее.

— Попроси у Арчила скуфью. Потом возьми всю одежду сразу и подойди к игумену, чтобы он ее благословил.

Арчил достал скуфью. Пока Митя примеривал их, послушник смотрел на него с блаженной улыбкой, щуря глаза, чтобы скрыть их влажный блеск.

Скуфью мы выбрали суконную, четырехгранную, плотную, как валенок, — другие были велики.

С кучей одежды в одной руке и сапогами в другой Митя пошел в храм.

Игумен вышел из алтаря. На нем уже была свободная греческая ряса, прямая, без талии, с широкими длинными рукавами. Голову его — вместо черного клобука, придающего монаху царственный вид, — украшала простая афонская камилавка.

Митя переступил высокий порог и попросил благословения. Я остановилась на пороге.

— Бог благословит, — сказал игумен очень серьезно и широко перекрестил все сразу. — Я желаю тебе стать монахом. Потому что для меня монашество — это хорошо.

Митя тихо пошел переодеваться.

А я осталась в храме и через раскрытую дверь смотрела, как отец Венедикт звонит к вечерне. Прямоугольная рама вмещала ослепительный день, зеленый лес на холме за зеленым двором. Три колокола, большой и два поменьше, подвешенные на балке между соснами, и старый дом с террасой, и колокольный звон — я видела, слышала все с той пронзительной отчетливостью, с той чистой радостью, когда впечатления остаются в тебе на долгие годы. Когда-нибудь потом они всплывают с такой же свежестью, но уже окрашенные печалью.

Отец Давид облачился в зеленую фелонь и вошел в алтарь, чтобы отслужить свою первую в Джвари вечерню.

Арчил зажигал лампы — их было всего две — перед образами Богоматери и Спасителя. Без скуфьи голова послушника с загорелым безволосым теменем, с удлиненными, как на древних восточных рельефах, глазами и черной бородой мне казалась похожей на голову ассирийского воина. Но вместо меча рука держала лампаду, и выражение глаз было кротким.

И Венедикт облачился в рясу, такую же как у игумена, ее чернота как будто еще сгустила черноту его бороды и глаз.

В проеме двери появился мой сын — в скуфье, в подряснике, подпоясанном веревкой, в сапогах. Глаза его сияли. Такой счастливой улыбки я у него не видела никогда.

Игумен, стоя у аналоя рядом с Венедиктом, поднял голову:

— Ну, смотрите, Димитрий стал совсем как настоящий монах.

И отец Давид вышел из алтаря посмотреть. Все заулыбались, заговорили по-грузински.

Началась вечерня. Мерным глуховатым голосом игумен читал девятый час. Храм был как раз достаточен для того, чтобы пять человек разместились в нем. Во время каждения отцу Давиду не нужно было обходить церковь: стоя перед затворенными царскими воротами, он показывал всех молящихся и все три стены с места. Если чуть сильнее взмахнуть кадилом, можно достать им каждого из нас и даже коснуться стен, поэтому он только слегка приподнимал и опускал руку. Кадильный дым уплывал в открытую дверь, истаявая на лету.

Тихо, сосредоточенно, с резкими гортанными звуками непривычной для моего слуха грузинской речи игумен, дьякон и послуш-

ник запели «Господи, воззвах...». И древнее трехголосие заполнило малый объем храма.

— Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи...

Митя рядом со мной прислонился к стене. Тонкая шейка белела в вырезе подрясника.

В глазах у меня стояли слезы.

Думала ли я пять лет назад, когда узнала, что есть Бог и крестила сына, что вся его жизнь, как и вся моя, без остатка, хлынет в это глубокое русло...

— Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздеяние рукъ моею — жертва вечерняя...

Игумен отвел для нас палатку над обрывом. Раньше в ней жил Арчил, а теперь он переселился в трапезную.

В палатке есть стол — широкая доска, прибитая к ящику от улья, и два ложа — такие же широкие доски, прибитые к ящикам от ульев. В монастыре был свой пчельник, но в прошлом году все пчелы погибли от какой-то повальной болезни, и теперь на их разрушенных жилищах зиждется монашеский быт.

Палатка стояла сразу за сетчатой оградой двора, светлея в траве брезентовым вѣрхом. В трех шагах за ней земля круто обрывалась вниз. Чуть дальше, под дощатым домиком — кельей отца Венедикта, — спускались амфитеатром светло-серые пласты обнаженной породы. Под ними, в узкой прорези между кудрявой зеленью склонов, поблескивала река, отрезающая монастырь от чужой земли. Фиолетовые цветы стояли на обрыве. А выше, за кельей Венедикта, уходил в гору лес.

Вскоре после службы отец Давид подошел проститься. Взгляд его был углублен и печален. Может быть, он сожалел, что остаемся мы, а не он. От радости мне казалось, что мы и должны были остаться, не могло быть иначе.

— А я не верил. Вот по вашей вере все и дано вам.

— Больше дано. Когда вы рассказывали о Джвари, я не могла этого представить.

И уже благословив нас и попрощавшись, он спросил, знаем ли мы, что означает название монастыря. Мы знали, что джвари — крест. А полное название — монастырь Святого и Животворящего Креста Господня.

Из кучи имущества, сложенного в трапезной, Венедикт вытащил матрацы. И там же после усердных поисков добыл два комплекта нового белья в сиреневый цветочек.

Постепенно мы перенесли к себе Казанскую икону Богоматери из трапезной, подсвечник, фонарь, глиняный кувшин для воды, умывальник со стерженьком. Его Венедикт прибил на дереве немного ниже палатки, где треугольным мысом кончался склон. Траву на склоне он предложил Мите скосить.

Я приводила в жилой вид нашу обитель, надевала свежие поддевальники на ватные, тоже новые, одеяла, тихо радуясь нечаянно обретенному уюту и чистоте пристанища.

Потом со склона стал слышен разговор.

— Что ты тут делаешь? — Это негромкий голос игумена.

— Кошу траву. — Это мой сын.

— Ну и как, получается?

— Не получается.

— И, ты думаешь, почему?

— Наверно, потому, что я не умею.

— А я думаю, потому, что ты благословения не взял.

Когда еще через час я вышла, горы за ущельем тонули в мягком полумраке. За четким силуэтом храма догорало закатное небо,

опалив края облаков, сгустившихся и потемневших. И каждая ветка, каждый лист дерева были отчетливы в контровом теплом свете.

Игумен и Митя сидели рядом на склоне, чуть ниже в нескошенной траве валялась коса. Отец Михаил обхватил колени руками, и в его позе, как и в разлитом вокруг вечерющем воздухе, была тишина.

Мне тоже хотелось посидеть с ними. Но при моем приближении игумен неторопливо поднялся, подобрал косу.

— Устроились? Идите спать, вы устали сегодня... — И потому что мы не двинулись с места, добавил с тихим удовлетворением: — Так мы и живем здесь, как в скиту...

Он благословил нас, уже не крестя и не коснувшись головы, только словами и ушел вверх, к своей келье.

А мы с Митей сидели на траве, пока совсем не погасло небо. Горы вокруг, и Джвари, и все, что случилось в этот переполненный день, было так нереально, что я не могла бы уснуть сразу, мне надо было к этому привыкнуть.

В палатке было совсем темно, когда ударил колокол — шесть раз, бронзовый длинный звук.

Холодно. На хребте горь за ущельем — черные тени деревьев. И в темном, синем клубящемся небе едва голубеют призрачные просветы.

Тропинку вниз устилает скошенная трава, мокрая от росы. Мы так и не узнали, когда игумен успел скосить ее.

Мы умываемся холодной водой, туман тянется из ущелья.

А в семь уже звонят к утрени. Обычно в храмах вечерню совмещают с утреней, а здесь игумен стремится возратить всему изначальный смысл, и утренняя бывает утром, вечерняя — вечером.

В храме темно, только теплятся две лампы перед бедным иконостасом. Привычно пахнет ладаном, переплетами старых книг, лампадным маслом, воском.

— Раз вы не понимаете языка, творите про себя Иисусову молитву. Сколько сотниц получится на первой службе, столько читайте и потом. Ты тоже, Димитрий... У тебя есть четки?

У Мити есть нитка в пятьдесят узелков, подаренная ему недавно.

Отец Венедикт зажег огарок свечи и начал читать. Негромко отозвался из алтаря игумен. После пышности и многолюдья городских церквей эти тихие службы мне будто и посланы для того, чтобы научиться сосредоточенной молитве.

Я передвинула первый узелок на четках: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя...» До сих пор я больше читала о молитве, чем молилась, так же как только читала о заповедях, не умея ни одной до конца исполнить.

— Сколько насчитали? — спрашивает игумен, присев на низкую дощатую скамью перед трапезной.

— Три сотни.

— Почему так мало? Ну-ка, как вы это произносите?

Я произнесла.

— А почему вы опускаете слово «грешную»? — Он чуть наклонил голову, вслушиваясь.

— Но все уже сказано словом «помилуй»... в нем подразумевается сознание вины.

— Нет, нет, вы мне объясните, что это вы там подразумеваете... Что вообще такое грех, грехопадение?

Он снял жилет, шапочку, не глядя положил их рядом, как будто приготовившись долго слушать. Волосы его, мелко вьющиеся, гладко

зачесаны назад, открывают большой лоб и запавшие виски, а под затылком стянуты в узелок. Худое лицо с зеленоватыми, близко поставленными глазами, с тонким у переносицы и расширяющимся книзу длинноватым носом никак нельзя назвать красивым. Но эти черты одушевляет интенсивная внутренняя жизнь.

Солнце уже припекает, искрится в траве роса.  
Как я это себе представляю — грехопадение?

Адам ходил в раю пред Богом. Он еще не сотворил зла и был прозрачен для воли Господней. А это означает всеведение и совершенную радость. Адам ходил в райском саду и давал имена деревьям, зверям и птицам — потому что он прозревал их суть, а имя запечатлевало ее. Он держал на большой ладони семя и знал, как оно расцветет, и знал вкус плода. Он мог отвечать птицам. Язык всякой твари был понятен ему, и всю тварь вмещало его любящее сердце.

Дерево жизни росло посреди рая, его плоды питали Адама соками жизни вечной. И дерево познания добра и зла стояло рядом, но Бог заповедал не вкушать его плодов. Это была первая заповедь, предостережение: «...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Бог дал Адаму жену, подобную ему. Адам и Ева были совершенны, и райская их любовь была блаженной и полной жизнью духа, взаимопроникающего, отражающегося в другом.

Но искуситель, еще в начале времен отпавший от этой полноты и блаженства, сказал себе: «Они не знают, что такое смерть, и потому ничего не боятся. Пойду и разлучу их с Богом».

Он стал приходить к Еве, потому что она была женщина и была совсем молода, и беседовал с ней наедине.

— Бог обманул вас, — говорил он. — Есть Ангелы, знающие добро, и есть силы тьмы, служащие злу, — они ограничены и несвободны. Но человек выше всей твари, выше сил небесных и преисподних. Только он, как и Бог, наделен высшим свойством существ духовных — свободой, свобода делает его богоподобным. Но какая вам польза от обладания этим даром, если вы не знаете его вкуса? Вот плод, прекрасный на вид и ароматный. Может быть, все плоды рая не сравнятся с ним? Совсем не одно и то же — знать Бога и самому быть богом. Бог обманул вас, потому что ревнив и хочет оставаться единственным властелином вселенной. Но вкусите — и будете как боги, знающие добро и зло.

Еве нравились его речи, потому что он обещал ей то, чего не мог дать Адам. Еве льстила его речи.

«Почему я должна творить волю Бога, если у меня есть своя?» — думала Ева, впервые уравнивая мысленно себя с Ним и отделив свою волю от Его воли.

Она ласкала взглядом золотистый плод, касалась его ладонью, губами, предчувствуя жгучую тайну, и все плоды рая стали ей пресны. Она прокусила кожуру: вкус был необычайный — сладкий, и горький вместе, и терпкий...

Ева дала плод Адаму, и он вкусил.

И они увидели, что наги.

«Плоть ее притягательна для меня и вожделенна не меньше, чем эти яблоки», — думал Адам.

— Адам, где ты? — позвал любящий голос Бога.

Адам устыдился своей наготы и вожделения, которого не знал раньше, пока был целомудрен — целостно мудрствовал и целостно любил. И он спрятался от глаз Божьих.

— За то, что ты не послужал Меня, проклята земля, — сказал Бог, печально глядя на лучшее из своих творений. — Со скорбью будешь добывать хлеб, пока не возвратишься в прах, ибо из праха ты был Мною создан.

Что случилось со слухом Адама? Он больше не понимал голосов птиц. Что случилось с его большим сердцем? Раньше оно вмещало всю тварь, а теперь опустело, и он забыл имена, которые дал зверям и рыбам, цветам и травам. И вместо радости было только желание радости, вместо любви — желание любви. Что случилось с глазами Адама? Он перестал видеть живой, благодатный свет, разлитый в воздухе райского сада, пронизывающий каждый лист и плод.

Лукавый обещал дать больше Бога, чтобы отнять все.

И выслал Господь Адама и жену его из Эдема. А на востоке у входа в рай поставил Херувима с огненным мечом, стерегущего Древо жизни, чтобы перестал вкушать от него Адам и грех его не стал вечным.

И познал Адам Еву. И в этом познании была сладость и горечь, неутоленность и предчувствие пресыщения.

— Господи, Ты слышишь меня? — заплакал Адам.

Но никто ему не ответил.

Тогда он узнал вкус свободы. Он узнал страх и узнал смерть.

— Все это литература, — неодобрительно покачал головой игумен. — Мы не можем знать, как было в раю. И не надо развешивать в райском саду сухие плоды своей фантазии. Сейчас стало модно растаскивать Библию и Евангелие на притчи. Великие тайны религиозной жизни низводятся до литературного сюжета, до уровня наших умствований.

Грехопадение — тоже одна из тайн. Но с тех пор, как пал первый человек, каждое новое поколение продолжает этот путь вниз. Обратного движения пока не было. Так называемый прогресс в том и состоит, что люди все больше погрязают в материи, обращаются не внутрь себя, к Богу, а вовне. Но «дух животворит, плоть же не пользует нимало».

Святые отцы так определяли состав человека: дух, душа, плоть. Дух Адама питался от Бога, душа — от духа, плоть — от души. Теперь человек перевернут вниз головой: его дух питается от души, душа — от плоти, а плоть — от материи. Повреждены основы, и вся система порочна.

Мы рождаемся и растем вместе с семенем греха, он в наших желаниях и страстях. Мы пришли к вере и начали это понимать. Но из нашей собственной жизни большая часть прошла без Бога. Сколько мы совершили за это время зла? И куда, вы думаете, оно исчезло? Оно в нашей плоти и крови, как и первородный грех. Каленым железом его надо выжигать всю оставшуюся жизнь. И чем ближе человек к Богу, тем больше ощущает свою греховность. А вы опускаете «грешную»...

— Святые отцы по-разному говорили: «...помилуй мя, грешного» — и просто «помилуй мя».

— Ох! — взрывается он вдруг. — Они были святые отцы! И те говорили: «...пришедый в мир грешных спасти, от них же первый есмь аз». И это не риторика! Они уходили в пустыни, ночи простаивали в покаянном плаче. Одного праведного старца спрашивали: «Как же ты считаешь себя самым грешным, если больше всех молишься, постишься, делаешь добрых дел?» А уж не могу вам объяснить — как, он им отвечает, только наверняка знаю, что я самый грешный. Афонский старец Силуан, один из последних святых, жил уже в нашем веке, ни одного блудного помысла не принял за тридцать пять лет в монастыре, — и тот говорил: «Скоро я умру, и оканная моя душа снидет во ад...» А вы под-ра-зу-ме-ва-е-те...

Он даже в воздухе произвел такой легкомысленный жест, выражающий несерьезность моего слова. И Митя, устроившийся на скамеечке рядом с отцом Михаилом, засмеялся.

— Плач должен быть, покаянный вопль: «грешную!» Путь христианской жизни — покаяние, средства — покаяние и цель — покаяние. А все, кто стремится к высоким духовным состояниям — их нельзя искать самому, тем более без покаяния, до очищения от страстей, — они в прелести. Вы потому и «подразумеваете», что не чувствуете по-настоящему своей греховности. Потому и начинаете от Адама, это проще, чем увидеть себя.

Я села рядом на скамью, отодвинув к стене кувшин.

— Себя я чувствую сейчас так: все прежнее, что наполняло жизнь, прошло, но и другого я пока ничего не имею. Как сосуд, из которого вылили воду, но еще не налили вина. — Я перевернула кувшин и для наглядности постучала по глиняному доньшку. — Пустота. И ожидание, что Бог ее заполнит...

— И это уже кое-что... но ох как мало! Сознать пустоту и ощущать свою «мерзость пред Господом» — это разные состояния.

В трапезной за решеткой окна Арчил позвякивал мисками, накрывая стол. Игумен обернулся:

— Совсем заболтался я с вами. А почему? Это все гордость. Куда от нее денешься? Молчишь — гордишься: вот я какой молчальник. Говоришь — опять гордишься: вот как я хорошо говорю, какой я умный. Мы шага не можем сделать без греха, слова вымолвить, даже взглянуть. Так что молитесь, как всем нам подобает: «Помилуй мя, грешную...» — Он было поднялся, но вдруг вспомнил: — А почему вы закрываете глаза, когда молитесь?

Я-то думала, он и не видел, как я молюсь.

— Чтобы не рассеиваться.

— Сколько же времени в день вы можете провести с закрытыми глазами? А как откроете, так и рассеетесь? Учитесь молиться так, чтобы со стороны это не было заметно и чтобы от вас это не требовало никаких исключительных поз. Подвижники стяжали непрерывную Иисусову молитву. Он работает — и молится, ест — молится, разговаривает — тоже молится. Молитва уже сама творится, даже во сне. Понимаете, что это значит? Такой человек всегда предстоит Богу. Это никуда не годится, если есть отдельное время для молитвы, отдельное — для жизни, совсем не похожей на молитву. Разрыва не должно быть: всю жизнь нужно обратиться к Богу, как молитву... — Он посидел, опустив на колени сплетенные руки, подумал. — Вот ты, Димитрий, решил, что я все исполняю, о чем говорю? А я до двадцати восьми лет был некрещеным разбойником. Да и теперь это для себя повторяю, как невыученный урок.

В двенадцать Венедикт зазвонил к трапезе. Обедала я после братии, а Митя с ней вместе. Мы вступали в ту область, где у него было больше прав.

Я попросила игумена назначить мне послушание. Он подумал и отказался:

— Когда монаха принимают, и то дают ему отдохнуть первые дни. Поживите пока как гости, посмотрите на мир вокруг. Купайтесь, Венедикт вам покажет спуск к реке. Только одна далеко не ходите.

— Но мне бы хотелось и делать что-нибудь для общей пользы.

— Заметьте себе, в монастыре ни на чем не настаивают. Послушание, которое вы для себя выпросите, уже не послушание, а ваша воля и ему грош цена. — Он раздумывал, как будто не зная, стоит ли продолжать. — К тому же пока вы настолько не представляете себе нашей жизни, что можете от души постараться для нашей пользы, а в каком-то неожиданном смысле это всем выйдет боком.

— Но если я вымою посуду, это вам не повредит?

— Ну, посуду помойте, это и нетрудно.



Пообедав, Митя зашел за мной в палатку, и мы вместе вернулись в трапезную. Меня поджидала большая миска овощного салата, жареные баклажаны, накрытые в сковородке крышкой.

— Кто это нажарил такие вкусные баклажаны? — спросила я, когда Венедикт проходил в смежную комнату.

— Вам понравились? — весело блеснул он глазами. — С Божьей помощью — грешный Венедикт. Вы тоже можете жарить такие.

— Пока мне позволена только черная работа.

— В монастыре нет черной работы, любая посвящается Богу... — ответил он из-за стены. — А ты, Димитрий, чем занимаешься?

— Я просто сижу с мамой.

— Хочешь, я буду учить тебя хуцури? Это древнегрузинский, на котором написаны все богослужебные книги. — Он появился в дверях с развернутым листом. Это была азбука, написанная в два цвета, одни буквы поверх других. — Будешь с нами вместе читать на службе.

Пока я убирала со стола и мыла миски на роднике за воротами, они уже сидели рядом и Венедикт выводил в тетрадке крупные буквы. Вид у него был очень усердный.

— Сестра Вероника, может, вам не нравится, что другие едят, а вы убираете? — спросил он, поднимая черную голову и глядя то ли сочувственно, то ли иронически. — Вы, наверно, не привыкли. Тогда лучше скажите, чтобы не было ропота.

— Не могу сказать, что это мое любимое занятие. Но здесь мне и оно нравится.

— Это хорошо, — кивнул он.

— Когда мы пришли сюда, все показалось таким родным, будто этого я и ждала всегда.

— Также хорошо.

— Не знаю. А что мы будем делать, когда придется уезжать?

— До отъезда еще дожить надо, времени много.

Мы были свободны до сентября, а игумен пока не ограничил срок нашего пребывания.

— Это такая ловушка, отец Венедикт. Всегда кажется, что времени еще много, а потом вдруг обнаруживаешь, что его уже нет.

От ворот монастыря я поднимаюсь по широкой дороге в гору. Дорога каменистая, с выступами растрескавшихся глыб, осыпями и следами шин — по ней через другой перевал проходят грузовые машины и «газики». Мне хочется посмотреть, куда она ведет, и выйти на такую точку, откуда далеко видно. Иногда я сворачиваю в рощицу и иду по мертвой листве, сквозь которую пробиваются большие белые и мелкие лиловые колокольчики. За несколькими поворотами открывается поляна, которую мы видели с другой стороны ущелья, когда шли в Джвари с отцом Давидом.

Вблизи она светлей и нарядней. Знакомо подсвечивают высокую траву фонарики мальвы, белеют, розовеют понизу клевер и кашка. Дорога вдоль края поляны уходит еще круче в гору, и у последнего ее поворота стоит двухэтажный дом, окруженный садом, — единственный хутор в окрестностях. Несколько стогов свежего сена поодаль один от другого возвышаются над травой, как шатры, а между ними ходит рыжая лошадь, часто взмахивая хвостом.

Легкое марево зноя смещает очертания деревьев. Летают коричневые бабочки с белой оторочкой по крыльям, кружатся в слепящем дне, празднуя свое недолгое лето.

Я прохожу вдоль края поляны все дальше, деревья вдруг начинают уходить вниз. Дорога тоже круто идет под уклон, а над ней поднимается скала с круглым выступом посередине. Осыпая из-под ног камни, цепляясь руками за колючие стебли, я вскарабкалась к этому выступу и села.

Это идеальная смотровая вышка. Сверху меня заслоняет скала, над ней осталась поляна с хутором, внизу за деревьями едва сквозит дорога.

А впереди и вокруг открывается такая даль, что взгляд не охватывает ее сразу. Земля вздымается мощными, поросшими лесом складками, и каждая поляна, рощица, каждый обрыв ясно видны в сияющем свете. Вереница гор тянется за ущельем, которое мы видели с седловины, над которым стоит и наша палатка. В одном месте желтые песчаниковые обрывы похожи на полуразрушенные крепостные башни. Я нахожусь на самой высокой точке местности, и дальние хребты на уровне моих глаз, а склоны спускаются к той же реке, такой мелкой и такой бесконечно длинной.

Оттуда, с нижней границы леса, поднимается орел и парит подо мной, распластав огромные в размахе крылья. Медленными кругами, внизу широкими, а выше все уже и уже, он поднимается над горами. Он так хорошо виден, что я различаю светлые в коричневом перья подкрылий и голову с клювом, повернутую в мою сторону. Орел тоже смотрит на меня, и на минуту мне становится жутко под его хищным взглядом. Потом он превращается в черную точку, за которой мне уже трудно следить, так долго длится это парение, потом и точка растворяется в белесом небе.

Звенят цикады, и кажется, что звон их и зной заполняют пространство.

Как жадно я раньше стремилась вобрать в себя эту красоту земли и моря, заполнить, унести с собой, и не насыщалось око видением, а ухо слышанием. Мне казалось, что эти обостренные впечатления и заменяют мне счастье, и если так долго смотреть, что-то раскроется за игрой форм, света, красок, потому что она не может быть напрасной. Но оставалась та же неутоленность. Красота только обещала и звала, но существовала как будто вне связи с моей жизнью, не принимая ее в расчет. Пустынный, совершенный, бесцельный мир вечно переливал свои краски и линии, но я не была укоренена ни в этой вечности, ни в этом совершенстве.

И вот все разорванные звенья соединились, и мир получил верховное оправдание и смысл. Не стало ни эстетических восторгов, ни зияющей пустоты под ними — тихо стало в душе. Только на поверхности ее легкой рябью проходили мысли, но мне хотелось, чтобы и они затихли и душа стала прозрачной, как глубина воды, высвеченная солнцем.

Всю жизнь я куда-то ехала, спешила понять, написать, и все казалось, что надо ехать и познавать дальше — там наконец все исполнится и завершится. Но, может быть, я и шла сорок лет, как народ израильский через пустыню, к этой земле обетованной? И вот пришла, увидела Джвари, и больше некуда стало идти. Мне хотелось здесь жить и здесь умереть.

Возвращаясь, я вижу игумена. В том же выгоревшем подрыснике и сапогах, в старом жилете, в черной вязаной шапочке с коричневой поперечной полоской он сидит на садовой скамье у родника.

— Вы гуляете будто по Тверскому бульвару...— В его интонации сквозит необходимая насмешка.— Вот представьте, есть разница в том, как видят мир два человека: один едет в карете, другой идет по дороге в пыли за этой каретой. Вы прикатили сюда в карете. Чтобы научиться смирению, нужно по крайней мере из нее выйти.

Я сажусь на скамейку, радуясь его прямоте.

— Хотите изменить жизнь — начинайте с самого простого. Все здесь ходят в старой одежде, в сапогах. А вы появились в белой блузке изящного покроя, в белой юбке, белых босоножках...

Я засмеялась, вспомнив, как переодевалась у ручья в эту кофточ-

ку из тонкого ситца в нежно-красный и голубой цветочек, которую до того надевала только однажды, на Пасху.

И ведь все видит, а я думала, он и не отличит изящного покроя.

— Да и сейчас...— Он коротко взглянул и отвернулся.— Посмотрите на монашеские одежды. Молодая женщина в апостольнике и подряснике уже не имеет возраста. Архиерейские облачения подчеркивают достоинства сана, а не мужские достоинства. Все подробности скрыты, выявляется сущность. В духовной жизни нет мелочей. А блузочки, цветочки, прически — все это брачное оперение.

— Дайте мне подрясник, я с удовольствием его надену.

— Еще бы, конечно, подрясник вы наденете с удовольствием, даже гордиться будете. Опять крайность. А вот неприметную серенькую одежду, платочек на голову — этого вам не захочется.

Тут он попал не в бровь, а в глаз. Платок я никогда не носила, потому что он мне очень не идет. И то, что женщина в храме должна быть в головном уборе, долго казалось мне фарисейством. Но носить платок здесь, в горах, в тридцатипятиградусную жару — едва ли можно было придумать что-нибудь хуже для меня.

Я сказала об этом полушутя, но он не принял моего тона:

— В апостольских посланиях говорится, что женщина, не покрывающая волосы, посрамляет главу свою.

— А в древних уставах сказано, что монаха, прошедшего одно поприще с женщиной, надо отлучить от Причастия.

— Правильно сказано. Сейчас не исполняются древние уставы, потому что настоящие монахи перевелись.

Он опустил глаза, и лицо приняло замкнутое выражение.

— Нигде на иконах мы не видим Богоматерь без головного убора.

— Мужчины тоже не одеваются, как Спаситель...— мягко возразила я, не желая сразу соглашаться на платок.

— Вот видите, вы пришли на послушание, а сами только и делаете, что настаиваете на своем и препираетесь. Я ничего от вас не хочу. Говорю то, что считаю должным, а ваше дело — принять это или нет.

— Я все приму, отец Михаил.— Мне стало слегка не по себе от перемены его тона.— Завтра же переоденусь и покрою голову косынкой. Просто очень уж я к ней не привыкла.

— А я, вам кажется, родился в этом платье? — Он приподнял край подрясника.

Во всяком случае его одежда казалась естественной для него, и мне бы не хотелось видеть его в другой.

— Привыкайте. Все женское, бросающееся в глаза надо убрать. Короткие стриженные волосы — это очень женственно...

Он коснулся взглядом моей головы, как будто мгновенным жестом ее погладил, и отвернулся. Но мне запомнился этот взгляд.

А в следующее мгновение лицо его приняло знакомое выражение, доброжелательное и чуть насмешливое.

— В общем, выходите из кареты, уже приехали. Дальше придется идти пешком.

— Но вы-то вместо сапог разве не могли бы в жару носить обувь полегче?

— Чем свободней плоти — тем теснее духу. Не только сапоги, судовые чугунные вериги носили прежние монахи. Да и теперь носят, только каждый свои. А вы хотите легкими стопами войти в Царствие Небесное?

Восковая свеча поникла над подсвечником, как увядающий стебель. В палатке сухой жар.

На монастырском дворе дремотная тишина. Отец Михаил уехал в патриархию и вернется дня через два-три. Венедикт исчез после трапезы.

Только Арчил сидит на каменной скамейке, полукругом идущей от родника, кормит собак. Он обмакивает хлеб в банку рыбных консервов и подает по куску то Мурии, то Бриньке, ласково с ними разговаривает.

Большая черная Мурия заглатывает свой кусок сразу. А маленькая Бринька, белая, лохматая, сначала валяет его по земле, топчется вокруг на коротких лапах, и ее квадратная мордочка выражает детское недоумение. Никто не знает, откуда она взялась, но раз пришла, и ее поставили на довольствие. Арчил выдает каждой собаке свое, драться из-за куска им не приходится. Поэтому они живут мирно и бегают вдвоем, впереди Мурия, за ней Бринька. Обе привыкли к постной монастырской пище, но иногда туристы приносят мясо, и тогда собакам отдают его на «велие утешение». Собаки знают, что в храм заходить нельзя, и во время службы лежат на траве за порогом. А когда Венедикт звонит в колокол, Мурия садится, задрав голову, и подвывает.

— Любите собак? — спрашивает меня Арчил. — Хотите их кормить?

Я соглашаюсь, хотя говорю, что сейчас мы идем купаться. И предлагаю поставить у родника две миски — большую Мурии, маленькую Бриньке. Арчил кивает, но высказывает осторожное предположение, что собаки могут не догадаться, какая миска чья. Мы смеемся, а Бринька в ожидании куска прыгает на колени Арчилу и заглядывает ему в глаза.

От небольшой фигуры Арчила, от смуглого, чернобородого лица веет доброжелательностью и покоем. Сам он никогда не начинает разговор, отвечает приветливо, но немногословно. Улыбается он часто, но иногда в этой улыбке светится душа. Такая безоглядная, кроткая, исполненная любви улыбка бывает только у чистых сердцем.

— Вы давно в монастыре? — спрашивает Митя.

— Всего полгода. Совсем еще молодой послушник, как и ты.

— У меня было впечатление, что вы жили здесь всегда, — говорю я.

— Мне самому так показалось, когда я пришел в Джвари.

— А чем вы занимались до того?

— Трудно объяснить, — улыбается он виновато. — Работал в Институте марксизма-ленинизма.

Этого я от него никак не ожидала.

— Я окончил исторический факультет и даже собирался пойти по партийной линии. Но, к счастью, далеко меня не пустили. А потом я понял, что нельзя ничего приобрести на земле, если ничего не имеешь на небе. И что ни построишь — все развалится...

— «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его»...

— Да, да... Ведь люди ищут пути к блаженству, к счастью. А кто может быть блажен? «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем», — смиренно разъясняет Арчил. — Ходите в законе Господнем, и все будет хорошо. Он все указал — пути, и средства, и цели.

Но люди, как Адам с Евой, верят не Богу, а обольстителю, думаю я. Он обещает пути короче, напрямик. Что остановит их, если они сами «как боги»? Кто скажет: «не убий», «не прелюбодействуй»? И все дозволено, все рядом, но ухватил — а в руках пустота. «Обольщение», «прельщение», «прелесь» происходят от корня «лесь», что по-славянски означает ложь.

«Но ведь Бог Сам насадил древо познания добра и зла посреди рая — разве Он не знал, что люди примут эту лесь?» — спрашивает теперь человек, не понимая, откуда столько зла в мире. Конечно, если бы Бог хотел сотворить еще одну овцу, Он не вложил бы в ее природу способность делать зло.

Но человек возвышен над всем творением до богоподобной свободы, до возможности выбора: молиться Богу или Его распинать.

И это страшный удел человеческой свободы: пройти путь самозащиты без Бога, отречения от Него, путь блудного сына и понять, что путь этот ведет к распаду, гибели души и мира. Только поймут ли это люди раньше, чем погибнут? Или погибнут раньше, чем поймут?

Вот что решается в наше смутное время.

Тропинка заросла травой и полевыми цветами — этот спуск к реке нам показал Венедикт.

— Вы тоже ходите купаться? — спросил тогда Митя.

— Нет, я вообще три месяца не мылся.

Мы засмеялись, приняв это за шутку. Но сразу решили, что Венедикт несет такой подвиг или эпитимию, удручая плоть.

Воды в реке по щиколотку. Она течет быстро, прозрачно обволакивает каменистое дно, сверкает, слепит глаза, так много в эти дни солнца. Речка вьется, повторяя бесчисленные изгибы ущелья, и за каждым изломом обрыва открывается другой пейзаж, замкнутый спереди и за нами — раскрытый только вверх. Там, в небесной высоте, неподвижно стоят деревья. Ущелье так узко, что местами берега не остаются, и деревья прямо от воды поднимаются вверх по стене.

Остановились мы в закрытой бухте с небольшим водопадом и почти отвесными берегами. Блестящие, как графит на изломе, пласты под одним и тем же углом поднимаются вверх, создавая причудливый, геометрически четкий рисунок. Края пластов нависают один над другим зубчатыми острями, под рукой они расслаиваются на звонкие пластинки.

Мы разделись на каменистом мысе под скалой, заросшем лопухами, и вошли в воду.

Митя прислонился спиной к камню под водопадом, сверкающие струи стекали по его голове, по плечам, рассыпались мелкими радугами. В лопухах остался подрысник и сапоги, и мальчик мой брызгался и смеялся, совсем забыв о послушническом достоинстве. А я лежала на каменистом дне, и каждая клетка кожи радовалась движению воды, ее прозрачной свежести. Потом мы поменялись местами.

Часа через два собрали одежду и пошли босиком вверх по реке под бормотание и лепет воды. На тенистой поляне нашли обломки жерновов — остатки монастырской мельницы. А дальше ущелье расширилось, но было едва ли не в половину высоты завалено глыбами камня. Вода по этому камнепаду неслась бурно, в брызгах и пене. Здесь мы искупались последний раз и повернули обратно, неся в себе ощущение свежести и чистоты.

Отец Венедикт окликнул меня из окна трапезной.

Он сидел перед большой миской с блекло-зелеными стручками фасоли, разламывал их, рядом стояла миска с картошкой и баклажанами. Я остановилась в дверном проеме, а он смотрел из тени с пристальным узнаванием, как будто мы давно не виделись.

— Я готовлю грузинское блюдо — аджапсаңдали. Вы можете научиться, если хотите.

Митя понес развешивать мокрые полотенца, а я села за стол напротив Венедикта и тоже стала разламывать стручки, бросать их в кастрюлю с водой. Скоро глаза так привыкли к тени, что я различала будто следы оспы на лице дьякона.

— Сестра Вероника... — Он медленно поднял глаза, мрачноватые, как обычно, или кажущиеся сумрачными от слишком густой черноты зрачков и ресниц. — Вы умеете готовить?

А мне показалось, что он хотел сказать что-то более важное, так вдумчиво он начал.

— Совсем не умею. У нас в смежной комнате жила одинокая родственница, она добровольно несла этот подвиг. И вот я впервые могу пожалеть, что ничему у нее не научилась.

— Ничего, мы вас научим. Знаете, что такое настоящая монастырская пища? У которой нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.

Я чищу картошку и баклажаны, он обдирает шуршащую кожуру с лиловых луковиц и режет их ровными кругами.

— Вероника...— вдруг снова решается он.— Так случилось, что я увидел вас сегодня на речке.

Он положил нож.

— Можете поверить, если бы я знал, что вы ушли купаться, я не пошел бы за вами. Но я искал лошадь, она иногда далеко бродит. Шел по обрыву и вдруг увидел купающуюся женщину.

Я очень смутилась.

— А разве вы не видели купающихся женщин на вашем курортном берегу?

— Я и сам раньше ходил на пляж. Но когда люди долго живут в монастыре, они воспринимают все иначе. Здесь нет вашей вины, как нет и моей. Но в монастырях обостряется борьба со всеми страстями. И я должен был исповедать это. Мы считаем, что лучше говорить друг другу сразу, если ложится какая-нибудь тень. Чем дальше, тем бывает труднее. Я рад, что сказал: потому что хочу быть чистым перед вами.— Он улыбнулся.— Когда человек приходит в монастырь, бесы подстраивают разные искушения... И еще одно — носите, пожалуйста, косынку.

Утром, уходя на речку, я, конечно, ее не надела. Зато теперь сразу же отправилась в палатку и повязала голову шелковым голубым платочком.

Отец Венедикт взглядом одобрил мое послушание.

Неловкость постепенно проходила, мы стали разговаривать почти непринужденно. Я предложила застелить стол скатертью. Он отыскал зеленую ткань, мы вместе накрыли ее прозрачной клеенкой. Я пожалела, что вчера не нарвала колокольчиков, их можно было бы поставить на стол.

— Мы редко ставим цветы, разве что в праздник одну розу перед иконостасом. В монастыре все должно быть жестко, строго. Чем больше красоты, тем больше соблазна.

Я приняла это как последнюю шутку на тему прежнего разговора.

Но сам этот разговор меня поразил. Такой прямоты и открытости я не предполагала между людьми. Я верила, что в словах Венедикта не было никакого лукавства.

Чуть ниже монастыря над обрывом есть поляна со старой садовой скамейкой на чугунных ножках. После вечерни я вышла посидеть здесь, посмотреть на закат.

Вскоре появился отец Венедикт. За ним шла босиком молодая рослая женщина.

— Сестра Вероника,— подвел он ее ко мне,— это Лорелея, ведущая актриса одного из наших театров. Недавно ей Англия аплодировала. Лорелея заехала к нам со своими друзьями. Мы поужинаем, а потом вы вместе приходите в трапезную.

Наружность Лорелеи была еще более неожиданной, чем ее имя, особенно для этих глухих мест. Каштановые волосы распущены по плечам и обведены надо лбом двумя витыми шнурами, соединенными в трех местах кольцами. Коротенькая полосатая блузка на тонких бретельках, скорее майка, приоткрывает грудь, не стесненную и никакими другими защитными средствами. На животе блузка едва сходится с поясом длинной ажурной юбки из марлевки. В руке

босоножки на высоком пробковом каблуке и что-то вроде пелеринки.

Венедикт виновато улыбнулся и покинул нас.

Лорелея уселась рядом со мной на скамью, поджав ноги с перламутровым педикюром.

— Зовите меня просто Ло...

Принудительно облаченная в косынку и закрытое платье, я прореагировала на ее вольный наряд, наверное, более ревниво, чем в любое другое время. И после нескольких любезных фраз, которыми мы обменялись, не менее любезно заметила, что в мужской монастырь неприлично приходить с обнаженной грудью.

Она машинально прикрыла грудь ладонью, но довольно легко ответила:

— Это не имеет значения. Они видят во мне что-то более интересное. А наши предки, судя по старым фрескам, ходили в полупрозрачных одеждах, как Ангелы.

— Не знаю, как предки, но наши современники утратили ангельскую чистоту. И, наверное, вам это хорошо известно.

— К тому же я здесь бываю давно, некоторых знаю с детства... Венедикт учился в художественной академии вместе с моей дочерью.

— Сколько же вам лет? — удивилась я, впрочем, довольно сдержанно.

Странный этот разговор пока не вышел из рамок приличия.

— Сорок шесть... — ответила она не очень охотно.

А я-то предполагала, что ей лет двадцать восемь, и потому позволила себе говорить о ее одежде. Присмотревшись, я обнаружила, что волосы у нее крашеные, но все остальное сохранилось прекрасно.

— А сколько лет Венедикту?

— Двадцать девять.

Это была еще одна неожиданность. Я не думала о его возрасте, но почему-то исходила из впечатления, что мы с ним ровесники. Значит, лысеющий лоб и борода старили его на пятнадцать лет.

Разговор наш не смутил Лорелею, и я продолжила его. Там, в миру, указала я за край обрыва, тем более в актерской среде, эта одежда никого не удивила бы...

Она чуть повела бровями, как будто мое предположение ей не польстило.

— А здесь, — перебила она, — этого не заметят, потому что монахи — святые.

Это был вздор, но я не могла на него не возразить.

— Человек вмещает всю дистанцию от животного до Бога, — говорила я. — «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный» — в этом суть всех заповедей. Но это непомерно высоко, несоизмеримо с силами человеческими. Не было в мире более высокого идеала и более аристократической морали. Большинству людей христианство не по росту, и потому они говорят, что оно неосуществимо.

— А разве осуществимо? Кто может быть совершенным, как Отец Небесный? — спросила она с некоторой заинтересованностью.

— Даже ученики Христа изумлялись и спрашивали: «Кто же может спастись?» Он ответил, что человекам это невозможно, Богу же возможно все. Монашество и есть подвиг такого восхождения к совершенству Отца Небесного. И оно выходит за пределы человеческих сил, туда, где действует благодать.

— Вы их идеализируете... — Она приподняла ладонь останавливающим жестом. — Ни художником, ни актером нельзя стать, если нет искры Божьей. Каждый по-своему несет ее людям и служит добру, священник — с амвона, актер — со сцены, да у актера теперь и публики больше.

Все это я слышала много раз в кругу интеллигенции, называющей себя творческой. Разговор становился невозможным, так как шел на разных языках, и слова «добро», «истина» и «любовь» могли вмещать самые противоположные понятия.

Помню, один драматург рассказывал, что написал пьесу о Христе. Он не верил в Бога, но почему-то предполагал, что Бог и говорил его, драматурга, устами. Мне хотелось спросить: «Почему Бог? Почему не мелкий бес тщеславия?» Но это было бы невежливо. И в бесов драматург тем более не верил, хотя они и ближе к среде нашего обитания.

Даже при серьезных намерениях собеседников, исходящих из уверенности в том, что Бог есть, возможность понимания чаще всего исключается несоответствием представлений о том, что Он есть. Я и потратила последние пять-шесть лет только на то, чтобы узнать ответ на этот вопрос, приобщаясь к двухтысячелетней культуре христианства. И только выйдя на глубину, я обнаружила, насколько эта зона неведома для нас, современных интеллигентов, или, как говорил один критически мыслящий — теперь за границей — писатель, «образованцев». Я поняла, что и неверие — от неведения.

— Вы бываете в церкви когда-нибудь? — спрашиваю я Лорелею.

— Очень редко. Наша работа считается идеологической, и если увидят...

— Да, наверное, и потребности нет...

Она не возразила. Хотя часто отвечают, что нет времени.

— Я вижу теперь, что вера и неверие вырабатывают два совершенно противоположных образа жизни, склада характера. Здесь, в Грузии, когда-то окончил гимназию Александр Ельчанинов, удивительно светлый человек. Он стал священником в Ницце. А умирал в Париже от рака, страшно, тяжело умирал, кричал во сне. Но пока был в сознании, только однажды близкие люди увидели на его глазах слезы: началась Страстная неделя, а он не мог быть в храме. Ельчанинов оставил записки, родственники их собрали и издали. Никто не знает так глубоко души человеческие, как священник, которому тысячи людей раскрывают на исповеди самое сокровенное. Вот он заметил, что одаренный человек бывает подобен гейзеру — в нем не остается ни места, которое мог бы занять Бог, ни тишины, в которой можно услышать Бога.

Длинные, сквозные, белесые облака быстро поднимались из-за горы. Под ними солнце садилось ровным кругом. Подул прохладный ветер, и будто без связи с предыдущим разговором Лорелея накинула пелеринку, закрывая грудь и плечи. Она вдруг стала серьезней и как будто старше.

— Но разве искусство не ведет к Богу? Разве талант не от Бога?

— Почему? Денница тоже был наделен божественной красотой и мудростью, но пал и стал верховным ангелом тьмы. Религия и искусство могут вести в противоположные стороны. Религиозная жизнь — путь нравственного совершенствования, углубления в себя, приближения к первообразу, к божественному замыслу о нас самих. Актерство, писательство чаще всего остается сменой чужих личин, фальсификацией, игрой. Они утверждают человека в гордой самодостаточности его природы. Но эта игра кажется ему такой значительной, что в каждом своем проявлении он готов видеть божественное начало...

— Венедикт сказал, что вы сами — писатель?

— Не знаю, теперь не знаю. По профессии — да, хотя и писала мало. А в последние годы стала опять только читателем. Я потеряла интерес к литературе, когда увидела, насколько лучше всех инженеров человеческих душ знают нас святые отцы.



— Что же вы делаете теперь? — поинтересовалась она.

— Думаю о том, что мне делать.

— Давно?

— Давно.

Чем больше люди ощущали вкус к подлинной духовной жизни — в богослужении, молитве, — тем меньше они нуждались в творчестве внешних форм. Наоборот, они уходили в безмолвие. А после безмолвия, Духом Святым, написаны «Троица» Рублева, псалмы царя Давида, Божественные гимны Симеона Нового Богослова...

Нужны ли промежуточные формы, когда литература уже перестала быть языческой, но еще не может стать молитвой? Формы, отражающие путь человека к Богу, его смятения, падения, первые откровения о небесном, еще недоступном и невозможном? Не знаю.

Однажды я спросила у священника об этом: что мне теперь делать? Он раскрыл Евангелие от Иоанна и прочел: «Итак, сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Этим я и живу.

Но я не знаю, как мне жить в мире.

Край солнца на глазах утонул в синеве. Покой разливался над погруженными в сумрак горами.

О, если бы все слова, которые я говорю, утонули в покое, растворились в молчании... И в этом молчании я научилась бы просто быть перед Богом, не рассуждать о Нем, а созерцать Его и слышать Голос — зачем тогда мне было бы писать?

Но я не умею молчать и молиться, а потому говорю и пишу, и слова мои напрасны.

На столе между мисками с недоеденным блюдом, которое мы весь день готовили с Венедиктом, между стаканами и арбузными корками узкими горлышками в фольге возвышаются пять пустых винных бутылок.

Венедикт и два спутника актрисы сидят на невысоком каменном ограждении под кукурузными стеблями напротив окна трапезной и разговоривают на повышено веселых тонах.

Лорелея налила себе вина и хотела налить мне, но я отказалась. И она не коснулась потом своего стакана. Не доставило ей удовольствия и наше блюдо.

— А это что? — осведомилась она вежливо, едва попробовав.

Я назвала, она сделала вид, что только случайно не узнала аджапсаңдали, но есть не стала.

Вскоре она присоединилась к своим спутникам, эти два небрежно элегантных молодых человека по виду годились ей в сыновья. Она грациозно опустила на траву перед ними, широко раскинув белую юбку. Один из них показывал фокусы с шейным платком и картами, которые, должно быть, для этой цели привез с собой. Венедикт, судя по возбужденным выкрикам и широким жестам, был изрядно пьян. Он поглядывал в мою сторону, потом подошел к двери.

— С нашей стороны было бы бессовестно заставить вас все это убирать. — Он подождал ответа и, не дождавшись, пообещал: — Но мы вам поможем...

В это время на поляне напротив храма появилась фигурка моего сына.

— Димитрий! — закричал Венедикт. — Иди сюда! Гости просят тебя поиграть на фисгармонии.

С оживленными возгласами вся компания направилась в храм.

«Мыть или не мыть? — думала я, на этот раз не без брезгливости оглядывая стол. — С какой стати? Монастырь не место для пирушек актрис с фокусниками. До них-то мне не было дела, но за Венедикта я кровно обиделась. Или вымыть, чтобы стол с бутылками завтра

не был укором протрезвившемуся дьякону? И для смирения мне это полезно». Пока я так колебалась, все решилось само по себе, как и бывает обычно,— совсем стемнело, а у родника не было фонаря.

Из освещенного храма доносились громкие звуки фисгармонии. Я туда не пошла. Мне было неприятно, что Митя их развлекает,— были фокусы с платком, теперь импровизация на темы церковных песнопений. В темноте под ветром я сидела на траве у палатки и думала: где они все собираются ночевать?

Около двенадцати подошел Митя.

— Они уходят.

— Куда это — в такой темноте?

— У них машина осталась на старой дороге, часа' полтора отсюда через лес. Отец Венедикт вызвался провожать. Я ему говорю: «По-моему, вам лучше не уходить так далеко ночью». А он спрашивает: «Димитрий, ты считаешь, что я пьян?»

— А ты так считаешь?

— Мне кажется, они все немного «пьяны».

— Арчила с ними не было?

— За стол он сел вместе со всеми. Но сам не пил и сразу исчез, чтобы не мешать.

Скоро мы услышали крики на другой стороне ущелья. Мелькали огоньки карманных фонариков — экспедиция форсировала склон за ручьем.

С первого дня Митя попросил у игумена разрешения читать вечерние молитвы в маленьком храме. И теперь мы взяли ключи, открыли храм. Изнутри дверь запиралась палкой, воткнутой в металлическую скобу.

Огонек свечи, не колеблемый ни единым дуновением, казался сгустившимся и застывшим световым лепестком. Ни звука не доносилось из-за толстых стен. Молитвы Митя читал наизусть. Тень от его фигуры в подряснике выросла во всю стену.

Молился я рассеянно. А когда правило кончилось, Митя предложил особо помянуть путешествующего иеродиакона Венедикта, чтобы с ним ничего не случилось.

Мне и в голову не пришло помянуть всех четверых — моя христианская любовь так далеко не простиралась.

На утрени Арчил читает по-грузински, мы с Митей — кафизмы по-церковнославянски, отец Венедикт сидит перед аналоем, положив на него тяжелую голову. Он засыпает, но каждый раз вздрагивает, когда надо вставать на «Славах», поднимается, крестится и снова укладывает голову на руки. Раза два вялой походкой он выходит из храма, на некоторое время пропадает в трапезной. Лицо его, с несвежей покрасневшей кожей в крупных оспинах, выражает апатию и подавленность, волосы черным пухом стоят на висках.

Кое-как дотянув службу, никому не сказав ни слова, он исчез.

Проходя мимо трапезной, я заглядываю в окошко. Стол убран и застелен чистой клеенкой. Большой глиняный кувшин с родниковой водой стоит посреди стола, вытеснив даже воспоминание о бутылках. Значит, Арчил встал до службы, чтобы привести трапезную в достойный вид.

Мы с Митей ушли на речку. Я рассказала о вчерашнем разговоре с Венедиктом, и купаться мы больше не стали. Митя снял на берегу скуфью и подрясник, умылся и стал учить «Трисвятое» на хуцури.

Вернулись к началу вечерни.

Венедикт, опираясь спиной о ворота и скрестив на груди руки, разговоривал с толстой теткой, туго затянутой в разноцветное синтетическое платье. Говорила она громко, размахивая руками. Он отвечал широкой, хотя и вялой улыбкой. На нас он взглянул мельком

и отвел глаза, мутные, с красными белками. И вся его фигура в подряснике, похожем на полинялый халат, с грязными тесемками нижней рубахи выглядела весьма помятой.

В начале седьмого мы подошли к нему, чтобы узнать, будет ли служба.

— Вы уже готовы? — выговорил он с усмешкой, наливая из кувшина воду в кружку.

Сам он был явно еще не готов.

— Что с вами, отец Венедикт? — спросила я, чтобы снять недоброе отчуждение, сквозившее в его усмешке. — У вас совсем больной вид.

— Зато вы выглядите отлично... — ответил он тем же тоном. — И почему бы вам так не выглядеть? Приехали с курорта и здесь весь день на речке...

— А вы устали от трудов по монастырю сегодня? — пошутила я, невольно подчинившись его тону.

Он тяжело посмотрел на меня и молча вышел.

Я не хотела его обидеть: я уже догадывалась, что все не было случайностью, это его слабость.

Часов около семи он все-таки начал службу.

Его полная собеседница привела еще семь-восемь женщин и троих детей: все они шли через горы к вечерне. И Венедикт старался компенсировать недостаточную трезвость избытком любезности. Приносил деревянные скамьи, стулья, рассаживал всех в храме в два ряда, как в сельском клубе.

Читал он возбужденно, то резко повышая тон, то забываясь и переходя на бормотание. Зато громко делал замечания Арчилу, когда тот ошибался в чтении.

Женщины чувствовали себя неловко — то ли от общей нервозности обстановки, то ли от непривычки сидеть на службе. Шумно успокаивали детей, вставали, выводили их и возвращались, заталкивали под скамьи сумки с провизией. Однажды дьякон взмахнул широким рукавом рясы и столкнул на пол подсвечник, вызвав общее замешательство. В другой раз стал произносить ектенью, чего не следовало делать без священника, но вскоре опомнился и громко запел, жестами призывая всех следовать его примеру.

Толстая тетка подхватила крикливо и резко. Она оглядывалась на Венедикта, и взгляд ее выражал сочувствие и готовность помочь чем только можно. Оглядывалась и на женщин: вот, мол, какая задача, одного монаха застали в монастыре, и тот пьяный. Чтобы утешить дьякона, она вдруг повернулась спиной к иконостасу и, высоко подняв полные локти, стала снимать с шеи медальон на черном шнурке. И тут же хотела обхватить шею Венедикта в щедром жесте. Венедикт уклонился, но медальон взял и стал надевать на шею Мите. На память об этой прискорбной службе у нас и остался пластмассовый Георгий Победоносец с копьём, поразившим дракона.

Через полчаса женщины стали уходить. Чтобы никого не обидеть, уходили они не сразу, а будто нечаянно, порознь. Оглянется одна на отца Венедикта, пошарит рукой под скамьей, подтягивая сумку, и вдруг шагнет за порог. Остальные проводят ее взглядом, и вот уже другая двигается невзначай к краю скамейки.

Наконец осталась одна женщина, давно уже приготовившаяся к выходу. Она стояла между мною и порогом, напряженно зажав в руке сумку с торчащими зелеными перышками лука. Ее подруги шагах в десяти от двери энергично махали руками. Но она почему-то игнорировала их и все более истово крестилась.

— Нинó! — не выдержали на дворе.

Нина оглянулась, махнула рукой, в другой вздрогнули хвостики лука, и еще дерзновенней вскинула голову и перекрестилась.

— Нино! Нино! — кричали они дружно, как через лес, но будто и с некоторой неловкостью оттого, что мешают ее молитвенному рвению.

Мы заинтересованно следили, как долго устоит Нина. Только Арчил кротким голосом читал кафизму.

Наконец выскочила и Нина, женщины освобожденно загалдели, больше не робея, не сдерживая голосов, и двинулись к воротам.

И как-то почти сразу отец Венедикт закончил службу.

— Игумена нет — и молитва не идет... — заключил он по-русски, но обращаясь к Арчилу.

— Конечно, — мягко согласился тот.

В этот момент в ворота въехал «газик».

— Вот и отец игумен... — упавшим голосом объявил Венедикт и обреченно пошел навстречу.

Когда мы заперли храм и подошли, дьякон, не глядя на нас, уже проследовал за ворота.

Отец Михаил, в подряснике, с четками на шее, обернулся, и мы обрадовались друг другу, как будто не виделись месяц. Он благословил нас и с довольным видом кивнул в сторону кузова, из которого Арчил уже тащил ведро с помидорами:

— Посмотрите, сколько я вам всего привез...

Нестроеня кончили, игумен вернулся, братья приободрилась и повеселела. Все вместе мы выкладывали из ведер помидоры, огурцы, из мешка картошку, таскали на кухню — под тем же навесом террасы выгороженную лестницей, — раскладывали на столе груши и слегка примятые персики.

Отец Михаил, широко улыбаясь, развернул бумагу на крупной головке сыра, пододвинул ко мне:

— Хорошо воняет? Домашний коровий сыр должен вонять... Очень мне захотелось сыру, и я не устоял. Димитрий, как называется этот грех?

— Чревоугодие? — предположил Митя, влюбленно глядя на игумена.

— Не разбираешься. Чревоугодие — это когда хотят съесть много, угодить чреву. А если хочется усладить гортань — это гортанобесие. Всякому нашему желанию соответствует название греха. Ох и трудная эта христианская жизнь! Куда ни повернешься, везде тебе шах и мат...

Лежали на столе батоны и круглые подрумяненные хлеба, зеленый и красный перец, пучки петрушки, укропа, пряно пахнущей травки тархун, стояли стеклянные бочоночки меда величиной со стакан. Три больших арбуза завершали натюрморт. Такого изобилия потом у нас не было ни разу.

— Вот сколько всего нам Бог послал, — радовался отец Михаил.

И мне тогда еще не до конца понятна была его радость. Мы просто вместе переживали эту домашнюю суету как маленький праздник. Игумен раскрыл картонный ящик и, присев рядом с ним на корточки, стал раздавать нам канцелярские подарки — тетрадки, записные книжки, блокноты и карандаши: я и забыла, что как-то при Венедикте пожалела, что нет с собой тетрадей.

Из другого ящика отец Михаил осторожно извлек ламповые стекла.

— В продаже их нет, я заказывал на заводе.

Он залез по деревянной лестнице и прибил в двух местах на стене ободы для ламп. Арчил заливал керосин, мы резали фитили. Разгорелся бледный в предвечернем свете огонек, стекло затуманилось, но скоро стало прозрачным. И я вспомнила, что уже видела, как разгорается керосиновая лампа, давным-давно, после войны. Игумена тогда еще не было на свете, а мне уже было восемь лет.

Собрались ужинать. Я вышла за водой для чая.

На скамье перед родником у сосны неприкаянно сидел отец Венедикт. Под струей воды стоял таз, и вода переливалась через край. — Вот хочю напоить лошадь... — показал дьякон взглядом на тазик.

После братской трапезы ужинала я, Митя пил чай за компанию по второму разу. Отец Михаил раскрывал то кулек с очищенными грецкими орехами, то трехлитровую банку с вареньем, предлагая нам попробовать:

— Варенья такого вы никогда не ели? Инжирное. Это мне мать прислала, она мои слабости знает... Крышку потом закройте, а то все муравьи съедят.

Мы смешивали орехи с медом и пили чай с вареньем, инжир янтарно просвечивал.

Уже в темноте мы с Митей вынесли на родник посуду.

Отец Венедикт сидел в той же позе, и тазик стоял под струей.

— Тазик уже наполнился,— известила я.

— А... — махнул рукой дьякон. — Это Арчил забыл напоить лошадь. Ну, ничего, она не умрет от жажды.

В трапезной горели керосиновые лампы. Теплая ночь сгущалась за решеткой окна. В монастыре водворялся привычный покой.

Ночью оглушающий грохот потряс землю. И тут же на наше брезентовое укрытие посыпалась дождевая дробь. Потом с нарастающим гулом рухнула с неба лавина воды.

— Мама,— услышала я сквозь гул отдаленный голос,— вставай, потоп.

Вставать, пожалуй, смысла не было.

Вскоре закапало сквозь провисшую крышу на стол, брызги летели на подушку. Вдрагивая от сырости, я поднялась, чтобы убрать одежду, и приоткрыла полог.

Темнота гудела, журчала, неслась потоками мимо палатки, обдавала меня холодным сыррым дыханием и брызгами.

Вспыхнула молния, с грохотом выхватив из тьмы огромный черный силуэт Джвари, и тьма его поглотила. Потом все повторилось. Тусклым синим огнем озарилось затонувшее пространство. Сверкнул высокий купол с крестом, ветки сосны просквозили мгновенной синевою.

— Так нас вместе с палаткой унесет с обрыва.

— Как раньше на кораблях, если матрос умирал — его заворачивали в брезент и бросали за борт,— бодро поддерживал Митя.

Брезент под ногами вздулся, под ним текла вода. Одежду и обувь я засунула под матрацы, а сама завернулась в одеяло — это единственное, что я могла предпринять. В темноте нашарила часы. Вспыхнула молния, блеснули стрелки. Был первый час, до утра оставалось пережить еще шесть часов.

— Кто-нибудь мог бы побеспокоиться, не смыло ли нас.

— Что ты говоришь, мама... Так они и пойдут ночью беспокоиться о женщине — это неприлично. Да и если смыло, беспокоиться поздно. Завтра будет видно, когда рассветет.

Так мы лежали, завернувшись в одеяла, под брезентовым укрытием, над обрывом, ночью, в горах, на краю света и болтали вздор. Мы были уверены, что ничего плохого с нами не может случиться.

«Ты теперь под охраной», — сказал мне один знакомый, когда я только пришла к вере и начала молиться.

Я и правда чувствовала себя под охраной и с тех пор ничего не боялась.

Молниевые разряды били прямо над ущельем. Между нашими кроватями протекал ручей, но уровень паводка еще не достиг матрацев.

Под утро, когда и грохот и сырость нам совсем надоели, а усталость взяла свое, мы мирно уснули, укрывшись с головой.

Рассвет дымился сырой мглой. Она поднималась из ущелья, лежала над ним пластами, висела клочьями под ветками сосен. Пласты тумана стекали из распадков гор. Казалось, что свет не сможет пробиться сквозь эту густую завесу. С сосен капало, и каждая иголка тускло светилась нанизанной на нее колеблющейся подвеской.

Сырая трава на тропинке к базилике была мне по колено, и ноги сразу промокли.

В храме, как всегда перед службой, был полумрак и тишина. Потрескивала свеча, бросая круг света на прекрасный древний шрифт богослужбных книг. Поблескивало серебряное шитье черного покрывала на аналое — крест в терновом венце. И двигалась по стене медленная тень Венедикта.

— Димитрий, читай.

Митя начал «Трисвятое» на хуцури. Арчил, полуобернувшись, смотрел на него, затенив ресницами влажный блеск глаз.

Потом иеродиакон тяжело ронял покаянные слова шестопсалмия:

— Господи! Услыши молитву мою, внемли молению моему во истине Твоей. И не вниди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, сердце мое в смятении... Прости-раю к Тебе руки мои, душа обращена к Тебе, как жаждущая земля! Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает... Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу... Научи меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог мой, Дух Твой благий да ведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня! Ради истины Твоей изведи из печали душу мою...

Запели «Честнейшую Херувим», и, как обычно, отец Венедикт опустил на колени. Плечи его были согнуты под рясой, глаза, обращенные внутрь, неподвижно остановились на красном огоньке лампы перед образом Богоматери.

— Упат'иоснесса Керубим-та-а-са... да аг'матебит узестаэсса Серапим-та-а-са...

Есть такой перепад голоса в древних грузинских напевах, не воспроизводимый ни в нотах, ни в описаниях, когда ты будто слышишь сокрушенный вздох чужой души и он отзывается в тебе сладкой болью. Кажется, что если умеет она так горевать, в этом есть уже обещание утешения... Отец Венедикт молился, и молитва его шла из глубины сердца, сокрушенного и смиренного, которое Бог не уничтожит.

Так плакал, наверное, блудный сын, когда уже расточил имущество, познал одиночество, унижение, голод и нищим шел к отцу, чтобы сказать: «Согрешил я пред небом и пред Тобою. И уже недостойн называться сыном Твоим...» И жалко ему было себя в этом раскаянии, растопившем сердце, и все уже было равно, можно и умереть у родного порога. Разве он мог поверить, что и отец обнимет его со слезами: «Это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

— Упат'иоснесса Керубим-та-а-са...

Лицо отца Венедикта, едва освещенное лампадой, было красивым и одухотворенным.

Утром на грузовой машине приехали реставраторы со своим багажом. Я вижу их сначала издали, потом мы встречаемся у родника: двое мужчин и две женщины. Старшая — доктор искусствоведения, зовут ее Эли — от полного Елизавета, ей лет за пятьдесят.

Младшей под сорок. Обе в брюках, младшая курит. Реставраторы заняли второй этаж над трапезной. Жить они будут своим домом, независимо от монастыря и отдельно питаться.

Первой связанной с их приездом переменной было то, что игумен, посоветовавшись с братией, отменил колокольный звон, чтобы не будить реставраторов рано утром.

В монастырях есть послушание будильника — это монах, который встает раньше всех и будит братию, обходя все кельи с зажженной свечой. Подойдет к двери, скажет: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», — а брат из кельи поднимается, открывает дверь и зажигает свою свечу от свечи будильника. В больших монастырях это трудное послушание: чтобы разбудить пятьдесят — шестьдесят братьев, будильнику надо просыпаться очень рано. Он же обычно зажигает и все лампы в храме.

У нас — при трех братьях и двух лампадах — Венедикт предложил назначить будильником Митю. А чтобы будить Митю, нам дали настоящий будильник, часы со звоном, и Митя с утра стал волноваться — как бы завтра не проспать и не подвести братию.

На верхней дороге слышен цокот копыт, потом появляется всадник, одетый на ковбойский манер. Тонконогая рыжая лошадь на полном скаку пронесется мимо скамьи перед родником, едва не задев грудью отца Михаила, и с коротким ржанием поднимается на дыбы у ворот. Игумен сидит, все так же положив руку на спинку скамьи, наблюдает с улыбкой, как ковбой привязывает лошадь и закуривает сигарету.

Через несколько минут на дороге появляются туристы. Игумен уходит, а площадку перед родником заполняют парни и девочки в джинсах, шортах, сарафанах, с рюкзаками и транзисторами. Прогулки в Джвари запланированы в экскурсионном бюро, а на субботу и воскресенье приходит конная экскурсия. Мы видим ее уже на склоне за ручьем. Впереди ковбой в широкополой шляпе ведет под уздцы своего жеребца, осторожно спускающегося по откосу, и дальше — растянутая вереница пешего народа с лошадьми на поводу. На лошадях они едут по старой дороге, в зеленой тени вязов, а у перевала спешиваются. За хутором есть палаточный городок, где туристы ночуют, и стойла для лошадей.

Суббота и воскресенье — самые беспокойные дни. И по будням туристы приходят раза два в неделю. Их посещения отмечены на окрестных полянах консервными банками, бутылками, корками от арбузов и бумажным мусором.

Обычно шумную толпу на монастырский двор проводит Арчил — игумен и Венедикт бесследно исчезают. Туристы фотографируются перед храмом группой и парами, обнявшись, роняют окурки и фольгу от фотопленок. Одна пожилая женщина спросила гида, который привел их из города, не возражают ли монахи против этих посещений. На что гид с чувством безусловного превосходства над монахами отвечал: «Какое они имеют право возражать? Монастырь принадлежит государству». Ободренные гости заглядывали к нам в палатку, звонили в колокол, пока не подоспел Арчил с увещеваниями.

Мир наступает на Джвари со всех сторон.

Даже во время службы мы слышим крики туристов: дверь храма выходит на поляну перед сетчатой оградой на месте разрушенной каменной стены. Я вижу эти набеги как будто уже с точки зрения обитателя монастыря. Девуцу, сидящую на коленях у ковбоя, который при ближайшем рассмотрении оказывается весьма пожилым, скрывающим под лихой шляпой пространную лысину. Голые плечи и руки, голые ноги, короткие юбки, объятия, флирт, пошлые песни под гитару, одни и те же. Я вижу, как утром выходит Арчил с мет-

лой и граблями убирать на полянах сор. Вижу, как мешает службе, когда две-три пары туристов забредут в храм и рассматривают монахов с беззастенчивой любознательностью.

Так же разглядывают туристки Арчила и Митю в скупье, когда они выходят к роднику.

— Можно у вас взять семь стаканов? — спрашивает меня бойкий юноша в осетинской войлочной шапочке, уже охладивший под родниковой струей бутылки.

— Подождите, я их вымою.

Я спрашиваю у Арчила, давать ли посуду.

Он кивает:

— Если у вас что-нибудь просят, а у вас есть, всегда надо давать.

— Ничего, что они пьют вино, а потом из этого стакана будет пить чай иеромонах?

Арчил грустнеет, ему не нравится вопрос. Да и мне самой он не нравится, но монастырское имущество кажется мне освященным, и мне жалко выносить его в мир.

— Стаканы можно потом хорошо вымыть... с содой,— советует Арчил.

— Ну а убирать мусор они не могли бы сами?

— Они — гости...— Арчил смотрит на меня с укором.— Неудобно просить их об этом. Грузинская пословица говорит: неожиданный гость — от Бога.

У нас тоже есть похожая: незванный гость хуже татарина,— оставшаяся от татарских нашествий. Но я не решаюсь вспомнить о ней вслух.

Туристы уносят семь стаканов, потом приходят еще за двумя. И больше не возвращаются.

— Чай будем пить из рюмок или из железных кружек? — спрашиваю я Арчила, накрывая стол.

— Можно из стеклянных банок...— подумав, доверительно решает он.— Как раз хорошо класть пакетик растворимого чая в банку. А для стакана это многовато.

Он сам отправляется на родник отмывать содой стеклянные банки от консервов и варенья.

— Между прочим,— вспоминает он, возвратившись,— вчера мы пили боржомом и ели мясо — это туристы принесли.— И, подумав, добавляет: — И арбуз в среду тоже.

Про вчерашнее мясо мне рассказывал Митя как участник событий. Мясо в монастыре никто не ест. Однако, если туристы приносят, его с благодарностью принимают, ставят на стол и предлагают гостям. И тут отец Михаил, обращаясь к Мите, предложил ответить. Митя отказался: мясо было жирное, не очень понравилось ему на вид, к тому же он просто стеснялся бы есть от целого куска при игумене и Венедикте, а вилки и ножи не были поданы. И вдруг отец Венедикт протянул через стол руку и взял кусок. Держа рукой кость, он ел мясо. Потом взглянул на Митю и спросил:

— Димитрий, как ты считаешь, что хуже: съесть кусок мяса или осудить брата?

— Я думаю, что хуже осудить...— ответил Митя и отвел глаза.

Он сделал вид, что не понял, почему Венедикт обратился с вопросом к нему.

Арчил сидел потупившись. У него игумен давно взял обещание не есть мяса, даже если он сам будет угощать.

Игумен наблюдал всех троих. И, выходя из-за стола, подвел итоги:

— Вот мы тут сидели. довольные собой: ах какие мы постники! В результате Венедикт сегодня миллион выиграл, а мы — по три проиграли.



Пропавшие девять стаканов тоже стоят меньше, чем осуждение. Но я все же спрашиваю при Арчиле у игумена, давать ли посуду впредь, надеясь получить твердое распоряжение.

— А еще осталось? — заинтересованно приподнимает он брови.

— Чайной совсем нет, — суживаю я ответ.

— Ну, чайную больше и не давайте.

Бринька и Мурия, высунув языки, валяются в тени кукурузных стеблей. Я вспоминаю, что Арчил дня три назад поручил мне кормить их. И даже выставил по моему совету к роднику две миски. Один раз я налила в них суп, но собак рядом не оказалось, суп, должно быть, прокис, и есть его они не стали. Чем же их кормить? Сами мы едим овощи и картошку, а собакам нужно варить отдельно.

Сверху по лестнице спускается отец Михаил с косой. Он без жилета и шапочки, параманный крест надет поверх подрясника.

— Бринька! — присвистывает он.

Бринька кидается ему под ноги. Она вывалялась в репьях — вся грязенькая лохматая шерстка усажена колючими шариками, — и вид у нее совсем жалкий.

Прислонив косу к стене, отец Михаил усаживается на нижней ступеньке лестницы и осторожно вытаскивает из Бринькиной шерсти репей за репьем. Потом толкает Бриньку ладонью, она переворачивается на спину, пыхтит, повизгивает и вдруг, вскочив, начинает носиться кругами по поляне и громко лаять от избытка чувств. Отец Михаил, расставив руки, делает вид, что хочет ее поймать, но никак не может.

Когда он берется за косу, я спрашиваю, можно ли посмотреть книги.

— Можно... Все можно, — с еще веселыми после игры глазами обернулся он ко мне. — Как говорит апостол, все нам позволено, но не все полезно.

Он сам зашел со мной в смежную с трапезной комнату и открыл шкаф. Шкаф занимал треть стены и сверху донизу был набит книгами, в основном на грузинском языке. Я стала вынимать их по одной, пыльные, в потрескавшихся кожаных переплетах, без переплетов совсем, с великолепным и строгим графическим рисунком древнего шрифта на плотной голубоватой, серой, желтой бумаге.

Самое напряженное и насыщенное время моей жизни прошло среди книг. С них началось и религиозное познание. Индусы говорят, что каждая истина найдет тебя, когда ты для нее созреешь, она не опоздает ни на день, ни на час — придет и постучится в дверь. Так все и было. Вышла книга моих рассказов, я получила большой гонорар, прекратила всякую работу для денег, которой и никогда не злоупотребляла, и разместила в углу тахты под окном. А в дверь стучались люди и принесли мне книги, изъятые из библиотек и вычеркнутые из каталогов.

В студенчестве я читала Шопенгауэра и Ницше и верила в гегелевский Абсолютный Дух, осуществляющий себя в мире. Позже, читая экзистенциалистов, я стала чувствовать, что вечные вопросы уходят корнями в религию. Мне хотелось познакомиться со всеми религиозными системами, когда-либо бывшими в мире, чтобы найти Истину. «Бхагавадгита» и «Дхаммапада», йога, буддизм, дзэн-буддизм, антропософия, Бердяев — груда книг разрасталась. Все они были чужие, потому что стоили слишком дорого, я не могла их покупать и прочитывала по двести — триста страниц в день, переживая состояние непрекращающегося откровения.

И все-таки не я нашла Истину, а она меня. Когда я стала читать отцов Церкви и заново, в их свете, Евангелие, поток познания, до того питавший разум, пошел через сердце и вынес на такую глу-

бину, что все прежнее прошло, выпало из поля зрения. Познание стало благодатным.

Отец Михаил тоже извлек из тесноты нижней полки рассыпающийся фолиант и присел на койку в углу, внимательно его листая.

— Каких же отцов вы читали?— спросил он между делом.

Я добросовестно стала перечислять. Когда я дошла до Симеона Нового Богослова, игумен покачал головой. Я приободрилась, мне хотелось рассказать о созерцаниях Божественного Света, о которых я читала с восторгом от раскрывающейся высоты и слезами от ее недоступности. Но игумен меня прервал:

— Это ужасно... Ужасно, что вы читали святых отцов.

Я умолкла, ожидая, что будет дальше.

— Как же вы не вычитали у них, что можно читать только то, что соответствует твоему духовному уровню и образу жизни? Зачем вы читаете Лествичника, эту классику монашеского опыта, если живете в миру? Это только увеличивает разрыв между тем, что вы знаете, и тем, что вы есть на самом деле.

Он отложил свой фолиант.

— Вы говорите, что не сделали и первых шагов на пути христианской жизни... Как же вы смеее читать о созерцаниях Божественного Света? Святые всю жизнь постились, молились, умерщвляли плоть, жили в пустыне, боролись с бесами, а вы улеглись на диван с книжкой и думаете, что приобщаетесь к их откровениям?

Это не было обидно, потому что было правдой, и я сама ее знала. Но у меня не было другого пути. Безрелигиозная семья, школа, университет. Мне первый верующий встретился в тридцать восемь лет.

— Не думаю, что приобщаюсь. Но я узнаю о том, что они есть. А могла бы и не узнать. Все было не так, как должно быть. Раньше ребенок говел и причащался, стоял со свечой в Пасхальную ночь. Ехал с отцом на телеге в лес, чтобы срубить березки и нарвать цветов для храма к Троице. Он исповедовался, слышал «Свете тихий святых славы»... А у нас вместо иконы висела металлическая тарелка репродуктора, и вместо молитв я слышала пьяные песни и ругань в коммунальной квартире. Слава Богу, я узнала, что кто-то видит Божественный Свет, когда прочитала об этом. Значит, Бог задал мне такую формулу познания и судьбы, и мне нужно ее прожить.

— Так живите, делайте свои первые шаги! Что же вы опять зарываетесь в книжный шкаф? Что это вы там откопали? — Он подошел и взял у меня из рук прекрасное издание Максима Исповедника.— Ну вот, о чем мы говорим?— Он подержал книгу на ладони, будто оценивая ее на вес.— Я не запрещаю вам читать Максима Исповедника. Я хочу, чтобы вы сами поняли, что вам нельзя его читать.

Я пошла за ним к шкафу, чтобы на всякий случай проследить, куда он поставит книгу.

— Что вы смотрите на меня так, будто я вырвал у вас изо рта кусок хлеба? Возьмите... Но я бы хотел, чтобы вы своей рукой поставили книгу на место не сегодня, так завтра.

— Завтра не успею...— Я заглянула в конец, в книге было около восьмисот страниц.

Но он не принял шутки.

— Все надеетесь, что прочтете еще сто книг и станете как Симеон Новый Богослов?

— Нет. Не надеюсь...

Я облегченно вздохнула, обняв двумя руками Максима Исповедника.

— Почему вы ничего не принимаете, что я говорю? Ведь это интеллектуальная жадность: одни набивают комнату мебелью, другие

набивают голову знаниями, внешними для них. Как просто понять: христианство не сумма познаний, а образ жизни...

— Я уже два года говорю себе: это последняя книжка, вот прочту и начну другую жизнь.

— И почему вы не переделались?

— Я переделалась.— На мне была косынка и самое простое из моих платьев, ситцевое, с длинными рукавами.

— Это все не годится.

— Больше у меня ничего нет.

— Найдем. Что это за голубенькая косыночка? Черный платок нужен и рабочий халат, длинный. Никаких босоножек, наденьте башмаки.

Лицо его принимало привычное в разговоре со мной чуть ироническое выражение. Эта усмешка, пожалуй, относилась не ко мне лично, тем более не к предмету разговора. По какой-то обмолвке его я догадалась, что ему не приходилось серьезно говорить о религии с женщиной. И, увлекшись беседой, он вдруг вспоминал об этом странном обстоятельстве и втайне посмеивался: смотрите, как он разговаривал. Меня эта насмешка не задевала.

Он прикрыл шкаф и сел на подоконник, а я стояла напротив, прилонившись плечом к стене. За решеткой окна качались воробьи на кукурузных листьях.

— Как это все трудно — определить свою меру... Недавно я был на Афоне. У афонских монахов очень длинные службы. Крадут у сна, спят часа три-четыре, а потом весь день дремлют. Пока сам говорит, еще ничего, кое-как бодрствует. Начнешь ты говорить, смотришь, он уже отключился. Вот я и думал: не лучше ли спать больше, чем весь день дремать и ни на что не годиться?

— Конечно, лучше,— рассудила я.

— Ага... А вы сколько спите?

— Я — очень много. Мне всегда нужна была свежая голова, чтобы усваивать то, что читаю, или чтобы писать. Зачем мне такая экономия, если голова не работает?

— Интересная жизнь... А что можно работать не головой, в эту свежую голову не приходило?

— Всерьез не приходило.

— Но человек не головастик, у него есть тело, которое тоже требует нагрузки, деятельности. И физическая усталость дает иногда такое состояние покоя, которого вы в книге не почерпнете. Заметьте, если человек устал, он не способен раздражаться. Плохи крайности. Плохо, например, если вы работаете на заводе и выматываете все силы для заработка. Но если в вас действует только мозг, это тоже никуда не годится. Нарушается равновесие. Царский путь — посередине между крайностями... И «познай самого себя» — опять же не умственно, не об отвлеченном знании речь. Вот и надо найти эти свои меры — сна и еды, чтения и молитвы, труда и созерцания. Читать вообще нужно не больше половины того времени, которое ты молишься...

— Тогда мне пришлось бы совсем мало читать.

— Или гораздо больше молиться. Духовность — это особая энергия... И она выявляется в желании молиться, в обращенности души не к миру, а в свою глубину — к Богу...

Он поднялся, рассеянно, по привычке что-нибудь делать руками стал счищать воск, застывший на рукаве подрясника.

Заглянул Венедикт, но ничего не сказал и остался в трапезной.

— Не знаю, не знаю...— медленно произнес отец Михаил,— стоит ли это все вам говорить, как далеко вы пойдете. Если бы вы просто ходили в церковь, ставили по праздникам свечки, можно бы поговорить один раз и отпустить с миром. Но у вас намерения максимальные, замашки все какие — до Симеона Нового Богослова добрались...

— И я не знаю, как далеко пойду. Даже не знаю, как мне дальше жить, куда ведет этот мой путь. Знаю только, что теперь ничего другого не надо.

Он посмотрел на меня прямо:

— Этот путь ведет в монашество. Чем раньше вы это поймете, тем лучше для вас.

Он вышел и стал точить косу.

Я сидела на подоконнике и смотрела, как он прошел с косой первый ряд от кукурузных стеблей в сторону нашей палатки. За ним в траве оставалась ровная дорожка и срезанные стебельки мальв. Желтые светильнички падали в траву и угасали.

Мы пережили еще одну грозовую ночь. Никто не побеспокоился о нас. Когда я сказала, что мы почти не спали, Венедикт только спросил, поблагодарила ли я Бога за испытание.

— Да, когда оно прошло, а мы уцелели.

— Это не то, надо благодарить во время испытания.

— Вы так и делаете?

— Мне приходится, чтобы не было еще хуже.

Вечером опять отдаленно загремело в горах. Воздух перенасытился влагой, и она выпадала разрозненными каплями.

После службы подошел отец Михаил и сказал:

— Можете перебираться в келью.

Тон был почти безразличный, хотя игумен знал, какая это для нас радость. Палатка не только протекала сверху и снизу, но и напоминала о временности нашего пребывания в Джвари. Совсем другое — келья: поселившись в ней, мы как будто уже приравнивались к братии.

В лесу около храма три дощатых домика. Они поставлены на сваях, чтобы вешние и ливневые воды не разрушали фундамент. Дом игумена увенчан треугольной крышей, скрыт в деревьях недалеко от двухэтажного зимнего дома. За нашей палаткой на обрыве — келья Венедикта, с плоской крышей, обтянутой толем. А между ними в лесу есть еще один домик, о котором мы до сих пор и не знали. В нем недолго жил иеромонах Иларион. Три месяца назад он уехал на лечение в город и, как полагает игумен, больше не вернется: «Наша жизнь — не для всех. Илариону здесь не хватает публики». В его келью игумен и благословил нас переселиться.

После палатки домик кажется просторным и высоким. Он похож на келью Венедикта: тоже на сваях, под плоской крышей, с двумя окнами, только вместо стекол вставлена в рамы прозрачная пленка. Железная кровать стоит у стены напротив двери. Десять толстых свечей, наполовину сгоревших, в подтеках воска, прилеплены к заржавевшей спинке кровати над изголовьем: пока не было стекол для ламп, Иларион читал при свечах. В углу под иконой Богородицы стоит на косячке давно угасшая лампада. Рядом висят епитрахиль и черный покров с вышитой красным Голгофой, схимническим крестом.

Вторую кровать и стол нам помог перенести из палатки Венедикт. Они широкие, низкие и различаются тем, что под столом прибит один ящик от улья, посередине, под кроватью, — два, с обоих концов, и это придает ей непоколебимую устойчивость. Стол мы разместили торцом к двери, Митину кровать — вдоль стены под окном, на вешалку у двери повесили подрясник и одежду. Матрацы, одеяла и всякую утварь мы с Митей перетаскивали уже в темноте, светя себе карманными фонариками и проложив в сырой траве на склоне узенькую тропинку.

По крыше мерно постукивал дождь, а у нас было тепло и сухо. Мы опустили на окнах шторы, зажгли две свечи в подсвечнике. Сидели на деревянных скамеечках у стола и удивлялись тому, как все хорошо складывается у нас в это лето.

— Ты осталась бы здесь навсегда? — спросил Митя, снимая нагар со свечи.

— Осталась бы. Только с тобой.

— Я-то могу остаться. А тебе нельзя.

— Это я и так знаю. Но такого дома у меня никогда не было.

Всю жизнь я тосковала по тишине и уединению, а жила в общежитиях или коммунальных квартирах с чужими людьми. И вот мы сидим вдвоем с Митей, единственным родным человеком на земле, с которым нам всегда хорошо вместе, а вокруг дождь, лес и горы.

Утром я возвращаюсь из храма в келью, еще наполненная богослужением. Тропинка ведет между деревьями по склону холма над монастырским двором. Мимо колокольни с тремя позеленевшими колоколами. Мимо еще одного, едва приметного родничка, из которого вода стекает в небольшой бассейн с лягушками, по ночам оглашающими двор.

Нежные красноватые облака над куполом Джвари пронизаны светом. И светом сквозят ветки сосны над крышей. Храм развернут ко мне фасадом, и каждый раз словно заново я вижу купол, похожий на полураскрытый зонтик, и круглый барабан под ним с двенадцатью оконными проемами. Если встать прямо напротив храма, два средних окна совместятся и сквозь барабан ударит солнечный луч. Окна празднично обведены рельефом из арок, между ними сохранился древний орнамент. Весь храм облицован светлой песчаниковой плиткой, и у каждой свой рисунок породы и свой оттенок. А все это вместе свободно, совершенно, живо, и все это я уже люблю.

Я так люблю Джвари, эти горы, ущелья вокруг, и свою келью, и обитателей монастыря, и Митю, что мне хочется благодарить Бога за все и молиться.

У меня еще никогда не было дней, так наполненных светом, благодарностью и молитвой.

Однажды мы с Митей и Арчиллом ходили в Тбилиси. Арчила игумен отправил в командировку — учиться печь просфоры; до сих пор за ними посылали каждый раз под воскресенье, перед литургией, а теперь решили, что проще печь самим. А мы хотели принести свои вещи от родственников Давида. Когда мы с ним шли в Джвари и он говорил, что надежды остаться там нет, я все-таки несла в сумке кое-что необходимое на первые дни. Мы обошлись этим. А теперь, обосновавшись в келье, мы могли принести остальное.

Уходили впятером — впереди бежали Мурия и Бринька, провожающие всех из монастыря. Поднимались по ломам пересохших ручьев, по которым несколько дней назад спускались. Собаки взбегали метров на десять выше и ждали нас, свесив языки, наверно, недоумевали, почему мы идем так медленно, если можно бежать быстро.

— Вы их попросите, пусть завтра нас встретят, чтобы мы не заблудились,— предлагал Митя Арчилу.

— Надо идти с Иисусовой молитвой, и не заблудитесь,— отвечал Арчил.

Остановились отдохнуть на знакомой седловине, распугав серых ящериц. Змеи тоже заползают сюда греться на солнце, и я решила, что лучше тут не задерживаться. Но Арчил сказал, что и змей не надо бояться, если ты вышел из монастыря по благословию игумена и перекрестил перед собой дорогу.

Без подрясника, в черной шерстяной рубашке, несмотря на жару, и черных брюках, Арчил казался бы незащищенным — маленький, узкоплечий, большеголовый,— если бы не эта ясность его веры, как будто делавшая его выше и сильнее.

Все нам с ним удавалось, идти было легко. И на шоссе сразу догнала маршрутная машина. Мы втроем уселись на заднее сиденье. А собаки долго бежали за нами — не затем, чтобы догнать, но до последних сил проявляя ревность.

Потом нас обдавало ревом машин на мосту, выхлопными газами, говором толпы, жаром расплавленного асфальта: после Джвари город казался непереносимым для обитания.

Тетя Додо раздвигала стол на балконе, расставляла на нем бутылки с зеленой мятной водой, лобии, салаты и зелень. Я видела ее через раскрытую на балконе дверь.

Мы сидели с Тamarой, женой Давида, и говорили на интересную для обеих тему — о нем. Не без тайной гордости она рассказывала, что он окончил геологический институт, был ведущим специалистом, прожигателем жизни и светским львом. И вдруг, представьте себе, ушел чернорабочим на ремонт собора, потом вообще в монастырь. Тогда она считала, что ее жизнь загубил какой-то игумен, мечтала вырвать ему бороду по волоску.

Невысокая, с легкой фигурой, светловолосая и кареглазая эстонка с милым лицом, наполовину прикрытым модными круглыми очками с голубоватыми стеклами, она выглядела слишком молодой для матери троих детей, слегка аффектировала свои кровожадные намерения, но и смягчала их юмором. Она равно гордилась тем, что Давид был светским львом, и тем, что он едва не стал монахом.

А я знала, что с молодости он глубоко переживал мысль о смерти. Чаще всего люди стараются не помнить о ней, сделать вид, что ее нет и не будет, и так снять все вопросы. Для них тень вечной ночи не обесцвечивает временные земные радости, хотя мне трудно представить себе радости, которыми можно так беспробудно насыщаться. Но Давид относился к меньшинству, для которого бытие требует оправдания высшим смыслом. И его встреча с игуменом Михаилом не была случайной, как ничто не случайно.

Здесь, на нейтральной полосе, у тети Додо, Тамара впервые увидела игумена: он с Давидом приехал из Джвари, а она прибежала, «как разъяренная львица».

— Мне раньше по глупости казалось, что верующими становятся от какой-нибудь недостаточности. Смотрю, отец Михаил ходит прямо, рослый, сильный. Умный... Вижу, что он все про меня знает. Я даже злилась, что он меня насквозь видит. И говорит спокойно, мягко: «Давид будет хорошим монахом. Но сможете ли вы одна вырастить хороших детей? Может быть, вы погорячились? Подумайте хорошо...» Он мог бы его постричь, и конец, был бы ему хороший монах. А я сижу робко, из львицы превратилась в замороженного мышонка... Еще не могу поверить, что это он мне мужа обратно привел.

— Ну, скажем, я сам пришел,— вмешивается отец Давид и предлагает нам перейти к столу.

Вернулся с работы младший брат Давида, Георгий, и наше застолье затянулось до вечера.

Удивительный мир окружал нас в этой семье. Георгий — родной брат Давида, но сын тети Додо, что оказалось возможным благодаря необычайной любви, связывающей родственников. Двадцать восемь лет назад мать Давида ждала третьего ребенка. А ее кроткая сестра Додо с мужем были бездетны, и Додо пролила много слез, прося у Бога сына. Теперь стало понятно, что сын у нее уже не родится. Отец и мать Давида решили возместить жестокость природы своим милосердием и предназначили новорожденного в подарок сестре. Так наполнилась чаша семейной жизни тети Додо. А когда Георгий подрос и узнал о своем происхождении, он тоже не был им опечален — во всяком случае так он рассказывал эту историю мне. Наоборот, он даже считал, что ему особенно повезло: у каждого его приятеля по

одной матери, а у него — две, и обе его очень любят. Одна потому, что получила его в нечаянный и поздний дар; другая потому, что оторвала от себя в жертве любви.

И Давид приходит к тете и брату как домой, приводит друзей обедать. Так он и нас привел в первый наш день в Грузии.

Мы познакомились в кафедральном соборе: здесь он начал чернорабочим, здесь его рукоположили и оставили служить. А мы знали только его имя через несколько разрозненных звеньев знакомств. Сидели с ним на скамейке у собора и говорили о Боге. Потом началась и кончилась вечерня. Отец Давид, отслужив, вышел к нам в подряснике и с крестом: «Ну, пойдете». Мы не стали спрашивать куда. В нашей небольшой религиозной биографии Бог выслал нам навстречу только лучших из своих служителей — по великой милости Своей. И мы привыкли, что священника надо слушаться, тогда все выйдет хорошо. Так мы пришли к тете Додо, а потом приходили каждый день, пока не отбыли в Джвари.

Грузия началась для нас как чудо и праздник. И он еще длился.

Тетя Додо показала нам, что такое аджапсандали. Мы ели это пряное блюдо и постные пирожки и после знойного перехода выпили по шесть чашек чая с вишневым вареньем. А тетя Додо только улыбалась, приносила, уносила, наливала и с тихой радостью предлагала налить еще.

Нам было хорошо вместе в этот день, как и раньше. И мы говорили о вере, о священстве. Отец Давид рассказывал, что он и представить не мог, как это даже физически тяжело — в неделю дежурства по храму весь день крестить, венчать, отпевать, какой полной отдачи сил требует эта работа, но и какой мир нисходит после нее.

А Георгий, киновед и кинокритик, невольно сравнивая свои занятия с этим, спрашивал, как я считаю, можно ли служить добру средствами мирского искусства. Я отвечала, что кино вообще чаще всего несерьезное дело, а ведать тем, как им занимаются другие, еще менее серьезно. И если бы я была мужчиной и у меня появилась надежда принять сан, я бросила бы всякое искусство, ни на минуту не задумавшись. Потому что любое наше занятие имеет сомнительную ценность, а священник соединяет небо и землю, Бога и человека в таинстве Евхаристии.

— И от человека до священника — как от земли до неба, — заключила я полушутя.

— От человека — до настоящего христианина, — поправил отец Давид. — Настоящим христианином стать очень трудно, это подвижничество и жертва.

А рано утром мы с Митей вдвоем шли по зеленому туннелю из старых вязов, и влажный настил прошлогодних листьев делал наши шаги бесшумными. Изредка вскрикивали, переговаривались птицы, солнце бросало сквозь листву дрожащие пятна света. Мы вышли по благословию отца Давида и перекрестили дорогу. Нам было хорошо идти, и мы пропустили поворот, потерялись и оказались в конце концов на другой от монастыря стороне ущелья. Но мы верили, что Бог выведет, и Он нас вывел.

Мы вернулись в Джвари как в родной дом, о котором успели соскучиться. Все было на своих местах, только скошенную во дворе траву успели убрать в стожок, и пахло сухим сеном.

К нашему приходу игумен сам нажарил большую сковородку картошки. А Венедикт намекнул еще раз, что к другой трапезе я могла бы что-нибудь приготовить. Готовить давно надо было мне, и я снова попросила игумена дать мне такое послушание. На этот раз, с непонятной для меня неохотой, он согласился.

Я отправилась к женщинам-реставраторам с первым творческим

вопросом: как варить борщ? На втором этаже я застала Нонну, ту из них, что помоложе, с тяжеловатым и будто слегка припухшим лицом, с темными глазами под припухшими веками, с сигаретой в руке. Она удивилась и не сразу поверила, что я не знаю таких простых вещей, которые все знают, но толково объяснила мне последовательность операций.

Первые полдня в жизни я провела на кухне, и мне это очень понравилось. Тушила свеклу, морковь, лук, резала картошку и капусту, выщипывала на грядке укроп. Получилась огромная кастрюля борща, по-моему, вполне съедобного. Я опустила в нее нарезанные помидоры и отлила туда острые соусы из всех банок, которые удалось найти. На закуску был подан салат, на второе — поджаренная гречневая каша с луком и зеленью.

Во время еды Венедикт впервые за последние несколько дней мне широко улыбнулся:

— Сознаться, вы просто не хотели готовить нам?

Я не созналась, я сказала, что не умела, но научилась.

Тогда игумен повел губой и сказал, что человек может гордиться чем угодно, даже тем, что не умеет готовить, странное дело,— а еда как еда, обыкновенная монастырская. Я уже знала, что так они называют еду, не имеющую ни вкуса, ни запаха, но не обиделась, потому что это была явная неправда. Просто отцу Михаилу очень не хотелось за что бы то ни было меня хвалить.

Наоборот, после трапезы он исполнил свою давнюю угрозу, принес мне фланелевый халат и предложил в него облачиться. Халат был старый, выгоревший, как подрысник у Венедикта, с пятнами белой краски на спине. Зато он соответствовал моим стоптанным на горных переходах туфлям с полуоторванной подошвой.

— Отлично, это то, что надо,— посмеивался отец Михаил,— вы выглядите в нем безобразно. Что бы еще с вами сделать? Вот очки придадут слишком интеллигентный вид... Неплохо было бы одно стекло выбить, другое замазать белилами. А башмаки не подклеивайте, перевяжите веревкой.

Мне было уже почти все равно: халат так халат, веревка так веревка.

Вечерню из-за летнего наплыва туристов перенесли на девять часов. Я успела поужинать и вымыть посуду.

А перед началом службы отец Михаил в рясе и камилавке подошел ко мне в храме и молча протянул черную косынку.

И в это мгновение, когда он остановился передо мной с застывшей улыбкой и протянутой рукой, меня вдруг будто ударило горячей волной. Всем своим существом — кожей, нервами, сердцем — я ощутила смысл происходящего. Этой черной косынкой с тусклыми цветами, грубым халатом, так же как иронией своей и усмешкой, игумен от меня защищался.

Мы вышли после вечерни. Теплая густая тьма обволакивала нас сладковатыми, дурманящими запахами трав и леса. Над черной землей, над контурами деревьев и гор сияло звездное небо. Светящийся Дракон, изогнув в половину небесного свода гигантский хвост, повис над нами треугольником головы.

Низко упала звезда, мерцающая, как зажженная и брошенная сверху бенгальская свеча.

Арчил зажег в трапезной лампу, и все потянулись на огонек. Зашел и реставратор Гурам — он в первый раз отстоял вечерню, крестился, когда все крестились, и теперь продолжал начатый разговор с игуменом.

— Но как, как хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа? Этого я не могу понять, а потому и принять...



Из-за решетки окна и в проем раскрытой двери вливалась тьма, и в комнате было полутемно. Венедикт, Арчил и Митя сидели на затененном конце стола, я на топчане в углу. Гурам стоял, прислонившись к дверному косяку. Только отец Михаил сидел в круге света от керосиновой лампы, тяжело положив на стол руки и опустив глаза. Свет падал слева и сверху, и в глазницах его залегли тени. Мотыльки бились в стекло лампы, их летучие тени метались, кружились по потолку.

— Да потому это и таинство, что умом не постижимо... — выговорил игумен, как будто с усилием преодолевая молчание. Гурам ждал, и остальные молчали. Тогда игумен продолжил: — Помните, в Евангелии от Луки, Дева Мария тоже спрашивает Архангела: «Как будет это?» — то есть как родит Она Сына Божиего? А он отвечает: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя». Вот и все, что можно сказать. Дух Святой нисходит, чтобы создать плоть Христа во чреве Марии, и Он же во время литургии прелагает хлеб и вино в Чаше — в Тело и Кровь Христовы. А как — и тут, и там тайна...

Я слушала его глуховатый спокойный голос и ощущала тайну, разлитую вокруг нас в этой ночи с ее мраком и светом и в нас самих, в нашей способности видеть, мыслить, дышать, страдать, тосковать по любви и не утоляться на земле никаким обладанием. Тайна в сотворении мира, в рождении первого и любого другого по счету человека, в прорастании макового семени и созревании колоса ржи. Поверхностному сознанию мир кажется объяснимым, потому что оно способно проследить действие тайны, назвать ее словами, набросить на нее сеть определений. Так ловят в сеть птицу, но сеть остается сетью, птица — птицей, они никогда не станут тождественными, а в остатке и есть живая жизнь.

Человечество, как Пилат, прокуратор Иудеи, вечно задает вопрос: что есть истина? И, как Пилат, пожав плечами, отворачивается от Истины Живой, стоящей перед ним, им осужденной на распятие. На этот вопрос Христос и ответил на Тайной Вечери своим ученикам, как никто никогда до Него не был вправе ответить: «Я есть Путь и Истина и Жизнь». И это сердцевина тайны, из которой и соткан мир.

Поверить в Бога, принять эту Истину, говорил отец Михаил, можно только всем существом без остатка: сердцем, волей, разумом, образом жизни. Что может один разум? Только пройти через зону неведения и устранить препятствия к вере, потому что малое самодвольное знание уводит от веры, большое — к ней возвращает.

Я раньше не видела такого лица у игумена, разве что когда он выходил из-за царских врат. Он поднял глаза, в них почудилось мне тихое польхание духа, сосредоточенного и углубленного.

Мы спрашиваем: как? что? Но всякое рассудочное знание, даже богословское — только мертвая формула Живой Истины, только средство. А цель, начало и конец, альфа и омега — Сам Бог, созерцание Его, общение с Ним, уподобление Ему, приобщение к божественной вечной жизни.

Человек не самобытная жизнь, он только существо, причастное жизни. Бог есть Жизнь Вечная, Источник Жизни, питающий человека, Древо Жизни, растущее посреди рая. Мы — ветки на этом Древе, и если ветвь отсекается, она засыхает.

Все мы без Бога были отсеченными ветвями, как Адам, переставший есть плоды от Древа Жизни. Мы медленно умирали и долго еще могли умирать. Привиться опять к стволу, чтобы пошли через нас живые соки, можно не разумом, а так же целостно — телом, душой, духом. Так и бывает в таинствах: в простых и зримых формах они подают нам незримую благодать. «Я — лоза, вы же — ветви...» — и это не символ, для того мы и молимся и причащаемся, чтобы получить эту реальную силу. Только в Церкви, в богослужении богослов-

ское сознание становится благодатным и животворным. Без Церкви и таинств нет христианства.

А если Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя, тогда ты сам узнаешь как. И это будет опытом твоей жизни в Боге, а не чужими словами о Нем...

Потом у себя в келье, когда Митя уснул, я сидела за столом со свечой и Евангелием, перечитывала ту главу от Иоанна, где Христос говорит о Себе как Вечном Хлебе Жизни.

Он только что накормил пять тысяч пятью хлебами. И народ ищет Его, чтобы нечаянно взять и сделать царем. «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий...» Но они требуют новых знамений, вспоминая манну, выпавшую с неба в пустыне во времена Моисея, ждут хлеба и чуда. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».

И дальше говорит Он слова, которых они не могут вместить: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, спешший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец и Я живу Отцем, так и ядущий Меня будет жить Мною. Сей-то есть хлеб, спешший с небес».

И многие из учеников Его говорили: «Какие странные слова! кто может это слушать?» — и отошли от Него.

«Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго».

Сколько раз я читала эти слова, но принимала их отвлеченно. И вот теперь они завершились для моего сознания — исполнились в Тайной Вечери. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

И эти же слова произносит священник на литургии во время Евхаристического канона после благодарения Бога и тайных молитв: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов. Пейте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов».

Диакон, крестообразно сложив руки, возносит над престолом Святые Дары как жертву любви и благодарности Богу. Священник в тайных молитвах просит ниспослать на них Духа Святого.

Те же произносятся слова, и те же самые Дары, которые приняли ученики Христа из Его рук, мы принимаем сегодня из Святой Чаши.

Потому что не священник, а Тот же, Кто освятил их два тысячелетия назад, присутствуя на Тайной Вечери Евхаристии, Сам освящает и благословляет Святые Дары.

Нисходит Дух Святой и совершается Тайная Вечера, причастники принимают Тело и Кровь Его Нового Завета.

И этот момент соединения человека, восходящего в покаянии и любви к Богу, и Бога, в прощении и милосердии нисходящего к человеку,— точка пересечения времени и Вечности, центральная точка бытия.

Я еще читала, когда из-за двери позвал Арчил. Он сказал, что увидел в окне свет, а у реставраторов одной женщине плохо, другая просит меня прийти.

Имен женщин Арчил не знал. Мне невольно вспомнился рассказ из жития недавно умершего старца. Приходит к нему монах за советом: женщина который раз предлагает ему свои услуги, что ей ответить? «Ты-то что отвечаешь?» — спрашивает старец. «Отвечаю: „Спаси, Господи!“». — «А она?» — «Уходит и опять приходит». — «И давно она так?» — «Да уж года три». — «А женщина молодая или старая?» — «Не знаю, я на нее не смотрел».

Эли стояла в темноте у перил террасы, куталась в шаль. Вечером к ним приезжали гости, Нонна выпила немного вина. Потом вдруг упала, начался приступ, и уже часа два она без сознания. Эли не знала, что с ней, и боялась, что Нонна умрет.

Нонна с закрытыми глазами металась по матрацу, расстеленному на полу, и сквозь сжатые зубы стонала.

Это было страшно. Эли ждала от меня помощи, а я испытывала только ужас перед темной силой, ломающей тело Нонны.

В трапезной горел свет, и я спустилась к Арчилу. Из медицинских средств в монастыре оказались только градусник и аспирин. Я попросила Арчила посмотреть, спит ли игумен.

Игумен не спал и пришел сразу. Опустился на корточки у стены рядом с Нонной, минуты две проговорил с Эли по-грузински.

— Можно разбудить наших мужчин и послать их за машиной...

— Не надо. Нужно только ждать.— Он был совершенно спокоен.— Это пройдет.

— А что с ней? — Голос Эли звучал робко.

— Не знаю. Но здесь такое место, где ничего плохого случиться не может.

Больше он ничего не сказал. Но мы обе сразу успокоились.

Вместе с игуменом я дошла до развилки тропинок: одна вела к моей келье, другая — к его. На минуту мы остановились у бассейна.

Все так же мерцало небо над нами россыпями чистых звезд. Густая тьма вокруг шумела кронами деревьев. В бассейне разливались трелями лягушки, и в неподвижной воде плавал светящийся желтый серпик месяца. Лица игумена мне не было видно, только шапочка чернела на звездном фоне. Он растирал в пальцах листок, и я чувствовала слабый березовый запах.

— Это наказание...— выговорил он тихо.— Его надо принять и пережить.

— Наказание за что?

— Она ведь пила вино?

— Совсем немного.

— Не важно, много человек украл или мало. Можно согрешить помыслом — этого вполне достаточно.

Он пошарил рукой в гравии у бассейна, бросил камешек и разбил отражение месяца.

Мне показалась чрезмерной эта взыскательность — когда-то Христос Сам превратил воду в вино.

Но, может быть, отец Михаил говорил о другом?

Я вернулась к Эли.

Нонна затихла.

Мы стояли у перил, смотрели на небо, на монастырский двор. Лунный луч падал на купол храма. И черная крона сосны за ним бесшумно покачивалась, заслоняя и открывая звезды.

— Вам нравится отец Михаил?

— Очень... — помолчав, ответила она. — Мы ведь жили здесь все прошлое лето. Даже с тех пор они очень изменились: Венедикт стал более духовным, отец Михаил — хотя бы внешне — менее закрытым. Тогда они с нами вообще не разговаривали.

— А в церковь вы не ходите?

— Нет...

— Вы не верите в Бога?

— Верю... Но мне пятьдесят два года, поздно менять жизнь.

— Почему? Куда мы можем опоздать? Помните притчу о рабочих одиннадцатого часа? Хозяин виноградника всем воздает поровну — тем, кто работал с утра, и тем, кто пришел на закате.

— Я никогда не могла этого понять, — улыбнулась Эли. — Разве это справедливо?

— Это гораздо больше, чем справедливость — это милосердие. Справедливость воздает мерой за меру. Как в Ветхом завете: око за око, зуб за зуб. А в милосердии Божиим все наше зло утопает, как горсть песка в океане.

— А добро?

— Добро тоже. Поэтому мы ничего не можем заработать, с утра мы приходим или к ночи. Не в воздаяние все дается, а даром, в дар... как Святые Дары, как сама жизнь.

— Но вы-то пришли давно?

— Совсем нет. И раньше очень сожалела, что пришла поздно, было жаль прежних сорока лет. А теперь я знаю, что их ценой и обрела веру. Без такой долгой жажды не было бы и утоления ее.

— Вы считаете, что уже не сможете потерять веру?

— Я предпочла бы потерять жизнь. Что бы я делала с ней — без Бога?

Мы стали мало видаться с Митей, только на службе и поздно вечером.

Почти весь день я занята в трапезной — чищу, режу, жарю, варю, потом мою у родника посуду. Арчил очень рад, что ко мне перешли его обязанности: все что угодно, только не женская работа. Я от души его поздравила, а он от души принес мне соболезнования. Правда, мне не на чем раскрыться, продуктов с каждым днем меньше: сетка мелкой картошки в подвале рядом с кельей князя Орбелиани, там же кучками на земле свекла и лук, которые я выбираю на ощупь, в шкафу — чай, вермишель, крупы и варенье. Иногда реставраторы приносят то банки с болгарскими салатами или перцем, то синий тазик с желтыми персиками, то два-три круга свежего хлеба — раз в неделю к ним приходит машина.

А Митя весь день с братией.

Каждый раз на службе он читает наизусть «Царю Небесный», «Трисвятое» по «Отче наш» и пятидесятый псалом на хуцури, разжигает и подает кадило.

Ему нравится быть в алтаре. Алтарь совсем маленький, отделен от нас полотняным иконостасом. Присутствие игумена там совершенно бесшумно, а каждый Митин шепот и шорох слышен. Когда Митя задерживался в алтаре, Венедикт ревниво усмехался и как-то вдруг недовольно сказал: «Димитрий, не шуми!» Тогда игумен оставил нас с Митей в храме и рассказал притчу о том, как к одному отшельнику пришел царь. Отшельник беседовал с ним, и царь задержался в горах, чтобы прийти на следующий день. Но утром он уже никого не

нашел в келье: отшельник покинул ее навсегда. Так надо бояться привилегий и избегать их. Больше Митя в алтарь не ходил.

Иногда они устраивают спевки под фисгармонию. Митя играет, а братия поет — игумен, положив локти на фисгармонию, нависая над ней и слегка улыбаясь даже во время пения; Венедикт, прислонившись к стене и заложив за спину руки, с равнодушным видом; Арчил, не сводя напряженного и несколько испуганного взгляда с Венедикта, которому подпеваает. Игумен настаивает, чтобы Митя говорил, кто и где фальшивит. Фальшивит то Венедикт, то Арчил, потому что оба до монастыря никогда не пели и не знают нот, но Венедикт требует поощрения за храбрость. Хотели было выучить к литургии «Иже Херувимы», но никто не справился.

Мы с Митей всегда делились впечатлениями дня, и от него я узнаю некоторые подробности монастырского быта, которые не вижу сама.

Например, игумен часто садится за стол первым, долго ест. А Митя сидит рядом и замечает, что отец Михаил наливает себе в миску половину разливной ложки супа, кладет туда же ложку второго и запивает все чаем. Для рослого мужчины это вообще не еда, а он, выходя, еще скажет: «Ну вот, пришел первый, ушел последний и опять объелся. Так Лествичник и говорит про ненасытное чрево: само уже расседается от избытка, а все кричит: алчу!»

Такие хитрости в стиле монастырской жизни. Когда-то монаха могли поставить на год у ворот, чтобы он всем кланялся и говорил: «Простите меня, я вор и разбойник». Но говорить о себе, что ты обжора и лентяй, или что ты три месяца не мылся, — это тоже лекарство от гордости. А чем должен заниматься монах? Молиться, бороться с помыслами и с гордостью. Пока ты заполнен сознанием собственного достоинства, по-фарисейски помнишь о своих добродетелях, о своей талантливости, уме, красоте — к тебе закрыт доступ Богу; на уровне жалких человеческих достоинств нет места божественному. А вот когда ты ощутишь всем нутром, что н и ч е г о не можешь без Бога, ни росту себе прибавить хоть на один локоть и ни от одного греха избавиться, тогда ты и воззовешь из глубины. И Он придет и всякий твой недостаток восполнит от Своего избытка и по Своей любви.

И еще одну тайну игумена нечаянно раскрыл Митя.

— Когда я захожу в алтарь с кадилом, отец Михаил всегда сидит. А как-то я карандашик уронил, наклонился... И вижу через щель под царскими вратами — большие подошвы стоят пятками вверх. Через час я опять уронил карандашик, заглянул в щель: опять подошвы от сапог вижу! Значит, он там всю службу простаивает на коленях...

Один раз Митя был в келье игумена. Она оказалась чуть больше нашей, с одним окном в зелень на склоне. Стол под окном, кровать — широкая доска на ящиках от ульев. На стене тоже прибит ящик от улья — книжная полка. Шкаф с книгами, на нем висит погребальное покрывало — в постоянное напоминание. В красном углу над аналоем икона Богородицы хорошего письма, зажженная перед ней лампада. Проще и строже уж не могло быть.

— А эта келья мне дороже мира и всего, что есть в мире... — сказал игумен. — Вот еще построю веранду вокруг, отгорожусь совсем. А гостям пусть отвечают, что игумен спит.

Митя сидел на краю жесткой койки, отец Михаил на низкой скамье у стены. При его росте трудно не смотреть на собеседника сверху вниз, и он старается по возможности встать или сесть ниже, часто садится на корточки, прислонившись к стене, — и смотрит снизу.

Он говорил о монашестве. О том, что это совершенно особое призвание.

— Если у человека есть вкус к монашеской жизни, значит, Бог его призывает. Но даже архиереями могут стать многие. А настоящими монахами — единицы. «Сиди в келье, и она тебя всему научит», — говорили святые. Нужно полюбить это уединение, тишину, глубинную молитвенную жизнь — она и есть жизнь духовная, а не то, что теперь называют этим словом... — А когда они вышли, отец Михаил оглянулся с тропинки на дощатый домик на сваях: — Но если бы у меня было крепкое здоровье, как у прежних монахов, и я мог вынести зной, холод, питаться травами, я вообще ушел бы далеко-далеко в горы и там жил один.

Об отце Михаиле Митя рассказывает с сияющими глазами:

— Он говорит: если у тебя есть добродетель, но о ней узнал хоть один человек, она обесценена для Бога, потому что ты уже вознагражден за нее на земле. И если ты сделал доброе дело, но рассказал об этом — ты сделал его напрасно.

Еще мы часто вспоминаем, как бесславно кончилось Митино послушание будильника. Уже на второй день нас разбудил Арчил: наши часы со звоном отстали на сорок минут.

— Если случилось что-нибудь хорошее, лучше отнести это на чужой счет, — сказал игумен, — а если плохое, надо поискать свою вину.

— Как я могу винить себя, если часы отстали? — засмеялся Митя.

— А может, ты забыл их завести?

На следующее утро часы опять отстали на сорок минут, и Митя с торжеством понес их к игумену.

— Оправдываешься? Доказываешь свою правоту? — покивал отец Михаил. — Уже поэтому ты не прав.

Будильником опять стал Арчил, он просыпался без часов.

А игумен рассказал один случай из своей жизни о том, как опасно обвинять в чем-нибудь другого. Был он на послушании в монастыре. И они с соседом по келье вырезали отличные войлочные стельки. У соседа сапоги пропускали воду, стал он иногда брать их у отца Михаила. А как-то раз он сам надевает сапоги и видит: стелька там гораздо меньше. «Ты что это, — спрашивает он, — наши стельки поменял?» «Да нет, — говорит сосед, — не менял я их». «Как же не менял? Смотри сам, была стелька большая, стала маленькая. Или ты ее под свой размер обрезал?» «Ничего я не обрезал», — отвечает. Отец Михаил совсем возмутился: год живут бок о бок, и из-за такой глупости друг друга обманывать? Выбросил стельки, вырезал другие. Шли дожди, сапоги промокали. Через неделю кладет он на батарею стельки сушить, смотрит — и эти маленькие. Тут до него и дошло, что они сыреют и усыхают, а он из-за них с братом поссорился.

— Кто виноват? — спрашивает он, хитро посмеиваясь. — Стельки?

— Стельки, — весело соглашается Митя.

В мистическом смысле, говорит игумен, все мы друг перед другом виноваты, даже если не знаем за собой никакой вины. А если заглянуть глубоко, то и вина найдется. Поэтому в Церкви есть Прощенное воскресенье, когда все просят друг у друга прощения, есть покаяние, исповедь, смывающая вину. А в мире эта вина разрастается, накапливается, как электричество в тучах, и разражается на коммунальном уровне — ссорой, на глобальном — войной...

Над Митиной душой отец Михаил имеет все большую власть, и я иногда ревную к нему сына. Может быть, и игумен немножко ревнует Митю ко мне. Потому что мы с сыном вдвоем, а каждый из них одинок. Слово «монах» и происходит от греческого «монос», что значит одинокий.

Однажды я была у родника, а Митя позвал меня к началу службы. Потом вышел навстречу с очень смущенным лицом.

— Ты что не идешь? Давай сама следи за временем. А то я зову тебя, выглядывает отец Михаил из храма и дразнит: «Вы посмотрите, стоит на монастырском дворе молодой послушник в скуфье, в подряснике... И кричит: „Ма-а-а-ма!“»

Я привыкла считать своего сына мальчиком. А тут посмотрела и увидела, что он стал юношей, на днях ему исполнялось шестнадцать лет. Под траурным куполом скуфьи он казался выше; нежные, чистые черты лица определились, почернели брови... На посторонний взгляд он вполне мог сойти за молодого монаха, когда собирал с Арчилом сено на лугу за храмом или вел нашу лошадь.

Игумен и мне как-то сказал полушутя:

— Пора уже вашему сыну идти своим путем. Оставляйте его у нас. А сами идите в женский монастырь, здесь есть недалеко от Мицхеты.

— Но вы разрешили пожить здесь нам обоим. Вы не отбираете обратно своего подарка? И сын пока нуждается во мне.

— Сын всегда нуждается в матери. Но рано или поздно он от нее уходит.

— Пусть лучше это будет поздно... И знаете, один писатель мне говорил, что у него было много жен, но самой духовно близкой женщиной всегда оставалась мать.

— Наверно, мать может быть ближе, чем жена. Но не должна быть ближе Бога. И сын для матери — тоже. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». А вы, мне кажется, пока Митю любите больше, чем Бога.

— Я просто не разделяю эти две любви.

— Вот я и говорю о том, что пора разделить...

Я не согласилась, но мне стало грустно после этого разговора.

Что-то случилось с Венедиктом. Больше мы не видели его пьяным, но в последние дни вообще мало видели, только на службах и трапезах. Если мы встречаемся на тропинке, он делает шаг в сторону и молча пропускает меня. Или смотрит сквозными холодными глазами. Мне показалось, что между ним и игуменом тоже легла тень отчуждения.

Однажды Митя зашел к Венедикту в келью: тот обещал научить его вырезать кресты. Посидели поговорили. Дьякон вырезал панацию из дерева ко дню Ангела Патриарха. Слушал с рассеянным видом, потом сказал: «Прости, Димитрий, я сейчас в благодати Пресвятой Богородицы, ты мне мешаешь...» Митя пошел к двери, и Венедикт проговорил ему вслеп: «А вдруг Она обидится, что я обещал тебе и не сделал, и уйдет?»

Кресты он тоже режет из можжевельника, яблони, липы, груши. Если грушевую пластинку выварить в растительном масле, она приобретает благородный темно-коричневый цвет. Я видела параманные монашеские кресты из грушевого дерева, похожие на старинные, и вскоре после нашего приезда Венедикт пообещал нам с Митей вырезать такие. Он показывал нам и кресты довольно больших размеров, украшенные только округлыми грузинскими буквами. А иногда распятие из светлого дерева он обрамляет темным, так что один крест вписан в другой.

— Что вы делаете с ними потом? — спросила я.

— Мне за них дают деньги, кто сколько хочет.

— Но все-таки сколько?

— И по тридцать рублей и по пятьсот.

Я поспешила предупредить, чтобы для нас он не резал: дать тридцать рублей было бы мало, а пятьсот мы не могли. И претендовать на такой дорогой подарок от Венедикта я тоже не хотела.

К тому же крест, который можно купить, для меня если не обесценивался, то и не был священным. Наверное, нам с Митей слишком щедро дарили. Все необходимое пришло в подарок: Библия, Новый завет, молитвенник, бронзовое распятие. Одна за другой пришли три иконы — Спасителя, Богоматери и святителя Николая. И все мы получали в свое время: начали молиться — нам подарили Молитвослов. Стали осмысливать литургию, годичный круг церковных праздников — подарили Настольную книгу священнослужителя... Бог пошлет и параманный крест, если я когда-нибудь буду вправе его надеть.

Для через два Венедикт все-таки принес тиски, несколько пилок, тиски укрепил на ящичке от улья рядом с нашей кельей. И с отчужденным видом вырезал при нас крестик в несколько минут. Попробовали и мы с Митей. У меня пилка шла вкривь и вкось.

— Это не женское дело... — неодобрительно сказал Венедикт.

Так мне говорили о любом моем занятии: от шахмат в отрочестве до богословия теперь.

— Вы слишком любознательны, — продолжал дьякон тем же холодным тоном. — Все вам надо понять, всему научиться... Для духовной жизни эта активность не полезна: из любознательности Ева съела запретный плод.

Наверное, здесь была своя правда.

Но мне казалось, что не этим он недоволен.

А игумен исполнил мое давнее желание и показал, как плетут четки.

Митя сразу отказался учиться: чтобы сплести один шарик, нужно было совершить семнадцать операций, обводя нить сутажа вокруг пальцев, затягивая ее в петли — крестообразно, проводя одну петлю под другой, — казалось, это невозможно запомнить.

— Я сам до сих пор путаюсь, — говорил отец Михаил, ножницами поправляя нить на моей ладони. — С неделю мне придется вам все заново объяснять... А через месяц вы нам сплетете четки. Смотри, Димитрий, твоя мама способней, чем ты, хотя считает, что наоборот.

Я путалась и начинала сначала и, чтобы не делать этого на глазах игумена, предложила записать «технологию». Они с Митей очень смеялись.

— Как, например, словами описать вот эту фигуру? — веселился Митя.

— Я не фигуру буду записывать, а последовательность: нить сложить вдвое, завязать узел, перекинуть через указательный и средний пальцы... — не сдавалась я.

«Технологию» я все-таки записала, потом заглядывала в нее. И на следующий день сплела четки, даже с крестиком внизу и кисточкой из того же белого сутажа: черного в монастыре не нашлось. Четки оказались мне совершенными — все узелки ровненькие, посаженные рядом.

Это занятие мне очень понравилось. Сложный труд отвлекает от Бога, а простенький — ничего, как говорили старцы.

Митя побежал звать отца Михаила.

— Уже сплела три шарика и хочет похвастаться? — догадался он. Но и когда увидел четки, не изменил себе: — Все надо делать бесстрастно, не ради похвалы, а во славу Божию. Вы три раза просили меня научить вас — на что это похоже? Свое желание можно выразить однажды, потом оставить все на волю Божию. И плетут четки спокойно, с Иисусовой молитвой, потому они и освящены от начала. А в эти четки влетела ваша страстность и гордость.

Четки, однако, он освятил, и я послала их в подарок отцу Давиду.



Мы сидим в тени под навесом и смотрим старый альбом. Еще шестнадцать лет назад в Джвари были два старца, пришедшие с Афона, — Иоанн и Георгий. От них сохранилось кое-что и теперь, к чему можно прикоснуться. В этом двухэтажном доме они жили. Разобранные ульи — от их большого пчельника. Одичавшие яблони на полянах вокруг — от их фруктового сада.

Сами эти старые монахи к концу дней уже не могли вести хозяйство. Но приходили люди помолиться в монастыре и помогали убрать виноград, испечь хлеб.

— Чем определяется состояние той или иной поместной церкви? — говорит отец Михаил, всматриваясь в тусклую фотографию. — Не торжественностью архиерейских служб, не количеством прихожан, которые ставят по праздникам свечи. Оно определяется монастырями. И опять же не их богатством, не тем, сколько в них монахов. А тем, какие это монахи, — уровнем духовной жизни...

На выцветшей фотографии высокий белобородый старец в шапочке и круглых очках с плоскими стеклами — это отец Георгий. Он очень худой. На нем короткий подрясник с вязаным длинным жилетом, как на отце Михаиле, разношенные сапоги. Он щурится от весеннего солнышка, круглые очки сидят на переносице косо. А вокруг тесно, стараясь уместиться к нему поближе, — бедный и не привыкший фотографироваться народец, мужчины в сапогах и брюках военного покроя, женщины в низко повязанных платках. На переднем плане лежат забытые грабли.

Ни лица уже не рассмотреть, ни голоса не услышать... Мы можем жить в его доме, молиться в его храме, но ничего не узнаем о его сокровенной жизни.

— К нам приходил иеромонах Габриэль, — продолжает игумен, — он был послушником в Джвари в последние годы, когда Иоанн умер и Георгий остался один. Габриэль говорит: «Монастырь есть, если в нем есть любовь. Пусть будут два монаха и между ними христианская любовь — это уже монастырь». Тогда и люди придут не напрасно. И всякое дерево даст плоды во время свое. Мы все должны заботиться только о том, чтобы жить по заповедям и молиться. А о том, чтобы дать нам пищу, Бог позаботится Сам. Но разве мы так живем?

— А он рассказывал об отце Георгии?

— Да, говорил, что это был единственный святой, которого он видел. Рассказывал чудо... Отец Георгий не разрешал упоминать об этом при его жизни, а теперь можно. За несколько лет до смерти у него так сильно болел бок, что он уже встать не мог. И вот однажды лежит он в своей келье, молится. И вдруг входит Богоматерь и с ней еще двое, апостолы. Он подумал: «Как нехорошо, Матерь Божия пришла, а я даже встать не могу». А Она улыбнулась и положила руку ему на то место, которое болело. Его как будто молния прожгла — такой боли он никогда не испытывал. А в следующее мгновение боль прошла и уже не повторялась.

На другой фотографии оба старца сидят на террасе, пьют чай, совсем как мы, с хлебом и медом.

— Он уже при жизни принадлежал другому миру и был движим не своей волей, а Духом Святым. И потому все у него было чудесно — слова, поступки... Как-то отец Габриэль был в Тбилиси по монастырским делам. И вдруг, говорит, как будто слышит голос: «Скорей возвращайся в Джвари». Он думает: «Как я вернусь, когда меня послали то купить, это привезти, а я еще ничего не успел?» А сам места не находит. Куда ни посмотрит, отовсюду будто слышит: «Иди скорей в монастырь». Он бегом побежал, даже не взял ничего, что успел купить. Приходит, отец Георгий лежит на кровати с четками в руке, смотрит в небо через раскрытое окно. Габриэль думает: «Зачем я пришел? Как ему скажу?» А тот говорит: «Слава Богу, что

пришел. Значит, слышала Божия Матерь мои молитвы. Завтра я уйду...» Габриэль думает: «Куда он собрался, такой больной? Зачем ему в город?» «Я не в Тбилиси уйду,— говорит отец Георгий.— Я совсем от вас уйду... телом. А душа моя останется здесь навсегда». Габриэль не хотел верить. Отец Георгий говорит: «Ты сегодня приготовься. А завтра отслужишь литургию и меня причастить». Утром он причастился, запис просфору теплым вином. Был как раз день Усекновения главы Иоанна Предтечи — в этот же день отца Георгия постригли в схиму. Габриэль спрашивает: «Что-нибудь приготовить?» «Нет,— говорит,— больше мне ничего не нужно. Ты теперь пойди отдохни». Габриэль не послушался, думает, он пойдет спать, а может, нужно будет воды подать. Отец Георгий лежал тихо, все так же смотрел на небо и молился по четкам. И вдруг тяжелый сон напал на Габриэля, необычный сон, так он и уснул сидя. Он не знает, сколько спал, может быть, пять минут. А проснулся — отец Георгий по-прежнему лежит с четками в руке, но душа его уже отошла... Давно никто не приходил в монастырь, а тут как раз подошли двое русских. Вместе отпели его, вырыли могилу. Похоронили под сосной у алтарной части главного храма, рядом с могилой отца Иоанна.

Там и сейчас лежат рядом две надгробные гранитные плиты. Под ними — прах двух последних в Грузии афонских монахов.

А духом их и живет монастырь. От них этот строгий и бедный, как в скиту, уклад, освященные веками традиции Афона.

— Старцы часто знают время своей смерти,— говорил игумен.— Но иногда в этот момент они удостаиваются высоких посещений или преображаются в Духе. Поэтому отец Георгий и не хотел, чтобы Габриэль видел его последние минуты,— я так думаю.

Отец Михаил любит рассказ о святом Макарии Египетском, который всю жизнь вел борьбу с бесами и ни в чем им не уступал. И вот он умер и уже одной ногой ступил на порог рая. Тогда бесы захлопали в ладоши и закричали: «Слава тебе, Макарий Великий! Ты нас победил!» Он обернулся, сказал: «Еще нет». И шагнул за порог.

Каждый час, каждый миг идет борьба за душу человеческую, и в последнюю минуту можно потерять все.

— Вот вы пришли и почувствовали, что место здесь особенное, в воздухе разлита благодать... Правда, многие ничего не воспринимают. Когда я был послушником, один игумен любил повторять, что в последние времена будут люди, как будто пропитанные древесной смолой, не проницаемые для благодати... Смолой, спиртом, ложной земной мудростью, просто ложью — все равно, потому что «дьявол есть лжец и отец лжи» и человекоубийца. А это теперешнее изолирование бытия и есть смерть прежде смерти. Но наши старцы и сейчас помогают нам своей благодатной молитвой.

— Поэтому вы и сказали, что здесь ничего плохого случиться не может?

— Я так верю.

Может быть, когда Нонне было плохо, отец Михаил тоже помолился у них на могилках? Потому что вскоре она уснула и спала всю ночь, а утром встала здоровой. С тех пор они вместе с Эли часто приходят к вечерне и стоят у раскрытой двери, не переступая порога,— обе в брюках, с непокрытыми головами,— но выстаивают до конца службы.

— А два года назад отец Габриэль пришел, когда у нас только что рой улетел. Он говорит: «Подождите, может, я вам помогу». А как тут поможешь? Никогда не видели, как вылетает рой? Черный вихрь — ж-ж-ж-ж-ж — жуть... И никакими силами его обратно не загонишь. Не было случаев, чтобы рой возвращался. Пошел отец Габриэль, помолился на могилках. Смотрим, опять — ж-ж-ж-ж-ж! — живой вихрь, и обратно в улей...

— Но сам отец Габриэль сохранил что-то от этих старцев, он хороший монах?

— Хорошие мы или плохие монахи — этого никто сказать не вправе. Потому что человек смотрит на лицо, а душу знает один Бог. Габриэль говорит: «Если мы с тобой разговариваем о Боге, но между нами нет любви, все наши слова — звук пустой». И мне кажется, если бы Габриэля били, он и тогда излучал бы любовь...

Отец Михаил провел десять дней на Афоне с делегацией грузинской церкви. Оттуда привез свою плоскую камилавку, греческую рясу — если ее разложить, получится крест, — шерстяные четки с большим крестом и кисточкой, которой можно пользоваться для кропления святой водой. Привез, например, обычай не носить креста даже на богослужении, зато параман надевать открыто, поверх подрясника. Должно быть, по-афонски же он не позволяет, чтобы ему целовали руку при благословении; чаще всего не совершает и крестного знамения, а просто говорит: «Бог благословит». Но это все внешние приметы. А его молитвенная жизнь скрыта от нас так же глубоко, как и духовная жизнь старцев.

Когда-нибудь через несколько лет, когда разрастется и укрепится Джвари, отец Михаил хочет уехать на Афон навсегда, в Иверский монастырь.

— Там хорошо... — говорит он задумчиво, и лицо его принимает отстраненное выражение, будто он смотрит уже оттуда, из афонской дали.

Как-то монахи из Иверского монастыря тоже приехали в Грузию. Патриарх поручил отцу Давиду их встретить, а тот, конечно, повез их в Джвари.

Есть несколько фотографий, запечатлевших этот визит. Вот они стоят у портала Джвари под резным крестом, сразу заметные в большой группе по камилавкам: двое старые, но коренастые и крепкие, похожие друг на друга крупной лепкой лица и окладистыми белыми бородами, третий совсем молодой, в очках с тонкой оправой и с тонким лицом. А на переднем плане на корточках сидят Давид и его брат Георгий. На другой фотографии отец Михаил и афонские монахи сидят за столом в нашей трапезной, только стол обильно уставлен закусками и бутылками вина. А из подсвечников, похожих на чашечки цветов, поднимаются высокие зажженные свечи. И у отца Михаила то же выражение лица — отрешенное, углубленное, — с каким он говорит об Афоне.

Митя попросил фотографию на память.

— Возьмите хоть все, — махнул рукой отец Михаил.

Мы обрадовались и выбрали несколько. Эту застольную; две групповых: с афонскими монахами и другую, с отцом Иларионом, которого не видели никогда, игуменом, Венедиктом и блаженно улыбающимся Арчилом, которых хотели бы всегда видеть; и три пейзажных — Джвари ближним и дальним планом.

В лучшие дни своей жизни я, как за соломинки, хватаюсь за фотографии, за всякие мелочи, которые можно сохранить и без которых потом трудно будет поверить, что эти дни были, хотя и давно прошли.

— Мы тоже пришлем вам что-нибудь на память, — пообещал Митя.

— Монахам на память? Не надо. — Отец Михаил усмехнулся, взглянул на меня. — Мы постараемся вас забыть на второй день после вашего отъезда.

Радость моя о Джвари уже не была ясной, как в первые дни. Ее затуманивала тревога, предчувствие, что ничего здесь нельзя откладывать надолго.

Иногда я приходила в большой храм, чтобы насмотреться на росписи и запомнить их.

По наклонным доскам с прибитыми перекладинами я поднималась на нижний настил у западной стены, где Ангел с красными крыльями преграждал доступ к раю. Здесь росписи сохранились плохо, потускнели краски, но еще текла синяя-синяя река, и невиданные листья давали тень ее берегам.

Чуть дальше праведный Ной, переживший потоп, стоял в окружении зверей и птиц под светлой радугой Завета.

По росписям можно было проследить, как восходил человек к Богу в любви и вере и как нисходил к человеку Бог. То, что по неверию утратил Адам, избранники Божии возвращали безоглядностью веры. Так принял Авраам зов идти в страну обетованную и пошел, не зная дороги. Так готов он был принести в жертву Богу единственного сына Исаака. В громах и молниях сходил Господь на дымящуюся гору Синай, чтобы дать Моисею заповеди для потомства Исаака.

Царь Давид, облаченный в легкие красные одежды, скакал перед ковчегом Завета, был приподнят над землей в пламенном вихре любви, в ликующем гимне хвалы, и его одежды развевались.

Оттуда, перешагнув через провал между концами досок, я попала в алтарную часть. Смотрела, как Гурам и его помощник Шалва, обритый наголо, снимают кальки с огромных фигур пророков. Длинный лист кальки прикрепляли к стене лейкопластырем и обводили контуры фигур цветной тушью. То, что было смутным, наполовину осыпавшимся пятном, приобретало пластичность, графическую четкость.

Девять пророков, мощных столпов ветхозаветной веры, держали свод абсиды над престолом. Исайя, Иеремия и Иезекииль стояли со свитками своих откровений о Боге — Судие карающем и Отце всепрощающем и милосердном, Огне поядающем и беспредельной Любви, Боге, сокрытом во мраке и неприступном свете. И все их откровения прообразовали величайшую тайну боговоплощения, тайну Иисуса Христа — Сына Божия.

А верхняя часть северной стены вмещала всю земную жизнь Спасителя. Здесь объем храма суживался, и неглубокая ниша была разрезана двумя оконными проемами. Эти узкие плоскости и подсказали вертикальную композицию фресок. Три из них меня поразили.

На одной Христос умывает ноги ученикам. Еще недавно они спорили, кто будет выше в Царствии Его. И здесь сидят один над другим по сторонам вытянутого вверх овала, каждый на своей высокой деревянной скамеечке. А Он, Господь и Учитель, перед уходом оставляет им образ истинной Любви, смиряющей себя в служении. Препоясанный полотенцем, с кувшином в руке, Он стоит, склонившись к ногам Петра, — маленькая фигурка в нижнем правом углу фрески.

Так увидел живописец тайну нисхождения Бога к человеку.

Фрески размещались снизу вверх, и рождение в яслях было началом крестного пути, восхождение на Голгофу, а Распятие — его вершиной. Потому что вочеловечение и стало самоограничением Вечного, Всемогущего и Беспредельного — во временном, слабом, плотском. А дальше все глубже становилось это добровольное уничтожение, все тяжелее крест, страдание бесконечного в конечном — до жертвенной смерти, предельной самоотдачи и последнего страдания.

«Тайная Вечеря» композиционно повторяла тот же вертикальный овал: ученики, сидящие вокруг стола, поясная фигура Христа во главе его — теперь на вершине овала. Спаситель замыкает Собой группу апостолов, но уже и приметно отстранен, вознесен над ними. На этой ритуальной трапезе, древнем священнодействии, Он преломит и благословит хлеб, как это делалось и до Него. Но к молитвам

благодарения добавит слова Нового завета: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». И древний ритуал священной трапезы пресуществится в литургию, последняя Вечера, освященная Его присутствием, станет первой Евхаристией...

«Гефсимания» — третья дивная фреска Страстного цикла. Внизу — спящие от тяжелой печали ученики; они сбились в тесную группу, прислонились спиной к спине, преклонили головы на плечо или на грудь другому. А над ними, в условно обозначенном Гефсиманском саду, одинокий коленопреклоненный Христос — маленькая, в рост учеников фигура в темном хитоне, склоненная до земли голова.

Христос написан в профиль, но глаз, как на древних восточных рельефах, прорисован полностью, удлиненный, с черным кружком зрачка, — единственный на фреске зрящий глаз.. «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною».

Я уже никуда не могу уйти от этого Его взгляда.

Но еще не могу и бодрствовать вместе с Ним.

Мите исполнилось шестнадцать лет. Утром, поздравляя его, я с грустью думала, что за эти дни в Джвари, за все, что ему дается в церкви теперь, рано или поздно он дорого заплатит на своем крестном пути. И все же я пожелала ему того, чего хотел он сам, — стать священником. «А каким должно быть духовенство? — спрашивал один русский архимандрит в лекциях по пастырскому богословию и отвечал: — Духовенство должно быть духовным, священство — святым».

После утрени Арчил с просветленным взором по-грузински прочел Мите стихотворение, которое написал сам по случаю его рождения и по щедрости души. В задачу входило, чтобы Митя стихи перевел, — пока мы поняли только повторяющееся слово «Илия, Илия». Наверно, Арчил пожелал Мите стать как пророк Илия, который посылал на землю засуху и дождь, низводил огонь с неба, испепеляя чуждых пророков, и на огненной колеснице был вознесен в небеса. Но скорее как истинный грузин Арчил хотел, чтобы Митя уподобился Святейшему и Блаженнейшему Католикосу — Патриарху всея Грузии Илии Второму. Нам так и не удалось этого выяснить: Венедикт стал насмешливо говорить, что стихи плохие, глупые, и рифмы в них нет, и написаны без благословения игумена, к тому же монахи не празднуют дни рождения, и листок отобрал. Арчил виновато улыбался, но когда Венедикт ушел, принес Мите три отшлифованных можжевеловых пластинки, из которых можно было вырезать кресты, и безразмерные носки. Он подарил бы все, что имел, но больше у него ничего не было.

А вскоре на тропе к нашей келье появился Георгий. Он нес дорожную сумку с пирожными и сладкими пирожками, испеченными тетей Додо для Мити с братией.

Мы втроем пили чай в келье. Георгий сбрил бороду, и от его помолодевшего лица веяло удовлетворенностью. А когда мы виделись у него дома, он казался слегка удрученным.

— Что-нибудь хорошее случилось? — спросила я.

— Случилось... — кивнул он. — Я ушел работать в патриархию.

Вот так это и делается. Я пять лет думаю, говорю об этом, но остаюсь на том же месте между двумя стульями. Что может женщина в церкви? Разве что петь в хоре и зажигать свечи. А он неделю назад занимался кинокритикой — теперь готовился к экспедиции: с другом-историком, ушедшим в патриархию на год раньше, они объедут все храмы и монастыри в Грузии, действующие и заброшенные, сфотографируют их, составят подробные описания. Путешеств-

воват будут на лошадях с палаткой или на машине, пешком, где как удастся. Мы все вместе порадовались за него.

Георгий — духовный сын отца Михаила, и эта перемена судьбы произошла, конечно, с его благословения.

— Но и ваш приезд не прошел бесследно, — улыбнулся Георгий.

Еще несколько молодых людей появились с Георгием в Джвари, и отец Михаил сидел на траве под сосной у храма, как апостол в кругу учеников. Только ученики были одеты по сезону и моде, а на отце Михаиле были неизменный подрясник с жилетом, сапоги. И та же лыжная шапочка, сдвинутая набок, украшала его высокий лоб: климат и быстротекущее время не имели над игуменом власти.

А из храма доносились звуки фисгармонии.

Позавчера Митя пришел поздно, взволнованный, и рассказал, как они с игуменом сидели в трапезной и думали, что можно подарить Патриарху ко дню его Ангела от монастыря.

— Венедикт вырезает панагию... А что бы нам придумать? Вот ты, Димитрий, хочешь тоже что-нибудь подарить?

— Я? — засмеялся Митя. — Но у меня ничего подходящего нет.

— Ты бы мог, например, написать для него музыку?

— Я не знаю...

— Тебе понравился Патриарх? — с пристрастием допрашивал игумен. — Как ты его увидел?

— Очень понравился, — чистосердечно признался Митя. — Мне показалось, что я увидел живого святителя.

— Это хорошо тебе показалось.

Отец Михаил разыскал в шкафу журнал «Лозовый крест» со стихотворением одного архиепископа, посвященным Патриарху: «Твоей жизни радуется нация, потому что ты повел ее по пути Христа».

— Попробуй написать музыку на эти стихи. Только надо совсем забыть о себе, не допустить честолюбивых помыслов. Если ты будешь думать: «Вах-вах, какой я одаренный мальчик, сижу, сочиняю гимн... Чем бы всех удивить?» — то лучше не пиши ничего. Но если услышишь музыку, на которую ложатся эти слова, — не знаю, где ты ее слышишь: в сердце, в воздухе, — пусть она пройдет через тебя, как то, что тебе не принадлежит... Мы должны все делать для Бога, во славу Его, жить самим делом, а не ожиданием плодов. А уж какой получится плод, кислый или сладкий, это не от одних намерений зависит. Человек только пашет, сеет, но плоды созревают по Божьей воле.

Весь день вчера Митя сидел за фисгармонией, оглушая реставраторов, работавших на верхних ярусах. И вчерне закончил гимн для шестиголосного мужского хора.

Теперь он ждал, когда игумен освободится и послушает.

К Митиной радости, отец Михаил очень одобрил гимн.

— Удивительно, что он получился грузинский. Я боялся, что ты сочинишь что-нибудь такое... помпезно итальянское. Когда это ты успел почувствовать грузинский дух в музыке?

В первые дни после приезда мы раз пять были на патриарших службах в кафедральном соборе — никогда раньше не приходилось нам слышать ничего, подобного мужскому сионскому хору, исполнявшему древние церковные песнопения. Их нельзя спутать ни с какими другими, им невозможно подражать.

Патриарха должны были поздравить на вечерней воскресной службе в соборе; еще оставалась ночь, чтобы переписать ноты.

До поздней трапезы с гостями и после нее Венедикт с Митей усердно писали, разложив на столе нотные листы. Венедикт написал текст красивым округлым шрифтом, а на обложке нарисовал тушью древний болнисский крест.

Всенощную начали в десятом часу, проводив всех гостей. Митя не псехал с ними, потому что утром мы собирались причаститься. До сих пор мы обычно причащались вместе.

Как преображается наша маленькая базилика на всенощной... Всю неделю ты ждешь этих минут, когда в проеме над низкими картонными, как будто бутафорскими, царскими воротами сначала появится голова отца Михаила, потом раскроются створки ворот и ты увидишь алтарь в его бедности и сиянии.

За высоким оконцем с отбитым углом стекла уже ночь. Игумен, облаченный в потертую фелонь и епитрахиль, крестообразно кадит престол. Голубоватый, белесый жертвенный дымок клубится, разликает по храму запах ладана. Алтарь такой тесный, что фигура игумена в широкой фелони едва умещается между воротами и престолом. Но вот он отходит на шаг, чтобы покадить жертвенник, и тебе открывается престол.

Горнего места нет совсем, а престолом служит каменный выступ стены, одетый красным покровом с серебряным шитьем. Зажжен семисвечник с желтыми лампадами, еще две высокие свечи горят по краям — в полутемном храме это сияние в алтаре кажется очень ярким, — лежат два напестольных креста и между ними Новый завет в тисненном переплете.

— Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице... — негромко подает игумен начальный возглас.

Монастырский хор — отец Венедикт, как в черную тогу завернутый в старую рясу, Арчил и Митя в подрясниках — отзовется от аналоя:

— Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареву нашему Богу.

Митя прочтет на хуцури предначинательный псалом, благословляющий Господа, сотворившего Своею Премудростью этот дивный мир. Врата затворятся, как двери рая. Хор откликнется на великую ектению покаянным «Господи, помилуй...». И вот на вечернем входе со свечой поют одну из самых прекрасных и древних молитв:

— Свете тихий святыя славы Бессмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога...

Служба идет на грузинском языке, но все знакомо и узнаваемо. Иногда я слежу за ней по церковнославянскому или русскому тексту, и слова молитв и псалмов отзываются в глубине сердца, как будто рождаются его биением.

Потом утренняя, покаянная шестопсалмие с приглушенным светом:

— Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной...

Теперь я знаю, зачем Ты создал нашу душу такой беспредельной, такой глубокой, что ничем на земле ее нельзя заполнить, и за всякой радостью есть желание радости более чистой, за всякой любовью — желание высшей любви. В нашей неутоленности, неутолимости — тоска о Тебе, нескончаемой Радости и вечной Любви, и всякое наше желание в последнем его пределе — это желание Бога.

Всенощная кончается ко второму часу ночи, а исповедуемся мы после нее. Сначала выхожу из храма я, и Митя закрывает изнутри тяжелую дверь.

Я сижу в темноте на выступе стены, прислонившись к шершавому теплому камню, и смотрю, как горит надо мной несметное множество свечек-звезд. Там продолжается всенощная, и хоры Ангелов поют Великое славословие:

— Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея...

Ради этой великой Его славы завтра взойдет солнце, раскроются чашечки цветов, запоют птицы. И день раскроется, как новая страница Книги Бытия, книги об Абсолютном, написанной на доступном нам языке относительного.

Вневременный словарь этой Книги несравненно богаче нашего. Не только краски, запахи, звуки, то, что мы воспринимаем чувством, сами чувства и мысли, движение их и перемены, но и человек, зверь, дерево, звезда, гора, дождь — это живые слова живого Бога, сказанные для нас. Что такое сам по себе какой-нибудь цветок мака или василек с его синим венчиком? Трава полевая, которая сегодня есть, а завтра увянет, как и мы все. И весь мир, принятый сам по себе — преходящий, текущий, умирающий, — не больше чем прах, возметаемый ветром. Но вот ты примешь цветок как слово Бога, обращенное к тебе, как знак любви, ты примешь мир как дар, незаслуженный и великий, и сердце исполнится благодарности и ответной любви: «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хвалите Его, небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят Имя Господне: яко Той рече, и быша: Той повеле, и создашася...»

А что такое грех?

То, что отделяет нас от Бога.

Наша вина перед Его любовью.

Запретный плод, съеденный ради него самого, не насыщает. Любовь, отдельная от Бога, не выдержит нагрузки непомерных ожиданий, не утолит нескончаемой жажды.

С какой тоской я припадала к любому источнику раньше, сначала каждый раз надеясь, со временем заранее зная, что это как утоление жажды во сне, после которого просыпаешься с пересохшей гортанью. Об этом Он говорил самарянке: «...Пьющий воду сию возраждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек».

Но «жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» — так кончается Откровение.

Одна свеча горит, освещая Евангелие, крест на аналое и отца Михаила, сидящего перед ним. Я останавливаюсь рядом, прислонившись к стене, и у меня перехватывает дыхание, как всегда перед первыми словами исповеди.

— Что вы все волнуетесь, дышите тяжело, будто вам шестнадцать лет? — говорит он, полуобернувшись ко мне с выжидательной и грустной усмешкой. — Все надеетесь справиться с собой своими силами? Надо спокойно предстать перед Богом с сознанием, что сам ты ничего не можешь, и молиться, чтобы Он помог. А для Бога нет невозможного. «Возверзи печаль свою на Господа, и Той тя препитает».

Он по-грузински читает молитвы, Христос невидимо стоит, приемля исповедание мое. Я наклоняюсь над аналоем, положив голову на Евангелие. Игумен накрывает мне голову епитрахилью и кладет поверх епитрахили тяжелую ладонь.

Потом мы говорили о монашестве, о Боге, о любви. Мое сердце, раскрывшееся на исповеди, оттаивало, порывалось к еще большей открытости, к очищению, просвещению благодатью. Я рассказывала о детстве, о матери и отце, ненависти и лжи между ними, первыми людьми, которых я разучилась любить. Об этом раннем страдании из-за отсутствия любви и неутоленной за всю последующую жизнь тоске по ней. Как ждала я пробуждений душевной жизни... Не было Бога, не было и понятия о грехе, все искреннее казалось дозволенным и желанным. Разве я могла знать, что духовная и душевная жизнь противоположны, вытесняют одна другую? Что и греховные желания в нас искренни, и всякая влюбленность, нежность преходя-



щи по своей природе, что это и есть «скоромимойдущая красота» и «прелесть».

— Какая влюбленность, какая нежность...— отзывался отец Михаил со вздохом.— Это безумие. Есть точное название для этих поэтических состояний: блудная страсть.

— А теперь душа не принимает ничего временного, я стараюсь обрести абсолютное и в отношениях с людьми, выйти к безусловному — к духовной близости.

— Между мужчиной и женщиной не может быть духовной близости. Все замешено на страсти.

— Вы так считаете?..

А я стала рассказывать о двух самых близких нам с Митей людях.

Один — священник, наш духовный отец. Другой — иеромонах, мы навещали его зимой, когда ему только что дали четыре заброшенных прихода. Каждый день он служил литургию в неотапливаемых, оледенелых храмах по монастырскому чину, без пропусков — сам за дьякона, за псаломщика и за хор. Во время Причастия край Чаши примерзал к губам.

— Каждый день? — недоверчиво покачал головой отец Михаил.— Как Иоанн Кронштадтский?

Потом требы — крещения, отпевания, причащения больных... Дома он оттаивает за горячим чаем, начинает улыбаться. Собираются на трапезу прихожане. И столько любви, света проливается на каждого из его глаз, что ты видишь в нем не мужчину, а живой образ Христа, перед которым хочется встать на колени.

— Женатый священник, духовный отец — не знаю, может быть... Вот и общайтесь с ним. А монахов лучше оставьте в покое.

Отец Михаил сидел прямо, откинув голову и прислонившись к стене. Смотрел, как истекает расплавленным воском свеча под густым лепестком пламени. В его привычной усмешке сейчас не было ни иронии, ни легкости, а затаенная и глухая печаль.

Я видела совсем рядом его высокий лоб со впадиной виска, на котором пульсировала разветвленная нить сосуда, видела отражение неподвижного огня свечи в его зрачке, просесть в бороде и забытую на губах усмешку. Когда мы замолкали, тишина между нами насыщалась незримыми токами тьмы и света. А мне хотелось говорить, никогда еще мы не говорили о сокровенном.

— Рядом с этим иеромонахом я поняла, что монашество — непосильный для меня ежедневный подвиг любви. Что благодать действует там, где израсходованы собственные силы, за их пределом.

— Ничего вы в монашестве не можете понимать, ничего... Вам не приходило в голову, что долгие службы, три часа сна в сутки, строгий пост — это его плата за такое духовное общение?

— Нет, не приходило.

— Не только, конечно... Но станете монахиней, узнаете, чего стоит безстрастие.

Он говорил, что если человек с неизжитыми страстями приходит в монастырь, они и будут его мучить, только с удесятеренной силой. А у каждого свои неизжитые страсти. В миру может казаться, что тебя ничего не тревожит, потому что любое желание можно удовлетворить. Но как только даны обеты — борьба обостряется. Это борьба за душу, и ставка в ней — вечность. Потому лучше, чтобы монах всегда болел. Преследуют не только желания, но призраки прежних желаний, воспоминания, сны. А если не призрак, если постигнет живая страсть?

— Я понимаю...— прервала я слишком долгую паузу.— Знать, что ничего никогда не возможно, но испытывать эту муку... Это смертельный номер.

— Что значит — смертельный номер?

— Ходьба под куполом по канату.

Он улыбнулся и медленно положил голову на аналой, виском на распятие, закрыл глаза:

— Ох, тяжело...

«Бедный,— подумала я,— милый, бедный...»

Мысленно я провела рукой по его мелко вьющимся волосам, уже разрезанным на темени и стянутым в узелок под затылком. Я знала, что никогда не поглажу его по голове на самом деле, и это то самое н и к о г д а, о котором мы говорим.

— Сколько вам лет? — спросила я.

— Тридцать шесть. Зачем вам это?

— А мне сорок четыре. Оказывается, я старше вас всех.

Он поднял голову, сначала с усилием, но сразу же выпрямился и коротко засмеялся:

— И все-таки вы ничего не понимаете. И то, о чем мы теперь говорим, для вас — литература. И ваша духовная близость между монахом и женщиной — самообольщение. Чем больше понимание, проникновение, возвышенное желание встать на колени — тем затаенней и глубже тоска по близости полной. — Голос у него был глуховатый и ровный. — Поэтому во все времена мужчины и женщины спасались порознь. Поэтому и мы не пускаем женщин в монастырь. И вы сами не должны чувствовать себя здесь в полной безопасности.

Я вспомнила хмурый, исподлобья, взгляд отца Венедикта, который он отводил при встречах со мной в последние дни. Но подумала, что тревога игумена преждевременна: наверное, я первая ощутила бы угрозу, если бы она появилась.

— О чем вы говорите... Здесь живут и другие женщины, ничего не опасаясь.

— Это другие женщины, — ответил отец Михаил, снимая нагар со свечи, почти утонувшей в лужице воска. — Они чужие для нас. А с вами у нас общая жизнь, это сближает. — Он сделал два легких движения, приближая одну ладонь к другой, но так и оставив узкий просвет. — Вы подошли слишком близко.

Мне не казалось, что слишком, потому что для меня в этом приближении не было тревоги. Мне хотелось подойти еще ближе, чтобы стало проще, родственней, как между мною и духовным отцом, моим ровесником. Пройдут еще недели две, и напряжение между всеми нами ослабеет от обоюдной открытости, потому что для христианской любви не должно быть «ни мужеского, ни женского пола».

Было около четырех часов, когда я отодвинула засов, запиравший нас изнутри в храме.

Та же теплая и переполненная звездами ночь окружила нас.

На подоконнике трапезной лежал зажженный фонарик: это Арчил или Венедикт намекали игумену, что братия помнит о нем, хотя он и отвлекается от братии.

Отец Михаил молча взял фонарик и пошел по тропинке к моей келье, светя нам обоим. Не дойдя до нее несколько шагов, он остановился и пожелал мне спокойной ночи.

Митя спал, ровно дыша, как спят уставшие дети.

До того, как Арчил придет будить нас, осталось два часа, до литургии — три.

Мне, как всегда, не верилось, что я доживу до Причастия.

В солнечном свете прозрачно сияют над престолом свечи и огоньки, плавающие в желтых лампадах семисвечника. И тонкий луч бьет сквозь дырку в иконостасе из облака над бедным изображением Спасителя, идущего босиком по земле.

Игумен в зеленой фелони, заполнив пространство царских врат, возносит благодарение Богу, как с благодарения начал и Сам Христос установление таинства Евхаристии на прощальной вечери с учениками. Однажды две тысячи лет назад, в сердцевине истории, пришел Христос. Но в Его жизни, смерти и Воскресении на все времена даровано нам Его Небесное Царство, и Его Церковь оставлена на земле, чтобы смысливать и одухотворять жизнь мира.

Вечность Духом Святым нисходит в прозрачно для нее время, Святые Дары прелагаются в Тело и Кровь Христа. Сердцевина истории совпадает с сердцевинной днѣ и нашей жизни, потому что «ядущий Мою плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне и Я в нем». И это сердцевина тайны: Он принял не абстрактную плоть условного человека — это «Я в нем» и означает реальное поглощение Христа в каждом из причастившихся, в нашем теле и нашей крови. Он воплощается в нас, чтобы нас спасти и обожить, снова быть распятым нашими грехами и в нас воскреснуть.

Поэтому мы славословим и благодарим и хор поет:

— Осанна в вышних! Благословен Грядый во Имя Господне, Осанна в вышних!

Игумен повторяет установительные слова священнодействия:

— Примите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов. Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя Новаго завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов.

Берет правой рукой дискос, левой — Чашу, крестообразно возносит их над престолом:

— Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Господи, хлеб и вино, выбранные из Твоих же бесчисленных даров нам на земле, мы приносим Тебе в благодарность и жертву о всех и за все. Потом игумен в тайных молитвах будет просить Бога, чтобы Он силою Духа Святаго преложил хлеб в Тело Христово, а вино — в Его Кровь... И по обету Спасителя это предложение совершится.

...Священник, стоящий перед престолом с воздетыми руками, — вот высший образ человека и символ его предназначения. Он принимает мир от Бога и каждое творение как знамение Его присутствия, как дар — и возвращает, посвящает их Богу в жертве благодарности и любви. Пустая, не насыщающая сама по себе плоть мира пресуществляется в этой вселенской Евхаристии, становится средством для приобщения к Богу, жизнь преобразуется в вечную жизнь в Нем.

— Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне Причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела.

Игумен произносит эти слова по-русски, потому что причащаемся только мы с Митей. И, крестообразно сложив на груди руки, я вслед за сыном подхожу к Святой Чаше.

— Причащается раба Божия Вероника... во оставление грехов своих и в жизнь вечную.

И, причастившись, я целую серебряный край Чаши.

На холме за нашей кельей есть поляна, обеденная лесом. После литургии мы с Митей ушли туда и разместились чуть поодаль, чтобы не мешать друг другу.

Я расстелила под березой старую овчинную безрукавку, забытую в келье Иларионом, легла, подложив под голову руки, — и Митя сразу пропал в траве и монастырь.

Так бывало и раньше: перед Причастием напряжение нарастало и нарастало — после всенощной, канонов и молитв к причащению,

заканчивающихся иногда к середине ночи, после исповеди и литургии я, казалось, из последних сил добиралась до Чаши; а потом сил больше не было, да и не нужны они были больше, потому что все исполнилось и совершилось.

Дремотная знойная тишина во мне и вокруг. Сквозь ветки и глянецкую листву я вижу чистую голубизну неба и белое облачко на ней. Солнце стоит над головой. Если закрыть веки, оно горит сквозь них нежным красноватым светом. И каждый стебелек травы или трехлепестковый лист клевера пронизан солнцем. Я смотрю на разветвленную сеть прожилок в прозрачном зеленом овале с зазубренным краем, на сиреневый, звездчатый венчик мелкого цветка, неприметного в траве. Лесной муравей тащит рыжую сосновую иголку с каплей смолы на конце. Прошел ветер — сухим березовым шелестом, лепетом и бормотаньем, и все опять затихло в потаенной жизни.

Обрывки мыслей, слова из вчерашнего разговора с игуменом нечаянно всплывают в памяти, они мешают мне. «Господи,— думаю я,— освободи меня от всяких слов. Дай мне хоть ненадолго раствориться в Твоем благословенном мире...»

Мите пора уезжать, я приподнимаюсь и ищу его взглядом. Он лежит на траве в подряснике и сапогах, спит, подложив скуфью под щеку, и лицо его во сне светло и чисто. Над ним кружится, садится ему на плечо и взлетает мотылек в голубой пылице.

Неисповедимы дары Господни — я все еще переживала собственное сиротство, а тем временем у меня вырос сын, и наше глубинное родство с ним заменило мне все формы родства и превзошло их. Никогда никому я не могла бы отдавать душу и жизнь так полно. И если бы это сохранилось до конца моих дней...

Сразу после трапезы прикатил «газик». Оказалось, что вместе с Митей уезжают Эли и Нонна. Вернуться все они собираются с той же машиной через два дня.

Митя, веселый, сменивший подрясник и сапоги на белую рубашку, вельветовые брюки и сандалии, помахал мне с подножки нотной папкой. Дверца захлопнулась, взметнулась и осела пыль от колес на подъеме дороги. Бринька и Мурия с лаем кинулись вслед.

Венедикт отвернулся и, натянув на уши вязаную шапку, пошел к себе.

Я вдруг обнаружила, что осталась одна. Впервые после намеков игумена меня коснулась тревога.

Я устала после почти бессонной ночи и в келье сразу легла, заперев дверь на крючок и даже проверив его на прочность. Но сон не шел.

Вспомнились мелкие подробности последних дней. Теперь мне тоже стало казаться: что-то происходило вокруг меня, но от переполненности другими впечатлениями я этого не замечала.

Был, например, такой эпизод.

Сначала я обедала и ужинала в трапезной после братии, но иногда до вечера не успевала вымыть посуду, а потом темнело. Я спросила игумена, не могу ли я обедать одновременно с ними, только у себя в келье, и он, безразлично пожав плечами, ответил: «Пожалуйста, как вам удобно». И вот как-то я несла кастрюльку с борщом, а в тарелке поверх нее — хлеб, кусок арбуза и начатую банку с вишневым вареньем. На тропинке мне встретился Венедикт. Он уступил дорогу, взглянув на мою тарелку с таким видом, будто уличил меня в грехе тайноядения. Но не сказал ничего, и мне нечего было возразить.

Зато на другой день он заметил Мите:

— Твоя мать делает успехи.

- Какие? — заинтересовался Митя.
- Носит себе еду в келью.
- Да, это чтобы не ждать вас, а скорее мыть посуду и готовить.
- Но ведь она делает это без благословения игумена...
- Нет, с благословения.

Едва ли Венедикт пожалел мне борща, который я только что сварила в ведерной кастрюле для всех, или кусок арбуза. Едва ли он заподозрил меня в том, что я делаю в келье пищевые запасы на черный день. Здесь проявлялось какое-то подспудное раздражение или недовольство.

А в тот раз, когда в Джвари пришел Георгий с друзьями, один из них, помогая мне собирать посуду, стал что-то насмешливо выговаривать по-грузински Венедикту. Речь шла явно обо мне, и в ответ на мой вопросительный взгляд молодой человек объяснил:

— Я говорю: какой же ты грузин, если тебя женщина попросила вырезать крест, а ты хочешь за него деньги?

Не знаю, от кого он узнал об этом, мы с ним к тому времени. да и после, не обменялись и двумя фразами.

- Я не просила.
- Тем более, он сам предложил.

— А я говорю, чтобы ты не вмешивался не в свое дело, — мерным голосом, но с холодной неприязнью в пристальном взгляде ответил ему Венедикт и так же взглянул на меня.

Не было ли как-то связано со мной и то, что он стал исчезать на весь день? Были три дня, когда я почувствовала напряженность в их отношениях с игуменом. Тогда Арчил уехал, Венедикт, конечно, готовить не хотел; а игумен еще не решался допустить меня в их быт так близко, — может быть, они поссорились из-за нас с Митей? Или я так обидела его, когда он был пьян? Но все это было слишком незначительно для той подчеркнутой отстраненности и неприязненности во взгляде.

Как не хотелось мне додумывать до конца все эти «или — или»... Какой бы ни была причина разлада, мне надо было выяснить ее или подумать об отъезде.

А я знала, что эти дни в Джвари — лучшие в моей жизни, и за то, чтобы продлить их, сейчас, сгоряча, готова была бы отдать несколько следующих лет.

Наверное, я начала засыпать, когда меня позвал из-за окна Арчил: реставраторам подарили грибы, и надо было их пожарить.

- Арчил, можно я пожарю их позже, к трапезе?
- Конечно, — откликнулся он, уходя.

Так мне и не удалось уснуть. Я стала то и дело смотреть на часы, опасаясь, что не успею справиться с грибами, тем более что никогда их не жарила.

Умывшись, надев свой полинялый халат и платок, я решила, что мои дремотные тревоги — вздор и надо сейчас же объясниться с Венедиктом. Я не сделала ему ничего плохого и потому ничего плохого не должна была ждать от него.

Большая сумка с грибами стояла у родника, из нее пахло осенью, прелым листом и дождями. Я высыпала грибы на каменное ограждение — там были подосиновики, желтые лисички, но больше всего сыроежек с лиловой и красной липкой кожицей и еще каких-то грибов с перепонками в подкладке шляпки, едва ли съедобных.

— Надо приготовить для реставраторов тоже, — подошел Арчил, довольно рассматривая пеструю кучу.

Когда я шла мимо балкона, Гурам и Шалва сидели за столом с двумя молодыми женщинами и смеялись.

— А может быть, мы разделим грибы — там есть женщины, они пожарят сами? — осторожно предложила я. До монашеской трапезы

оставалось полчаса, я уже не успевала приготовить ужин на восемь человек. Да и готовить монахам — это я приняла на себя в меру сил, но почему реставраторам с гостями?

— Это не женщины, а девушки,— почему-то обиделся Арчил. — Они утром зашли случайно... и задержались.

— Да что вы, Арчил, мне это совсем безразлично.

— К тому же мы их к себе не приглашаем,— перебил он.— Монахи не трапезничают с женщинами. Это вам так повезло...

— Но сыроежки не жарят, а остальных грибов просто не хватит на всех.

— От доброго сердца и малое приятно. Вы поняли меня?

Я поняла. И на сердце у меня сразу стало еще тяжелее. Что-то такое же непонятное мне, как и в поведении Венедикта, стояло за быстрой и несправедливой вспышкой раздражения Арчила, и это меня подавляло.

— Но сыроежки все-таки не жарят.

— Почему не жарят? — волновался Арчил.— Если вам трудно, я помогу. Это христианская любовь — сделать добро другим...

— Это все равно что жарить огурцы. Но если хотите, делайте с ними что угодно.

Глупее повод для ссоры трудно найти, но обида была настоящей. Я чистила, мыла, резала грибы, высыпала их в кипящее на сковородке масло, и у меня дрожали руки.

Когда грибы, на мой взгляд, были почти готовы, подошел Арчил и независимо сообщил, что сыроежки он выбросил.

— Это и я могла сделать из христианской любви.

— Они оказались червивые...

Я попросила его попробовать грибы. Он сказал, что, наверное, можно их пожарить еще.

В шесть часов к трапезе никто не спустился. Арчил ходил за игуменом, но вернулся один.

— А где отец Михаил?

— Он плохо себя чувствует...— Арчил говорил теперь сдержанно, но почти так же отчужденно, как Венедикт.— Он придет позже.

Стол был накрыт, вермишелевый суп и жареная картошка с луком остывали на столе. Грибы все еще жарились, я хотела подать их горячими. Когда я заглянула под крышку, их стало гораздо меньше. Я отложила себе в миску с картошкой столовую ложку грибов, погасила огонь под сковородкой.

В это время на кухню за спичками заглянул Венедикт: я знала, что он курит, хотя от нас с Митей это скрывали.

— Отец Венедикт, я хочу поговорить с вами.

В моем расстроенном состоянии не следовало делать такую попытку, но мне уже надо было дойти до конца.

Отец Венедикт усмехнулся, погремел спичками и прошел в трапезную. Когда через несколько минут я принесла туда чайник, они сидели рядом с Арчилом, и Венедикт поднял на меня хмурые глаза:

— Вы хотели о чем-то со мной поговорить?

Я растерялась:

— Ну, не теперь же, не за едой...

Со своей миской я ушла в келью ужинать. Сухие, пережаренные грибы не лезли в горло.

Я вспомнила утро на солнечной поляне, спящего Митю и как мне было легко, светло. Теперь мне хотелось бы плакать, если бы не было подавленности и пустоты в моем недобром сердце.

Когда я вернулась мыть посуду, Арчил показал мне тарелку с грибами, их стало еще вдвое меньше, чем было на сковородке.

— Мы их не ели, оставили реставраторам, грибы здесь — деликатес...

— Значит, они еще на сковородке усохли,— сообразила я.

— Это потому, что вы их сначала для гостей пожалели,— как будто бы пошутил Арчил.

Я не жалела их для гостей. Но теперь это не имело значения.

Перед вечерней отец Михаил сидел в трапезной, закутанный в женский шерстяной платок, в накинутом поверх платка ватнике.

Я спросила, нет ли у него температуры, и предложила вьетнамскую мазь «Золотая звезда».

— Не надо, оставьте себе...— ответил он насмешливым тоном и бгянулся на Венедикта, который что-то резал скальпелем и не поднял головы. И потому, что это прозвучало грубо, с тем же выражением добавил:— Я говорил, что монах должен всегда болеть...

Тарелка с грибами все еще стояла посреди стола — как напоминание и укор. Сверху был слышен женский смех.

А после вечерни игумен, Венедикт и Арчил заговорили между собой по-грузински.

Я попросила благословения и ушла.

Усталость и подавленность меня подкосили, я уснула сразу.

На другой день, дождавшись, когда Венедикт пойдет с трапезы, я вышла на тропинку.

Я волновалась. Получалось, что он уклоняется от разговора со мной, а я настаиваю. Это было унижительно и неприятно.

Венедикт смотрел мимо, взгляд его был тускл, как после бессонницы. Я спрашивала, как он относится к нашему с Митей присутствию в монастыре, не мешает ли оно ему. Он отвечал уклончиво и неохотно, что присутствие женщин в монастырях всегда соблазн.

— Хотите ли вы, чтобы мы уехали?

— Мои желания не имеют значения. Вы живете здесь по благословию игумена, это его дело. А монах вообще не должен иметь своей воли.

Пока мы стояли на склоне холма, внизу на тропе от монастыря через поляну появился игумен. Задумчиво наклонив голову, он шел к келье Венедикта, но вдруг увидел нас и повернул обратно. Оглянувшись, помедлил, повернул снова и стал подниматься по склону.

Венедикт заметил его и пошел навстречу.

Перед раскрытой дверью кладовой, на ступенях пристройки сидел Арчил. У его ног стояла большая кастрюля с кусками воска. Он чистил их ножом и складывал на траву: игумен предложил из сохранившегося воска самим делать свечи. Дня три назад он поручил мне почистить воск в свободное время. Времени не было, но теперь мне показалось, что и воском Арчил занялся сам, чтобы меня упрекнуть.

— Арчил,— подошла я, слегка задыхаясь,— не мешает ли вам мое присутствие в монастыре?

— Мне лично нет.— Он будто ждал этого вопроса и теперь решил на вызов.— Но монахам нужно уединение, вы понимаете это сами. Может быть, вам удобнее готовить еду у родника?

«Вот и все»,— подумала я.

Оставалось дожидаться сына. Я выпросила у судьбы несколько дней в раю, но срок истекал.

Я убирала со стола, носила на родник посуду, возвращалась с ней. Отец Михаил в накинутом ватнике сидел рядом с Арчилом перед растущей на траве горкой воска. Я не встречалась с ним взглядом, но каждое мгновение чувствовала, что он видит меня.

Утром я спрашивала, могу ли уйти после трапезы из монастыря: я хотела походить по горам вокруг, посмотреть на них еще — перед прощаньем. Но теперь ждала, что игумен подойдет.

И он появился, с независимым и напряженным лицом прошел через трапезную в комнату рядом, но скоро встал в дверях.

— Вы собирались куда-то идти?

— Я еще собираюсь.

— Куда?

— Я хотела побыть одна.

— Ах вот как...

— Но если вы можете поговорить со мной (я сказала «можете», потому что не мог же он хотеть поговорить с женщиной), давайте поговорим, по-видимому, у нас осталось мало времени.

— Значит, вы что-то почувствовали...

— Ну еще бы...

Отец Михаил сел на койку возле тумбочки, я на край скамьи, облокотившись о спинку. Он раскрыл церковную книгу, полистал ее, нашел в тумбочке ластик и стал тщательно стирать карандашные пометки на полях — в отличие от меня он был при деле.

— О чем же вы хотите поговорить?

— Прежде всего я хочу поговорить с вами как с духовником. Вы наблюдали нас с Митей довольно долго, мы для вас прозрачны — поговорим о наших недостатках.

Он улынулся, слегка приподнял брови, одновременно чуть наклонив голову. Его мимика, жесты, интонация — все было уже так знакомо... И стало непонятно, почему вначале лицо его показалось некрасивым: теперь мне нравилась каждая его черта — эти короткие брови, небольшие глаза, длинноватый нос, — нравился даже узелок волос под затылком и длинные пальцы больших рук. И в том, как пристально видела я его сейчас, была прощальная вежливость.

— Наши недостатки — неисчерпаемая тема. Куда ни посмотри — везде недостатки. Вот у меня на коленях книжка — я украл ее из библиотеки, решил, что там она не нужна. А вам что-нибудь скажешь, вы еще обидитесь...

— Может быть, и обижусь.

— Ну, как хотите... — Он взглянул коротко, насмешливо, прямо, примериваясь к удару. — Вы ужасно гордый человек. Бог может простить все: воровство, — он слегка приподнял книгу, — прелюбодеяние, разбой... Но гордость — это медная стена между человеком и Богом. «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». А в каждом вашем взгляде, жесте — такая гордыня... Чем вы гордитесь? Вы что — Хемингуэй? Или вы самая добродетельная христианка?

Я засмеялась: куда уж там...

Но этого ему было мало.

— Может быть, вы самая красивая женщина?

Можно сказать, это был удар в лицо. Я совсем не красивая женщина, всегда помнила это и в юности красивых считала избранницами судьбы. А недавно прочла у Ельчанинова: «Блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники — они не имеют в себе главного врага — гордости...» И это так же, как «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие»... Беда только в том, что, как говорил игумен, чем только не гордится человек: нет красоты — гордится умом, нет ума — гордится должностью или достатком, нет достатка — гордится нищетой, и радостью гордится, и даже скорбями.

— На вас надели старый халат, вы моете посуду — ни капли смирения и тут: вы будто играете роль... Золушки, что ли? Только Золушки, знающей, что ее за воротами ждет золотая карета... — Он все с большим увлечением стирал пометки. — Чем вообще вы заняты сейчас? Вы творите Иисусову молитву?

— Нет... Я занята по кухне.

— Ага, в пещере творить молитву можно, на кухне нельзя. А в монастыре пищу надо готовить с молитвой. Молитва — вообще первое дело, а все остальное — второе. И что вы там все пишете? Сидите у кельи и пишете в тетрадку. Может, собираетесь написать роман из монашеской жизни?

Наверное, он тоже видит меня пристальней, чем я предполагала.



— Из монашеской жизни я не могу писать, я не монахиня.

— А мне кажется, все-таки собираетесь.

— Вам кажется, что я лгу?

— Нет...— Этот аргумент на мгновение его озадачил.— По-моему, вы вообще не лжете.— Последняя фраза была произнесена с интонацией некоторого удивления и уважения.

— Во всяком случае стараюсь не лгать. Я не знаю ничего, что стоило бы приобретать ценой лжи.

— Вот и повод для гордости. Но что же вы пишете? Длинные письма?

— Я записала, что вы рассказывали о старцах...

— Зачем? Значит, все-таки — может быть, непроизвольно — готовитесь писать...— От возмущения он закрыл и отбросил на койку книгу.— Да как вы решитесь прикоснуться к их жизни? Ведь это в самом деле д р у г а я, не ваша жизнь! Вы понятия о ней не имеете... Так же как о божественных созерцаниях, сколько бы вы о них ни читали. Нам смешно, когда вы цитируете святых отцов. Так дети берут вверх ногами книжку, водят по ней пальцем и приговаривают, будто читают. «Дух постигается только духом!» Пока вы не будете жить по-монашески, вы ничего не увидите, как бы ни старались. То есть увидите подрясник, сапоги, дырку в иконостасе...— Тон его становился ровней.— Решите для себя сразу: хотите вы п и с а т ь о христианстве или по-христиански ж и т ь. И если жить — бросьте все, пока не поздно, идите в монастырь.

— Я хотела бы жить. И когда мы уедем из Джвари, я буду тосковать об этой жизни другой, искать для себя выход в нее. Но если не удастся его найти, может быть, мне не останется ничего лучшего чем писать — больше я ничего не умею.

— А писать умеете?

— Лучше, чем жить или молиться.

— Вот и учитесь жить по заповедям и молитесь. А то я боюсь, что вера для вас увлечение — вы открываете новый мир.

— В вере для меня — спасение. Я говорю даже не о вечной жизни — я не знаю, как можно выжить без веры в нашей временной.

— Хорошо, если так...

— Я слышу, как оживает душа, воскресает из мертвых. А от писания она не воскреснет. Но я не уйду в монастырь — у меня есть сын.

— Дайте ему идти своим путем.

— Он и идет своим. Но пока я ему нужна.

— Видите, мы повторяемся, мы уже говорили об этом. Вы просите моих советов, но не выполняете их. Сын всегда будет нуждаться в матери. Но когда я через полгода вернулся в Тбилиси, чтобы взять паспорт и прописаться в монастыре, я даже не зашел к матери.

— Может быть, вы ее не любили...

— Вот-вот, так и она сказала. Вы думаете, ваш сын такой хороший, а другие — плохие сыновья?

— А он не такой хороший?

— Димитрий? Да вы посмотрите, какой он гордый, какого он высокого мнения о себе. Такие люди бывают плохими монахами. Но они могут стать архиереями, управлять Церковью. Кроме Бога, им нужна публика. Если так пойдет, через два года вы будете ему мешать.

— Тогда я и уйду...

— Ему шестнадцать лет. Он написал гимн... Что надо было сделать потом? Отдать игумену, и все. А он дальше действовал сам. Даже сообразил, к кому надо подойти, чтобы тот подвел его к Патриарху.

— Он считал, что это входит в задачу.

— Видите, что вы делаете? Спорите, опровергаете — заграждаете мне уста.

— Я привожу смягчающие обстоятельства.— Мне показался этот упрек несправедливым, как упреки Арчила за грибы.

— Не надо смягчать, если хотите слышать правду. Наоборот, вы должны соглашаться, говорить: «Да, и вот еще был случай...» А вам удобней оставаться при своих мнениях. Тогда зачем разговаривать? Ну что еще вы хотите сказать?

Вот и весь состав пошел под откос. В его разгоне еще успел выплеснуться осадок от разговора с Арчилом и Венедиктом.

— С какой высоты вы нас судите...

— Вы так хотели.

— Я так и хочу. Но вот Венедикт мне объяснял сегодня, что женщина — это соблазн, как вы это оцениваете со своей высоты?

Он опустил глаза.

— Нравится вам это или нет — так монахи видят женщин.

— Но если в половине человеческого рода видеть не христиан, не людей вообще, а только соблазн... и слово-то какое нечистое... как это совместить с Богом и христианской любовью?

— Вы забываете, что есть и дьявол... недооцениваете его роль.— Теперь лицо отца Михаила было закрыто, как дом с опущенными ставнями.— Вы будто думаете, что христианство — только праздник с вербами и свечами. А после входа в Иерусалим и была Голгофа. Давалась бы эта любовь даром, кто бы не согласился стать христианином? Но чем выше человек старается подняться, тем больше зла он должен победить в себе и вокруг. И зло ему мстит. Это кровавая война — не на жизнь, а на смерть. Потому что ставка большая: судьба души в вечности. И женщина может быть ловушкой в этой войне, и сама человеческая природа...

Мы молча сидели друг против друга, когда вошел Венедикт, смерив нас неодобрительным взглядом.

Игумен усмехнулся, как человек провинившийся и застигнутый врасплох, и поднялся ему навстречу.

Я сидела, привалившись спиной к стогу. Над свежей зеленью луга все так же светились фонарики мальв. Стрекозы мерцали прозрачными крыльями в прозрачной синеве, шмели гудели. Вблизи все заливал слепящий золотой свет. Рельефно и резко обозначились деревья, ветки, каждый лист на просвеченных солнцем зеленых кронах. Бродила, тяжело ступая, лоснилась на солнце рыже-коричневым, пофыркивала лошадь, отгоняя хвостом слепней. За ней, за деревьями на обрыве и ущельем, на четко отделенном и дальнем втором плане проступали горы сквозь густое белесое марево. Звенели цикады, струилась зной, день был полон света, как Божие благословение.

А у меня не было сил, чтобы подняться и уйти подальше от Джвари. Слишком резко все кончилось, и это меня подкосило.

Кто-нибудь мог выйти на поляну, а я уже не могла никого видеть. Я поднялась, пошла по тропе через лес в сторону монастырских давлен: когда-то монахи сами делали виноградное вино. Там еще остались окованные крышки над чанами, врытыми в землю, и задернутое рыской болотце.

За ним я спустилась по едва приметной тропинке к обрыву и легла на траву.

Внизу шумела река, и неподвижно стояли вокруг деревья. Ни сил не было, ни горечи, ни мыслей, а слезы лились и лились, и мне не хотелось сдерживать их. Сладко пахло хвоей, нагретой землей, сухими листьями. Чуик-чуик!.. чуик-чуик!.. — говорила в кустах невидимая птица, и этот прозрачный, чистый, высокий звук тоже отзвучивался во мне слезами. Сквозь них я видела стебли травы, желтый обрыв другого берега, облака над ним.

Потом и слезы иссякли.

Такая глубокая снизошла тишина, какой никогда я не слышала в себе раньше. Дальнее и ближнее прошлое, слова, слезы — все затонуло в ней. Осталось только то, что было здесь и теперь. Но это здесь и теперь стало прозрачно для света и Бога.

Мерно шумела внизу река. Бабочка с золотым и черным орнаментом подкрылий, перевернутая на провисшей травинке, сама травинка, пальцы моей руки пропускали солнце, и пятна солнца лежали на траве. Я видела рисунок линий на своей ладони, пересекающиеся, переплетающиеся линии и штрихи, в которых можно было найти линию жизни и линию скорби, любви... Вчера в эту слабую плоть вошел Бог, и Он еще жил в ней. Моими заплаканными глазами Он смотрел на крыло бабочки, узор коры, на сотворенные Им Самим день и лес. И между Ним и миром не было ни преграды, ни расстояния. Он был во мне, лежащей на траве, и вокруг, а я светло, благодарно и полно ощущала Его присутствие.

Иногда я говорила Ему слова, которых нельзя повторить. В другое время мы с Ним молчали. Но в этом молчании мне было сказано то, без чего моя прежняя жизнь, захлестнутая потоком своих и чужих слов, оставалась пустой.

Так прошло три-четыре часа.

И если девятнадцать дней в Джвари — лучшие в моей жизни, то эти часы — сердцевина прожитых там дней.

Садилось солнце, я шла босиком по каменистому дну реки. А тишину я несла в себе, боясь расплескать. Мне хотелось так и уйти по реке из монастыря и больше туда не вернуться. Видеть кого-нибудь, произносить ненужные слова было бы непосильно.

Оставалось переждать еще часа три, вернуться, когда стемнеет, уснуть, а завтра придет Митя и мы уйдем.

До темноты я просидела на теплом камне под деревом, у тропы от реки к монастырю, прислонившись спиной к стволу и обхватив колени руками.

Умолкли никады, стало тревожно, прохладно. Звезды проступали на бледном небе, оно наливалось синевой, синева густела. Мне хорошо было смотреть, как над горами восходит луна, налитая фосфорическим светом.

Был одиннадцатый час, когда я вышла на поляну со стогом, залитую зеленым светом. Деревья и стог посреди поляны отбрасывали черные тени. И черная лошадь бродила рядом, громко фыркая.

Со стороны монастыря раздался крик: «А-а-а-а-а!..»

Крик неприятно отозвался во мне: значит, искали меня и предстояли еще упреки и объяснения.

По верхней тропе я прошла, никого не встретив. Но около моей кельи стояли двое. По росту и шапочке я узнала игумена.

— Кто это? — почти вскрикнул он, когда я подошла. — Кто это? Я подошла достаточно близко, чтобы не отвечать, но ответила:

— Это я.

— Где вы были? Вы никого не встретили?

— Нет.

Игумен быстро пошел в сторону дома.

— Реставраторы и Арчил ушли вас искать, — объяснил Венедикт.

Над монастырем одна за другой взвились и погасли красные ракеты. Мне было стыдно, что эта пальба и тревога происходили из-за меня, но как-то и все равно.

— У вас есть спички? — Венедикт зашел вместе со мной в келью, зажег на столе свечу. — Слава Богу, что вы пришли... А то был один дьякон, тоже ушел поздно и не вернулся.

В его тоне не было ни отчуждения, ни враждебности.

Голос игумена позвал Венедикта, он вышел. Я тоже.

Теперь мы стояли перед раскрытой дверью, и мне едва видны были их лица. Игумен еще тяжело дышал.

— Где вы были?

— Я предупредила вас, что не вернусь к службе...— Мне было физически тяжело выговаривать слова, и потому я говорила тихо.

— Вы весь день не ели... Пойдемте, выпейте чаю.— Он тоже слегка понизил голос, но все еще говорил возбужденно.

— Я не хочу есть.

— Случилось что-нибудь? Что с вами?

— Нет, ничего не случилось.

Весь этот долгий день я прощалась с Джвари и его обитателями, я уже оплакала их. И вот они вернулись, стояли рядом. А у меня было странное чувство, что я уже ушла, меня здесь нет. Я ждала, когда и они уйдут.

— Пойди поищи Арчила...— сказал игумен Венедикту.

Венедикт пропал в темноте.

— Мы могли беспокоиться о вас,— уже совсем ровно сказал отец Михаил.

Я помнила тон, каким они оба говорили со мной утром.

— Вы могли беспокоиться, как бы не было неприятностей из-за меня. Но я-то знала, что их не будет.

— Вы издеваетесь? — удивился отец Михаил: до сих пор я всегда говорила с ним почтительно.

— Простите, я бы хотела уйти.

Он постоял в растерянности.

— А я настаиваю, чтобы вы сказали, что с вами...— Судя по интонации, он слегка улыбнулся.— Я требую объяснений.

И я усмехнулась: больше он не имел надо мной власти.

— Пойдемте, вы поужинаете и расскажете, где были...— Даже оттенок зависимости появился в его интонациях.— Или вас кто-то обидел? Может быть, Венедикт вас оскорбил?

Вот как, он и оскорбить мог?

— Что вы молчите?

— Мне просто нечего сказать.

— Тем более надо поужинать. Пойдемте... Я же не могу взять вас за руку...

Мне было трудно длить это препирательство. И в то же время я боялась опять заплакать. Мне очень хотелось уйти.

— Простите, отец Михаил, мне сейчас тяжело говорить с вами. Завтра я отвечу на все вопросы.

— Может быть, это... литература?

Так он называл всякие эмоции.

— Может быть. Спокойной ночи.

Он повернулся и ушел не ответив.

Я заперла дверь, опустила шторы на окнах. Недолго помолилась перед образом Божией Матери и погасила свечу. Сначала стало совсем темно, потом синяя щель обозначилась у края шторы. Одна полиэтиленовая пленка отделяла меня от ночи и леса. В этой черноте за окном мне вдруг померещилась угроза.

Я разделась, легла и сразу увидела себя на траве над обрывом и будто в сон стала тихо погружаться в то же состояние — опустошенности после долгих слез, потом благодатной и светлой наполненности.

Проснулась я от тревоги. Лежала, прислушиваясь к темноте. Я слышала только глухие удары своего сердца. Но мне казалось — кто-то стоит за дверью. Я не знала, сколько я спала, несколько минут или часов, я не решалась зажечь спичку и в темноте бесшумно оделась.

На ощупь я сняла икону и, прижав ее к груди, встала на колени. Пока не рассвело, я молилась Богоматери о себе, об игумене и Ве-

недикте. Я просила Ее «покрыть нас от всякого зла честным Своим омофором».

На другой день Арчил не разбудил меня. Я пропустила утреню и сошла вниз перед трапезой.

У родника встретился реставратор Шалва. Его бритая голова обрастала черной щетинкой, и он этого стеснялся. Они с Гурамом вчера ходили искать меня на хутор и дальше, к заброшенной деревне, и я попросила прощения за эту тревогу.

— Мне давно хотелось поговорить с вами о вере, — сказал Шалва.

— Боюсь, что мы не успеем. Да и почему со мной? О Боге лучше говорить с тем, кто отдает Ему себя целиком... Поговорите с игуменом.

Оказалось, они уже просидели однажды с отцом Михаилом на поляне до середины ночи. Потом игумен дал Шалве Катехизис, а Эли — книгу о мистическом значении литургии.

Я и заметила, что все они стали чаще бывать на службе: Гурам и Шалва стояли в храме, Эли и Нонна за порожком. Душа — «по природе своей христианка», она узнает Истину, стоит только подойти достаточно близко.

Игумен сидел один в комнате рядом с трапезной. Он взглянул на меня выжидательно. Я от входа попросила благословения и вышла разогревать завтрак.

А к концу трапезы пришла машина с Митей — женщины задержались еще на день.

При игумене Митя стеснялся быть ласковым, но от радости забыл об этом и поцеловал меня в щеку. Мальчик мой милый приехал, слава Богу...

Мы все сидели в трапезной, и Митя рассказывал о торжестве в Сиони, на котором было двенадцать архиереев — весь епископат Грузии. Рукополагали тринадцатого епископа, ровесника и друга нашего игумена. Митю облачили в стихарь, и он преподнес свой гимн, а потом тоже выходил со свечой и подавал Патриарху дикирий.

— Да, мама, Патриарх спросил, как нам нравится Джвари, и благословил пожить здесь до конца лета...

Мальчика моего переполняла радость, а я была подавлена тем, что предстояло ему сообщить.

После обеда Митя с наслаждением вытянулся в келье на койке. Он очень устал за эти два дня торжеств. Но продолжал рассказывать о них со всеми яркими богослужебными подробностями, теперь так наполненными для нас смыслом. Мне было жаль его прерывать, до утра оставалось много времени.

Я сидела перед распахнутой дверью, когда в ее зеленом и желтом проеме появилась темная фигура игумена. Раньше он не приходил к нам, и это появление предвещало что-то важное.

— Вероника, мне нужно поговорить с вами.

— Заходите, отец Михаил.

— Нет, я не зайду. Выйдите, пожалуйста, вы.

Я накинула халат поверх сарафана, надела косынку, завязав ее сзади на шее.

Молча спустились по холму.

Мы сидели на склоне, на котором отец Михаил скопил траву ночью после нашего приезда. Тогда мне хотелось посидеть здесь с ним и Митей, и вот мы были вдвоем. Чуть ниже на обрыве стояла наша опустевшая, выгоревшая на солнце палатка. Поляна внизу опять зарастала травой. Слева за ней белел дом с широким балконом, там прогуливался Венедикт, и ему было хорошо нас видно. А впереди поднималась светлая громада храма, и дымилась зноем горная даль.

Ни облачка не было в небесах над нами. Но там, в раскрытой высоте, происходило какое-то медленное смещение, движение ясной

синевы и света, проникновение их, растворение. Хотелось смотреть и смотреть в эту живую бездну.

. — Вероника... Я говорил вам, что крестился только шесть лет назад... — начал игумен затрудненно, но спокойно. — В молодости я вел слишком свободную жизнь. А с чем человек приходит в монастырь, то его больше и мучит — неизжитое прошлое. Вы спрашивали, что для меня тяжелее всего в монашестве... Одно время ко мне стали присылать на исповедь всех — и молодых женщин, девушек тоже. Я попросил Святейшего не благословлять сюда никого.

Обхватив колени руками, он сидел прямо, смотрел прямо перед собой и говорил ровно и жестко. Неизменная черная шапочка была надвинута на лоб.

— И вот я испытываю к вам... эту низкую страсть.

Это странное признание было так неожиданно, что я не поверила ему. В первую минуту я даже подумала, что он берет на себя чужой грех, прикрывает его собой.

— Я несколько раз намекал вам на это. Но вы уклонились... или не поняли.

— Почему-то я относил эти намеки... никак не к вам самому. Да и ни к кому здесь до конца не могла отнести. Скорее принимала как отвлеченный разговор... об опасностях духовного общения.

— А я говорил и об этом довольно ясно: у нас с вами не может быть духовной близости. Возможны другие случаи... например, наши отношения с Давидом исключают с моей стороны чувства к его жене...

— Наверное, я считала, что и наши с вами отношения их исключают.

Я тоже старалась говорить ровно. Но находила нечаянные, не самые верные слова.

Почему же я действительно не замечала того, что ему казалось явным? Это «почему» уходило в глубину, которую пока заслоняли в сознании моем сказанные нами сейчас слова.

— Конечно, исключают... я знаю это, как и вы. Но человек облечен в плоть, страстен: не согрешит делом — согрешит помыслом. Монашество и есть эта невидимая брань со своей страстной природой. И слово Божие, как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов... как говорит апостол, — и судит помышления и намерения сердечные. До разделения души и духа — вы понимаете, как это может быть страшно... и как больно?

Я понимала — теперь. Но раньше, совсем в другое время, почти прошедшее, испытывала эту боль.

— Не стыжусь сказать вам все это... — заговорил он тише, мягче. — И нет ничего сокровенного от Бога, все обнажено пред очами Его. Что мог бы я сейчас ответить, если бы Он спросил: «Адам, где ты?» Наверно, я тоже захотел бы скрыться от Него в чаще, потому что вчера забыл о Нем. — Я молчала. И он спросил: — Вам это признание льстит?

— Почему же? Мне кажется, даже признанием вам хотелось меня ранить — по возможности больно.

— Может быть, может быть... — усмехнулся он, глядя все так же перед собой или в себя, ни разу не коснувшись меня взглядом. — Мне хотелось сказать грубее — так легче. Это тоже от гордости... Мы ведь все очень гордые люди, и ничего нет на пути к Богу труднее смиренного сознания своих слабостей... и покаяния. Но я не хочу препарировать свое чувство к вам. Кто знает до конца, что имеет, что не имеет значения?

Теперь то глубокое, затаенное, что я услышала в нем после моей исповеди в храме, снова стало глухо прорываться сквозь его ровный тон.

— Может быть, тайна в наших душевных свойствах... Да, я не предполагал — не было в моей богатой впечатлениями биографии та-

кого случая, — что можно внутренне быть близким с женщиной, будучи столь от нее отдаленным... всей судьбой, прошлым и настоящим. И даже будущим: едва ли мы встретимся в вечности. Спаситься вообще очень трудно, а я почти уверен, что мне это не удастся. «Скоро я умру, и окаянная моя душа снидет во ад...» А вам я желаю лучшей участи.

Чем меньше в нем оставалось прежней позы, игры, тем более напряженным становилось пространство между нами.

— И все-таки я знаю, что это пламя... — спокойно выговорил он. — Оно может перекинуться на вас. И тогда сметет все преграды.

Печаль, которую я расслышала под его ровным тоном, остро коснулась моего сердца. И я подумала, что ничего не знаю ни о его прошлом, ни о настоящем. Ведь что такое неизжитые страсти? Это еще и все то, что человек не долюбил, в чем не перегорела душа, пока не отделенная мечом смерти ни от тела, ни от бесстрастного духа...

— Вы, наверное, ждете, чтобы я сказала, что мы уедем?

— Что же нам остается? — откликнулся он. — Мы не можем жить рядом. Тем более после этого разговора... Я не хотел его, откладывал до последнего края. Вчера, когда вы наконец вернулись, я хотел говорить с вами. И сказал бы все по-другому.

И тут последняя догадка меня поразила:

— А позже... это вы приходили?

Он опустил на локоть, потом совсем лег на траву, как будто пружина, державшая его так прямо и ровно, сломалась. Закинул руки за голову, лежал и смотрел в дышащую над нами синеву.

— Да, это был я.

Сорвал сухой стебелек, молчал, покусывая его.

Чуть повернувшись, я видела его открытое лицо, не защищенное привычной иронией, и отражение небесного света в глазах.

— Но откуда вы знаете? Видеть меня вы не могли, слышать тоже...

— Я вас чувствовала.

— Ах, вот что... — Он чуть усмехнулся. — Тогда напрасно я сознался. Впрочем, теперь все равно, Ве-ро-ни-ка... Я приходил к вам на исповедь.

— Кажется, было довольно поздно?

— Кажется... Впрочем, я не смотрел на часы. Я знал только, что другого времени у нас не будет. Так и бывает — что-то рождается в тебе, бродит, нарастает... и вдруг — совершилось... Почему вас так долго не было, весь день? Где вы все-таки пропадали?

— У реки.

— Что вы делали там? Купались?

— Нет, плакала.

Он осторожно опустил руку, и она неподвижно лежала на траве, чуть протянутая в мою сторону.

— О чем?

— О том, что все так скоро кончилось для меня... в Джвари.

— А-а... — выдохнул он, будто ждал чего-то другого.

Полежал еще так, прикрыв глаза. Медленно раскрыл их, сел, сложив на коленях руки. Заговорил, донося отзвуки вчерашнего волнения:

— С начала сумерек я был слишком встревожен вашим исчезновением. В наших глухих горах можно бояться встречи и с человеком и со зверем. Здесь зимой волки подходят близко к монастырю, мы видим следы на снегу. И человек, потерявший Бога, бывает страшнее волка... Все волновались из-за вас.

— Простите меня.

— Арчил бегал с Мурией по лесу, искал вас. Говорит: «Это я ее огорчил, и она ушла...» Я тоже... терзался. И все-таки я не решился

потом позвать вас, когда увидел, что нет света. Впрочем, не стану оправдываться...

— А у меня и нет желания упрекать вас в чем-нибудь... Ваш крест мне не по силам, и я не вправе судить вас. К тому же мы с Митей слишком глубоко приняли вас в сердце.

— Зачем вы говорите мне это, Вероника... — По лицу его прошла тень.

Зачем? Чтобы сказать правду? Но разве это возможно — сказать всю правду, уловить сокровенное, бездонное, живое сетью слов?

В самом внешнем слое того, что я испытывала сейчас, была давняя усталость от всяких слов, от перегруженности жизни ими. И усталость от своей несвободы... даже от напряженной позы — я сидела на склоне холма, полуобернувшись к игумену, опираясь на вытянутую руку, так что в покрасневшую ладонь врезались отпечатки сухих стеблей. Было жарко под нелепым халатом, хотелось снять его, остаться в сарафане, чтобы солнце касалось рук, снять косынку. Лечь бы теперь на траву, как отец Михаил недавно, и только смотреть в высокую синеву.

А когда-нибудь, еще не скоро, спросить, как он жил раньше, с самого начала, с детства. Любила ли его мать, чем ему нравилось заниматься и что было потом. Он рассказывал бы о том, что было, а я узнавала бы, какой он есть, от чего страдает, как пришел в монастырь. И со временем пространство между нами потихоньку заполнилось бы доверием и добротой... и желанием нежности.

Но вот потому все это и было невозможно.

И еще, глядя сейчас на открытое лицо игумена, с которого как будто смыло прежнюю напряженность, знакомое и только теперь увиденное лицо с сосредоточенной и глубокой печалью, я поняла, почему мы не должны были подходить друг к другу так близко.

Но сокровеннее и пронзительнее было узнавание себя — в другом, неисповедимое узнавание поверх слов и событий, по сердцевине, по главной теме судьбы, по ее боли...

Я ощутила это теперь, он раньше. Когда? Передавая мне черный платок с тусклыми цветами? Или в ту ночь, когда мы вышли от Эли, серпик месяца плавал в темной воде бассейна и игумен разбил отражение камешком, как первый помысел, еще прозрачный и светлый? Или ночью на исповеди в маленьком храме, когда мы говорили о Боге и о любви и он тяжело опустил голову на распятие?

Но и не только эти двадцать дней в Джвари соединяли нас. Это связующее начиналось гораздо раньше, может быть, в нашем не совпадающем по времени детстве, в одиночестве, в усталости от всего, что обещало насытить душу, но не насыщало ее.

И еще испытывала я великую печаль о нашей земной участи, в которой слово Божие — огненный меч Херувима — отделило нас от Древа жизни, стоящего посреди рая. И мы уже не видим Бога, и время выпало из Вечности, погас вокруг ее благодатный свет. А потому в нашем воздухе, в плодах, которыми утоляем голод, в воде растворена смертная горечь. Оттого плачет и молится воздыханиями неизглаголанными в каждом из нас бессмертный Дух, взывая: «Авва, Отче!»

Но все это невозможно было выговорить.

И я сказала:

— Ну что же... завтра утром мы уедем.

А он отозвался тихо, но сразу:

— Почему завтра? Можно уехать сегодня, сейчас. Еще здесь машина, на которой привезли Митю. Я спрашивал у шофера, он собирался остаться на ночь.

Замечательно... он уже узнавал о планах шофера. А я-то хотела объяснить все Мите, дать ему отдохнуть... Но не пешком пойдем, а объясню по дороге.



— Да и зачем откладывать? — с усилием выговорил он. — Чем скорее, тем лучше.

Впервые мы посмотрели друг другу в глаза. И, может быть, в этом долгом взгляде было все, чего ни я, ни он не могли выразить иначе.

— Вот и времени у нас не осталось, отец Михаил.

— Его не должно было быть вовсе. Видите, я отступил от древних уставов и... сразу наказан. Но говорят, монаху на пользу, если он пережил искушение.

— Любящему Бога все во благо...

— Любящему Бога... — осторожно повторил он. — Да, есть только одна любовь без пределов и сроков — любовь к Богу. Ради нее и нужно отречься от всякой иной любви, от всего мира. Жизнь должна сжаться в одну точку, чтобы все радиусы соединились в центре круга... И эта центральная точка жизни — Бог.

Но оказалось, что уехать нам не удастся. Когда мы с отцом Михаилом пришли в трапезную, Арчил сказал, что шофер собирался было здесь ночевать, но посидел один на скамейке у родника, поспал и решил уехать. Завтра к обеду он вернется уже с реставраторами.

— Вот как... — неопределенно сказал игумен, очевидно, не сразу смиряясь с этим. — Впрочем, может быть, так и лучше... Отслужим-ка мы завтра пораньше литургию. Вы позавтракаете, попросаетесь со всеми. Пусть будет так, если не могло быть иначе.

Митя лежал в подрыснике на койке и читал. Он поднялся навстречу:

— О чем это вы так долго разговаривали с игуменом?

— О том, что мы должны уехать.

— Когда?

— Завтра.

— Так сразу завтра?

— Хорошо, что еще не сегодня...

— А почему?

— Я объясню... попозже. Давай пока собираться.

Митя взял со стола скуфью.

— Скуфью мне подарили, и я, конечно, возьму ее с собой.

— Ты удивлен?

Со скуфьей в руке он остановился, прислонившись к дверной раме, — за ней было зелено, светло, перекликались птичьи голоса.

— Ты знаешь, не очень. Огорчен, что так скоро и неожиданно. Но почти и не удивлен.

— Почему же?

— Мы попали в Джвари так чудесно... и жили здесь... И вот так странно уходим. — Он улыбнулся, хотя уголок губ дрогнул. — Бог дал, Бог и взял. Да будет благословенно имя Господне.

Я стояла и смотрела на сына. Волосы у него выросли, выгорели и золотисто отливали на солнце. Лицо покрылось легким загаром. А сквозь нежные, бесконечно любимые мною черты проступала твердость, и взгляд был светел и прям.

— С тех пор как мы пришли к вере, с нами происходят самые неожиданные события. Только что был праздник в Сиони, на который я чудом попал... Все непредсказуемо и в то же время — я почувствовал это совсем недавно — происходит тем единственным образом, как только и может произойти... как ведет нас Бог. Так река течет, у нее нельзя изменить русло — и все глубоко, ничто не случайно, все имеет смысл.

Он сел на порожек.

— Несколько лет назад я прочитал в журнале об интронизации Католикоса — Патриарха всея Грузии Илии Второго и увидел его фо-

тографию. До сих пор помню: Патриарх перед раскрытыми царскими воротами дикирием и трикирием благословлял народ. Я долго смотрел на него и думал, что даже если когда-нибудь попаду в Грузию, все равно не придется увидеть его близко. И вот мы приехали, зашли в кафедральный собор... Я увидел Патриарха перед литургией, когда он своей рукой давал каждому просфору, и мне дал тоже и по-русски благословил меня.

Митя перебирал грани скуфьи. Он был наполнен тихим светом, и свет этот ровно сиял в его глазах.

— Потом мы попали в Джвари. Отец Михаил благословил меня написать гимн. Мы ведь еще не говорили с тобой об этом — так много событий. Но тоже было совершенно удивительно, как я его писал. Раньше, когда я сочинял музыку, я долго сидел за роялем и как будто что-то выжимал из себя... должен был сочинить, хотел сочинить, прилагал усилия, напрягался. А тут ничего подобного не было. Он благословил — и я написал. Как будто музыка пролилась сама. Как будто хотелось петь — и я пел, хотелось молиться — и молился... Помнишь, игумен сказал: «Пусть это пройдет через тебя, как то, что тебе не принадлежит».

«Так мы и должны писать», — подумала я.

— А потом в алтаре Сионского собора на всенощном бдении меня облачили в красный стихарь. Было двенадцать архиереев, Святейший сидел на своем резном деревянном троне с высокой спинкой. Меня подвел архиепископ Тадеос, который написал текст гимна. Я встал на колени и преподнес Патриарху свой подарок... И во время всей службы я, как и его иподиаконы, держал патриарший посох или стоял с примикирием — это такая большая свеча — у царских врат. Меня по-грузински просили что-нибудь сделать, и я все делал правильно, потому что знаю службу, и некоторые даже не догадывались, что я не понимаю языка...

Мы помолчали. Потом он сказал:

— Так что поблагодарим Бога за все.

К ужину игумен не вышел.

А после вечерней службы он попросил меня напоить всех чаем. Арчил и Венедикт, обменявшись взглядами, от чая отказались, а Митя, конечно, пошел с нами.

Зажгли керосиновую лампу.

Игумен сам достал инжирное варенье, хлеб.

За раскрытым окном сгущалась теплая ночь.

С той же прощальной пристальностью я видела его движения, наш стол, дощатую скамью, решетку окна. Вспомнила, как всем хорошо было, когда он приехал, привез эти стекла для ламп, это варенье и много всего еще. И давняя гроза казалась мне теперь такой прекрасной.

— Совсем не хочется спать. И последняя ночь у нас... — сказал Митя, с робкой надеждой взглянув на отца Михаила.

— Чего же ты хочешь, Димитрий? — чуть улыбнулся он.

— Поговорить... А то неизвестно, когда мы увидимся...

— О чем поговорить?

— О монашестве... — тихо и как-то очень грустно произнес Митя. — Как это бывает?

— А что ты хочешь знать?

— Вот все люди живут... по-разному, конечно, но обычной жизнью. И вдруг человек уходит из нее совсем, навсегда... Почему?

Что-то дрогнуло в сердце моем от затаенной серьезности его вопроса, как будто тень предчувствия залегла в глубине.

— Неисповедимы пути Господни... — вздохнул игумен.

Мы заварили чай, разлили его в эмалированные кружки. Легкий парок затуманил ламповое стекло. Отец Михаил отодвинул лампу,

потом совсем убрал ее со стола, утвердив в обруче на стене. Свет стал ровнее и мягче.

— Есть замысел Божий о каждой душе...— сказал игумен задумчиво.— Человек не знает его и живет вслепую. Но когда он приближается к Божьему замыслу о себе самом, ему становится хорошо, когда отдаляется — плохо. Многие люди до конца дней живут не своей жизнью и не догадываются об этом. И маются, все им не по себе, все разваливается у них... Никто не сказал им с детства, что надо найти себя, а без этого не найдешь ничего, только все потеряешь...— Он снял скуфью, отпил несколько глотков горячего чая.— Замысел Божий... или, если это понятие сузить, призвание. Под призыванием подразумевают обычно одаренность в какой-то одной области, например в музыке. Ты восемь лет учился играть на скрипке... мог бы ты этим заниматься всю жизнь?

— Наверное, нет. Мне нравилось услышать музыку, почувствовать ее, исполнить. А профессионалу нужна виртуозность... Отшлифовывать все месяцами — это мне было скучно. Я подумал, что сочинять музыку интереснее, это как-то шире... или выше.

— А может быть что-нибудь еще выше?

— Не знаю,— ответил Митя, подумав.— Выше пока для себя я ничего не знаю.

— А я знаю: выше всего и есть жизнь в Боге. Это наивысшее творчество, потому что человек творит уже не что-то внешнее, а себя самого. Он воссоздает свою душу... «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный...» Что выше идеала святости? Только Сам Бог.

— Но это исключительное призвание... Как узнать, есть оно или нет?

— Отец Лаврентий говорил: если человек приходит в монастырь и все ему там нравится, кажется своим и чем дольше живет, тем больше нравится — значит, призвание есть. А если все чужое, угнетает, раздражает — значит, его нет.

— У вас так и было?

— У меня?.. Тебе, Димитрий, может быть, и не полезно знать ничего обо мне. Если люди услышат что-нибудь плохое о священнике, это для них соблазн — повод для смущения. Да и мама, должно быть, оберегает тебя от всяких отрицательных впечатлений о жизни, чтобы ты сохранял неведение.

Он едва взглянул в мою сторону.

— Нет, я больше пристрастен к трезвому ведению.

Игумен отодвинулся в тень, прислонился к стене. Сидел, сплетая на коленях руки, смотрел мимо нас, за решетку окна. Ночная бабочка влетела из темноты и закружилась над лампой.

— Ты пробовал уже курить? — не глядя, обратился отец Михаил к Мите.

— Нет, никогда...— почему-то отозвалась за сына я.

— Так ни разу и не попробовал? — с шутливым недоверием обернулся на мгновение игумен.

Митя засмеялся и опустил глаза.

— Ну ладно, значит, попробовал один раз, а потом забыл. А вот я хорошо помню, что не выкурил ни одной сигареты. В пятнадцать лет начал прямо с наркотика — плана... Я вырос, как говорят обвинители, в плохой компании. Вино, наркотики, драки... ну и все, что каждый из вас способен представить. Мне продолжать...— взглянул он на меня прямо, — или уже довольно?

Я молча кивнула.

— Моя мать преподавала английский... Ей нравилось возвращаться...— он показал это жестом, — в светском обществе — профессора, доктора... Я стал ее позором. Она укладывала меня в наркологические лечебницы, но без успеха. От наркомании я постепенно исцелялся уже в тюремной камере.

Он опять говорил ровно, как на холме утром, будто решил, что должен сказать все. И я чувствовала, что говорит он не только для Мити, хотя и для него тоже.

— Я хочу, чтобы вы запомнили и хорошо поняли одно: я не типичный монах, скорее тяжелое исключение из славной братии. Вы читали жития святых: почти все они произошли от благочестивых родителей и с самого раннего возраста вскормлены чистым молоком веры — это очень важно! Вот царский путь монашества: из чистоты — к святости. Конечно, без падений нельзя обойтись, но и падения падения рознь. А современный человек вообще искалечен, порочен, вывернут наизнанку... Я же, дорогие мои, прошел через самый ад. И этот ад еще несу в себе. Запомните это, чтобы моя черная тень не легла для вас обоих на все духовенство... Слышишь, Димитрий?

— Да... — тихонько сказал Митя.

— И к Богу я впервые воззвал уже из бездны... И теперь из бездны зываю. — Он отпил еще несколько глотков и больше уже не прикасался к кружке. — Нас посадили за групповую драку: кто-то из нашей компании ударил ножом кого-то из другой компании. Мне было двадцать пять лет. Всех осудили на пять. Что было потом, вам обоим и во сне не снилось... В тюрьме я никому не подчинялся, и меня держали в карцере. Не подчинялся потому, что привык не подчиняться. И потому, что ножом ударил не я, я не считал себя виновным и мстил. И потому, что вся эта лагерная система раздавливает, а не исправляет, но я не хотел, чтобы она меня раздавила. А что такое карцер? Сырая цементная камера, холодная, без окна, раз в день — хлеб и вода. Держать в карцере не разрешается больше пятнадцати дней. Меня на шестнадцатый выпускали, на семнадцатый сажали опять. Через год я стал кашлять кровью, потом уже врачи освободили от всех работ.

Там был еще один грузин, — продолжал игумен, — известный в свое время режиссер. Он имел несчастье жениться на очень красивой женщине, и его посадили на пятнадцать лет за убийство из ревности. Как-то он подошел ко мне: «Давай меняться: ты мне свою болезнь, я тебе — свой срок». «Нет, — говорю, — не согласен. Меня обещают вынести досрочно — в гробу». Он только рукой махнул: «Твоя болезнь — чепуха. Я бы ее быстро снял».

И он показал мне дыхательные упражнения хатха-йоги, некоторые асаны. У меня был выбор: исцелиться или умереть. Несколько месяцев я занимался глубоким дыханием — и снял все болезни. Кроме туберкулеза у меня было смещение позвонков с постоянной острой болью: в шестнадцать лет я неудачно прыгнул с парашютом с предельной высоты, я был мастером спорта. Гордые люди тяготеют к тому, чтобы во всем дойти до предела, а часто и выйти за предел... Врачи говорили, что придется всегда носить корсет, я его не носил, конечно. И вот я снял все болезни. Мог закладывать ногу за голову. И позвоночник вправился, и рентген не показывал больше никаких затемнений. Меня освобождали — врачи не верили своим глазам.

Тюрьма, как известно, — это дно общества. Чтобы там быть наверху, надо стать еще более жестоким, чем все остальные.

Когда я вернулся в мир, я ненавидел всех людей.

Но надо было жить дальше. Я мог бы восстановиться в политехническом институте, где уже учился шесть лет, и от скуки никак не мог кончить, — но теперь это совсем потеряло смысл.

У одной знакомой художницы была большая библиотека по йоге, я стал читать. Я уже хорошо понимал, что йога — это религия. Что наши возможности не раскрыты совсем и действительно можно научиться всему, даже материализовать из воздуха предметы и ходить по воде. Но зачем?

Попалась мне и книжка Лодыженского о христианстве. Я удивился — что это? Йоги такие... — игумен расправил плечи, выпрямился, грудь его расширилась в глубоком вдохе, лицо приняло значительное

и отрешенное выражение, — здоровые, сильные, чистые... И холодом, холодом веет. А христиане как будто наоборот: уничтоженные, смиренные. Йог все время занят собой, своим телом, все время моется, не только тело, рот, нос, уши, но и желудок промывает. А эти отшельники всякими способами изнуряют тело, закапывают себя в пещеры, как жертвы живые. И в то же время будто теплом повеяло... Да, я не знал, что это такое, но что-то теплое, чего я не встречал в прежней жизни.

Потом я прочел Евангелие.

Оно потрясло все мое существо. Но сказать так — почти ничего не сказать.

Что это было для меня тогда? Отчасти похоже на выход из тюрьмы на свободу. Но только отчасти. Ведь, выйдя на свободу, сам я оставался тем же, каким был в тюрьме. Я нес ее в себе, был пропитан ею — ненавистью, грязью, памятью о человеческом унижении и позоре, и вся эта мерзость стояла во мне, разрывала изнутри, подступала к горлу.

И вдруг... Вдруг, или тотчас, как часто говорит святой евангелист Марк, «абие» — по-славянски... Я прочел Евангелие — и понял слова Пилата: «Се человек!» Над прежней безобразной жизнью мне открылась божественная высота предназначения человека. И этот человек — тоже был я!

И одновременно с Евангелием, в тот же день, или в ту же ночь, или в один бессонный круг суток прочитал я беседу преподобного Серафима Саровского с симбирским помещиком Мотовиловым, которого святой исцелил от паралича. Как они там сидят на белой лесной поляне, с неба сыплет снежок... Мотовилов все спрашивает — что же такое благодать Духа Святого? И преподобный Серафим являет ему себя в фаворском свете, как явился Христос апостолам в Преображении... И этот молодой дворянин, еще недавно болезнью своей приговоренный к смерти и исцеленный, видит лицо святого сияющим в круте солнца — светносным. Он испытывает благовеиный ужас, но и несказанную радость, то, чего он никогда не переживал и даже вообразить не мог. Глубокий-глубокий мир, блаженство, тепло, благоухание, сладость — преобразование, воскресение души, утоление всех желаний и насыщение всех чувств. А Серафим Саровский говорит ему, что это и есть живое присутствие благодати Святого Духа, Царство Божие, явленное ему...

Это был первый день в моей жизни, когда я был счастлив. Я понял, зачем живу.

Может быть, я испытал то же, что и Мотовилов, хотя на другом уровне, — только узнал, что это есть... И поверил — сразу, безусловно и несомненно, всей душой, умирающей и воскресенной!

Я тотчас крестился.

А через несколько дней поехал поступать в одесскую семинарию. Я не смел и помыслить о священстве, мне даже в голову еще не приходило, что в семинарии дается такое право. Но мне необходимо было понять до конца, дойти до сути — получить систематические знания о христианстве...

Ну а дальше... Приехал я в Одессу, к инспектору пошел выпивши. Я всегда был выпивши; одно как будто не исключало другого. Только разум — верхушка жизни — преобразился, а вся ее плоть пока оставалась прежней... Инспектор дышал в сторону и смотрел в сторону, так и не взглянул ни разу в глаза. Послал к эконому попросить послушание на кухне или на хозяйственном дворе. Эконом поприветливей встретил, но когда узнал мой послужной список, сказал, что все работы выполняют семинаристы. «Приезжай, — говорит, — лучше в будущем году». А куда семинаристы в будущем году денутся?

Я понял, что едва ли попаду в семинарию.

Выпил еще, купил в букинистическом книжку о Лао-цзы, пошел

на вокзал, пристроился на скамейке между чужими чемоданами и мешками, стал читать. Дома я оставил записку, что уехал надолго, и возвращаться назад не собирался.

А напротив меня сидел на скамейке маленький рыжий мужичок, тоже читал старую книжку и, видно, ехать не торопился. «Вот интересно,— думаю,— что у него может быть за книжка?» Оказалось, «Деяния апостолов». Он даже вслух почитал, не поленился — правда интересно. И тоже заглянул в мою книжку, но сразу ее вернул.

«Ты,— говорит,— эту китайщину брось, пусть китайцы читают. Думаешь, истина и там, и там, и тут? Хочешь нахватать отовсюду. А истина одна. Ты что, нехристь?» «Нет, я крещеный...» — «Крест носишь?» «Крест буду носить. Я вот,— говорю,— даже в семинарию хотел поступать, а меня и на кухню не пустили». Он мне нисколько не посочувствовал: и ладно, мол, к лучшему. «Ты в монастырь поезжай, там всем наукам обучат.— Адрес сказал.— Я завтра сам в том направлении еду, хочешь, поедем вместе. Только ты больше не пей, а то от тебя вином воняет».

Такой невзрачный мужичок с рюкзаком, ростом-то мне по грудь, в ботах... Но так и говорит: «истина одна», а «...от тебя вином воняет». Я вроде и удивился и обиделся. А на вокзал на другой день пришел.

Он спрашивает: «Крест купил?» — «Купил». — «Надел?» — «Надел». — «Покажи».

Я показал ему медный крестик.

Это ему понравилось.

Оказалось, он сам в монастырь направляется, только не хотел говорить сразу, присматривался. Так и поехали вместе. В поезде он все мне толковал, как да что, учил, как подойти к благочинному: «Приехал помолиться, а если благословите, останусь на послушание».

Приходим в монастырь, попущика моего там уже знают. И к благочинному он вместе со мной пошел, говорит: «Вы, батюшка, не смотрите, что у него такое лицо... Он хочет жить как православный христианин».

Я опять удивился: какое же это у меня лицо?

Ну, дали мне первое послушание, в трапезной: втроем накрывали столы человек на сто, убирали, мыли посуду, опять накрывали. Я говорил благочинному: «Я хочу книги читать»,— а он так поведет плечом и отвернется, ничего не ответит. И вроде монахи внимания не обращают, помолятся после трапезы и уйдут. Что, думаю, это за люди? Скоро назначили меня старшим над тремя послушниками в трапезной. Стало хуже: я очень старался угодить монахам. И потерял то состояние, которое было вначале,— не знаю, как его назвать... как будто прохлады. Сказал об этом своему духовному отцу, старому архимандриту Лаврентию. Он говорит: «Это не годится. Ты и так гордый. Переведем тебя в пещерку, к преподобному». Очень хорошее послушание — стоишь весь день перед святыми мощами, люди приходят, прикладываются к ним... Но пещера маленькая, народу много, воздуха нет. Опять я стал кашлять. Отец Лаврентий и в очках едва видел. Ему говорят: «Ты не замечаешь, а твой послушник совсем желтый стал. Ему плохо».

Тогда мне дали ключи от складов. Открыл, закрыл и сижу на свежем воздухе, вот уж тут я начитался...

А когда опять стало плохо с легкими, все послушания сняли, несколько месяцев только лечили. Заваривали мне какие-то древесные почки, травы. Раньше я думал, им до меня дела нет, а теперь почувствовал доброту.

Через это надо пройти... Вот вы ищете уединения, тишины. А вам особенно нужно ощутить это общее ж и т и е. То, что вы жили в общежитии или коммунальной квартире, не в счет, это совсем другое, может быть, противоположное. Но раньше так все и делалось — в должной последовательности. Сначала человека даже по-

селяли за оградой монастыря. Потом давали послушание и через несколько лет постригали в рясофор, он получал право носить монашескую одежду. А когда научится по-монашески жить, постригали в мантию — инок давал обеты Богу. И только после многих лет в общежительном монастыре, в поздней зрелости его могли благословить на отшельничество. Монах уходит от людей не потому, что они его раздражают, или ему нет до них дела, или он не умеет жить с другими вместе. Наоборот, он должен сначала научиться любить всех. А потом может и в затвор уйти с этой любовью, потому что у него есть другое дело, более важное...

Теперь, бывает, человек не успел настоящего монашества вкушать, а уже принял архиерейский сан, управляет епархией. И слово какое придумали — «управляющий», по-английски менеджер — вроде как директор совхоза. Происходит обмирщение духовенства, обмирщение Церкви. Дух Божий в монахе подменяется менеджерской активностью. А последствия самые тяжелые — и маловерие, и компромиссы, и внутрицерковные раздоры... Когда Григорий Богослов был архиепископом Константинопольским и из-за этого престола возникли распри, он сказал: «Я не больше Ионы: если эта буря из-за меня, ввержите меня в море, чтобы оно утихло». И что лишение престола не лишает его Бога. В этом — христианство, а не в борьбе за власть, не во взаимных подозрениях, претензиях...

Но я отвлекся. А со мной дальше так было. Наш наместник сидел на межцерковной конференции рядом с грузинским архиепископом, к слову вспомнил: «У нас тоже в монастыре грузин есть». Тот говорит: «Пришлите его к Патриарху Илие, нам монахи нужны». И отец Лаврентий благословил меня вернуться в Грузию.

Собрали мне денег, чтобы я пожил в горах, подлечил легкие. Так я и отдыхал два месяца.

Потом пришел к Патриарху.

Он спросил: «Чего ты хочешь?» «Хочу жить в монастыре». «Найди еще одного, готового к постригу. И пойдите посмотрите Джвари».

Я и смотреть монастырь не хотел, заранее был согласен. Но Патриарх настаивал. Пришли мы с Иларионом в конце сентября — лучшее здесь время. Не могу передать, как я увидел Джвари... Отчасти вы угадываете, но опять же только отчасти — у вас другое прошлое.

Но я поставил Патриарху два условия. Первое: я никогда не буду выходить из монастыря. Второе: я не приму священного сана.

Монах — человек кающийся, плачущий о своих грехах. Монах тот, кто до последних сил старается исполнять заповеди. А священник не вправе их не исполнить, так я считал, он должен быть достоин уже принятия сана. Духовенство должно быть духовным, священство — святым. Кроме того, священство и монашество вообще разные пути и образы жизни. Нет ничего выше служения литургии; но монах только участвует в ней, священник ее совершает — это совсем не одно и то же. В пятом веке в египетской лавре было около пяти тысяч монахов, а принять сан решил только Савва — и это было такое событие, что его стали называть Освященным...

Священник обязан нести заботы о храме, о пастве, говорить с людьми, входить в чужую жизнь. А я хотел остаться наедине с Богом.

Но Патриарх сказал «нет».

Я тоже сказал «нет». И уехал в свой монастырь.

Но отец Лаврентий убедил меня, что я не вправе ставить условия Патриарху. И я вернулся, чтобы согласиться на условия, которые Патриарх поставит мне. Он говорил тогда: «Иеромонах несет очень тяжелый крест. Но ты должен принять его — ради людей. И монастырь не может существовать без богослужения».

Так в тридцать два года я принял постриг и скоро стал игуменом. Но была бы моя воля, я навсегда остался бы простым чернорицем.

Уже светлело небо за решеткой окна. Лампа погасла сама, наверное, кончился керосин. В мягких предрассветных сумерках я видела фигуру игумена, устало и неподвижно прислонившегося к стене. Митя давно устроился на топчане, сидел, укрывшись старой рысой, очень тихо сидел, как и я, боясь неосторожным движением преврать отца Михаила.

Он умолкал надолго, а потом говорил снова. О тех, кто приходил в монастырь в эти годы, какие пути сюда приводили. И как хорошо в Джвари зимой. Горы и лес, все вокруг засыпает чистым снегом, так много света и белизны... И дороги заваливает снегом. Никто уже не может к ним добраться — ни реставраторы, ни экскурсанты, ни паломники. Тогда и начинается настоящий пост и молитвенная жизнь. Душа освобождается от всего внешнего, погружается в тишину и молитву...

Я вспомнила, что когда-то мне нравилось повторять слова: «Я мыслю — значит, я существую». Потом я пережила другое определение: «Я страдаю — значит, живу». По мере углубления веры мне стала раскрываться сила слов: «Поскольку мы любим — мы живы». А совсем недавно у нашего современника я прочитала: «Пока я молюсь — я живу; вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает».

Отец Михаил отвечал, что молитва и есть школа любви. Потому что молитва — путь к Богу и общение, единение с Ним. А вне Бога мы ничего и никого любить не можем.

Часа на два перед литургией игумен все-таки отправил нас отдыхать, пообещав, что Арчил разбудит.

В нашем домике было тепло и тихо, и даже здесь стоял легкий запах подсыхающих трав и хвои. Митя, не раздеваясь, со стоном вытянулся на кровати.

— Ну, знаешь, мама... Этой ночи в Джвари и отца Михаила я уже никогда не забуду. Почему он говорил так? И почему мы должны уехать?

Я как могла объяснила ему и это. И он как мог это понял и принял.

Потом он уснул. А я лежала с закрытыми глазами, в памяти моей еще звучали слова игумена, и сердце было наполнено им, его судьбой. И еще мне хотелось додумать то «почему?», возникшее в начале нашего объяснения: почему я не догадывалась о том, что было уже для всех ясно? Почему не уменьшилось земное расстояние между нами ни после объяснения, ни после его рассказа и не могло уменьшиться никогда?

Это расстояние между нами — а скорее в нас самих — было расстоянием между миром и Церковью, наш общий пожизненный крест.

Есть жизнь без веры, мирская жизнь. Она несется мимо или захватывает нас в свои водовороты, она непрестанно возводит вавилонские башни и сокрушает их, обнаружив, что они не достают до неба. Она обещает счастье совсем рядом, лишь протяни руку, и в неведомой дали, куда ты должен устремиться, отбросив обесценившиеся перед прекрасной мнимостью прошлое и настоящее. Она обольщает, дразнит, влечет, поглощает душу и сердце, но никогда не насыщает их, хотя неизменно обещает насытить — завтра.

В этом мире нет никаких надежных опор, из него вынут костяк. Нет ни Верховного смысла, оправдывающего все, ни четких границ между добром и злом, нет сердцевины. И потому его влекущая, непостоянная, мерцающая неясными отсветами чего-то иного плоть пуста. Брошенный в этот бесцельный мир человек становится жерт-



вой своей свободы, направляемой только его рассудком, желаниями и страстями — и тоже пустой.

Из этой пустоты утонченный разум пытается выловить некую экзистенцию, сущность, но она неизменно ускользает.

Неспособность к бытию — может быть, так можно назвать эту главную болезнь нашего больного времени.

Вседозволенность — и неспособность к бытию... Потому что всякая сущность укоренена только в Том, Кто в откровении Ветхого завета сказал нам Свое первое имя: «Я есмь Сущий» — Сущность бытия и Самобытие.

Причастие к этой Сущности совершается в таинствах Церкви.

Здесь все противоположно миру. Есть точная система координат, весы и меры, заповеди, все обусловлено высшим смыслом.

Бог есть Истина. Отражение Ее в мире есть красота. Исполнение целей Его есть добро. Вот основание всей философии, эстетики и этики.

И этим в жизнь введено понятие священного.

Так в храме от доступного людям пространства отделен алтарь, куда войти нельзя. Игумен был и остался для меня освященным, отделенным алтарной преградой.

Отслужили последнюю литургию.

Горели лампы в семисвечнике и две свечи на престоле. Арчил, Венедикт и Митя пели недавно разученную «Херувимскую»:

— Иже Херувимы тайно образующе... та-а-айно обра-зу-ю-ще... и Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе... всякое ныне житейское отложим попечение...

Забудем, оставим сейчас всякую нашу земную печаль... И, как Херувимы в тайной Небесной Евхаристии, предстанем Богу с пением: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...»

Сквозь слезы я видела желтые огоньки лампад в семисвечнике, две горящие высокие свечи и крест на престоле. Потом игумена в золотой фелони, крестообразно возносящего Святые Дары. И мне хотелось, чтобы это последнее в Джвари богослужение длилось и длилось — всегда.

Но литургия кончилась. Закрылись царские врата.

Игумен вышел из алтаря и молча надел мне на шею шелковую нить с небольшим крестиком в круглом деревянном обрамлении.

Я осторожно приподняла крестик на ладони.

— Это грузинская перегородчатая эмаль, — сказал Венедикт. — Такой крест в круге высечен здесь над порталом, он может быть гербом Джвари.

Я проводила взглядом игумена, уходящего по тропинке.

А Венедикт продолжал:

— Видите эту тонкую золотую нить? Она прорисовывает крест и отделяет его от темно-лиловой эмали фона. Перегородчатой эмалью выполнены наши древние кресты и иконы. Нигде в мире подобного нет. Ваш крестик не древний, но сделан в той же технике человеком, который раскрывает ее тайны.

Подошел и Арчил. И Митя коснулся пальцами края креста, наклоняясь над ним и чуть повернув его к себе.

Это было очень красиво: золотистого цвета эмаль равноконечного креста, изысканно обведенная золотой нитью, и темный лиловый фон.

— Несколько дней назад отец Михаил попросил меня сделать резное деревянное обрамление, простое и тонкое... Но я не знал, что это для вас. Вы будете носить его?

— Конечно... Спасибо, отец Венедикт.

— А на обратной стороне я по-грузински вырезал «Джвари»...— Он смотрел на меня с улыбкой, какой я давно не видела у него.— И слава Богу, что мы так хорошо расстаемся. Будем молиться друг о друге.

— Димитрий, а ты не хочешь приехать к нам насовсем?— ласково спросил Арчил, прикрывая влажный блеск глаз ресницами.— Мы тебя примем...

Митя смотрел на них счастливыми глазами, но выговорить ничего не мог.

На прощание Венедикт показал и панагию: игумен не успел отвезти ее Патриарху. Дьякон извлек ее из нагрудного кармана своего старого подрясника, развернул белый плат.

Это была хорошо вырезанная овальная иконка «Умиление» — Пречистая Матерь, воздевшая руки в молитве обо всех нас, грешных, земных, но взыскующих небесного Отечества.

После завтрака мы с игуменом погуляли по поляне вокруг храма. Я касалась ладонью его теплых шершавых стен. Поклонилась могилкам афонских старцев и попросила их святых молитв.

Мы посидели немного у могил в разреженной тени грецкого ореха.

— Ну что же... Простите меня...— сказал игумен.

— Бог простит. И меня простите...— ответила я по монашескому обычаю прощания.

На несколько минут мне снова стало трудно дышать, как в храме, когда он надел мне на шею крест.

— Но я ухожу только с благодарностью вам.

— За что?— В улыбке его, мне показалось, появилась затаенная робость.

Почему я не видела раньше такой его улыбки? И ему хотелось знать — за что.

— За каждый прожитый день в вашем монастыре... каждый день, которого не должно было быть. За этот крест. За то, что вы такой, как есть. За вашу любовь к Богу. За простоту, с которой мы наконец говорим...

— На конец она и стала возможной.

— Вы разрешите написать вам когда-нибудь? Через год...

— Нет.— Он улыбнулся почти светло.— Я могу отрубить себе руку, но отпиливать ее мне было бы не по силам.— Он помолчал, разглядывая листву.— Посмотрите на этот орех. Листья желтеют... Они уже не нужны — созревает плод. Или вы видели, как зреет хурма? Опадают все листья, остаются одни плоды, наливаются сладостью. Наступает осень, потом первые холода, а их все не срывают, ждут, пока они станут совсем спелыми. И дерево стоит сквозное, без листьев, покрытое тяжелыми оранжевыми плодами...

Над нами прошел тихий шум, дуновение. И большой лист, чуть тронутый желтизной, упал на могильную плиту, на темный ее гранит.

— Мы с вами много говорили о посте, молитве, аскезе... об отречении. Но все это только листья, нужные для созревания плода. Когда мы придем туда...— он показал взглядом в высоту над храмом,— никто уже не спросит, сколько мы постились или от чего отказались, какие принесли жертвы. Но по плодам нашим узнают нас.

И я задала вопрос, на который почти невозможно ответить: знает ли он уже вкус этих плодов?

Он ответил как смог:

— Я знаю только, что эти четыре года в монастыре — лучшие в моей жизни. А один великий подвижник мог сказать о себе так: вкусивший благодать презирает все страсти и не дорожит самой жизнью, потому что Божественная Любовь дороже жизни.

Подошел Митя, и мы как-то вместе и сразу решили, что не надо ждать машину, лучше пойти пешком. Куда нам было теперь спешить?

Имущество наше не было обременительным — сумка и саквояж.

И нам хотелось долго уходить, чтобы с другой стороны ущелья еще видеть Джвари. И с седловины увидеть его в последний раз.

Мы попрощались со своей кельей. Отнесли в трапезную кипу непрочитанных книг...

Вышли к роднику — игумен, Венедикт и Арчил сидели на скамье в позах терпеливого ожидания.

Сказали последние слова, передали реставраторам поклоны.

Потом отец Михаила подошел ко мне, медленно перекрестил.

— Да благословит вас Господь.

Мне хотелось поцеловать эту благословляющую руку. Но он только на мгновение положил мне на голову обе ладони.

И так же благословил сына.

— Димитрий, ты приедешь к нам?

— Да, — ответил Митя тихо. — Я приеду.

И мы пошли.

Через несколько шагов обернулись — игумен, Венедикт и Арчил стояли рядом в воротах монастыря и смотрели нам вслед.

За ними, за полуразрушенной каменной оградой древний храм возносил в небо позолоченный солнцем крест.



---

---

БОРИС ЧИЧИБАБИН



МОЙ ЛЕС ВЕЧЕРНИЙ

\* \* \*

Мне снится грусти неземной  
Язык изустный,  
И я ни капли не больной,  
А просто грустный.

Душа с землей свое родство  
Забуть готова,  
Затем что нету ничего  
На ней святого.

Не отстраняясь, не боясь,  
Не мучась ролюю,  
Тоска вселенская слилась  
С душевной болью.

Как мало в жизни светлых дней,  
Как черных много!  
Я не могу любить людей,  
Распявших Бога.

Среди иных забот и дел  
На тверди серой  
Я в должный час переболел  
Мечтой и верой.

Да смерть — и та! — нейдет им  
впрок,  
Лишь мясо в яму,  
Кто небо нежное обрек  
Алчбе и сраму.

Не созерцатель, не злодей,  
Не нехристь все же —  
Я не могу любить людей,  
Прости мне, Боже.

Покуда смертию не стер  
Следы от терний,  
Мне ближе братьев и сестер  
Мой лес вечерний.

Припав к незримому плечу  
Ночами злыми,  
Ничем на свете не хочу  
Делиться с ними.

Есть даже и у дикарей  
Тоска и память.  
Скорей бы, Господи, скорей  
В безбольность кануть.

Гордыни нет в моих словах —  
Какая гордость?  
Лишь одиночество и страх,  
Под ними горблюсь.

Скорей бы, Господи, скорей  
От зла и фальши,  
От узнаваний и скорбей  
Отплыть подальше!

Признание

Зима шуршит снежком по золотым аллеям,  
надежно хороня земную черноту,  
и по тому снежку идет Шолом Алейхем  
с усмешечкой в очках, с оскоминой во рту.

В провидческой тоске сорочьих сборищ мимо  
в последний раз идет по родине своей,—  
а мне на той земле до мук необъяснимо,  
откуда я пришел, зачем живу на ней.

Смущаясь и таясь, как будто я обманщик,  
у холода и тьмы о солнышке молю,  
и все мне снится сон, что я еврейский мальчик,  
и в этом русском сне я прожил жизнь мою.

Мосты мои висят беспомощны и шатки,  
уйти бы от греха, забытья бы на миг...  
Отрушиваю снег с невыносимой шапки —  
и попадаю в круг друзей глухонемых.

В душе моей поют сиротские соборы  
и белый снег метет меж сосен и берез,  
но те, кого люблю, на приговоры скоры  
и грозный суд вершат не в шутку, а всерьез.

Мы рушим на века и лишь на годы строим,  
мы давимся в гробах, а Божий свет широк,—  
игра не стоит свеч, и грустно быть героем,  
ни Богу, ни себе не в радость и не впрок.

А я один из тех, кто ведает, и мямлит,  
и напрягает слух пред мировым концом.  
Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет,  
но шпагу обнажу — и стану мертвецом...

### Проклятие Петру

Будь проклят, император Петр,  
стеливший души, как солому!  
За боль текущего былому  
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,  
будь проклят, плотник саардамский,  
мешок с дерьмом, угодник дамский,  
печали певческой палач!

Сам брады стриг, сам главы сек.  
Будь проклят, царь-христоубийца,  
за то, что кровию упиться  
ни разу досыта не смог.

А Русь ушла с лица земли  
в тайнохранительные срубы,  
где никакие душегубы  
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,  
смотритель каменной мертвецкой,  
кто от нелепицы стрелецкой  
натряс в немецкие штаны!

Будь проклят, нравственный урод,  
ревнитель дел, громада плоти!  
А я служу другой заботе,  
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь,  
сию морозную Элладу!  
Руби мне голову в награду  
за то, что с ней не покорюсь.



ЛЕОНИД ГАБЫШЕВ

★

## ОДЛЯН, или ВОЗДУХ СВОБОДЫ\*

Часть третья

1

«**В**оронок» трясло на ухабах. «Я вырвался из Одляна! Из этого кошмара! Из этого ада! Сосите все...!!! Месяц-другой потуманю вам мозги.— Глаз вспомнил Бородина.— Все равно вам меня не раскрутить. Не расколоть. Не выйдут! А потом везите назад. Про-ка-чусь!»

Но вот и станция.

В окружении конвоя ребята подошли к «столыпину». Кто-то сказал конвою «прощайте», кто-то «до свидания». Глаз промолчал.

В челябинской тюрьме этап помыли в бане. И Глаза бросили к малолеткам. Все шли на зоны. Утром, когда повели на оправку, у Глаза начался понос. Мыло подействовало. Через несколько часов Глаз уже валялся в тюремной больничке.

В палате он был один. Окна палаты выходили на тюремный забор, за которым стояли многоэтажные дома. Верхние этажи из окна было видно.

Наступило 31 декабря. Сегодня люди будут встречать Новый год.

День прошел медленно. А вечером, когда засветились окна, Глаз стал смотреть на волю. Он положил подушку так, чтобы лежа можно было видеть окна домов. Люди подходили к окнам и задерживали шторы. Все тотовились к Новому году.

На новогоднюю ночь он оставил одну сигарету. «Наверное, уже двенадцать...» Глаз налил в кружку воды, мысленно чокнулся с Верой и залпом выпил всю кружку.

Скоро его забрали на этап в Свердловск. А после — в Тюмень.

В тюменской тюрьме его посадили в камеру к осужденным.

— Парни, а Юрий Васильевич работает? — спросил Глаз.

— Работает, — ответили ребята.

Юрий Васильевич работал воспитателем. Он был добряк, и все пацаны его уважали. Глаз постучал в кормушку.

— Старшой, я только с этапа. Мне Юрия Васильевича надо увидеть. Позови. Очень прошу.

«Сегодня пятница. Значит, до понедельника просижу в камере осужденных. А осужденным положены свиданки. Мне во что бы то ни стало надо встретиться с сестрой. Пусть передаст Мишке Павленко, чтоб молчал, о чем бы его в милиции ни спрашивали. Из падунских Мишка один знает, что Герасимова грабанули мы».

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

Перед ужином пришел воспитатель.

— Кто вызывал?

— Я, — подошел к нему Глаз. — Здравствуйте, Юрий Васильевич.

— Здравствуй. Как фамилия, я забыл.

— Петров.

— Ты что, Петров, из колонии к нам?

— Да.

— Зачем тебя вызвали?

— Сам не знаю.

— Чего ты хотел?

— Юрий Васильевич, вы не зайдете к моей сестре? Она живет на Советской, в доме, где милиция. Передайте ей, пожалуйста, пусть она завтра придет ко мне на свиданку.

— Мне сегодня некогда. Я живу в другой стороне. Обещать не могу. Но если будет время, зайду.

Сестра не пришла. «Значит, Юрий Васильевич не зашел. Значит, пролетел я со свиданкой», — думал Глаз, лежа на шконке.

Три дня он отдыхал после этапа. Отсыпался.

В понедельник после обеда пришел Юрий Васильевич.

— Вот что, Петров, я к сестре зайти не смог. Тебя сегодня переведут в камеру к подследственным. Вызвали тебя по какому-то делу. Так что свиданки не будет.

Глаза перевели к подследственным. К взрослякам. А через несколько дней дернули к Куму.

— Сейчас мы составим протокол. Расскажи, как и при каких обстоятельствах ты оказался свидетелем преступления. — Кум протянул бланк. — За дачу ложных показаний — распишись.

Глаз расписался и обрисовал несуществующих мужчин, которые совершили это разбойное нападение на Герасимова. Чтобы не сбиться при частых вопросах, Глаз описал их похожими на Робку, Генку и его самого — в основном цветом волос и ростом.

В камере о своем деле Глаз ничего не говорил. Да и никто о преступлении не болтает сокамерникам, особенно те, кто идет в несознанку. Вдруг в камере будет утка. Не дай Бог.

Прошел месяц, как Глаза увезли с зоны. За это время он отдохнул от Одяна. В зоне Глазу казалось, что он разучился смеяться и смеяться больше не будет. Но за месяц он стал таким же, каким был на свободе, — все нипочем. От трубы — тюремного телефона — он почти не отходил.

Как-то вечером после отбоя Глаз подошел к трубе и постучал. Захотелось поболтать с земляком.

— Прекрати стучать! Кому говорят! Отбой! — Дубак несколько раз подходил к камере.

А Глаз как взбесился. Он назло дубаку взял валенок, приставил его к трубе будто кружку, в которую говорили зеки, и кричал в него, вызывая камеры.

Надзиратель требовал прекратить безобразия, а Глаз вопил:

— Ты, дубак, дубина дубинноголовая! Ты что, не видишь, я кричу в валенок! А по валенку разве можно переговариваться? А? Чего зенки вылупил? Канай отсюда!

Явился корпусной, приземистый, с шишкой на скуле. Глаз помнил его по прошлому году.

— Выходи.

— Куда выходи?

— В коридор.

— Мне в камере неплохо, что я буду выходить.

— Уже сорок минут прошло после отбоя, а ты все стучишь по трубам. Выходи, тебе говорят. — Корпусной схватил Глаза за руку.

— Пошли.

— Никуда я не пойду.— Глаз вцепился другой рукой в шконку.

На лице корпусного покраснела шишка. Лицо побагровело. Он схватил Глаза за руку, что вцепилась в шконку, и рванул на себя. Глаз от шконки не оторвался. Корпусной выкрутил ему свободную руку за спину и подтянул ее к затылку. От резкой боли Глаз отпустил руку, и корпусной выволок его в коридор. Здесь он выкрутил ему за спину другую руку и теперь обе руки подтянул к затылку. Глаз согнулся и заорал. Корпусной толкнул его коленкой под зад, и Глаз засеменял по коридору. Он почти бежал, корпусной все поднимал ему руки, и Глаз орал от боли. Ему никто еще так руки не выкручивал.

Корпусной закрыл Глаза в боксик. Глаз провалялся на бетонном полу до утра. В боксике была невыносимая жарница.

Утром Глаза отвели к начальнику режима, и Глаз написал объяснительную, подписавшись: «К сему Петров». Про корпусного, который выкручивал ему руки, Глаз уже забыл. Дежурный отвел его в камеру.

— В карцер не посадили? — удивились в камере.

— Я ж говорил, на первый раз простят.

## 2

Жизнь в камере текла однообразно. Глаз от скуки подышал.

На столе, на боковине, он решил вырезать свою кличку. «Если я вырежу «Глаз», то падунские, если кто попадет в эту камеру, не узнают, что Глаз — это я. Если вырежу старую кличку «Ян», те, кто сейчас меня знает, тоже не будут знать, что здесь сидел я», — подумал Глаз и, отточив свою ложку о шконку, принялся вырезать огромными буквами через всю боковую стенку стола объединенную кличку ЯН—ГЛАЗ. Глазу оставалось отколотнуть от фанеры точку, как открылась кормушка и надзиратель рывкнул:

— Что ты там царапаешь, а?

Глаз вскочил и, повернувшись к дубаку, закрыл собой стол.

— Я не царапаю. Я мокриц бью. Одолели, падлы. Старшой, когда на тюрьме мокриц не будет? Житья от них нет. Позавчера мне в кружку одна попала. Сегодня в баланде одна плавала. Скажи, мне баланду на одного дают?

Старшой промолчал.

— На одного, знамо дело, — ответил за него Глаз. — А хрена ли тогда эти твари лезут жрать мою баланду? Я до начальника жаловаться буду. Нельзя обижать малолеток. Или я всех мокриц на тюрьме перебью и мне зеки спасибо скажут, или мокрицы доконают меня. Ну что, старшой, скажи: есть справедливость на свете? Кто для тебя важнее — я или мокрица?

— Про мокриц заливаешь, а сам на столе что нацарапал?

— Ничего не нацарапал, это я, старшой, целый полк мокриц на столе распял. И составил из них свою кличку. Видишь — Ян Глаз. Они когда засохнут — отвалятся.

— Сейчас я напишу на тебя рапорт за порчу имущества — и пойдешь ты в карцер к мокрицам. Там их побольше, чем в камере.

Время в карцере шло медленно. Мокриц здесь было больше. Дубак не зря говорил. Но мокриц Глаз бить не стал. Противно было.

— Вы, падлы, тоже в карцере сидите. Всю жизнь пригом. Ну и живите, — сказал он вслух мокрицам, потому что разговаривать было не с кем.

На пятые сутки в карцер к Глазу заглянул воспитатель.

— Юрий Васильевич, — атаковал его Глаз, — что меня к взрослокам садят? У них там скучотища. Делать абсолютно нечего. Да и поговорить не с кем. Вот я и попал в карцер.



На другой день Глаза привели к малолеткам. Камера была большая, но в ней сидели всего пять пацанов. Глаз у порога не остановился, а прошел к свободной шконке, бросил на нее матрац и только тогда поздоровался:

— Здорово, ребята!

Парни поздоровались тихо.

— Курить есть?

Ему протянули пачку «Севера».

Он сделал несколько сильных затяжек, и камера поплыла. Кайф! Пять суток не курил. Он сел на шконку. Навалился на стену. Пацаны стояли посреди камеры и глядели на него. Все были по первому заходу и не видали, чтоб новичок так шустро в камеру заходил. Ясно, этот парень по второй ходке.

— Ну что стали? — сказал Глаз. — Садитесь. Моя кличка Глаз. Ваши кликухи?

Двое сказали клички, а трое назвали имена.

Через несколько дней Глаз сказал:

— Когда же новичков бросят? Хоть бы пропиской потешились.

— Сейчас прописку не делают. Запрет бросили.

— Кто бросил?

— Осужденка.

— Это херня, что они запрет бросили. Вот придет новичок, будем делать прописку.

— Смотри, Глаз, попадешь потом в осужденку, дадут тебе за это.

— Кто даст?

Ребята назвали самых авторитетных из осужденных.

— Я из них никого не знаю. А делать прописку — будем. За это отвечаю я.

— Петров, с вещами.

«На этап, что ли?» Глаз быстро собрался и пошел за дежурным.

— Заходи. — Дежурный открыл одну из камер.

Камера такая же большая, как и та, из которой его перевели, только в этой полно народу.

— Здорово, ребята.

Глаз бросил матрац на свободную шконку и оглядел пацанов. Их было пятнадцать.

Малолетки в основном тюменские. Из районов всего несколько человек. Сидели за разное. Один — Сокол — за убийство. Трое за разбой. Двое за грабеж. Были и за изнасилование и за воровство. В камере в основном шустряки.

Про зону Глаз им рассказал в первый день. Ребята спросили, как ставят моргушки.

— Это надо на ком-то показать.

— Эй, Толя, — крикнул Сокол, — иди сюда!

Толя был высокий, крепкий, но забитый деревенский парень. Сидел он за изнасилование. В камере был за козла отпущения. Жизнь в тюрьме для него была адом.

Глаз поставил Толю посреди камеры. Одно из ребят на волчок, чтоб дубак не заметил, и согнув концы пальцев, закатил пацану моргушку. Раздался хлопок. Пацаны заликовали. Всем захотелось попробовать. Самые шустрые стали ставить Толе моргушки. У кого не получалось, пробовали второй раз. Толя не выдержал и сказал:

— Парни, у меня уже голова болит. Не могу больше.

С красным, набитым лицом он лег на шконку и отвернулся к стене.

Вечерами перед отбоем Глаз читал стихи. Лагерные. Кончались лагерные — ребята просили, чтоб читал любые, хоть даже из школьной программы. Глаз помнил все.

Ребятам особенно нравился «Мцыри».

— Глаз,— орали пацаны, когда Глаза забирали на этап,— возвращайся быстрее, мы без тебя от скуки подохнем!

Он попрощался со всеми за руку и под оглушительные вопли покинул камеру.

Насмотревшись на полосатиков и на крытников<sup>1</sup> и наслушавшись воровских историй, Глаз прибыл в КПЗ.

### 3

В заводуковском КПЗ заключенных — полно. Но место на нарах Глазу нашлось. Он расстелил демисезонное пальто, в изголовье положил шапку и лег. Он был уверен, даже больше чем уверен, что Бородин его расколоть не сможет. Он может колоть только в тех случаях, когда по делу проходят несколько человек. А Глаз сейчас один. «Грабителей было трое. А я один. Тебе, Федор Исакович, надо найти еще двоих. Как ты их найдешь? Робка сидит в зоне. Ты на него не подумаешь. Вызывать его с зоны просто так не будешь. Чтоб его вызвать, должны быть улики, а у тебя их нет. Нас с ним разделяют тыщи километров. Он есть на свете и одновременно его нет. Значит, с Робкой, Федор Исакович, глухо. Как в танке. Теперь остается Генка. Но и Генки в Падуне нет. Он в Новосибирске. В училище. С Генкой, значит, тоже в ажуре. Тебе его голыми руками не взять. Ну пусть он приедет на каникулы весной и ты решишь допросить его и даже попрешь на него буром — у тебя ничего не получится. Генка тоже не простачок. Он не дурак раскалываться. Если он колонется, ему срок горит, да и немалый. Значит, с Генкой тоже все железно. Насчет его беспокоиться нечего. Ну а насчет меня? Ну а насчет меня ты, Федор Исакович, знаешь, я не сознаюсь даже в тех случаях, когда на меня покажут несколько человек. Скажу — они брешут. Да и кто на этот раз может на меня показать? Нет таких. Конечно, есть Мишка Павленко. Он один знает, что это преступление совершили мы. А что, если Бородин вызовет Мишку и нажмет на него, скажет, нам все известно, так и так, признавайся, а не то и ты их сообщником будешь? Да, Мишка может напугаться, не выдержит и расколется. Очень плохо, что в тюрьме свиданку с сестрой не успел получить. Надо будет у Бородина свиданку просить и шепнуть сестре насчет Мишки, пусть предупредит, чтобы молчал».

Бородин вызвал Глаза на следующий день. Он сидел за столом и писал.

— Федор Исакович, что-то вы постарели. Я вас не видел всего несколько месяцев, и как заметно.

Бородин поднял глаза и нехотя сказал:

— Да, Колька, постареешь с вами. Времени отдохнуть нет. Вот ты сидишь у меня, а я дописываю протокол совсем по другому делу.

Бородин встал из-за стола, закурил беломорину и прошелся по кабинету. Он был выше среднего роста и немного сутулился. Движения его были вялы. Он будто не выпался сегодня.

— Я закурю, Федор Исакович?

— Закури.

Бородин стоял у окна и дым пускал в форточку.

— Ну как твои дела, Колька?

— Хорошо.

Бородин внимательно на него посмотрел.

<sup>1</sup> Полосатики, или особняки,— особо опасные рецидивисты, отбывающие наказание в колониях особого режима. Они носят специально для них сшитую одежду в полоску. Режимы в колониях для взрослых введены в 1961 году. Крытники — отбывающие наказание в специальных тюрьмах за тяжкие преступления, особо опасные рецидивисты, а также заключенные, кому за систематическое нарушение лагерного режима режим содержания заменен на горемный.

— Да, Федор Исакович, я мать, отца, сестру давно не видел. Сделайте мне свиданку, хоть покажусь им, что жив-здоров.

Бородин смотрел на Глаза устало, как бы нехотя.

— Свиданку тебе еще давать рано. Дадим потом. Сейчас протокол вот составим.

Настроение у Глаза упало.

— Что ж,— сказал Глаз,—протокол составлять? Хотите, показания давать не буду, пока не дадите свиданку? Составляйте протокол без меня.

Бородин все курил беломорину. «Я устал, а ты нам ох как надоел»,— говорил его взгляд.

— Ладно, раз не хочешь давать показания, иди в камеру. В другой раз тогда. Мне сегодня нездоровится.— Бородин провел ладонью по лицу.— Свиданку дадим. Чуть позже.

Прошло два дня. Глаза Бородин не вызывал. Глаз нервничал. Наконец его вызвали. Бородин составил протокол допроса. Глаз рассказал то же, что и написал в письме. В преступлении его Бородин не обвинял. Глаз считал, что идет как свидетель.

Через день Бородин вызвал Глаза вновь.

— Сейчас мы устроим тебе очную ставку с потерпевшим на опознание.

Из КПЗ привели двоих заключенных чуть старше Глаза. Они сели рядом. Бородин посмотрел на стриженую голову Глаза, на пышные шевелюры ребят и сказал:

— Так, вас надо остричь, чтоб все были без волос.

— Федор Исакович,— встрял Глаз,— можно и не терять время. Давайте мы все наденем шапки, и не будет видно, кто с волосами, а кто без волос.

— Точно,— сказал Бородин.

Когда ребята надели шапки, Глаз сказал:

— Я сяду посредине.

— Садись куда хочешь,— согласился Бородин.

Глаз слышал, как одного преступника, когда он сел между двумя понятыми, потерпевший не опознал. Об этом было написано в книге «Сержант милиции».

Вошел потерпевший.

— Посмотрите на этих молодых людей. Кто из них вам знаком?

— Вот этого, что посредине, я видел тогда, в поезде. В тамбуре. Перед тем как мне выйти.

— Можете ли вы сказать, что он принимал участие в разбойном нападении на вас?

— Нет, не могу. Я слышал только их голоса. Лиц не разобрал.

Глаз особо не переживал, что его опознал потерпевший. «Ведь я не отрицаю, что ехал с ним одним поездом. И не отрицаю, что он меня видел. Мы же вместе стояли в тамбуре. Попробуйте докажите, что я принимал участие в разбойном нападении».

Бородину очная ставка мало что дала.

— Ты с кем день рождения праздновал в прошлом году? — спросил Бородин в следующий раз.

— В прошлом году я был на зоне и день рождения ни с кем не праздновал,— сказал Глаз, а сам подумал: «Вон куда метишь».

Разбойное нападение было совершено за день до дня рождения Петрова. Вот потому Бородин и хотел узнать, с кем он его праздновал, чтобы сразу же, кого он назовет, допросить. Припугнуть. Может, расколется.

— Да не о прошлом дне рождения я говорю, а о позапрошлом.

— А-а, о позапрошлом. Я праздновал его тогда с Бычковыми.

— С кем из них?

— С Петькой и Пашкой.

— Где?

— У них дома и в лесу.

— А с кем еще ты в те дни встречался?

— Да в основном с ними. А так мало ли еще с кем. Прошло уж почти два года. Много с кем я встречался.

Бородин понял, что Глаз больше ничего не скажет.

В этот же день Бородин съездил в Падун, допросил Бычковых и еще разных ребят, но все без результата.

— В первый этап поедешь в следственный изолятор, — сказал Бородин через несколько дней. — А сейчас повидайся с родителями, а то отец уже несколько раз приезжал, просил свидания.

В кабинет вошли отец, мать и сестра.

— В тебе чего-то не хватает, — сказала мать.

— Чего не хватает? — переспросил Глаз.

— Вот чего, не могу понять... Зачем ты сбрил брови? — догадалась она.

— Новые отрастут.

Зазвонил телефон. Бородин сказал в трубку: «Хорошо, сейчас» — и встал из-за стола.

— Я тут на пару минут отлучусь. Ты, Колька, не сиганешь в окно? — Бородин посмотрел на замерзшее окно.

— Да что вы, Федор Исакович.

Бородин вышел. Глаз обрадовался: как здорово, что он останется с родными один.

— А магнитофона здесь нет? — спросил он, оглядывая кабинет.

— Да откуда ему здесь быть? — улыбнулась сестра.

И Глаз заговорил с сестрой на тарабарском языке:

— Гасался, песереседасай Мисишесе Пасавлесенкосо, пусусть осон мосолчисит, чтосо есегосо бысы ниси спрасашисивасалиси. По-сопяслася!

— Даса, — ответила сестра.

И они перешли на обычный язык. Ни мать, ни отец не должны были знать, что сказал он сестре. Свиданка длилась недолго. Вернувшийся Бородин разрешил Глазу взять в камеру передачу.

В камере вдруг у Глаза стало портиться настроение и заболело сердце.

— Что с тобой? — спросили зеки.

— Я что-то лишнее брякнул.

— При Бородине? — спросил сосед Женька.

— Да нет, он выходил.

— Ну вот, если сейчас тебя вызовут, все ясно.

Глаз ходил по камере и курил. Вся камера ждала: вызовут или нет. Через полчаса Глаза увели. Камера провожала его молчанием.

В кабинете Бородина сидели родители. Сестры не было.

— Ну, Колька, будешь честно говорить? — весело сказал Бородин.

— Что честно говорить?

— Все, как было дело. С кем ты совершил преступление.

— Я не совершал, вы же знаете. Что я буду на себя показывать?

— Так будешь чистосердечным или нет?

Глаз молчал. Молчал его отец. Молчала мать.

— Ну что ж, пошли, — Бородин встал, — прокрутим тебе пленку. Послушаешь себя.

Глаз шел, ничего перед собой не видя. Душа была стиснута тисками статьи. Срок. Срок. Срок. До пятнадцати. Ему как малолетке до десяти. Для Глаза сейчас не существовало бытия. Он был вне его. Он шел, потому что его вели. Надежды рухнули. Его — раскололи. Дуэль он — начальник уголовного розыска закончилась. Глаз проиграл.

Как тяжело преступнику в первые минуты после того, как его раскололи. И как хорошо в эти минуты тому, кто его расколол. Бородин что-то весело говорил Глазу, пока они шли до дверей кабинета начальника милиции. Из соседних кабинетов выходили сотрудники и присоединялись к траурной — хотя для них почетной — процессии. Это был триумф уголовного розыска. С отделения милиции снималось пятно нераскрытого преступления.

В кабинете начальника милиции на столе стоял магнитофон.

— Садись, Колька, и слушай.

Бородин улыбался. Теперь он был бодрый и выспавшийся. Он сиял. Он сделал свое дело.

Глаз садиться не стал. Да и никто не сел. Даже начальник милиции Павел Арефьевич Пальцев встал, когда вошел Глаз. Все смотрели на него, понимая его душевное состояние. Включили магнитофон. Глаз не видел лиц. Он ничего не видел. Для него был крах. Расплата. Именно в эту минуту для него наступила расплата, а не потом, когда огласят приговор. Потом он придет в себя. Потом он будет спокоен. Он смиритса со всем, даже со сроком.

Магнитофон зашипел. Первые слова резанули душу Глаза. Первые слова были: «А магнитофона здесь нет?»

Пленка прокрутилась. Глаза повели в камеру. Он шел как пьяный. Бородин сказал на прощанье, что сестра сидит в кабинете и пишет объяснение.

— Все кончено, крутанули,— сказал Глаз в камере.

Он бухнулся на нары и часа полтора пролежал ничком. Мужики не беспокоили его.

К вечеру он пришел в себя. А утром уже шутил.

#### 4

В камерах прибавилось народу. Они были переполнены. Скоро будет этап. И Глаз думал: «Все, все, в ... их всех, но с этого этапа я убегу. Терять мне не ... Три есть и статья до пятнадцати. Мне, в натуре, больше десяти не дадут. Остается семь. За побег статья до трех. Все равно сто сорок шестая перетягивает. Авось посмотрю волю. Напьюсь. Если все будет в ажуре — рвану на юг».

Ему представилось море. Залитый солнцем пляж. И кругом — женщины. Какую-нибудь уломал бы.. Объяснил бы, что я только с тюрьмы. Мне надоела тюрюга, опостылела зона. На худой конец, нашел бы какую-нибудь шалаву. Жучку. Бичевку. И бабдел бы: рядом — женщина, рядом — море, рядом — валом вина.

Поймают — ну и... По этапу прокачусь. Следствие подзатянется. В зону идти не хочется. В тюрьме, в КПЗ, на этапах веселее. В зоне еще насижусь. Тем более если червонец припаяют».

— Женя,— тихо сказал соседу.— Базар есть. Иди сюда.

Женя спрыгнул с нар.

— Ну!

— У тебя какой размер туфли?

— Тридцать восьмой.

— Я вижу — маленькие. Мне будут, наверное, как раз. Если подойдут — сменяем?

— Смотри, если хочешь.

— В самый раз,— сказал Глаз, надев туфли и пройдясь по камере,— как по мне шиты.

— Слушай, Глаз, скажи: зачем тебе мои туфли?

— Понимаешь...— Глаз помолчал,— мои на кожаной подошве, скользят. А твои на каучуковой. Секешь?..

Женя понял. И они сменялись. В камере над ним смеялись.

— Вот дурак, отдал кожаные, а взял барахло.

— А мне эти лучше нравятся.— И он перевел базар на другое.

Перед этапом Глаз поел покрепче, а оставшуюся передачу решил отдать второму соседу по нарам.

— Иван, меня сегодня заберут на этап. Тут осталось жратвы немного и курево. Я оставляю тебе.

— Что же ты себе не берешь?

Кривить Глазу не было смысла.

— Хочу рвануть. Надо быть налегке. Молчи. Никому ни слова.

— Тебе что, жить надоело?

— В малолеток не стреляют. А мне больше червонца все равно не дадут. А три есть. Ладно, хорош, в натуре. А то услышат.

Из камеры, в которой сидел Глаз, на этап уходили четыре человека.

Лязгнул замок, и этапники вышли в забитый заключенными коридор. Этап был большой. Двадцать восемь человек. Такие этапы из Заводоуковска редко бывали. Поэтому в конвое было человек десять. Начальником конвоя был назначен начальник медицинского взвода старший лейтенант Колесов. Помощником — оперуполномоченный старший лейтенант Утюгов.

— Внимание! Кто попытается бежать,— Утюгов поднял над головой пистолет и щелкнул затвором,— получит пулю.

Он спрятал пистолет в кобуру, достал из кармана полушубка наручники и подошел к Глазу.

— Мы тебе, друг, браслеты приготовили,— улыбнулся, блеснув золотыми коронками, Утюгов и защелкнул один наручник на руке Глаза, второй — на руке Барабанова, с которым Глаз рядом стоял. Они были из одной камеры. Барабанов сидел за изнасилование неродной матери. Но об этом никто не знал. Он недовольно покосился на Глаза.

Наручников, да еще в паре, Глаз не предусмотрел. «Как же я ломанусь? Ладно. Спокойно. На вокзале снимут»,— утешал себя Глаз.

Этап погрузили в «воронок» и повезли на вокзал. На улице стоял лютый мороз. «Воронок» прибыл на платформу за несколько минут до прихода поезда.

— Выпускай! — слышалось с улицы.

Заключенных спешно выпускали, покрикивая:

— Быстрее, быстрее!

Глаз с Барабановым вышли из «воронка» последними. Конвой стоял по обе стороны растянувшейся колонны. Утюгов командовал около «воронка». В нескольких шагах от него, загораживая выход в город, с автоматом на плече стриг за зеками длинный лейтенант по фамилии Чумаченко.

Утюгов подошел к Глазу и стал отмыкать наручник. Но на морозе наручник не поддавался. Опер и Глаз нервничали. Опер — потому что не мог отомкнуть, Глаз — потому что уходило драгоценное время, в которое можно сквозануть.

Заключенные стояли на перроне. Начальник конвоя убежал с портфелем сдавать их личные дела. Конвой ждал, когда он им крикнет весты зеков к «столышину». Однако начальник конвоя как зашел в «столыпин», так и не выходил.

Наручник сняли, но Глаз еще оставался на месте. Барабанов, как только освободили, отошел от Глаза. Догадывался, наверное, что Глаз хочет дернуть с этапа.

Глаз не спеша пошел между заключенными вперед, к полотну железной дороги, где находилась голова колонны. Он стал первым. Почтово-багажный, в который их должны посадить, стоял на четвертых или пятых путях. Крыши вагонов занесены снегом. Иней серебрился от света прожекторов. Заключенные и менты ждали начальника конвоя.

Вдруг слева раздался гудок тепловоза. Глаз повернул голову. По первому пути шел товарняк. Вслед за гудком из «столыпина» выпрыг-

нул начальник конвоя и, крикнув: «Запускай в машину!» — бегом через рельсы и шпалы пустился к перрону. Он увидел состав, который скоро отрежет его от этапа. А ему надо быть рядом. Как бы чего не вышло. Он подбежал к этапникам, тяжело дыша, и отнес в кабину портфель с делами. Заключенные медленно стали залезать в «воронку». На этот раз их не торопили. «Столыпин» был переполнен, и этап не взяли.

Теперь колонна зеков развернулась, и Глаз оказался в ее хвосте. Он ждал товарняк, который по мере приближения к станции замедлял ход. У Глаза созрел отчаянный план. Как только состав приблизится, перебежать путь перед самым носом тепловоза. Состав отсечет Глаза от этапа. Менты за ним не побегут — жизнью рисковать не станут. Товарняк будет проходить минуты две. За это время должен тронуться почтово-багажный. Глаз прицепится к нему. По телефону сообщат, чтобы его на следующей станции сняли. За городом, пока поезд не наберет ход, он выпрыгнет. Встречайте его на следующей станции, менты. Он не дурак.

Глаз жадно смотрел на тепловоз, все медленнее и медленнее приближающийся к нему. Вот он пошел совсем тихо. Глаз стал молить машиниста: «Ну что же ты, дай газу. Газу дай. Давай шуруй, шуруй. Ну едь же, едь. Миленький, едь». В этот миг тронулся почтово-багажный. «Это мне и надо! Шибче давай!» — Глаз надеялся переключить путь и догнать медленно набирающий скорость поезд. Но товарняк остановился, не доехав до хвоста колонны. «Ах ты сука, сволочь, педераст». Глаз посмотрел вправо и увидел красный свет светофора.

Этот вариант не удался. Почтово-багажный набирал ход. Полэтапа сидело в «воронке». «Бежать надо сейчас. Но в другую сторону. Через привокзальную площадь. Потом махнуть через забор».

Глаз опять протиснулся между заключенными вперед. И направился к «воронку». Он подошел к начальнику конвоя, стоявшему к нему вполоборота, хлопнул его по плечу, легонько толкнул и, крикнув: «Не стрелять — бежит малолетка!» — ломанулся. Конвой и зеки остолбенели. Несколько секунд длилось замешательство. Если бы Глаз побежал, не хлопнув начальника конвоя по плечу и не крикнув, за ним, быть может, сразу рванули б менты. Но хлопок и крик были как вызов — и конвой растерялся.

Первым пришел в себя Чумаченко. Он передернул затвор автомата и, крикнув: «Стой!» — выстрелил в воздух.

Глаз рванул к выходу в город. Два железнодорожника — мужчина и женщина — катили тележку, груженную багажом. Мужчина тянул тележку спереди, а женщина помогала сзади. Услышав выстрел, Глаз, пробежав немного, свернул чуть вправо и устремился к тележке. Железнодорожники после выстрела не остановились, а лишь повернули головы. Они увидели бегущего на них зека. Глаз ломился на них специальняком: менты стрелять не станут — на мушке трое.

Чумаченко после одиночного выстрела поставил автомат на очередь и прицелился в бегущего. Только он хотел нажать на спусковой крючок, как на мушке мелькнули сразу трое. Он держал палец на спусковом крючке и ждал, когда Глаз минует железнодорожников.

Зеки и менты смотрели то на убегающего Глаза, то на Чумаченко, держащего его на прицеле. Лица застыли в испуге и растерянности. Самый решительным оказался Чумаченко. У ментов, видно, была договоренность: в случае побега стреляет он. Но никто не мог предвидеть, что на мушке, кроме арестанта, могут оказаться вольные люди.

Добежав до железнодорожников, Глаз обогнул тележку, и в этот момент, когда на мушке остался лишь только он, Чумаченко нажал на спусковой крючок. Но очереди — о Глазово счастье! — не после-

довало. После первого выстрела у «калашникова» заклинило затвор: автомат был на консервации и из него давно не стреляли.

Глаз свернул за угол вокзала — теперь менты стрелять в него не могли.

Начальник конвоя, понимая, что Глаз уйдет, дернул за ним, на ходу расстегивая кобуру и вынимая пистолет. Обогнув угол и на бегу открыл огонь. Глаз слышал выстрелы и тянул по прямой. Впереди — хлебный магазин, возле которого он когда-то хотел угнать сверкавший черной краской велик. Глаз почувствовал, как обмякли ноги. Он пробежал около двухсот метров и выдохся. Ноги были к бегу непривычные. Глаз сбавил скорость. Он был уверен, что стреляют не в него, а в воздух. Пугают. Но все равно скорее свернуть за угол хлебного магазина и сквозануть через забор. А там — другие заборы, и он смоется. Ну, еще немного — и угол. Тут раздался выстрел, и ему обожгло левое плечо. Глаз почувствовал страшную боль, у него отнялась рука, и он замедлил бег. Теперь он бежал по инерции и из-за самолюбия, чтобы сразу не остановиться — на, мол, бери. Он и раненый, рискуя получить вторую пулю, честь свою не хотел терять. Пусть схватят бегущего.

Глаз сильно напугался, но не того, что ранен, а того, что не чувствовал руки. И он решил посмотреть, цела ли она. Он повернул голову. Левого глаза у него не было, а поднятый воротник демисезонного пальто закрывал руку. Глаз напугался еще больше. Где рука? Он попробовал пошевелить ею, но ничего не получилось. «Оторвало, что ли? — подумал он и, подняв правую руку, ухватился за левую. — О, слава Богу, на месте».

Глаз уже не бежал, а семенил. У него хватило выдержки не остановиться. Начальник конвоя догнал его и схватил за шиворот. Они быстрым шагом пошли к машинам. Молчал начальник конвоя, тяжело дыша. Молчал и Глаз, не чувствуя руки.

Когда они подошли к «воронку», зеки уже сидели в чреве. Утюгов открыл дверцу, а Чумаченко, взяв автомат за ствол, замахнулся прикладом на Глаза, стараясь нанести удар по спине. Боль была адская. Руку Глаз не чувствовал. Увидев занесенный для удара автомат, он взмолился:

— Не бей меня. Я раненый.

Чумаченко все же ударил его прикладом по спине, но несильно. По ране он не попал.

— Залезай! — крикнул Утюгов.

Подножка у «воронка» была высоко от земли, и Глаз никак не мог, взявшись здоровой рукой за поручень, влезть в него. Тогда Утюгов и еще один мент, схватив его за руки, подняли, швырнули, как котенка, и захопнули дверцу. Глаз застонал от пронизывающей боли, но не закричал, сдержался, чтобы не опустить себя в глазах заключенных. Менты закрывать его в чрево со всеми не стали, а посадили на сиденье рядом с собой.

— Доигрался, партизан, — сказал молодой милиционер, затягиваясь сигаретой.

Воцарилось молчание. Зеки сквозь решетку сочувственно смотрели на Глаза. Машина тронулась.

— Дай закурить, — попросил мента Глаз.

— На, партизан, закури. — Он подал сигарету и щелкнул зажигалкой.

Глаз курил и, когда машину встряхивало на ухабах, стискивал зубы от боли. «Неужели на войне, когда ранят, так больно бывает?»

...Этап выпустили из «воронка» и закрыли в камеры, но Глаза завели в дежурку КПЗ. О том, что Петров при побеге ранен, позвонили начальству. И вызвали «скорую помощь».



Дежурный по КПЗ, молодой сержант, усадил Глаза на стул. Ему два раза звонили по телефону, и он больше слушал, иногда отвечая «да» или «нет». Походив по дежурке, сказал:

— Ты раздевайся. Давай поглядим, что за рана.

Он помог Глазу раздеться. Руку Глаз еще не мог поднимать. Но уже шевелил пальцами. Резкая боль прошла. Больно было, лишь когда снимал одежду. И Глаз и дежурный удивились, что пятно крови на рубашке было небольшое.

— Смотри,— сказал дежурный,— у тебя почти что не шла кровь. Ты, видать, здорово напугался. Кровь и остановилась.

Сержант осмотрел раны. Пуля прошла чуть правее подмышки.

— Фу, ерунда. Пуля прошла навывлет по мягким тканям. Я сейчас от полена отщеплю лучину, намотаю на конец ваты, и мы прочистим рану. И все пройдет. У нас в армии так самострелам делали.

Глаза чуть не затрясло от этой шутки.

— Дай закурить,— попросил он.

— Да я не курю.

В дежурку в сопровождении мента вошел врач. Он был молодой, но пышная черная борода придавала ему солидность. У врача были темные добрые глаза. Он осмотрел рану, смазал чем-то и спросил Глаза:

— Откуда будешь, парень?

— Родом или где живу? Вернее, жил?

— Ну и родом...— он сделал паузу,— и где жил.

— Сам-то я из Падуна. А родом из Омска.

— Из Омска! — воскликнул врач.— Мой земляк, значит.

— Вы из Омска! — с восторгом сказал Глаз.

— Да. Но третий год уже там не живу.

Он осмотрел раны еще раз, наложил тампоны и заклеил пластырем.

— Надо срочно делать рентген. У него, возможно, прострелено легкое. Я забираю его в больницу.

Врач с ментом ушли.

Через несколько минут в дежурку спустился начальник уголовного розыска капитан Бородин. Его подняли с постели. Бородин сел на место дежурного. Глаз сидел напротив него. Капитан молчал, часто затягиваясь папиросой. Молчал и Глаз.

— Федор Исакович, дайте закурить.

Бородин не ответил. Глаз попросил второй раз. Снова молчание. В третий раз Глаз сказал громко и нервно:

— Дай же закурить, в натуре, что ты молчишь?

Капитан затаился. Выпустив дым и не отрывая от Глаза взгляд, достал из кармана пачку «Беломора» и положил на стол. Глаз правой, здоровой рукой взял папиросу и сунул ее в рот.

— Дайте прикурю.

Бородин промолчал.

— Прикурить, говорю, дай!

Бородин затаился и тонкой струйкой выпустил дым.

— Дашь ты мне прикурить или нет? — рявкнул Глаз, с ненавистью глядя на капитана.

Бородин достал спички и положил рядом с папиросами.

— Зажги, Федор Исакович, я одной рукой не смогу.

Бородин курил, молча наблюдая за Глазом.

— Да зажги же, Федор Исакович, что ты вылупил на меня?

Ответом — молчание. И тут Глаза прорвало:

— Ты, пидар, говно, ментяра поганый! — И покрыл его сочным матом, от которого у многих бы повяли уши.

— Закрой его в камеру, — сказал Бородин дежурному и вышел. От милиции одна за другой отъехали машины.

В камере Глаз бросил папиросу на пол и яростно растоптал. Он попросил у мужиков закурить. Ему дали и чиркнули спичкой. Жадно затягиваясь, он ходил по камере, не глядя на заключенных. Все молча наблюдали за ним. Никто ни о чем не спрашивал. Успокоившись, лег на нары на свое место. Рука ныла. Иван подложил ему под мышку шапку, и боль стала тише. Выругавшись неизвестно в чей адрес, Глаз сомкнул веки. Но долго не мог заснуть.

Утром Глаз рассказал, как его подстрелили и как Бородин вывел его из себя. Вспомнил, что незачем было у Бородина просить папиросу и спички, когда в кармане лежали свои.

— Слушай, Глаз,— сказал Иван, лежа на нарах и повернувшись к нему лицом.— Я тебе тогда не сказал. Меня Бородин просил, когда ты еще шел в несознанку, узнать у тебя, ты ли совершил преступление. Он обещал меня отпустить, и я бы уехал на химию, если б выведал у тебя все и ему рассказал. Я не согласился, сказал — да разве он раскажет? — Иван помолчал.— Вот сука. Ты только об этом ему не брякни.

После завтрака этапников посадили в автобус — ночного поезда ждать не стали — и повезли в тюрьму.

## 5

Сто километров ехать в автобусе и глазеть по сторонам! Глаз пожилрал взглядом прохожих. Всем было радостно из окна видеть волю, а ему было грустно: побег не удался.

Когда въехали в Тюмень и улицы запестрели людом, не только молодые заключенные, но и пожилые вылупились в окна. Всем хотелось посмотреть город, в котором будут жить, но которого видеть не будут. Увидев пышногрудую девушку в оранжевом пальто, Глаз восхищенно сказал:

— Шофер! Тормози! Я дальше не поеду.

Водитель и вправду затормозил. Зеки засмеялись. На светофоре горел красный свет. Менты тоже смотрели на девушку. Если бы у автобуса сломался мотор или отвалилось колесо...

Но вот и тюрьма. Когда этап повели на склад получать постельные принадлежности, Глаз сказал ребятам:

— Матрац в камеру не понесу. Скажу — рука не пашет. Пусть сами тащат.

Он представил, как его впускают в камеру, а разводящий заносит следом матрац. «Клево будет. В хате обалдеют: как же так — дубаки Глазу матрац таскают!»

— У тебя левая прострелена,— отрезал разводящий,— а ты в правую бери. Не хочешь нести — будешь спать без матраца.

Его закрыли в камеру, из которой забирали на этап. Он появился на пороге — шарф перекинут через шею и поддерживает раненую руку. Пацаны повскакали с мест, и камеру пронзил рев приветствия. Глаз кинул небрежно матрац на свободную шконку.

— Здорово, ребята!

И камера взорвалась во второй раз.

— Что с рукой? — крикнуло сразу несколько глоток.

— В побег ходил. Плечо прострелили.

И в третий раз дикие вопли, камера приветствовала его как героя, как победителя. Он врал, что слышал свист пуль, но не обращал на них внимания.

Вскоре его увели на рентген.

— Ты родился в рубашке,— сказал доктор.— На один-два сантиметра правее — и точно в сердце.

— Парни,— заговорщицким голосом слазал Глаз, показав малолеткам заклеенные раны,— меня на следствии раскрутили.

В слове «парни» ребята уловили что-то необычное.

— Парни,— вновь повторил он,— я хочу сделать побег из тюрьмы. Раз с этапа не удалось. Так хочется поплескаться на море. Мне теперь терять не х... Три года есть, и неизвестно, сколько добавят. Кто из вас хочет увидеть Гагры, кипарисы, море, испить вдосталь вина и побаловаться с чувихами?

Ребята молчали.

— Что, сконили? — спросил он.

Первым отозвался Сокол:

— Глаз, ты заливаешь. Из тюрьмы убежать невозможно.

— Возможно. Слушайте.

И он рассказал план побега.

— В случае неудачи скажем, что дубака связали, чтобы коекому набить морды в соседних камерах. Мы ничего не теряем. Дубака-то ведь убивать не будем. Я не говорю, чтобы все согласились бежать, можно только тем, кому точно горит червонец.

В побег согласилась идти половина камер.

— Так,— сказал Глаз,— махорка есть?

— Есть,— ответили ему.

— Насыпьте в шлюмку.

Он тряс махорку в чашке, и махорочная пыль собиралась у стен. Так он набрал несколько горстей.

— Хорош.

План Глаза был таков. Когда дежурный подаст стальной стержень для пробивки туалета, он бросает ему в глаза махорочной пыли и выскакивает в коридор. За ним еще трое. Дежурного затаскивают в камеру и связывают.

Настал вечер. На смену заступил небольшого роста, лет сорока, щупленький сержант с физиономией деревенского забитого мужичонки.

Ша!

Туалет забили в два счета, набросав бумаги, тряпок и сухого хлеба.

— Старшой, туалет забился.

Дежурный посмотрел через отверстие кормушки — на пол шла вода.

— Сейчас.

Он принес стержень, открыл кормушку и хотел его подать, но надо было, чтоб он открыл дверь. Глаз метнулся к двери.

— В кормушку нельзя. Через кормушку мы только еду принимаем. На малолетке это запахло.

Дубак заколебался. По инструкции не положено одному дежурному открывать двери камер, тем более в вечернее время. Но он принес стержень, и его надо подать. Не вызывать же корпусного...

Дежурный чуть приоткрыл дверь и подал стержень. Надо брать его левой рукой, а правой бросать махорочную пыль. Но Глаз сконил. За стержнем он протянул правую руку. Дверь захлопнулась.

Стержень был увесистый, около двух метров в длину. Глаз отошел от двери и отдал его ребятам. Глаза никто не упрекнул.

— Растерялся я, — тихо сказал он.— Пробеите туалет. Когда буду отдавать — тогда.

Туалет пробил. Глаз взял стержень в левую руку, а в правую махорочную пыль.

— Старшой, пробили,— постучал он.

Дверь на этот раз дубак отворил шире. Глаз подал стержень и бросил дубаку в лицо махорочную пыль. Толкнув правым плечом дверь, выскочил в коридор. В коридоре он оказался один. Те трое, что должны были выскочить за ним, замешкались и теперь толкали дверь, надеясь ее распахнуть. Надзиратель правым плечом сдерживал дверь, а в левой руке держал стержень, отмахиваясь им от Глаза, который с больной рукой боялся к нему подойти. Глаз лишь бросал

в глаза дубаку махорочную пыль, и тот часто-часто моргал. Он был хоть и щупленький и деревенский с виду, но спокойно сдерживал дверь от троих и еще махал стержнем. Он даже не кричал, не звал на помощь. Сокол в притвор бросил скамейку. Теперь дверь не захлопнуть. Следом за скамейкой в коридор вылетела мокрая швабра. Ее тоже бросил Сокол. Глаз схватил швабру и пошел на дубака, как с рогатиной на медведя. Надзиратель выдыхался.

— Катя, на помощь, Катя! — закричал он.

В конце коридора открылась дверь, которая вела в тюремную больницу, и показалась женщина-надзиратель.

— Звони по телефону! — крикнул он ей.

Глаз поставил к стене швабру и отошел в сторону. В дверь из камеры ломились.

По лестнице застучали каблуки, и в коридор вбежал работник хозобслуги, молодой здоровенный детина. Он бежал спасать дежурного, на которого напали малолетки, но в коридоре у стены стоял всего один пацан и на дежурного не нападал. А работнику хозобслуги хотелось кинуться в драку и помочь дежурному. За это его быстрее досрочно освободят. Он один на кулаках мог бы биться с камерой малолеток. Дежурный наконец ногой впнул скамейку в камеру и захлопнул дверь.

По коридору стучали еще две пары сапог. Это бежали дежурный помощник начальника тюрьмы капитан Рябков и корпусной старший сержант Сипягин.

— Что здесь было? — Капитан тяжело дышал.

Бить Глаза не стали. Даже не закричали на него.

— В пятый его, — спокойно сказал Рябков.

Корпусной повел Глаза в карцер. Их в тюрьме было пять, и предполагались они в один ряд. Самый холодный карцер — пятый — был угловой. Две стены у него выходили на улицу.

— Охладишься, — бросил на прощанье корпусной и захлопнул дверь.

Правый холодный угол оброс льдом. На льду и рядом со льдом, на стене, заляпанной раствором «под шубу», была набрызгана то ли краска, то ли кровь. Он стал ходить из угла в угол. Три маленьких шага к обледелому углу, три шага к дверям. Медленная ходьба не согревала. Стал ходить быстрее. Он подошел к параше, стоящей в углу у двери, и откинул на стенку крышку. Она глухо брякнула, и в нос ударила вонь. Он быстро оправился и толкнул крышку ногой. Теперь она пала на парашу и брякнула звонче.

Чтобы разогреться, надо заняться зарядкой. Он поднял перед собой руки. Левое плечо заныло. Он опустил левую руку и стал махать правой, а левой по возможности.

В соседнем карцере хлопнула кормушка, и он услышал разговор надзирателя с заключенным.

Надзиратель приоткрыл его волчок.

— Отойди от глазка, — негромко сказал дубак.

Глаз отступил на шаг. Попкарь неслышно ушел. На нем были сапоги на мягкой подошве, и он бесшумно ходил по коридору.

Глаз опять стал мерить карцер: три шага к углу, три назад. Несколькo раз Глаз присел с вытянутыми руками. Но простреленное плечо от движений руки причиняло боль. Тогда он, продолжая приседать, не вытягивал руки перед собой, чтоб не ныла рана, а скользил ладонями по бедрам и в момент полного приседания останавливал их на коленях. Сделав сто приседаний, он согрелся. Ноги усталости, потому что он не торопился и руками помогал подниматься, не чувствовали. Была сделана вторая сотня приседаний, и он пошел на третью. Холод отступил. Тело было горячим. Но на четвертой сотне сердце стало вырываться из груди. «Нет, в обморок я не упаду, со

мною такого не бывало... А вот сердце... Бог с ним, ничего-то со мною не случится. Присяду пятьсот. А вдруг мне станет плохо и я упаду? На бетоне холодина, и я простыну. Дубак-то нечасто подходит к волчку. Ладно, ладно, не бздеть. Ходьба мало помогает. На улице, видно, приморозило».

Когда Глаз вставал, взгляд останавливался на волчке, а когда садился, взгляд упирался в низ двери. Ему надоела темно-коричневая, обитая железом дверь, и он повернулся к стене.

В двенадцать часов ночи дежурный открыл топчан. Глаз лег на холодные доски. Но скоро замерз: одет он был в хлопчатобумажные брюки и куртку без подкладки, и еще майка была на нем. Он встал с топчана и всю ночь проходил по карцеру. В шесть утра дежурный захлопнул топчан, сочувственно взглянув на продрогшего и невыспавшегося Глаза.

Вскбре дубак принес ему завтрак. Полбуханки черного хлеба, разрезанного на три части, и несколько ложек овсяной каши, размазанной по чашке. Хлеб в карцере, как и в камерах, давали на весь день. Хочешь — съешь зараз, хочешь — растяни удовольствие, если хватит силы воли, на весь день. Малолеткам в карцере ни белого хлеба, ни масла, ни сахара не давали.

В обед он взял второй кусочек хлеба, что побольше, и, растягивая удовольствие, выхлебал пустую баланду.

Вечером в карцере стало холоднее: на улице мороз крепчал. Глаза знобило. «Уж не заболел ли я? Да нет — голова не горячая». Ему хотелось закричать: «Боже! Мне холодно!» Но он еле прошептал: «Боже, помоги мне согреться». И Глаз опять начал приседать.

В двенадцать открыли топчан. Он расстегнул верхнюю пуговицу у куртки, натянул ее на голову, застегнул пуговицу и стал часто дышать. Дыхание согревало грудь, и он задремал. Потом соскочил, поприседал, побегал, походил и снова лег.

Так прошла ночь.

На второй день после обеда его сильно клонило ко сну. Но лечь было не на что. Иногда его посещало отчаяние. «Что сделать с собой, чтобы прекратились эти мучения? Упасть на бетон головой в холодный угол и околеть?» Он представил себе, как его, замерзшего, выносят из карцера, а начальство и дубаки говорят: «Шустрый был, а холода не выдержал. Околел. Туда ему и дорога. Одним стало меньше». «Нет, шакалы,— возмутилась его душа,— я не замерзну, не околею. Я выдержу. Я буду приседать. Буду бегать. Ходить. Холодом вы меня не проймае».

И образ Веры всплыл к нему. «Я надеюсь, я, Вера, надеюсь тобою и холод победить. Ради тебя я отсижу не одни сутки в этом холодном карцере. Я готов сидеть целую зиму, если б мне сказали, что я, если останусь живой, буду с тобой».

Дремал он на ходу, как в Одяне. Сил было мало. Мерзнуть стал сильнее. И вновь вернулось отчаяние: «А что, если вскрыть вены? Заточить о бетон пуговицу и чиркнуть по вене. Тогда или умру, или переведут в другой, теплый, карцер. А что подумают дубаки? Скажут: „Резанул себя, холода испугался“».

И тут Глаз ощупал взглядом заледенелый угол. «Так это не краска, это — кровь. Кто-то, не выдержав холода, все же вскрыл себе вены. Интересно, посадили его после этого в теплый карцер? Нет-нет! Вскрывать ни за что не буду. Это последнее средство. Вы, суки, пидары, выдры, кровососы поганые, не дождетесь от меня, я не чиркну по вене. Я буду ходить, приседать и бегать. Я все равно выдержу».

В оставшиеся два дня Глаз не чиркнул себя по вене, не упал распластаный в ледяной угол. Разводящий, который вел его в камеру, смотрел на него с уважением. Пятый выдерживал не каждый.

## 6

Глаза повели в трехэтажный корпус. На третьем этаже разводящий беззлобно, но с явной усмешкой сказал:

— Ну, держись. Здесь ты несильно разбалуешься.

И его закрыли в камеру.

— Здорово, мужики.

Взросляки промолчали.

Глаз положил матрац на свободную шконку и оглядел зеков. Их было пятеро. Двое играли в шашки, остальные наблюдали. Такого никогда не бывало ни на малолетке, ни на взросляке, чтобы на новичка не обратили внимания.

— Здорово, говорю, мужики.

Но из пятерых на него никто не взглянул даже.

Глаз расстелил матрац. Ужасно хотелось спать. Но лечь, не поговорив с сокамерниками, даже если они и не поздоровались, он счел за неуважение. Чтобы не рисоваться посреди камеры, Глаз сел на шконку.

Доиграв партию, зеки убрали шашки и посмотрели на новичка. Среди пятерых выделялся один: коренастый, широкий в плечах, смуглый, с мохнатыми бровями, с чуть проклюнувшимися черными усами и властным взглядом, лет тридцати пяти. «Он, наверное, и держит мазу»,— подумал Глаз.

— Ну что, откуда к нам? — спросил коренастый.

— Из трюма,— ответил Глаз.

Коренастый промолчал, а высокий белобрысый парень лет двадцати с небольшим переспросил:

— Откуда-откуда?

— Из кондея, говорю,— ответил Глаз, а сам подумал: «Что за взросляк, не знает, что такое трюм».

— Ну и как там? — продолжал коренастый.

— Да ничего.

— Сколько отсидел?

— Пять суток.

— А что мало?

— Малолеткам больше не дают.

Коренастый закурил, и Глаз попросил у него. Тот дал.

— Значит, к нам на исправление? — уже добродушнее проговорил коренастый, затягиваясь папиросой.

— На какое исправление?

— Да на обыкновенное,— вспыхнул коренастый,— у нас хулиганить не будешь.

— Я к вам, значит, на исправление? Вы у хозяина на исправлении. Наверное, уже исправились?

Зеки молча глядели на Глаза. Коренастый часто затягивался папиросой, соображая, видимо, что ответить.

— Это не твое дело — исправились мы или нет. А вот тебя будем исправлять.

— Как? — Глаз подошел к столу, взял спички и закурил.

Глаз был уверен — его не тронут. На тюрьме был неписанный закон: взросляк малолетку не тронет. Коренастый побагровел.

— Как разговариваешь? — заорал он.

— А как надо?

Коренастый хотел ударить Глаза наотмашь ладонью, но Глаз отскочил. Зеки запротестовали:

— Да брось ты. Что он тебе сделал?

Коренастый уткнулся в газету, а четверо других приступили к Глазу с расспросами. Глазу показалось странным, что зеки в разговоре с ним мало употребляют феню. Но когда разговор зашел о женщинах-заключенных, Глаз сказал:

— Раз с нами шла по этапу коблиха, красивая, в натуре, была.

— Кто-кто с вами шел? — переспросил высокий белобрысый парень.

— Да кобел, говорю.

— А что такое кобел?

— А вы по какой ходке? — спросил Глаз.

— Ходке? Да мы здесь все не по первому разу. Режим у нас строгий.

— Так вы что, осужденные?

— Да-а,— протяжно и неуверенно ответил парень.

— Режим строгий, а что такое кобел, не знаешь.

— Ладно,— сказал чернявый, с большими, навывкате глазами парень,— хорош ломать комедию. Ты вон подойди к вешалке...

Глаз не шевельнулся.

— Да ты к вешалке подойди и на одежду посмотри.

На вешалке висели шубы и шапки.

— Ну и что? — обернулся Глаз.

— Да ты внимательнее посмотри.

...Стоп. Что такое? На одной шапке спереди было светлое пятно от кокарды. И на другой тоже. А на плечах у шуб, там, где носят погоны, цвет был тоже светлее.

— Так вы менты бывшие, что ли? — догадался Глаз.

Бывшие менты промолчали.

До обеда Глаз отсыпался. А после обеда повели в баню. Старший по бане, глядя на заклеенные раны, сильным голосом спросил:

— Ну что, еще побежишь?

— Побегу,— не думая ответил Глаз.— Вот только плечо заживет.

Он взял ножницы подстричь ногти и тут увидел на подоконнике другие. Незаметно взял их и, юркнув в помещение, где они сдали вещи в прожарку, схватил свой коц и сунул ножницы в него. И только тут он увидел, что один мент все еще раздевается и он усек Глаза. Глаз так рассуждал: «Если спрятать или вообще выбросить ножницы, чтобы банщики не нашли, то потом, если менты попрут на меня, их можно будет припутнуть: ножницы, мол, в камере и я перережу вам глотки».

Из моечного отделения Глаз вышел первым. Здесь его ждал корпусной.

— Собирайся быстрее.

— Куда?

— Опять в карцер.

— За что?

— Не прикидывайся дурачком. За ножницы.

Глаза опять закрыли в пятый.

Утром надзиратель открыл кормушку и крикнул:

— Подъем!

Глаз встал.

— Захлопни топчан,— сказал надзиратель.

Глаз хлопнул топчаном, но несильно. Дубак ушел. Глаз подошел к топчану и посмотрел на замок. Замок, как и предполагал он, от несильного хлопка не защелкнулся. Но лежать на топчане было холодно. И тут Глазу пришла отчаянная мысль: а нельзя ли разобрать топчан, сломать доски и разжечь костер? «Что за это может быть? Дадут пару раз по шее. Ну и пусть вам войдут сто ежей хором в ...»

После завтрака Глаз откинул топчан и приступил к осмотру. Все доски были прикручены болтами к стальным угольникам. Но первая доска делилась на две части: в ее середине крепился замок. Глаз попробовал открутить болты, но гайки не поддавались — давно заржавели. Дровесина вокруг болтов прогнила. Особенно вокруг одного. За эту половину доски он и взялся.

Глаз и коленом давил в конец доски, и пинал коцем, но отверстия вокруг болтов разрабатывались медленно. Пробовал он и зуба-

ми грызть дерево, но из десен пошла кровь. Он выплюнул изо рта волокна вместе с кровью и стал ногтями ковырять вокруг болта. Один ноготь сломался, из двух пошла кровь. «Нет-нет, топчан, я все равно тебя сломаю,— разговаривал он с топчаном как с человеком,— ну что тебе стоит, поддайся. Ведь ты старый. А мне холодно. Думаешь, если сейчас было б лето, я ковырял бы тебя? Нет, конечно. Ну миленький, ну топчанушко, ну поддайся ты, ради Бога,— уговаривал он топчан, будто девушку,— что тебе стоит?»

И все же Глаз победил: он надавил коленом — и оба болта остались в замке, а конец доски поднялся. Глаз ликовал. Не прилагая усилий, Глаз потянул доску и поставил ее на попа, потом, чуть надавив, потянул доску книзу, и она вышла из болтов. Теперь у него в руках оказался рычаг. При помощи его он оторвал вторую доску.

Прошло чуть более часа, и топчан был разобран. Доски он поставил у дверей, а сам встал рядом, загородив собой голый каркас топчана.

Чтоб развести костер, нужны были щепки. Зубами он стал щепать доску. Она была сухая и легко поддавалась. Из полы робы он достал спичку и часть спичечного коробка. Щепки принялись разом. В карцере запахло смолой. Одну короткую доску Глаз сломал провдоль о каркас. Стучать он уже не боялся — костер горел. Посреди карцера. Он подложил сломанную доску, а потом и остальные. Когда их охватило пламя, дыму стало больше и он повалил в отверстие над дверью, где была лампочка. Дежурный учуял дым и прибежал.

— Ты что, дурил? Вот сволочь!

— А что, я замерзать должен? Зуб на зуб не попадает.

— Туши, туши, тебе говорят, а то хуже будет.

Глаз открыл парашу и побросал в нее разгорающиеся обломки доски. Они зашипели, и от них пошел пар. Длинные доски он сломал и тоже заглушил в параше.

В карцере невыносимо пахло мочой. Дубак закашлял и, оставив открытой кормушку, побежал вызывать корпусного. Тот наорал на Глаза, но бить не стал. Он обыскал его, забрал несколько спичек, которые Глаз для них оставил в кармане, и его закрыли в боксик, так как все карцеры были заняты.

Лежа на бетоне, Глаз блаженствовал: в боксике было жарко. Он перевернулся на живот и за трубой отопления, которая проходила по самому полу, увидел пачку махорки. Глаз быстро ее схватил и сунул в карман. Обыскивать его второй раз не будут. А клочок газеты у него был. На пару закуток хватит.

Часа через два Глаза закрыли в карцер. Новые доски были настланы. Глаз ликовал: «Господи, раз в жизни может быть такое счастье. Пару часов в боксике погрелся и, основное, пачку махры нашел».

Ночь и следующий день Глаз курил. А после отбоя спички кончились. Он оставил одну. Но ее не трогал. Он решил, что скрутит сигарку побольше и будет курить и сворачивать новые до тех пор, пока не кончится махорка. Газеты ему еще дали. Для туалета. А в парашу он ходил редко, не с чего было. Кормили вдвое меньше, чем в камере.

И снова ночью на Глаза накатило: вскрыть вены или удариться с разбегу головой о стену на глазах у дубака. Третью ночь он дремлет. Шилы покидают его.

Ему вспоминался дед. А перед дедом он был виновен, и чувство раскаяния одолевало его. Коле шел седьмой год. Жили они тогда в Боровинке. Как-то вечером дед не отпустил Колю на улицу: темно и мороз ударил. Коля, разбидевшись, расстриг у него на шубе петлю. Утром дед стал собираться во двор, а Коля наблюдал из соседней комнаты в щелочку. Дед надел шубу, взялся за верхнюю петлю и хотел застегнуть ее, но петля соскользнула с пуговицы. Дед взялся



за вторую петлю... Затем, уже судорожно трясая рукой, он прошелся по оставшимся петлям и горько заплакал.

И вот теперь, ровно через десять лет, прокручивая в памяти этот случай, Глаз сказал: «Дедушка, прости меня».

...Утром его перевели в третий карцер. На взросляке кто-то отлучился, и его заперли в пятый. Пусть, как и Глаз, померзнет. Но только десять суток. Взрослякам давали в два раза больше.

## 7

Глаза подняли в камеру к ментам. Войдя, он сразу заметил, что коренастого мента нет. Вместо него — новичок.

— А где коренастый?

— На этап забрали.

— В КПЗ?

— Нет, в зону. Он осужденный был.

— А у вас что, и следственные и осужденные сидят вместе?

— Да, вместе. Отдельных камер не дают. Тюрьма и так переполнена, — отвечали бывшие менты.

«Что ж, раз нет коренастого, я вам устрою веселую жизнь. Отдельные камеры вам подавай. Бойтесь в общих сидеть...»

Из всех ментов Глазу нравился только Санька. Его сейчас забирала на этап, в зону. В ментовскую. В Союзе было несколько зон, в которых сидели бывшие работники МВД. Их в общие зоны не отправляли — боялись расправы над ними.

Санька был солдат из Казахстана. Но русский. Ему было всего девятнадцать лет. Он сбежал из армии. Месяц покуролесил по Союзу, а потом приехал домой, и его забрали. За самовольное оставление части ему дали два года общего режима. Санька был отчаянный балагур, весельчак и юморист.

— Что в армии, что в тюрьме, — говорил он, — один хрен. В армии бы мне служить три года, а в зоне — два. Я раньше домой приеду, чем те, с кем меня в армию забирала. Аля-улю!

Служил он в войсках МВД здесь, в Тюмени. Охранял зону общего режима. Двойку. Потому и попросился в ментовскую камеру.

На другой день на Санькино место посадили малолетку Колю Концова. Это был обиженка. В камере над ним издевались. Он был с Севера, и земляков у него было мало. Попал за воровство. Дали ему полтора года. Коля Концов был тихий, забитый парень с косыми глазами, похожий на дурачка. Дураком он не был, просто был недоразвитый. Медленно соображал, говорил тоже медленно и тихо, рот держал открытым, обнажая кривые широкие зубы. Глаз сразу дал ему кличку — Конец.

Теперь Конец шестерил Глазу. Менты не вмешивались. Их это даже забавляло. Если Конец медлил, Глаз ставил ему кырочки, тромбоны, бил в грудянку. Конец терпеливо сносил. «Этот, — думал Глаз, — на зоне будет Амебой. И даже хуже. Что сделаешь, такой уродился».

— Конец, — сказал как-то Глаз, — оторви-ка от своей простыни полоску. Да сбоку, там, где рубец.

Конец оторвал.

— А теперь привяжи к крышке параша.

Тот привязал.

— И сядь на туалет.

В трехэтажном корпусе разломали печки, на их месте сделали туалеты и подвели канализацию. Но туалеты пока не работали.

Конец стоял, глядя на Глаза ясными, голубыми с поволокой глазами.

— Кому говорят, сядь!

Конец сел.

— Вот так и сиди. Кто захочет в парашу, ты дергай за веревочку, крышка и откроется. Понял?

— Понял,— нехотя выдавил Конец.

Менты, кто со смехом, кто с раздражением, смотрели на Глаза, но молчали. Забавно им это было.

— Итак, Конец, я хочу в туалет.

Глаз подошел к параше. Конец потянул за отодранный рубец, и крышка откинулась. Оправившись, Глаз отошел, а Конец встал и закрыл крышку. Двое ментов тоже оправились, воспользовавшись рационализацией. Они балдели.

В камере сидел один мент. В милиции уже несколько лет не работал. Попал за аварию. В ментовскую камеру попросился сам: очко-то не железное, вдруг кто-нибудь его узнает. Это был спокойный, задумчивый мужчина лет тридцати с небольшим. Он был всех старше. Славой его кликали.

— Глаз, что ты издеваешься над пацаном? — вступился он за Конца.— А вы,— он обратился к ментам,— потакаете. Конец! — повысил он голос.— Отвяжи тряпку и встань. В тебе что, достоинства нет?

Конец отвязал и сел на шконку.

— Слава,— сказал Глаз,— о каком достоинстве ты говоришь? Ему что парашу открывать, что...

— Раз он такой, зачем над ним издеваться?

— Сидеть скучно. А тут хоть посмеемся.

Вечером Глаз с Концом играли в шашки. «Достоинство, говоришь! — возмущался Глаз.— Я покажу сейчас вам достоинство».

— Конец, слушай внимательно,— тихо, чтоб не слышали менты, заговорил он,— мы с тобой разыграем комедию. В окне торчит разбитое стекло. Вынь осколок небольшой и начинай его дробить. Пусть менты заметят. Они спросят, зачем долбишь, ты скажи, только тихо вроде, чтоб я не слышал,— мол, Глаз приказал. Спросят, для чего, ты еще тише скажи, что я приказал тебе мелкое стекло набросать им в глаза. Если не сделаю, он меня изобьет. Бросать не будешь. Мы их просто попугаем. Усек?

— Усек.— Лицо Конца расплылось в улыбке.

— Сейчас закончим партию — и ты начинай.

Конец долбил осколок коцем на полу. Когда стекло захрустело, менты заперешептывались. Один мент, Толя Вороненко, подошел к Концу, пошептался с ним, открыл парашу и выбросил в нее истолченное стекло.

«Нештяк, в натуре, очко-то жим-жим. Ладно, на сегодня хватит, а завтра еще чего-нибудь придумаем».

На другой день Конец взял ложку и стал ее затачивать о шконку. Менты переглянулись, и Вороненко сказал:

— Конец, иди-ка сюда.

Конец стал перед ним.

— Для чего ты точишь ложку? — спросил он тихо.

Конец молчал.

— Говори, не бойся.

— Глаз сказал, чтоб я заточил ложку, а ночью, когда будете спать, чтоб я вам кому-нибудь глотку перехватил. Говорит, порежет меня, если не выполню.

Вороненко отобрал у Конца ложку.

Через день Глаз сказал Концу:

— Ты поиграй в шашки с Вороненко. И скажи ему по секрету, что я хочу замочить одного из них. Отоварю кого-нибудь спящего по тывке табуреткой и начну молотить дальше. Скажи: кого Глаз хочет замочить, он еще не надумал. Кто больше опротивеет, мол.

Конец передал это Вороненко, тот — ментам.

В камере сидел земляк Глаза Юра Пальцев, однофамилец начальника заводуковской милиции. Пальцев тоже работал в медвытрезвителе, но медбратом, или, как называют в армии, тюрьме и зоне, коновалом. Он у одного работяги из Падуна вытащил десять рублей. За Пальцевым наблюдали давно. Начальник уголовного розыска Бородин приехал к нему домой и с порога сказал: «Ты зачем у Данильченко вытащил десять рублей?» Пальцев растерялся. Бородин заметил это. «Не вытаскивал я никаких десять рублей». Бородин сел на табурет возле стола. Оглядел кухню. Потом поднял клеенку на столе — туда обычно кладут деньги — и вытащил десятирублевку. «Вот куда ты спрятал. Ах сукин ты сын, позоришь органы». — «Это не те деньги. Не те. Это жена положила». — «Не те? Нет те! Данильченко сказал, что у десятки уголок был оторван. Вот видишь?» — «А я говорю вам — не те!» И Пальцев завел Бородина в комнату и вытащил из-за электросчетчика скомканную десятку. «Вот она!» «Ну и дурак, — резюмировал Глаз, выслушав рассказ Пальцева. — Зачем ты ему десятку показал? Сказал бы, нет, не брал — и все».

Пальцев был деревенский. Переживал сильно. Он и так был худой, а на тюремных харчах дошел вовсе. Болея его душа — жена дома осталась. Она и так-то, признавался он Глазу, ему изменяла. Не девушкой он взял ее. Пальцев показывал фотографию жены — симпатичная, смуглая, с длинными волосами. Заводуковские менты, когда он сидел в КПЗ, несколько раз устраивали ему личные свидания. А за это она отдавалась ментам. С удовольствием.

Перед отбоем Глаз подсел к Пальцеву. Глазу нравились его тельняшка и солдатские галифе.

— Давай, Юра, сменяемся брюками. Я тебе хэбэ, а ты мне галифе. В зоне тебе все равно в них не ходить. А в моих разрешат.

Юра согласился.

— Тельняшку в зону тоже не пропустят, — врал Глаз, — а я по тюрьме буду хиять, тебя вспоминать. Варезки тебе дам новые, шерстяные.

Пальцеву было жаль тельняшку. Но жизнь-то дороже. «Вдруг Глаз осерчает и сонного табуретом начнет молотить?» — думал он.

Глаз надел галифе, тельняшку и важно прошелся по камере, выпячивая грудь. «В этой форме я приеду в КПЗ и на допросе скажу Бородину: вот посадили Пальцева, а ему в тюрьме несладко живется, видишь — я снял с него одежду. Жалко ему станет Пальцева или нет?»

Ночью Глаз проснулся от шепота. Вороненко, свесившись со второго яруса, тормозил Пальцева. Пальцев проснулся и закурил. У Глаза сон как рукой сняло.

Пальцев покурил, заплевал окурком, заложил руки за голову и остался лежать с открытыми глазами.

«Уж не караулят ли они меня, чтобы я кого не замочил?»

Часа через два — а как долго ночью тянется время! — Пальцев, встав со шконки, разбудил очередного мента.

Теперь ночное дежурство принял Володя Плотников. Он работал надзирателем на однерке, что находилась через забор от тюрьмы. Посадили его за скупку ворованных вещей. Соседи-малолетки обокрали квартиру и принесли ему посуду. Он купил. А потом они попались и раскололись. Его заграбастали. Он был членом партии, единственный из всех сокамерников. Ему было лет тридцать. Он тоже скучал по жене, которую любил.

«Конечно, я могу сейчас встать, закурить. Подойти к табуретке, постоять возле нее. Посмотреть на волчок. Подойти к двери. Послушать, не шаркает ли по коридору дежурный. Плотников в этот момент будет за мной пристально наблюдать. Только я подниму табуретку — он заорет и разбудит всю камеру. Вот будет потеха. Меня,

конечно, сразу в карцер. А потом к ним не поднимут. Ну-ка это все на хер. Они такие же зеки. Зачем их пугать?»

В камеру дня через два посадили здорового татарина. Татарин назвал себя Николаем и сразу захватил верхушку в камере. Он обращался со всеми запросто, будто всех знал давно, а тюрьма была для него дом родной. Татарин был темнолобы. Трудно было понять, за что его посадили и как он попал в ментовскую камеру. Он был выскокий, психованный, целыми днями ходил по камере. Размахивал длинными ручищами, когда что-нибудь объяснял, и держал себя выше всех, зная наперед, что никто и ни в чем ему возразить не сможет.

Глаз больше других с ним разговаривал. Постепенно татарин стал рассказывать о себе.

Давно, лет десять назад, он работал в милиции. Потом от него ушла жена, и он стал пить. Допился до белой горячки. Чуть не убил человека. Но все обошлось — его подлечили. Потом опять стал пить и что-то украл. Его посадили. Дали срок. Так он попал в пермскую ментовскую зону общего режима. Освободился. Немного погулял и попал вторично. Теперь его направили в иркутскую зону усиленного режима.

— Хотя зоны и называются ментовскими, — рассказывал татарин, — но в них и половины ментов нет. В них направляют зеков из других, обыкновенных зон, ну, козлов всяких, а на этих зонах старое не вспоминают. Не важно, кем ты был. Хотя министром внутренних дел. Тебя за это не обидят.

В начале шестидесятых годов, рассказывал татарин, в иркутскую спецзону пригнали по этапу бывшего полковника. На воле он работал начальником управления внутренних дел. Ему должны были вот-вот присвоить комиссара, но он влип на взятке. На крупной, конечно. Его раскрутили. Дали восемь лет. В зоне полковник ни с кем не кентовался. Жил особняком. Все молчал. И через год сошел с ума. Еды ему не хватало. Он лизал чашки, собирал с пола корки хлеба, а когда ему особенно жрать хотелось, он залезал в помойную яму и там выскивал крохи. Он как был молчуном, так и остался, только все говорил себе под нос: «Ту-ту». Из помойной ямы так и слышалось «ту-ту».

— Так что, — закончил свой рассказ татарин, — вы, мелкие сошки, не расстраивайтесь и не переживайте, что вас посадили. И не таких людей сажают. Отсидите — умнее будете. Полковник десятками тысяч ворочал, а вы у пьяных копейки забирали. На зоне научитесь, как надо по-крупному делать деньги. В следующий раз, когда я с вами опять встречусь в тюрьме или зоне, я думаю, вы уже попадете не за копейки. А будете, как полковник Ту-Ту.

Менты молчали. Они теперь не боялись Глаза. Перестали дежурить. Сейчас они побаивались татарина и ему не перечили. А с Глазом были на равных. Глаз рассказывал ментам свои похождения, а они с ним делились своим горем. По воле они тосковали сильно. А Глаз, слушая мента-рецидивиста, набирался опыта.

— Парни! — объявил однажды Глаз. — Я сотворю сейчас хохму. Сегодня заступил новый дубак, он меня плохо знает.

Он оторвал от одеяла кромку и сплел веревку. Один конец привязал к кровати, а другой накинул себе на шею: сел на пол и подтянул веревку, а чтоб надзиратель не узнал его, надел шапку, сдвинув ее на глаза.

— Ну, стучите. — И Глаз откинул в стороны руки.

Менты забарабанили в дверь.

— Чаго там? — открыл дубак кормушку.

Перебивая друг друга, менты закричали:

— Удавился, удавился у нас один!..

Надзиратель посмотрел через отверстие кормушки в камеру и увидел зека, сидящего возле кровати. С середины кровати к шее спускалась туго натянутая веревка. Язык у зека вылез наполовину, на глаза съехала шапка, а ноги и руки были раскинуты по сторонам. Зная, что камера ментовская, дубак, бросив кормушку открытой, понесся к телефону. Не прошло и двух минут, как застучали кованые сапоги и распахнулась дверь. В камеру вбежал дежурный помощник начальника тюрьмы лейтенант Зубов. Он был без шапки и в одном кителе. Галстук от быстрого бега повис на плече.

— Петров, это ты, что ли, задавился? — спросил Зубов, тяжело вздохнув и снимая галстук с плеча.

— Я,— ответил Глаз, убирая с лица шапку.

— Ну и как на том свете?

— Скучно, как в тюрьме.

Глазу горело пять суток, но лейтенант был добряк.

— Не шути больше так, Петров,— кинул он на прощанье.

На днях осудили Плотникова и за скупку ворованных вещей дали полтора года общего режима. Он с защитником написал кассационную жалобу и теперь ждал результата. Глаз утешал Володю:

— Тебе светил бы срок, если бы они доказали, что ты эту чертову посуду купил, зная, что она ворованная. А ты ни на следствии, ни на суде не сказал, что это знал. Понял? Да тебя освободят. Или, на худой конец, год сбросят. Ты уже пятый месяц сидишь, не успеешь моргнуть — и дома, с женой.— Глаз помолчал.— А вот если тебя освободят, отдашь мне свой полувер?

— Отдам. Я готов отдать с себя все, только б свобода. Глаз, едит твою в корень, неужели меня освободят?

На удивление всем, через полмесяца надзиратель крикнул в кормушку блаженные слова:

— Плотников, с вещами!

Глаз шементам подскочил к нему первый:

— Ну вот и свобода! Что я тебе говорил, мать твою мать?

— А вдруг — на зону? — Плотников побледнел.

— Да ты что,— наперебой заговорили менты,— тебе же отказа от жалобы не было.

— Ну что, Володя,— сказал Глаз,— полувер отдаешь?

— Да я не знаю, куда меня.

«Бог с ним, с полувером»,— подумал Глаз, но сказал:

— Собирай быстрее вещи.

Когда открылась дверь, все попрощались с ним за руку, а Глаз, попрощавшись последним, вдарил ему по заднице коцем.

Дверь захлопнулась. Человека выпускали на свободу.

Как-то на прогулке Глаз услышал за стеной визг.

— Бабы!

Когда дубак, ходивший по трапу повернувшись к дворикам, ушел в другой конец, Глаз крикнул:

— Девочки, как дела?

— Дела — хорошо, но без мужиков — плохо,— ответил из соседнего дворика звонкий девичий голос.

— Щас я к вам перелезу.

Женщины засмеялись. Они приняли это за шутку.

Еще не на всех прогулочных двориках сверху была натянута сетка. В дворике, где гуляли менты, сетки не было.

— Подсадите, чтоб я за верх стены зацепился,— сказал Глаз.— У баб вроде тоже нет сетки.

Женщин было четыре. Две совсем молоденькие, две постарше.

— Открывай третий! Камбала перелазит к женщинам! — раздавался свисток и крик надзирателя.

Дворик открыли. Глаз спрыгнул. Его повели в карцер.

— Сейчас в карцере сидит молодая. За пять суток вдоволь с ней наговоришься, — сказал дубак.

— В каком карцере?

— В пятом.

Глаза закрыли в четвертый. Когда дубаки ушли, Глаз крикнул:

— Пятый карцер! Девушка, как настроение?

Он стоял у самой двери и слушал. Девушка в своем карцере тоже подошла к двери и ответила:

— Настроение бодрое, еще сутки остались. А откуда ты знаешь, что я в пятом сижу?

— Мне дубак сказал, когда вел.

— За что тебя?

— Если б ты знала, за что, — Глаз засмеялся, — из-за тебя

— Я серьезно спрашиваю.

— Я на прогулке перелазил через стену к женщинам.

— А ты отчаянный. Сколько тебе дали?

— Пять суток.

— Что мало?

— Я малолетка.

— Осужденный?

— Нет, под следствием. А тебя за что в карцер?

— Да в камере там...

— А в тюрьму за что попала?

— Гуляли у подружки. Пришел ее сосед. Мент. Следователь. Сел с нами. Начал ко мне приставать. Я его бутылкой по голове.

— Пустой?

— Полной.

— Ты тоже по малолетке?

— Нет. Мне девятнадцать.

— Скоро суд?

— Скоро.

— Хватит разговаривать! — закричал дубак.

— Старшой, мне сегодня положено.

— А я говорю — хватит. А то еще пять суток добавим.

Дубак ушел.

— Девушка, тебя как зовут?

— Люся.

— Меня Коля. Будем знакомы. Ты откуда сама?

— Из Тюмени.

«Наверное, красивая, раз следователь клинья бил».

— Люся, а ты смелая девушка, молодец.

— А ты, раз перелазил через стену, чересчур отчаянный.

— Люся, — как можно нежнее сказал Глаз.

— Что?

— Ты хотела б, чтоб меня к тебе посадили?

— Очень. Но это невозможно.

— Сильно хочешь?

Люся молчала.

— Спрашиваешь. Еще как.

— Я сейчас стену сломаю. Ты только отойди от нее, а то кирпичами придавит.

— Ты, парень, огонь. Но не горячи себя, так лучше.

— Камбала, хватит кричать, — тихо сказал, открыв кормушку, дубак. — Если молчать не будешь, я скажу Люсе, что у тебя один глаз.

Глаз чуть не заплакал. Давно, еще в Одяне, он решил, что, когда освободится, замочит двух козлов, которые ему, шестилетнему, выбили из ружья глаз. «Я разыщу их, сволочей, и прикончу».

Вечером, когда дубаки сменились, Глаз опять заговорил с Люсей. Почитал ей стихи, а ее попросил спеть песню. У нее был высокий голос, и петь она умела.

— Коля, когда освободишься, можешь в гости зайти.

— Люсенька, я не знаю, сколько мне дадут. У меня статья сто сорок шестая. Дадут около десяти. Ты меня сто раз забудешь.

На следующий день Люсю из карцера освободили. Она крикнула Глазу: «До свидания!» — и застучала каблучками по бетонному полу.

Глаза вызвал на допрос старший следователь особого отдела управления внутренних дел Эмиргалиев. За столом сидел седоватый подполковник с узким разрезом глаз. Лицо рябое и некрасивое.

— Я занимаюсь твоим побегом. Больше в побег не пойдешь?

— Пойду, — не думая ответил Глаз.

— Я взял уже показания у милиционеров, которые тебя конвоировали. Теперь ты расскажи, как было дело.

— Показания я вам сейчас дам, а вы скажите: что будет Колесову за то, что он меня продырявил?

— Да ничего, наверное, не будет.

— Это почему?

— Он же стрелял в тебя, не зная, что бежит малолетка.

— Как же это «не зная»? — возмутился Глаз. — Я, прежде чем побежать, крикнул: «Не стрелять — бежит малолетка!»

— Колесов мне этого не сказал. Я весь конвой допрашивал, и никто не сказал, что ты это крикнул.

— Вы их в больницу всех сводите.

— Зачем?

— А проверьте их слух. Они что — глухие? Если они не слышали, что я кричал «не стрелять — бежит малолетка», тогда давайте допрашивайте весь этап. Двадцать восемь человек было. Они-то, я надеюсь, не глухие.

— Кричал или не кричал — какая разница? Ты ведь живой остался.

— Ну и шустрый вы, товарищ подполковник. Разница есть. По советскому законодательству в малолеток и беременных женщин стрелять нельзя, если они идут в побег. А в меня стреляли. Я вот нарушил закон — меня посадили. Он нарушил закон — пусть его тоже судят.

— Твое преступление — разбой — все равно побег перетягивает. Лишнего срока за побег тебе не дадут.

Глаз, не читая протокол, расписался.

— Защищайте их, защищайте. Рука руку моет. Чума на вас всех...

Вскоре Глаз вновь загремел в карцер. И к нему посадили малолетку. От него он узнал, что в корпусе малолеток Глазом пугают шустряков. «Вот посажу, кто шустрит, в карцер к Камбале, покажет он вам, что такое тюрьма», — запугивал пацанов корпусной с шишкой на скуле.

Глаз от парня узнал, что Гена Медведев, поделщик, сидит в шестьдесят второй камере. «А что, если попытаться в шестьдесят вторую попасть?»

Через пять суток за Глазом пришел разводящий. Не тот, что уволил его. В коридоре разводящий спросил:

— Ты в какой камере сейчас?

— В шестьдесят второй, — спокойно ответил Глаз.

— Так ты же у взрослых вроде сидел?

— Сидел я у взрослых, сидел у малолеток, снова у взрослых и опять к малолеткам попал.

— А не врешь?

— Что мне врать? Ты же в карточке сверишься.

Разводящий повел Глаза на второй этаж.

— Здорово, ребята, вот и отсидел я пять суток!— заорал, переступив порог камеры, Глаз.

Малолетки уставились на Глаза. Одет он был не так, как они. На нем были солдатские галифе, из-под куртки выглядывала тельняшка, на голове — зековская расшитая кепка. Разводящий стоял в дверях, а Глаз подошел к малолетке, который стоял ближе всех к двери, хлопнул его по плечу: «Здорово, Толя» — и затряс обалдевшего пацану руку.

Разводящий не решался захлопнуть дверь, и Глаз, чувствуя на себе его взгляд, сделал шаг ко второму. «Братан, здорово, чего такой грустный?» — и, выпустив очумевшего пацана из объятий, повернулся ко всем ребятам.

— Ну, как вы без меня?

Все молчали, и разводящий спросил:

— Он сидел у вас в камере?

Стоя спиной к разводящему, Глаз моргнул пацанам. Его поняли.

— Сидел он.

— Конечно.

— Да, он с нашей камеры.

Разводящий захлопнул дверь и пошел сверяться в картотеке.

Только теперь Глаз заметил Гену Медведева. Он стоял возле шконки в углу камеры.

— Привет.

— Здорово.

— Как живешь? — спросил Глаз громче, чтобы слышали ребята.

Он рассчитывал, что если Генка живет не очень хорошо, то визит Глаза должен изменить отношение к парню.

— Хорошо, — негромко ответил Гена.

— Как у тебя дела? — тихо спросил Глаз.

— Плохо. Мишка колонулся. Они все знают.

— Так... В какой камере Робка?

— В шестьдесят четвертой.

Благодаря тюремному телефону Глаз знал, что не так давно из зоны в тюрьму привезли его второго подельника Робку Майера, а Робке в колонии оставалось жить всего два дня до досрочного освобождения, и его забрали на этап, на раскрутку. По вине Глаза вместо свободы Робку раскрутят, и Глаз решил, если удастся переговорить с Генкой, отшить Робку. Взять преступление на двоих.

— Я сейчас с ним перебарзую, — зашептал Глаз, — а не успею — за мной сейчас придут, — тогда передай ему, чтоб отказывался. Ты сказал, что он с нами был?

— Они об этом сами знали.

— Ты это же показал?

— Куда мне было деваться?

— Ну ничего, откажешься от показаний.

Глаз залез под шконку — трубы отопления в корпусе малолеток проходили над полом — и только переговорил с Робкой, как открылась дверь и разводящий крикнул:

— Петров, на выход!

Дойдя до дверей, Глаз обернулся. Пацаны все так же молча стояли и смотрели на него. Он поднял вверх правую руку и, сказав: «Покедова», вышел из камеры.

Разводящий поругал Глаза за обман и отвел к шустрякам.



Еще с месяц назад воспитатели убрали из нескольких камер самых отчаянных парней и посадили всех в одну. Глаз оказался в этой камере шестым. Четверо были тюменские, а Глаз и еще один парень, по кличке Подвал, у которого одна нога была сухая и он без костылей ходить не мог,— из районов.

Малолетки о Глазе были наслышаны. Они представляли его здоровым и сильным и сейчас были разочарованы. Через несколько дней пацаны стали Глаза игнорировать. Не замечают его — и все. Они, городские, лично знавшие всю блатню города Тюмени, должны перед ним преклоняться? Нет, не бывать такому. И его, деревенского, неизвестно как вышедшего в шустряки, они и за равного принимать не будут.

Парни были самоуверенны и зоны не боялись. На свободе шустрили, думали они, в тюрьме живем отлично и в зоне не пропадем. Иногда они просили Глаза рассказать о зоне. А раз Масло — тюменский парень, на свободе не в меру шустривший, хотя и был щупленький и ростом не выше Глаза,— спросил:

— А сам-то ты как в зоне жил? Вором? Или в активе был?

— Как я жил? Вором не был. В активе тоже не состоял. Вы что, думаете, если придете на зону, сразу ворами станете или лычку рога прицепите?

В камере кончилось курево, и ребята попросили его у старшего воспитателя майора Рябчика. Но он принес мало, и парни взбунтовались. Отличился Глаз, и его вновь бросили в карцер.

Через пять суток разводящий пришел за ним, но повел Глаза не в камеру, а на склад. Глаз получил постельные принадлежности, и разводящий привел его снова к карцеру.

— А почему снова в карцер?

— Будешь сидеть на общих основаниях.

«Скорее бы на этап забрали,— думал Глаз.— Только этап и спасет меня от этого вонючего карцера. Скорей бы...»

И правда, будто Бог услышал Глаза: на другой день его забрали на этап. Какая радость! Конец карцеру! Да здравствует родная КПЗ! «Улица, улица, я увижу тебя из окна «воронка!»!»

Глаза привезли в милицию на закрытие дела. В кабинете сидели Бородин и следователь прокуратуры Иконников. Иконников еще больше поседел.

Глаз щелкнул каблуками:

— Солдат армии войска польского прибыл.— И без приглашения сел на стул.— Федор Исакович, что же вы Пальцева Юру, друга своего и соратника, на полтора года упрятали! Не-хо-ро-шо.

— Ты с ним сидел? — спросил Бородин.

— Я вот снял с него тельняшку и галифе, обратили внимание? В тюрьме у Юры житуха плохая. Зашибают его. Переживает он сильно и почти ничего не ест. Боюсь, помрет с голоду. Не выдержать ему полтора года.

— Ты же выдержал. Скоро полтора года будет. Выдержит и он.

Бородин вышел. Иконников стал брать у Глаза последние показания. Прижатый признаниями Мишки Павленко, Глаз признался в совершении разбоя. Он только сказал, что преступление они совершили вдвоем, с Генкой Медведевым. Робки Майера с ними не было.

После допроса Глаза завели в кабинет начальника милиции. Начальник милиции сидел за столом, за другим — Бородин. Около окна стоял прокурор района и курил.

— Ну как, Колька, твое здоровье? — улыбнулся прокурор.

— Как здоровье? Вы лучше скажите, что Колесову будет за то, что в малолетку стрелял?

— Колесову дали строгий выговор за то, что он тебя не убил.— Прокурор беззлобно рассмеялся.

Закрытие дела Глаз подписал. Со следствием он согласен. На этот раз уголовный розыск сработал четко и претензий у него не было.

Мент повел Глаза в камеру, обнявши его — он боялся, чтоб Глаз не ломанулся, когда они будут проходить мимо выхода. Пока мент вел его по коридорам, Глаз шарил в карманах его кителя прямо на виду у посетителей. Он вытащил у него пачку «Беломора» и с ней зашел в камеру. Угостил зеков. Похвастал, где взял пачку.

В камере была интересная личность — рецидивист Никита. Из пятидесяти лет он около половины просидел в лагерях и чего только о зонах не рассказывал. Заговорили об Александре Матросове.

— Прежде чем базарить об Александре Матросове, надо знать, кто он был. Он в зоне сидел, на малолетке. В Уфе. Его там страшно зашибали. Вон спросите у Глаза, как на малолетках ушибают. Там все на кулаке держится. Так вот, Сашу в зоне били по-черному. Он с полов не слазил. И рад был, когда на фронт попал. Я с ним в одной зоне не был. Но кент мой, Спелый, с ним вместе в Уфе сидел. И он рассказывал, как опустили в зоне пацана. Вас бы вот с годик-другой подупитить, а потом отправить на фронт и отдать приказ уничтожить дот. А ведь как получается: парня били в зоне, а потом, когда он совершил подвиг, эту зону, где у него здоровье отнимали, назвали его именем. Уфимская малолетка имени Александра Матросова<sup>2</sup>. Знаешь, Глаз, эту зону?

— Знаю,— ответил он,— я в Одяне сидел, а Матросова от нас недалеко была. Она показательная. У нас кулак сильный был, а в матросовской, говорят, еще сильнее.

Однажды, когда заключенных повели на opravку, Глаз увидел в конвое старшего лейтенанта Колесова. Глаз шел последним. За ним следовал Колесов. Глаз обернулся.

— Я думал, по тебе панихиду справляют. Живучий ты, пацан.

Колесов дождался, пока заключенные зашли в камеру, и дернул Глаза за руку.

— Стой! Ты, сволочь, если будешь так говорить, я тебя,— он судорожно схватился за кобуру, расстегнул ее, но вытаскивать пистолет не стал,— пристрелю.

Глаз зашел в камеру и подумал: «Вот сука, даже обругать его, козла, нельзя. Псих он, что ли? Еще и правда пристрелит».

Вскоре Глаза забрали на этап. В тюрьме его бросили в старинный корпус на третий этаж, в угловую камеру к взрослякам. В камеру набили столько народу, что и на полу места хватать не стало. Среди новичков было несколько бичей. С самым молодым из них Глаз часто разговаривал. Он был тюменский. Несколько лет нигде не работал, разъезжая по городам. Но от Тюмени он далеко не уезжал. Его в камере прозвали ББС — бич ближнего следования. ББС было двадцать с небольшим. Он был высокий, крепкий парень. Жажда приключений тянула его в поездки. Он курсировал в Свердловск, Челябинск, Омск. Потом возвращался домой. К матери. Отсыпался, отъедался и снова уезжал. За бродяжничество его наконец посадили.

Другой бич в камере был лет тридцати пяти. Он разошелся с женой, оставил ей квартиру и стал бродяжить. Он объехал пол Советского Союза, добывая на еду случайными заработками. Этого бича прозвали БДС — бич дальнего следования.

<sup>2</sup> В настоящее время уфимская воспитательно-трудовая колония имени Александра Матросова расформирована. На ее территории создан учебный комбинат управления внутренних дел.

Но был в камере бич бичам, лет сорока разбитой мужчина, объехавший за свою жизнь все республики. Не было места на карте, где бы он не был. Этот в отличие от других на работу иногда устраивался, чтоб была отметка в трудовой книжке и в паспорте. Бродяжил он более десяти лет. Он был черный, как негр,— его нажгло солнце юга. На лето он чаще приезжал в Сибирь, а на зиму отчаливал на юг, к теплу. Он гордился тем, что бродяжил и мог в камере дать отпор любому. Бичей в тюрьме не любили. Они были все грязные, и у многих, когда с них состригали шевелюры, копна волос на полу шевелилась от вшей. В камере с ними никто не кентовался. Бичи были посмешищем зеков и надзирателей. Прожженного бича прозвали БОН — бич особого назначения. По виду никто не мог сказать, что он бич. Одевался он не хуже других, и вшей у него не было.

Говорили, что старые, немощные бичи на зиму стараются попасть в тюрьму, где их будут кормить. А к лету они выйдут на свободу. Так это было или не так, но Глаз таких бичей не встречал, кто бы добровольно пришел в тюрьму. Еще про бичей говорили, что, когда осенью 1967 года объявили амнистию, многие бичи плакали. На зиму их выгоняли на улицу.

В камере сидел мужчина из Голышманова. Украинец. Дима Моторный. Он попался за частнопредпринимательскую деятельность. На свободе он работал в телерадиоателье. Дима писал стихи. Как-то Моторный написал стих про бичей и дал прочитать Глазу. Глазу стих понравился, он за день выучил его и стал громко читать:

Над Тюменью утро наступает,  
И мороз становится сильней,  
С теплотрасс на промысел вылазят  
Оборванных несколько бичей.

Главный бич остался в теплотрассе,  
Он боится выйти на мороз,  
Молодым бичам дает приказы,  
Чтобы долю каждый ему нес.

Много здесь, в Тюмени, предприятий,  
Где начальство радо всем бичам,  
Нет условий для своих рабочих,  
А бичами выполняют план.

Так, в тюменском мясокомбинате  
На работу всех бичей берут  
Без прописки и без документов  
И расчет им сразу выдают.

Кроме денег, здесь бичам приволье,  
Колбасы хоть вволю поедят  
И еще берут мясопродукты,  
Чтоб на водку просто променять.

Надо вам кончать, бичи, бродяжить,  
На исходе ведь двадцатый век.  
Приобщайтесь вы к нормальной жизни.  
Как живет советский человек.

Зеки забалдели. Над бичами ловили «ха-ха». Сильнее всех бичей глотку драл БОН.

— Ты про себя напиши! Что ты про нас пишешь?

Бичи стали ненавидеть Глаза.

Глаз расписался, что числится за прокурором, а потом — за судом, и его повезли на суд.

В этапке он встретился с Геней Медведевым, а Робки Майера не было. Значит, решили они, его отправили раньше. С Геней он договорился, что кражу в старозаимковской школе Гена берет на себя.

В КПЗ их посадили в разные камеры. Глаз попал к знакомым по прошлым этапам. От них он узнал, что сын начальника управления внутренних дел за изнасилование попал в тюрьму. Роберт сидел через стенку.

Вечером дежурный по КПЗ сказал, что завтра им на суд. Перед сном Глаз побрызгал на брюки воды, расстелил их на нары, положил на них пальто и лег спать. Утром он вытащил их из-под себя — брюки кое-где морщились, но стрелки делали вид. После завтрака Глаз закурил и стал ждать, когда крикнут на выход. Вот и голос дежурного.

— Ну, сколько тебе дадут, — спросили мужики, — как думаешь?

Глаз окинул камеру взглядом, явно не желая отвечать, знал — влепят ему чуть не на всю катушку. Он посмотрел на стены, дверь, потолок, остановил взгляд на стене. Там то ли кровью, то ли краской была жирно выведена восьмерка. Он указал на нее пальцем:

— Вот сколько.

Робку выпутывать Глазу с Генкой не пришлось: на следствии он признался. Глазу и Роберту отшили статью восемьдесят девятую, а всем троим сняли девяносто шестую по амнистии. Приговор был справедлив: Глазу — восемь лет усиленного режима, Роберту — семь, а Гене — шесть. У Глаза и Роберта первое наказание — по три года — вошло в новый срок. До звонка Глазу оставалось шесть с половиной.

В этот день он мало разговаривал с мужиками. Лежал на нарах и переживал. Хоть он и ждал, что ему примерно столько дадут, но все же до суда он был веселый. Срок — восемь лет — парализовал на некоторое время резвость Глаза. Надо теперь привыкнуть. Все же восемь лет. Глаз посчитал, сколько же ему будет, когда он освободится. Выходило двадцать три с половиной. Вера, конечно, к этому времени выйдет замуж. И у нее будет ребенок. «Эх ты, Вера, Верочка, я тебя потерял. Никогда ты не будешь моей. Но ничего, может, она к этому времени и не выйдет замуж. Ей тогда будет... так, двадцать два года. Ведь не все же до двадцати двух выскакивают. Бывает, и в тридцать лет в первый раз замуж выходят. Конечно, она тогда будет не девушка. Да ведь она красивая, ее, конечно, возьмут замуж. Не просидит она до двадцати двух».

Он закрыл глаза, представил Веру, и ему захотелось взять ее смуглую руку в свою. Но даже в мечтах его рука не может дотянуться до Веры. Он делает последнее усилие и вот... коснулся! Он держит в своей, он гладит Верину руку. Но Вера непроницаема, она не улыбается, она с удивлением смотрит на него. «Боже, — подумал Глаз, — когда же я наяву возьму тебя за руку?.. Верочка, — повторял он это имя как заклинание, — Вера!..» Когда он думал о Вере, в его мыслях не пробежало ни одного блатного слова.

Так прошел день. Первый день после оглашения приговора.

«Восемь лет, — подумал Глаз, когда утром проснулся. — Ну и х... на вас. Отсажу».

После обеда дверь камеры открылась. На пороге стоял, закрыв проем двери массивным телом, начальник КПЗ старший сержант Морозов.

— Петров, — сказал он, — мы сейчас к вам малолетку посадим, смотри не учи его чему не надо и не смейся над ним. Он с деревни. Первый раз попал.

Новичок в камере — это свежий глоток воздуха. Новичок — это воля. Новичок, а если он по первой ходке да еще деревенский да смешной, — это «ха-ха» до колик в животе.

Морозов освободил проем, и в камеру шустро вошел старик. Он был в расстегнутом зимнем пальто, в руках держал шапку. Камера

встретила его взрывом хохота. Глаз быстрее пули соскочил с нар и кинулся к деду.

— Дедуля, родной, здравствуй! За что тебя замели?

— Замели? — переспросил дед, шаря по камере бледными, выцветшими и плохо видящими глазами.— По сто восьмой я.

— По сто восьмой! За мокрое, значит,— тише сказал Глаз и попятился от старика.

— Ты не пугайся, внучок, я только по первой части.

— А-а-а, я-то думал, ты по второй.

Морозов закрыл дверь, но от нее не отошел, а стоял и слушал. Он любил пошутить и подобные сцены никогда не пропускал.

— Ты че, дедуля, старуху хотел замочить? — спросил Глаз.

— Не-е, молодуху. Старуху-то я давно похоронил. Царство ей небесное.— Старик снял пальто и расстелил на нарах.

— Дедуля, а тебя что, с Севера пригнали?

— Что ты?

— Да на дворе лето, а ты в зимнем пальто.

— Перин в каталажках еще не стелют. Лежать-то на нарах жестко.

— О-о, ты продуманный дед.

Дедуля заулыбался.

— Так скажи, за что же тебя? — не унимался Глаз.

Дед сел на нары.

— Да соседку свою, Нюрку, из ружья пугнул.

— Вот это да, дед! Ты в камеру с собой ружье не принес?

— Не-е.— Дед засмеялся.

— Что же ты на Нюрку-то осерчал?

— Я на разъезде живу. У меня кроликов полно. Больше сотни. Летом они разбежались по лесу и шастали, как зайцы. А Нюрка с хахалем ловили их. Да хер с имя, не жалко мне их. Но они же мне и сто грамм никогда не нальют, даже если я и с похмелья. А тут я напился. Крепко. Смотрю — идет Нюрка. Я взял ружье да и на крыльцо. И трахнул перед ней в землю. А одна дробина, окаянная, в м... залетела.

Зеки от смеха затряслись на нарах, а Глаз сказал:

— Тебе еще одна статья будет.

— Какая?

— Сто семнадцатая.

В камере опять загоготали.

— Это что за статья? Я новый кодекс не знаю.

— Это, дедуля, из-на-си-ло-ва-ние.

Дед понял шутку и засмеялся.

— Дедуля, ты сказал, что новый кодекс не знаешь. А ты что, старый хорошо знал?

— Старый? Знал. Старый все знали.

— Ты в первый раз попал?

— В первый...— дед сделал паузу,— до войны.

В камере опять засмеялись.

— Охо! Ты сколько лет в тюрьме не был. Соскучился, наверное?

— Аха. Все спал и ее, родную, видел.

— Так, значит, ты еще до войны сидел.

— Сидел. И до той и до этой.

— До какой той?

— Да что с германцем была.

— А, четырнадцатого года. Вот это да! — воскликнул Глаз.— Неужто правда? А в каком году тебя в первый раз посадили?

— В девятьсот пятом.

— А сколько ты всего раз в тюрьме был?

— В тюрьме я три раза был. Да раз в Красной Армии.

— А с какого ты года?

— С тыща восемьсот восемьдесят девятого. Я взял обязательство до ста лет жить.

— В тюрьме, что ли?

— Почему в тюрьме? Я еще освобожусь. Поживу на свободе. Девок попорчу. Отмечу сто лет — и тогда на покой.

— Это что, дед, тебе в этом году восемьдесят было?

— Будет. В тюрьме буду праздновать. Я родился в октябре.

С приходом деда в камере стало веселее. Дед болтал не меньше Глаза. За свою жизнь он отсидел около пятнадцати лет, и тюрьма для него — дом родной.

— Дед,— спросил как-то Глаз,— а ты на войне воевал?

— Нет. Меня в тридцать седьмом посадили.

— Слушай, дедуля. Первый раз ты попал в тюрьму в девятьсот пятом, второй — в четырнадцатом, третий — в тридцать седьмом. Что же это получается? Перед войной ты в тюрьму садился, чтоб живым остаться?

— А ты как думал. В тюрьме я от мобилизации освобожден.— Дед засмеялся.

— Дедуля, а расскажи, как ты в Красной Армии воевал.

— Я у Буденного воевал.— Дед оживился.— Когда меня стали забирать, я взял с собой фотографию. Я на ней вместе с Буденным.

— Так что, фотография здесь, в КПЗ?

— Здесь.

Глаз метнулся к дверям. Постучал. Позвал начальника КПЗ. Пришел Морозов.

— Слушай, Валентин. Дед говорит, что воевал вместе с Буденным и у него с собой фотография есть. Правда это?

— Правда.

— Покажи фотографию.

— Да ну тебя.

Вся камера стала просить Морозова, и Валентин сдался. На фотографии и правда дед был сфотографирован с Буденным и красноармейцами.

— Мы с Буденным не только вместе воевали, но и по девкам ходили.

— С Буденным?!

— С Буденным.

— По девкам?

— По девкам. Я его старше был. Буденный-то меня моложе.

— Так слушай, дед. Тебе все же статью сто семнадцатую пришить надо. С Буденным ты вместе девок портил. Это что же, если возбудят против вас дело, Буденный будет твоим подельником? Это неплохо. Пиши явку с повинной. Так и так, с Буденным мы девок того. Тебе все равно за это срок не дадут. Буденного-то не тронут, и он тебя вообще отмажет. И ты на волю выйдешь.

Перед этапом Глазу дали свиданку. Он повидался с матерью и отцом. Они принесли ему здоровенный кешель еды. И через день его отправили в тюрьму.

В тюрьме Глаза посадили во вновь сформированную камеру шустряков. Она находилась на первом этаже трехэтажного корпуса, где сидели смертники, особняки, строгачи. В камере были два знакомых парня: Масло и Подвал. Они встретили его без особой радости, поздоровались за руку и спросили, сколько дали.

Камера была сырая. Сводчатые потолки наводили тоску. Казалось, тебя заперли в средневековую башню и придется сидеть всю жизнь. Ребята решили вырваться из этой мрачной камеры любыми средствами. Если их не переведут, они устроят бардак, перевернут все шконки, побросают в кучу матрацы, а если и после этого не пе-

реведут, разобьют в раме стекла, сломают стол, вышибут волчок и все вместе будут барабанить в дверь. Так предложил Глаз, и ребята согласились: или для всех карцер, или другая камера.

Вечером во время поверки Глаз спросил у корпусного с шишкой на скуле:

— Старшина, что же нас в такую камеру, как рецидивистов, заперли?

— А ты и есть рецидивист.

— Я не рецидивист, я малолетка.

— Дважды судимый, восемь лет сроку — без пяти минут рецидивист.

— Старшина, доложи завтра утром начальству, что я и вся камера просим, чтоб нас отсюда перевели. В любую камеру. Кроме первого этажа.

— Ишь ты, сукач, чего захотел.

— Что, что ты сказал?

— Сукач, говорю.

— Это кто же сукач?

— Сукач — ты.

— Я не сукач, ты — сукач.

Корпусной с дежурным вышли из камеры, а корпусной, выходя, все повторял одно и то же слово: «Сукач, сукач, сукач».

— Что же это он тебя сукачом называет? — спросил Масло Глаза.

— Поиздеваться, сволочь, захотел.

Глазу было не по себе — его назвали сукачом.

На другой день Масло, сев на шконку Глаза, спросил:

— Глаз, а правда ты не сукач, не насадка? Почему это тебя так по камерам гоняют?

— Масло, в натуре, ты думай, что говоришь. Какой я насадка? Меня вызвали с зоны и добавили пять лет. Ты что, охерел?

Масло это сказал так, чтобы потравить Глаза, авторитет Глаза в тюрьме его задевал.

Когда в камеру зашел старший воспитатель майор Рябчик и ребята опять загадели, что сидеть в этой камере не хотят, что устроят кипеш, если их не переведут, Глаз стоял и молчал.

— Ну, Петров, как дела? Что молчишь? — спросил Рябчик.

— А что мне говорить? Все сказано. Если нашу просьбу не выполните, тогда заговорю я.

— Ишь ты, заговоришь. Ты что из себя блатного корчишь? Вспомни, как в прошлом году, когда ты сидел в тюрьме в первый раз, ты валялся на полу. — И Рябчик кивнул на дверь. Кивок можно было понять так, что Глаз валялся возле парашаи.

— Когда это я на полу валялся? — повысил голос Глаз.

— А когда обход врача был, ты на полу лежал.

— А-а, да. Лежал я на полу. Но ведь я ради потехи лег, показать врачу, что я больной и мне назад в камеру не зайти.

— Вот видишь, вспомнил. А говоришь — не валялся. Разве любой уважающий себя урка ляжет на пол?

Рябчик пошел на выход. Но перед дверью обернулся.

— Какой ты урка, ты утка, насадка.

Дверь захлопнулась, и Масло сразу накинулся на Глаза:

— Вот и Рябчик говорит, что ты насадка. Да еще на полу валялся.

Глаз был потрясен. Рябчик, майор, старший воспитатель, тоже назвал его насадкой. Что такое? Будто все сговорились против него. Глаз сдержал гнев и ответил:

— Если я на самом деле насадка, тюремное начальство разве об этом скажет? Да вы что! Настоящую насадку они оберегают, как родного ребенка.

— А откуда он мог это взять?

— Масло, разве ты не знаешь Рябчика? У него же привычка: подойдет к камере, приоткроет волчок, смотрит и слушает. Ты же всю глотку орал, не насадка ли я. А он тут и зашел. От тебя и улышал. Ты вяжи этот базар.

— Ладно, не ори, в натуре, на меня. Давай ребят спросим, что они теперь о тебе думают после этого.

Подвал и еще двое парней высказались против Глаза, а еще двое сказали, что трудно в этом разобраться. Ведь на него говорят тюремщики. Камера разделилась.

Положение получилось нехорошее. Как-то надо выкручиваться. Масло пер на него, и дело могло дойти до драки. «Так,— подумал Глаз,— если Масло кинется на меня, за него, наверное, все пацаны пойдут. Они же друг друга хорошо знают. Хотя эти двое и не катят на меня бочку. Но в драке я буду один. Что ж, схвачусь с четырьмя, Подвал не в счет. Жить с клеймом насадки не буду. Здоровых сильно нет, я, пожалуй, с ними справлюсь, если зараз не кинутся. Если Масло вначале прыгнет один, я отоварю его и отскочу к дверям. Возьму тазик и швабру. Полезут — одного отоварю все равно. Потом, конечно, тазик и швабру вышибут. Но двое точно будут валяться на полу. С двумя пластанемся на руках. Пусть мне перепадет. Х.. с ним. А если свалить с ходу Масло и еще вон того, поздоровее, то остальные и не полезут».

Масло заколебался — двое не поддержали. Он залез на шконку и оттуда честил Глаза. А Глаз сел на свою и ему не спускал.

А тут — обед.

Через день ребят разбросали по разным камерам, а Глаза опять посадили к взрослякам, в камеру, которая находилась в одном коридоре с тюремным складом. Окно камеры выходило на тюремный забор, и на окнах не было жалюзи. О, блаженство! — на небо можно смотреть сколько хочешь. Если пролетал самолет, Глаз провожал его взглядом, пока тот не скрывался за заперткой.

Мужикам Глаз на второй день продемонстрировал фокус: на спор присел тысячу раз. В камере охнули, и проигравший откатал его на плечах пятьдесят раз.

Наискосок от окна камеры малолетки днем сколачивали ящики, и Глаз как-то заметил знакомого. Он сидел с ним в камере, из которой хотели идти в побег.

— Сокол! — крикнул Глаз в окно.

Сокол, перестав колотить, посмотрел на окно. Глаз крикнул еще раз. Сокол, позырвав по сторонам, подбежал к окну.

— Здорово, Глаз.

— Привет. Вас что, на ящики стали водить?

— Да, мы Рябчику все уши прожужжали, чтоб нам в камеру какую-нибудь работу дали. Работу в камере не нашли, теперь на улицу водят. На ящики. Тебе сколько дали?

— Восемь. А тебе?

— Десять. Нас тут чуть не полкамеры, в которой мы тогда сидели. Они там дальше колотят, тебе не видно. Ну ладно, я пошел, а то не дай бог заметят.

На ящики водили не все камеры малолеток, а лишь тех, в которых был порядок. И только осужденных. Малолетки из пятьдесят четвертой кричали Глазу, чтоб он просился к ним. Но он не надеялся, что его переведут. А как заманчиво ходить на тюремный двор и колотить ящики. Несколько часов в день — на улице. «И потом,— размышлял Глаз,— ящики грузят на машины, а машины выезжают за ворота, на волю. Можно залезть в ящик, другим накроют — и я на свободе. Вот здорово! Ну ладно, выскочу я на свободу. Куда средь бела дня деться? Я же в тюремной робе. (Глазу еще перед су-



дом запретили ходить в галифе и тельняшке.) На свободе в такой никто не ходит. Даже грузчики или чернорабочие... Значит, так: до темноты где-то отсижусь, а потом с какого-нибудь пацана сниму одежду. Тогда можно срываться. Прицепиться к поезду и мотануть в любую сторону. А может, лучше выехать из Тюмени на машине. Поднять руку за городом — и привет Тюмени. Нет, вообще-то за городом голосовать нельзя. И с машиной лучше не связываться. На поезде надо. Конечно, на поезде. Точно».

Глаза потянуло к малолеткам — перспектива побега жгла душу. Он взял у дубака лист бумаги и ручку с чернильницей, сел за стол, закурил и в правом верхнем углу листа написал:

«Начальнику следственного изолятора подполковнику Луговскому от осужденного Петрова Н. А., сидящего в камере № 82».

Пустив на лист дым, он посередине крупно вывел:

«ЗАЯВЛЕНИЕ»,—

и, почесав за ухом, принялся с ошибками писать:

«Вот, товарищ подполковник, в какой я по счету камере сижу, я и не помню. Все время меня переводят из одной камеры в другую. А за что? За нарушения. Да, я нарушаю режим. Но ведь я это делаю от скуки. Уж больше полгода я сижу в тюрьме. А чем здесь можно заниматься? Да ничем. Потому я и нарушаю режим. Я прошу Вас, переведите меня к малолеткам в 54 камеру. 54 камера на хорошем счету. А меня всегда сажают в камеры, где нет порядка. А вот посадите в 54, где есть порядок, и я буду сидеть, как все, спокойно. Я к Вам обращаюсь в первый раз и потому говорю, что нарушать режим не буду. Прошу поверить».

Глаз размашисто подписал заявление и отдал дежурному.

На следующий день в кормушку крикнули:

— Петров, с вещами!

Когда Глаз скатал матрац, к нему подошел парень по кличке Стефан. Сидел он за хулиганство. Был он крепкий, сильный. В Тюмени в районе, где он жил, Стефан держал мазу. Однажды он схлестнулся сразу с четырьмя. Они его не смогли одолеть, и один из них пырнул Стефана ножом. Стефан упал, а они разбежались. Его забрала «скорая помощь». В больницу к нему приходил следователь, спрашивал, знает ли он, кто его порезал. Но Стефан сказал, что не знает, а в лицо не разглядел, так как было темно.

Когда Стефан выздоровел, он встретил того, кто его подколол, и отдал, чтоб помнил. Но тот заявил в милицию, и Стефану за хулиганство дали три года. Суд не взял во внимание, что Стефану была нанесена потерпевшим ножевая рана.

Стефан с Глазом тоже спорил на приседания и, как все, проиграл. Сейчас Стефан подошел к Глазу и сказал:

— Глаз, мне бы очень хотелось на тебя посмотреть, когда ты освободишься. Каким ты станешь?

Пятьдесят четвертая встретила Глаза ликованием. Вечером он читал стихи. К этому времени он выучил много новых. Знал целые поэмы. Парни балдели.

Когда камеру на следующий день повели на прогулку, малолетка — а его звали Вова Коваленко — подбежал к трехэтажному корпусу, к окну полуподвального этажа, и крикнул:

— Батек, привет!

— А-а, сынок, здравствуй,— ответил из окошка мужской голос. Здесь, в прогулочном дворике, Глаз узнал, что Вовкин отец сидит в камере смертников. Он приговорен к расстрелу. Приговор еще не утвердили.

Поработав на ящиках, Глаз увидел, что за погрузкой наблюдают внимательно, и понял, что в побег ему не уйти.

С приходом Глаза порядок в пятьдесят четвертой становился все хуже и хуже: Глаз не заваривал свар, но то ли пацаны хотели перед ним показать себя, то ли одним своим присутствием Глаз вливал в них струю хулиганства. Лишь на прогулке ребята не баловались: чтоб подольше побыть на улице.

В последние два дня Глаз заметил, что парни по трубам стали разговаривать чаще. И смотрели на него испытующе. К чему бы это? Развязка наступила скоро.

После обеда надзиратель открыл кормушку и крикнул:

— Петров, с вещами!

Глаз скатал матрац и закурил. Ребята столпились и зашептались. Один залез под шконку, переговорил с какой-то камерой и вылез.

— Глаз,— вперед вышел парень по кличке Чока,— объясни нам, почему тебя часто бросают из камеры в камеру.

Он понял — старая песня.

— А откуда мне знать? Спросите начальство. Вы сами меня пригласили.

— Нам передали, что ты наседка.

— Что же я могу у вас насиживать? Здесь все осужденные. Преступления у всех раскрыты.

— Но ты сидел в разных камерах и под следствием. Сидел со взросляками. Сидел с Толей Паниным, который шел в несознанку по мокрому. Тебя из его камеры перебросили в другую. А ты знаешь, что Толю раскрутили и скоро будет суд? Ему могут дать выпак. Здесь, на малолетке, сидит его брат. Мы сейчас с ним разговаривали. Он да еще кое-кто просят набить тебе харю.

— Когда я сидел с Толей Паниным, мы с ним ни о его деле, ни о моем не разговаривали. Толя что — дурак, болтать о нераскрытом?

На Глаза перло несколько человек из тех, кто не сидел с ним, когда они пытались убежать из тюрьмы. А старые знакомые вступить не могли, раз было решение набить морду Глазу.

— Ладно, хорош базарить, а то его скоро уведут,— сказал Чока и отошел от Глаза.

Малолетки разбежались по своим шконкам, оставив Глаза возле бачка с водой. «Что же это такое,— подумал Глаз,— хотят набить рожу, а все попрыгали на шконки».

От стола на Глаза медленно шел Алмаз. Алмаз был боксер — ему поручили исполнить приговор.

Глаз еще раз окинул взглядом пацанов, сидящих на шконках, перевел взгляд на швабру в углу, с нее на тазик под бачком с водой. «Швабра — это ерунда,— молниеносно заработало сознание Глаза,— с ходу сломается. А тазик пойдет. Выплесну ему в рожу воду и рубцом тазика огрею по голове».

Но тут Глаз заколебался. Ведь, прежде чем ударить Алмаза тазиком, придется окатить его помойной водой. Глаз не только зачужит Алмаза, но и зачужит ребят: брызги долетят до них. Этого пацаны ему не простят. Зачужить малолетку — посильнее всякого удара. Вся камера взбунтуется против Глаза. Нет, водой из тазика в рожу Алмазу нельзя. А если воду вылить на пол, пропадет внезапность нападения. Алмаз изготвится. И удар не пропустит. Отскочит. Он боксер. «Будь что будет, ведь меня сейчас уведут». И Глаз остался на месте.

Алмаз сработал чисто, по-боксерски. С ходу два удара в лицо. Рассек Глазу бровь. Он и еще бы ударил, но, увидев кровь, отошел.

Пацаны с криками соскочили со шконок и подбежали к Глазу. Они были уверены, что он будет сопротивляться или выкинет что-нибудь такое, отчего Алмаз к нему не подступится. Но все обошлось. Глаз побит. Кто-то оторвал от газеты маленький клочок и приклеил

Глазу на бровь. Кто-то обтер с лица кровь, чтоб, когда поведут, не было видно, что его побили.

— Не заложишь нас? — спросил Чока.

— Совсем охерели? — Глаз оглядел пацанов.

— А кто тебя знает... — Чока помолчал. — Надо спрятать стирь. Пацаны перепрятали карты.

— Тогда и мойку перепрячьте. Я ведь знаю, где она лежит.

Парни переглянулись, но лезвие перепрятывать не стали.

— Вы что, правда поверили, что я насадка?

Ему никто не ответил. В коридоре забренчали ключами.

— Петров, на выход!

На пороге стоял корпусной. Глаз взял под мышку матрац, а пацаны, пока он стоял спиной к корпусному, прилепили ему на бровь другой клочок бумажки. Первый уже промок от крови.

— Глаз, пока! Глаз, просись еще к нам! — заржали пацаны.

У порога Глаз обернулся к ребятам и махнул им рукой:

— Аля-улю.

Глаза закрыли в камеру в основном корпусе, в полуподвальном этаже, где сидели смертники, особняки и на дураков косящие. Это была та самая камера, из которой малолетки вырвались.

На другой день пришел этап с севера, и в камеру бросили новичков. Один из них был по кличке Танкист. О нем Глаз да и вся тюрьма уже слышали. Жил он в одном из северных районов Тюменской области и работал на лесоповале на гусеничном «ЭТС». Как-то после полочки он напился пьяный, и его забрали в медвытрезвитель. Утром отпустили. Но зарплату, и притом приличную — около пятисот рублей, — менты ему не вернули. На его требование отдать деньги они ответили, что с собой у него было около сорока рублей.

Работяга затаил злобу на ментов. Однажды, подвыпив после работы, он ехал на «ЭТС» в поселок. Впереди на мотоцикле с коляской пилили два милиционера. И он погнался за ними. Дорога была плохая, и он быстро догнал мотоцикл. Менты из мотоцикла выпрыгнули, и он, проехав по нему, понесся к райотделу. Около него стоял милицейский «ГАЗ-69», и он и его раздавил. Затем, дав газу, он залетел по крыльцу в здание милиции, вышиб двери и косяки, и «ЭТС» заглох. Когда Танкист из него вылезал, то дежурный ударил его кирпичом по голове, и он потерял сознание. Танкисту за такое преступление дали двенадцать лет, из них два года крытки. Он был молодой, лет около тридцати, симпатичный и до невозможности спокойный.

Открылась кормушка, и женский голос крикнул:

— Петров, подойди сюда!

Глаз подбежал к кормушке.

— К тебе на свидание приехала мать, — сказала женщина. Она всех заключенных водила на свидание. Глаз знал ее. — Но тебя сегодня забирают на этап. К этапникам тебя посадят после свидания. А сейчас вашу камеру поведут в баню. Ты побыстрее помойся, и я тебя из бани поведу на вахту.

Через несколько минут камера уже спускалась по витой лестнице. Глаз шел впереди заключенных, разговаривая с женщиной.

— Я быстро помоюсь. Вы можете сейчас на вахту и не ходить. Подождите меня. Я р-раз — и мы пойдем.

Когда шли мимо окон корпуса, Глаз решил крикнуть подельнику Роберту. Ему исполнилось восемнадцать лет, и он тоже сидел на втором этаже.

— Робка, — закричал Глаз, когда они проходили мимо окон, — меня забирают на этап!

— Давай, Глаз! — услышал он крик из окошка.

— И свиданка у меня сейчас, — добавил Глаз.

Когда Глаз отвел взгляд от окна, к нему подходил начальник режима майор Прудков.

— Петров, свидание, говоришь, у тебя. Я лишаю тебя свидания.

Глаз с работницей вахты стояли и смотрели на майора. Заключение обошли их. И тут Глаз взмолился:

— Товарищ майор! Простите. Меня сегодня забирают на этап. Мать приехала — и ни с чем уедет. Ради Бога, я сегодня последний день в тюрьме, разрешите повидать старуху.

Женщина смотрела то на Глаза, то на майора. Свиданка теперь в его руках.

— Ладно, — сказал майор, — ведите его на свидание.

— Благодарю, — сказал Глаз, и они с женщиной пошли к бане.

Заключенные уже раздевались, когда Глаз заскочил в баню. В считанные секунды он разделся и шмыгнул в резиденцию Сиплого.

— Меня сегодня забирают на этап. И плюс сейчас иду на свиданку, — сказал он Сиплому.

— Кто к тебе приехал? — спросил Сиплый.

— Мать. У меня все острижено и обрито. Я пошел мыться.

— Иди, — улыбаясь, сказал Сиплый и проводил Глаза взглядом.

Глаз вошел в комнату для свиданий. Туда же, с другой стороны, вошла мать. Они поздоровались. Сели на стулья. Их разделял только стол.

Мать стала рассказывать об отце. Он сильно болел. На днях его парализовало.

— Долго тебе еще сидеть, Коля, — сказала мать. — Шесть с лишним лет. Ох и долго. — Она опустила глаза, вот-вот и расплачется.

— Шесть с лишним лет — это по концу срока. Я же малолетка, могу и раньше освободиться. У нас есть одна треть, половинка. Мне, правда, идут две трети. Это надо отсидеть пять лет и четыре месяца. А что, буду в колонии себя хорошо вести — и освобожусь раньше.

— Будешь ли? — переспросила мать.

— Буду. Конечно буду. Это здесь, на тюрьме, я баловался. Так это потому, что здесь заняться нечем. А на зоне я исправлюсь.

Мать повеселела. Рассказала падуnские новости.

— Я тебе передачу принесла. В сентябре я к тебе тоже приезжала на свидание и передачу привозила. Но ты, мне сказали, сидишь в карцере, и я уехала назад. Мне сказали, что ты что-то со шваброй сделал. Что, я не поняла. Сегодня я тебе, наверное, привезла больше пяти килограмм. Не пропустят больше-то?

Глаз взглянул на женщину и спросил:

— Если будет больше пяти килограмм, пропустите? Я последний день в тюрьме.

— Посмотрим, — ответила работница вахты.

Глаз еще немного поговорил с матерью, и свиданка закончилась раньше времени. Повидались, а о чем больше говорить?

Глаз, прощаясь с матерью, подумал, что Сеточка правильно ему нагадала на картах: скорое возвращение домой через больную постель и казенный дом. Из Одляна он возвратился, правда не домой, но в заводоуковское КПЗ. В челябинской тюрьме полежал в больничке. И ему добавили срок, то есть — казенный дом. Боже, а все же карты правду говорят.

Женщина передачу пропустила всю, что мать принесла Глазу. Она повела его в корпус, по дороге разговаривая с ним.

— Как за вас переживают родители. Ой-ё-ёй. И зачем ты матери сказал, что будешь хорошо себя вести и раньше освободишься? Ведь тебя, наверное, и могила не исправит.

— Как зачем? Чтоб мать меньше переживала.

Глаз сдал матрац на склад, и его отвели в боксик. Там два зека, чадя сигаретами, травили друг друга, смакуя, чьи-то похождения, не обращая внимания на вошедшего. Глаз закурил и стал слушать.

— Ну вот,— рассказывал чернявый в кепке,— как-то его посадили в камеру к ментам, так он их там терроризировал, они ночами его охраняли, чтоб он не замочил их. А потом вызвали начальника тюрьмы и попросили его убрать от них.

— А как побег он из тюрьмы делал, вернее с этапа, ты слышал?— спросил другой, одетый в клетчатую рубашку с длинными рукавами.

— Нет.

— Его в вагон стали сажать, а он вывернулся и побежал. Солдат выстрелил ему в спину. Еле отходили.

Глаз слушал-слушал взрослых и сказал:

— Так это вы про меня рассказываете.

Мужики взглянули на него свысока и, ничего не ответив, продолжали рассказывать его похождения. Они не поверили, что это он, такой щупленький и невзрачный.

Глаз сейчас находился в зените тюремной славы. Не знал Глаз, что почти по всем камерам тюрьмы про него рассказывают были и небылицы. Ему приписывали даже то, что сделал не он. Тюрьме нужен герой, который поднялся выше тюремных законов и, несмотря на удары и пули, творит то, что хочет. Глаза идеализировали. Идеализировали и зеки и тюремщики. А он об этом знал мало. Он был сын тюрьмы. И не представлял себя вне ее.

В этапной камере Глаз примостился у окна. Время надо коротать до полуночи. «Интересно,— думал Глаз,— в какую зону меня отправляют? Этап на Свердловск. На западе еще больше зон, чем на востоке. А лучше бы меня отправили на восток. Чтобы недалеко от дома. В Омск, например. Но в Омске ведь вроде общая зона. Все равно увезли бы куда-нибудь дальше. За Омск. А какая разница — на восток или на запад? На запад так на запад. Да здравствует запад! А еще бы лучше, в натуре, чтоб меня отправили на юг. Ведь я на юге, кроме Волгограда, нигде не был. А так бы, хоть чуть-чуть, посмотрел юг. Из зоны на работу куда-нибудь выводили бы. Да, неплохо бы на юг. А запрут куда-нибудь на Север, где Макар телят не пас. Ну и сосите ... утопленника. Буду на Севере. В рот вас выхарить».

Глаз закурил. Незнание тяготило. Ему не хотелось попасть в зону, которую, как в Одяне, держит актив. Ему хотелось попасть в воровскую зону, где нет актива, вернее, где он есть, но не играет никакой роли. Да, хороша зона, где актив не пляшет. Но ведь зон-то таких в Союзе почти не осталось. «Ну что ж, буду в той зоне, в какую привезут,— успокаивал он себя,— до взрослого остается немного. Всего десять месяцев. По этапу бы подольше покататься. Было б нештук».

Ночью, когда этапников погрузили в «воронок», дверцу на улицу конвой не закрыл. Кого-то еще хотели посадить в стаканы. Может быть, женщин.

Но конвой на этот раз был суетливый. Часто залезал в «воронок» и опять выпрыгивал на землю. Стакан открыли заранее, сказав:

— В этот его.

Какая разница была между двумя стаканами, Глаз и зеки не понимали. Стаканы-то ведь одинаковые.

И тогда взрослый спросил конвойного:

— Старшой, кого это с нами повезут?

— Смертника,— ответил тот и спрыгнул на землю.

— Кого же из смертников забирают на этап?

— Коваленко,— сказал кто-то,— ему приговор утвердили.

С сыном Коваленко Володей Глаз сидел в осужденке.

Коваленко избил жену и из окна второго этажа выбросил соседа,

который заступался за нее. Сосед скончался в больнице. У Коваленко это было второе убийство, за первое он отсидел. В тюрьме говорили, что, может быть, ему бы и не дали вышак, но он суд обругал матом и сказал: «Жаль, что я убил одного».

О таких людях, кто сидит под расстрелом, ведет базар вся тюрьма. Их — единицы. И разговор о смертниках — вечная тюремная тема. Никто точно не знает, приводят ли приговор в исполнение или приговоренных отправляют на рудники, где они медленно умирают, добывая урановую руду. И вот теперь Глазу предстояло ехать в одном «воронке» со смертником. А потом и в «столыпине». Этап был на Свердловск, и, наверное, если смертников расстреливают, то расстреливают в Свердловске. Свердловск, как все говорят, — исполнительная тюрьма. Недаром и Николая II расстреляли в Свердловске.

Из открытой дверцы «воронка» Глаз видел полоску тюремной земли. Зеки уже не разговаривали. А Глаз все смотрел на тюремный двор и ждал, когда из этапного помещения выведут Коваленко.

Прошло несколько томительных минут, и Глаз увидел, как Коваленко идет от двери этапки. Одет он был в зимнее длинное коричневое пальто с черным каракулевым воротником. Пальто поношенное. На голове у смертника черная, тоже изрядно потасканная, цигейковая шапка, державшаяся на макушке чуть набок. Пальто расстегнуто, лицо заросло щетиной, а сам он был крепок и высок ростом.

Коваленко шел медленно, держа перед собой руки, на которых были наручники. Он шел и разговаривал с двумя конвойными. Глядя на него, нельзя было подумать, что это идет человек, приговоренный к расстрелу, которому, быть может, через несколько дней приговор приведут в исполнение. Он шел, и сквозь щетину на его лице проступала усмешка — презрение к жизни. Неужели он смирился со смертью и не реагировал на ее приближение? Или у него в душе шла борьба, на лице не отражавшаяся?

Коваленко с конвойными поднялся в «воронок». Конвойные сели, а он, нагнувшись, вошел в открытый для него стакан. Дверцу стакана конвой за ним не закрыл, и он сел, посмотрел на конвой и сказал: — На, возьмите, я сам смастерил.

Один конвойный встал с сиденья и что-то у него взял. Глаз не заметил что.

Когда Коваленко зашел в стакан, зеки все так же молчали. Ни один из них до самого вокзала не проронил ни слова. Будто с ними в «воронке» ехал не человек, приговоренный к смерти, а сама смерть. Коваленко нес в себе таинство смерти, и потому зеки были парализованы.

И Коваленко зекам не сказал ни одного слова. Он всю дорогу проговорил с конвоем. Конвойные с ним были добрые. Глаз такого от конвоя не ожидал. Они ласково, даже заискивающе с ним разговаривали. О чем они говорили, Глаз разобрать не мог. Долетали только отдельные слова. И конвой и Коваленко говорили тихо.

В «столыпине» Коваленко посадили в отдельное купе. И до самого Свердловска он ехал один, хотя «столыпин» был переполнен. Конвойные и здесь с ним хорошо обращались. Глаз ехал в соседнем купе и слышал: если он просил пить, ему сразу приносили воду, если просился в туалет, его сразу вели. Глаз впервые видел, как конвой с заключенным обращается по-человечески. Но ведь они так хорошо обращались со смертником. Перед смертью пасуют все.

Когда конвой проверял заключенных, Глаз спросил конвоира, который держал в руках его личное дело:

— Старшой, скажи, куда меня везут?

Нерусский солдат, взглянув на станцию назначения, с растяжкой сказал:

— Сы-ро-ян.

«Сыроян, Сыроян. Где же такая зона?»

Утром, когда подъезжали к Свердловску и конвой опять проверил заключенных, Глаз опять спросил у солдата:

— Старшой, посмотри, в какую область меня везут.

Солдат взглянул на дело и сказал:

— В Челябинскую.

«В Челябинскую! Что за черт! Не может быть! А-а-а... Так меня везут опять в Одлян. Старшой неправильно сказал Сыроян. Надо Сыростан. Станция Сыростан. Опять, значит, в Одлян. Но не могут же меня в Одлян? Ведь у меня усиленный режим, а в Одляне общий. В Одляне ни у кого таких сроков нет, как у меня. Только был у рога зоны шесть лет. А мой, восемь, будет самый большой. Да не примет меня Одлян! Для чего же тогда режимы сделали? Нет, меня привезут, а потом отправят в другую зону, с усиленным режимом. Эх ты, неужели меня из Одляна направят в Челябинск, на ЧМЗ? Там же усиленный режим. Вот бы куда не хотелось. Там ведь есть с Одляна. Они знают, как я жил. Не пришлось бы мне на ЧМЗ еще хуже. Вот случай. Что сделать, чтоб не попасть в челябинскую зону? Да ничего не сделать. Куда привезут. А может, мне в свердловской тюрьме немного подзакосить? В больничке с месяц поваляться. Все бы меньше до взросляка осталось. Ну ладно, будет видно. А все же, может, меня в Одляне оставят? А если я попрошусь, чтоб меня оставили? Да нет, не оставят. Режим, скажут, не тот. Конечно, сейчас бы я в Одляне стал лучше жить. Срок — восемь лет. К одному только сроку относились бы с уважением. Такого срока у них ни у кого нет».

В Свердловске взросляков вывели из «стольпина» первыми. Затем Глаза. На весь этап он был один малолетка. Метрах в десяти от взросляков Глаза остановили. Вокруг зеков стоял конвой, на этот раз усиленный овчарками.

Из «стольпина» вывели Коваленко. Он все так же шел не торопясь, держа перед собой руки в наручниках. Когда он дошел до Глаза, конвойный скомандовал:

— Стой!

Коваленко остановился рядом с Глазом, и тут раздалась команда для заключенных:

— При попытке к бегству стреляем без предупреждения. Передним не торопиться, задним не отставать. Из строя не выходить. Шагом — марш!

Зеки двинулись. Строя не было. Вокруг заключенных с автоматами наперевес шли конвойные. Собаки были спокойны. За зеками, метрах в десяти, шли Глаз и Коваленко. Их вели отдельно потому, что один — смертник, другой — малолетка. Конвой сзади шел на приличном расстоянии, и Коваленко спросил Глаза:

— Ты откуда?

— Из Тюменской области,— быстро ответил Глаз.

— Сына моего знаешь?

— Знаю. Я с ним вместе сидел.

— Ты вот что ему передай.— Коваленко посмотрел на Глаза.— Отец говорил, это его последняя просьба,— пусть замочит Соху. Понял?

— Понял. Но где я увижу Вовку? Его отправили на этап, у него общий режим, у меня — усиленный. Мне с ним никак не увидеться.

— У тебя какой срок?

— Восемь.

— Пути господни неисповедимы. Ты еще с ним встретишься.

Коваленко больше ничего не успел сказать Глазу. Этап подвели к «воронкам». Но он сказал главное.

В этапной камере дым стоял коромыслом.

Мужик лет тридцати пяти — он стоял у окна — крикнул негромко:

— Из Волгограда кто есть?

Глаз смело подошел к нему.

— Десять лет сижу и ни разу коренного волгоградца не встретил,— сказал мужик, узнав, что Глаз прожил в Волгограде всего несколько месяцев.

Кличка у него была Клен. Он был высокий, стройный, красивый и веселый. Клен на зоне раскрутился, дали ему пятнадцать, и теперь он шел в Тобольск на крытку.

Глаз сказал:

— Клен, ты десять просидел — и еще пятнадцать. Кошмар!

— Да, Глазик, я буду сидеть до тех пор, пока будет советская власть.

Глаз два раза затянулся, как сзади себя услышал:

— Ребята, с Челябинска кто есть?

Свердловская этапка была местом, куда на непродолжительное время собирались зеки из разных областей Союза. Здесь искали земляков. Ответить ему или нет, что он из Челябинска? Ведь сейчас он из Тюмени. А в Челябинске не был около года, да и сам он не из Челябинска. Так зачем ему челябинцы? Но его так и подмывало ответить, что он из Челябинска.

— Кто из Челябинска спрашивает? — не выдержал Глаз.

— Я.

К нему подходил Каманя. Бог ты мой, вот уж поистине пути господни неисповедимы! К нему шел бывший вор пятого отряда. Тот, кто зажимал ему руку в тиски. О-о-о! К нему шел его мучитель. Парень он был крепкий, хоть и худощавый. Вор. Но вор бывший. Здесь, в этапке, воров нет. Здесь все равны. Глаз не знал, как ему быть: с ходу ли вмазать по роже Камане или погодить? Здесь он Каманю-вора не боялся. Пусть даже Каманя сильнее. Глаз первый ударит. Внезапность на его стороне. Из этапников никто связываться не будет. Им до них, до их драки дела нет. Будут просто смотреть. А потом кто пошустрее начнет разнимать. Что же делать?

Каманя, улыбаясь, подошел к Глазу. Он сиял. Он был рад Глазу. Со стороны можно было подумать, что Каманя встретил кента, с которым не один год прожил в зоне.

Каманя протянул Глазу руку. Глаз протянул свою. Радость Камани сбила планы Глаза. Глаз его не ударил. Замешкался. Но ударить можно и после. Это не важно, что они пожали друг другу руки.

— Здорово, Глаз, здорово! — приветствовал Каманя Глаза, трясая его руку.— Откуда ты? Куда?

— Здорово, Каманя,— тоже улыбнулся Глаз.— Иду с раскрутки. За старое преступление.

— Добавили?

— Ну.

— Сколько?

— Пять. Стало восемь.

— В какую зону идешь?

— Да меня назад в Одян, по старому наряду.

— В Одян! — От радости Каманя чуть не подпрыгнул.— Как приедешь, сразу залазь на клуб и кричи: «Зона! Зона! Привет от Камани!»

— Да меня в Одяне не оставят. Срок восемь. Режим усиленный.

— Ну все равно до следующего этапа поживешь, даже если и не оставят. Передашь приветы.

Каманя говорил Глазу, кому передать особенный привет. Глаз уже не думал о том, ударять или не ударять Каманю. Вспышка гнева прошла. Да и Каманя был не рог, а вор. И зажимал он ему руку



в тисках не просто так, а чтоб расколоть: вдруг Глаз на Канторовича работает. А если б Глаз был вором? Как Каманя, и жил бы. Ведь в тюрьме он тоже кой-кому веселую жизнь устраивал. А за что? Да лишь за то, что в каждой камере должен быть козел отпущения, над которым можно поиздеваться и который не может дать сдачи. Глаз почувствовал окрыленность. Бывший вор с ним разговаривал на равных. Да и зачем бить Каманю, если идешь этапом в Одлян? Может, еще оставят в зоне? Тогда можно прикрыться Каманей. Как-никак авторитет у него был крепкий. Быть бы ему вором зоны.

— А ты, Каманя откуда? — спросил Глаз.

— Я,— Каманя затянулся сигаретой,— с режимки. С Грязовца .... бы их всех. Ну и зона. Актив зону держит полностью. Тюремный режим. Спишь под замком. Ни шагу без надзора. Зона маленькая. Человек двести. Крутиться невозможно. Все на виду. Да, жаль, что меня с Одльяна отправили. Мы весной хотели поднять анархию. Все уже было готово. Вначале Валек со своей любовью спалился. Знаешь, он с учительницей крутил?

— Знаю.

— Нас с ним вместе на этап забрали: его на ЧМЗ, а меня в Грязовец.

Глаз свернул себе огромную козью ножку. «Значит, за то время, пока меня не было в Одляне, зона наполовину обновилась. Некоторые бывшие новички теперь воры и роги. Но и старичков еще осталось достаточно. Так, у нас на седьмом рогом стал Прима. Как быстро он поднялся. Конечно, Птица ему дал поддержку. А так бы ни за что. Ведь Прима пришел перед тем, как меня увезли с зоны. Что ж, Прима так Прима. А может, меня в другой отряд направят? В свой, конечно бы, лучше. В отряде наполовину новенькие — да это же отлично! Неужели и сейчас хорошо жить не смогу? Не может такого быть. Все будет путем. Вывернусь».

В Сыростане их встретил одлянский конвой, и через час они были в зоне. Ребят в карантине держать не стали и в тот же день подняли в колонию, а Глаза оставили в камере.

Вечером перед самым отбоем в шизо пришел воспитатель Карухин, а вместе с ним помощник отделения, где жил Глаз, Мозырь. Теперь Мозырь был помрогом отряда.

— Петр Иванович, а меня что, на зону поднимать не будут?

— Не будем. У тебя режим теперь усиленный. Поедешь назад.

— Куда поеду?

— В свою тюрьму. А оттуда в колонию с усиленным режимом.

— Петр Иванович, поднимите меня на зону хотя до этапа. Хочется повидаться с ребятами.

— Нет, на зону тебя поднимать не будем. Я смотрел твое личное дело. У нас своих хулиганов хватает. Не поднимем даже на день.

— Ну завтра, например, выведите меня на час на зону. Посмотрю отряд, повидаюсь и назад. А?

— Нет. И на полчаса поднимать не будем. Зачем ты нам? Подзадоришь ребят: мол, в побег ходил и так далее. У нас и так сейчас порядок плохой. Давай сиди. В первый этап отправим.

Опять освещенная прожекторами станция. Вокруг — красота, которая скрыта под покровом ночи. Прощально мигают звезды. На этот раз Глаз знает точно: в Одлян ему возврата нет. Все. Для Глаза Одлян кончился навсегда.

Подождал поезд. Открылась дверь тамбура. Парни стали заходить. Опять кто-то говорил конвою «до свидания», кто-то «прощайте», кто-то на этот раз крепко выругался матом. Глаз залез в вагон последним, вдохнув на прощанье чистого горного воздуха.

Глаза посадили в полуосвященное купе-клетку к малолеткам. Только он вошел, как его кто-то дернул за шиворот. Глаз повернулся. На второй полке, закрывая лицо шапкой, лежал парень и смеялся. Глаз вглядывался в парня, но не мог понять, кто это. Но вот шапка поползла по лицу, и Глазу показалось, что этот парень с Одляна, что жил он неплохо. Подворовывал даже иногда. И иногда кнокал Глаза. У Глаза было отвращение к этой жирной угреватой роже.

Но вот малолетка надел шапку, и Глаз узнал в парне совсем другого. Это был бывший бугор отделения букварей Томилец.

— Ты откуда?

— Из Златоуста. Мне год и девять месяцев добавили. Везут на зону. В Грязовец какой-то. Ладно, об этом потом поговорим. Сейчас,— Томилец проговорил ему в самое ухо,— надо у пацанов кой-какие кишки взять.

Малолетки сидели молча. На одном из них была темно-синяя нейлоновая рубашка. Она Глазу понравилась.

— Ее,— Серега кивнул в сторону обладателя рубашки,— я забере себе. Больше мне ничего не нравится.

Томилец с Глазом решили действовать сразу. А то в челябинской тюрьме они с этим парнем могут в камеру не попасть.

— Слушай, парень,— начал Томилец,— не отдашь мне свою рубашку? Придешь на зону, тебе выдадут колонийскую робу.

— Возьми,— добродушно сказал парень.

Глаз таким же образом забрал у другого пацана новенькие кожаные туфли, после обмена пожав парню руку.

В тюрьме их посадили в одну камеру. Камера была большая. Мест на шконках не хватало, и парни спали на полу. На день с пола матрацы складывали на шконку в кучу. В камере сидело больше десяти человек. Все парни были хорошо одеты. С них, видать, еще шмотки никто не снимал. Глаз с Томильцем переглянулись. Кишки были лучше, чем на них. Надо раздеть этих ребят. Ишь, прибарахлились. Глаз таких шмоток на воле не носил. А ему хотелось по этапам шикарно одетому кататься. Глаз с Томильцем расспросили пацанов, откуда они, какой режим, какие сроки, есть ли кто по второй ходке. Ребята были с разных областей. Сроки в основном были небольшие.

После ужина Томилец подошел к парню, который спал на шконке в самом углу, и сказал:

— На эту шконку лягу я. Забери свой матрац.

Парень покорно взял матрац, даже возражать не стал, хотя и был здоровый. Глаз тоже лег на шконку рядом с Томильцем. Под вечер Томилец сказал Глазу:

— Сегодня кишки у них забирать не будем. Завтра. Вон у того, рыжего, я возьму куртку. А вот у того, что через две шконки, свитер. И еще я возьму синий пиджак.

— Серега, куртка тебе мала будет. Ее возьму я.

— Тише говори. Куртка будет мне как раз.

— Ну Бог с ним. Уступи куртку мне.

— Нет, куртку я себе возьму.

— Но ты лепень путевый берешь.

— Глаз, хрена ли ты из-за куртки пристал?

И Томилец с Глазом чуть не поругались. Томилец куртку не уступил. Тогда Глаз решил взять себе черный костюм и розовую нейлоновую рубашку.

Утром после завтрака Томилец культурно попросил свитер. Парень ему отдал. Затем у другого он спросил пиджак. Тот не раздумывая тоже отдал. А куртку рыжий парень зажал.

— Ты, в натуре, пацан,— начал Томилец,— что ты жмешь куртку? Ты в ней только до зоны доедешь. Отдай же мне.

И Томилец уговорил парня. Взамен он отдал вещи похуже. Так же спокойно и Глаз обменялся, хотя у него были отличные вещи. Но ему хотелось еще лучше.

После обеда Глаза с Томильцем забрали на этап. В бане они узнали, что Мах, бывший вор седьмого отряда, подзалетел за драку и Мехля тоже. Глаз с Томильцем передали Маху через работника хозобслуги привет.

В свердловской тюрьме их вновь посадили в одну камеру. Через несколько дней Глаза забрали на этап.

— Ну, давай. Жду в Грязовце,— сказал, прощаясь, Томилец.

Этап малолеток из свердловской тюрьмы был большой. Отправляли человек двадцать. Все пацаны были из Свердловска и Свердловской области. Малолеток посадили в боксики. У каждого пацана был увесистый кешель. «О, свердловские куркули! Надо будет вас потрясти»,— подумал Глаз.

Не свердловчане не один месяц сидят вместе. Друг друга хорошо знают. Трясти кешели одному Глазу будет нелегко. «Ладно,— решил он,— сядем в «стольпин» — поглядим».

Глаз попал в боксик с подследственными малолетками. Они шли на суд. Пацаны предложили Глазу судить одного парня. В тюрьму он попал за изнасилование родной сестры.

— Давай, Глаз, засудим его и приговорим к опетушению. Ты будешь первый,— предложили ребята.

— Зачем нам его судить? Его суд будет судить,— спокойно ответил Глаз.

Все малолетки были только что с воли. И то, что парень изнасиловал родную сестру, им было дико — они хотели поиздеваться над ним.

— Хорошо,— согласился Глаз.— Но вначале послушаем его. Что он нам скажет.

Парень, скрючившись, сидел в углу. Он был невысокого роста, но коренастый. Одет он был в поношенный черный костюм и серое демисезонное пальто. Он очень боялся, что его могут опетушить.

— Тебя как зовут? — спросил Глаз.

— Толя,— был тихий ответ.

— Толя, ты правда изнасиловал родную сестру? Давай рассказывай, как было дело.

— Я сестру-то и не насиловал.

— Дак ты за попытку?

— Нет, за изнасилование.

— Так как вышло, что тебя посадили?

— Отчим жил с ней.

— Стоп, стоп. Подробнее давай.

— Мать у меня с отцом разошлась. Нас у матери двое: я и сестра. Мать вышла замуж. А отчим последнее время жил с сестрой.

— Отчим сестру не насиловал?

— По договоренности, конечно, раз она никому не говорила.

— Сестре сколько лет?

— Семнадцатый.

— А тебе сколько?

— Пятнадцать.

— А как же тебя посадили?

— Мать откуда-то узнала, что сестра не девушка, заявила в милицию, что дочь изнасиловали. А сестра в милиции сказала, что ее изнасиловал я.

— Вот, в натуре, сучий случай. Кто об этом еще знает? Мать?

— Теперь знает. Да что толку. Если ей заявить, вдруг отчима посадят, а у них общих двое детей, кто кормить-то будет?

— А как ты узнал, что сестра с отчимом жила?

— Я их несколько раз видел.

— Вот, парни, такие дела.— Глаз прикурил папиросу.— А вы говорите — судить. И опетушить. Вы лучше его отчима опетушите, а сестре его ... дайте.— Глаз затаился и, выпуская дым, спросил ребят:— Вы с ним не в одной камере сидели?

— Нет,— ответил один из парней.— А может, он врёт?

— Да нет, наверное,— сказал Глаз и, заплевав папиросу, бросил ее.— Я подремлю немного, вы не шумите.

Глаз лег на скамейку, отвернулся лицом к стене и заснул. Минут через двадцать он проснулся: пацаны трясли его за рукав.

— Глаз, слышь, вставай. Мы у него деньги нашли.

— Сколько? — Глаз поднялся со скамейки.

— Пять рублей.

— Где он их прятал?

— В шапке.

— Толя,— Глаз пристально посмотрел на пацана,— может быть, у тебя еще деньги есть?

— Нет, больше нет. Одна пятерка была.

И Глаз куркнул пятерку.

В «стольшине» малолетки заняли целое купе. По второму заходу был только один. Сильно здоровых не было.

— Так, ребята,— приступил Глаз,— в какие зоны идете?

— Не знаем,— ответил парень, что был шустрее всех.— А ты?

— Да я тоже не знаю. В какую-нибудь попадем. Вы, главное, не коните. Со мной не пропадете. У меня во многих зонах есть кенты. Так что держитесь меня. Я дам поддержку. Конечно, не все идем в одну зону. Это ясно. Режимы-то разные. Но кто пойдет со мной — не пропадет. А ты, я вижу, шустрый. В зоне будешь жить хорошо. У тебя как кликуха?

— Черный.

— Так что, Черный, все будет в ажуре.— И Глаз подмигнул.

Черному надо было польстить. Он как-никак у пацанов пользовался авторитетом.

Поговорил Глаз и с парнем, который шел по второй ходке. Парень был не шустряк — Глаз это сразу понял.

— Ну тебя-то учить не надо, сам знаешь что к чему,— похлопал он его по плечу.

Навешав желторотым лапши на уши, Глаз залез на вторую полку и лег к перегородке. В соседнем купе ехали взрослые. Их везли в крытку. В Тобольск. Через решетку взрослые спросили Глаза, не подкинет ли он им чего из теплой одежды.

— Щас сделаем,— ответил Глаз.

Теперь вещи у малолеток можно было забрать, прикрываясь взрослыми. Часть отдать им, часть оставить себе. Глаз спустился вниз к Черному.

— Спроси у ребят шерстяных носков. Носки-то должны быть.

— Гоня, у тебя носки шерстяные есть? (Гоня был тощий и бело-брысенький.)

— Есть.

— Дай, отдадим крытникам.

Гоня покопался в кешеле и протянул Глазу шерстяные носки. Первый кешель развязался.

— Ребята,— теперь Глаз обращался уже ко всем,— у кого есть шерстяные носки? Надо помочь взрослым. Ну, что сидите? Курку-ли, что ли?

Пацаны зашевелились. Несколько человек протянули Глазу носки. Глаз опять залез на вторую полку.

— Ау, соседи!

— Эу,— отозвались взрослые.

— Шерстяные носки есть. Как вам передать? Через конвой или через решку?

— Да ну, к бесу, конвой. Давай через решку.

Перегородка между купе была тонкая, и Глаз просунул носок через решетку. Крытники со своей стороны ухватили его за конец и продернули через свою решетку. Глаз передал четыре пары носков.

— Добре,— похвалили Глаза мужики,— если еще есть что-нибудь, давай, нам пригодится.

— Парни,— свесившись со второй полки, сказал Глаз,— мужики теплой одежды просят. Пару свитерков бы сделать надо. Сообразите.

Пацаны пошептались и подали ему два свитера. Глаз немедля спулил их взрослякам. Прежде чем передавать вещи, Глаз выжидал, когда конвойный пройдет по коридору. Ходил он не часто и лишь только раз заметил, что Глаз передал свитер. Но конвойному это было не впервой.

Взросляки благодарили Глаза. Спросили, куда он едет.

— На зону везут,— сказал он громче, чтоб слышали пацаны.

Глаз слез вниз.

— Черный, давай покурим.— Глаз достал сигареты.

Черный и еще двое пацанов взяли у Глаза по сигарете, хотя своих было полно. Но раз угощают, отказывать нехорошо.

— Ну вот, доброе дело сделали. Так и положено. А что у вас в мешелях, Черный?

— Да... разное. Конверты, открытки, курево...

— Меня немного не подогреете? Каждый понемножку...

Малолетки клали Глазу на полку конверты, открытки, курево.

— А лишнего мешеля нет у кого?

Лишнего не оказалось.

— У кого мешели поменьше, переложите в один из двоих, а мне пустой отдайте.

Пацаны так и сделали. Глаз скидал все в мешок.

— Посмотрите простых носков. Пары две б.

Заметив у одного в мешке жратву, Глаз и ее взял.

— Жалеть не надо,— говорил Глаз, набивая мешок.— Сегодня у тебя есть, завтра у меня. У малолеток все общее. Да я вам еще как пригожусь, вот только придем на зону.

Приближалась Тюмень. Конвойный подошел к купе. Сейчас их начнут водить на opravку.

В коридор вышел начальник конвоя и прокричал фамилии тех, кто будет выходить в Тюмени. «Да, теперь пацаны знают, что я выхожу в Тюмени».

Конвойный открыл дверь:

— В туалет.

Оправился Глаз быстро и, когда вернулся, мешеля своего не увидел.

— Где мешель? — спросил он пацанов.

Они молчали.

— Куда, говорю, дели мешель? — громче сказал Глаз.

Подошел начальник конвоя.

— Открой-ка вот эту,— сказал он сержанту.

Сержант открыл купе малолеток.

— Петров, пошли со мной.

Лейтенант завел Глаза в служебное помещение.

— Ты зачем забрал у ребят вещи?

— Какие вещи?

— Я все знаю. Пока ты был в туалете, они мне рассказали.

— У меня и вещей-то никаких нет.

— Ладно, не гони мне тюльку. Хочешь, я сейчас вскрыю твое дело и напишу рапорт, что ты ограбил ребят? Сидишь за это и этим же здесь занимаешься. Мало тебе восьми лет?

— Да не грабил я никого.

— Куда девал свитера? Взрослым передал?

— Ничего я не брал и ничего не передавал.

Начальник конвоя требовать вещи у Глаза не стал, через несколько минут — Тюмень.

В купе Глаз закурил и не сказал пацанам ни слова. Это было невиданное дело, чтоб малолетки пожаловались.

В Тюмени, когда заключенных выводили из «столыпина», конвойный сказал:

— Побоялись они тебя, а надо было перед выходом дать тебе как следует. Что ж ты своих же и грабишь?

— Ты мне мораль не читай,— сказал конвойному Глаз,— я в ней не нуждаюсь.

Сержант выводил Глаза из вагона последним. «Воронки» на этот раз подогнали к самым дверям вагона. На переходе из вагона в «воронку» Глаз получил от конвойного сильный удар в задницу кованым сапогом. «Вот тебе»,— услышал он вслед. Удар рантом сапога попал Глазу в копчик. Боль пронзила ему поясницу. Но он сдержал себя — не заорал. Нельзя показать конвойному, что тебе больно.

— Ударил он тебя? — спросил крытник, который принимал от Глаза вещи.

Глаз мотнул головой и еле выдавил:

— В копчик.

Взросляки заматерились: конвой пнул малолетку.

— Ничего, Глаз, терпи,— говорил в «воронке» крытник в зеленой болоньевой куртке. Это он принимал вещи от Глаза.— Придет время — и ты попьешь у них крови. И за нас тоже. Шакалы! — И крытник покрыл конвой трехэтажным матом.— Меня кличут Василек.— Он протянул Глазу руку.— Ты молодец. Мы-то сразу кишки спрятали. Чтоб тебя не подвести. Да они у нас и не стали бы спрашивать. Возиться с нами у них времени не было. Но ничего, все кончилось хорошо.

— Я у пацанов полный кешель набил. А они забрали, когда я на справку ушел. Сучары какие-то, вот падлы.

В боксике Василек отдал Глазу свою болоньевую куртку. Она была такая же, какую себе взял Томилец. О радость — носить такую куртку. Глаз расхаживал в ней по боксику, сунув руки в карманы.

Крытникам Глаз нравился. Они видели, что парню по кличке Глаз уготована такая же судьба, как и им: сидеть. В семнадцать — две судимости. Срок — восемь. А там, может, еще добавят. И пройдут у него лучшие годы в тюрьмах и лагерях. И отсидел он уже около двух. Да, лихо начало.

Дежурный по тюрьме, увидев Глаза, улыбнулся:

— Тебя же в колонию отправляли, а ты опять к нам?

— Нет мне жизни без вас. Сказали, езжай назад. Сидеть буду в тюрьме до конца срока.

Лейтенант опять улыбнулся.

В бане Сиплый тоже заулыбался, увидев Глаза:

— Обратное к нам?

— А как же! Соскучился по вас — и вернулся.

Для тюрьмы Глаз был свой. Даже начальство, когда он приходил с этапа, ему улыбалось.

---

---

## ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ



### ПРЕВРАЩЕНИЯ

\* \* \*

Растет вражда, как будто над землею  
Восходит плевел. В прежние года  
Так не было. А может быть, с тобою  
Мы постарели? Нет! Растет вражда!

Как видно, тот, кто мог бы сдвинуть горы  
Лишь верою, лишь помыслом одним, —  
Труда не полюбивши, сеет ссоры,  
И любит их, и радуется им.

Растет вражда, уходят клубом дыма  
Любовь и верность, память и приязнь.  
Так трещина растет неудержимо,  
Так неостановима завтра казнь.

Мне объясняют — слушаю, не спорю,  
Нельзя мне «нет» сказать, нельзя и «да».  
Растет вражда — какое это горе,  
Какая дикая трава растет — вражда!

\* \* \*

Хромоножка стоит у дороги  
Со своею дерюжной сумой, —  
Подымайся на быстрые ноги,  
Нам пора возвращаться домой.

Побежим, полетим над полями,  
Вдоль берез, вдоль исплаканных лиц,  
Вот и славно, что сделалось с нами  
Наконец — превращение в птиц...

И для нас, помертвевших в мытарствах  
На окраинах взглядов и слов,  
Будет дом в этих утренних царствах  
Свиста, карканья, мокрых кустов.

И теперь самым праведным правом  
Воплотятся любые мечты...  
Что за дело деревьям и травам  
До кочующей птичьей четы!

Еще серые хлопья тумана  
Поутру нам с тобою друзья,  
Так, глядишь, и закроется рана  
И твоя, и моя, и твоя...

---

## АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

# НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

11 декабря 1988 года Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось семьдесят лет.

Его литературная судьба открылась в 1962 году публикацией повести «Один день Ивана Денисовича» на страницах «Нового мира», который возглавлял в то время А. Т. Твардовский. Не будет преувеличением сказать, что повесть эта стала вершиной литературного и общественного подъема 60-х годов. Она принесла автору мировую известность.

Осенью 1970 года А. Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе.

В феврале 1974 года, после выхода на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ», писатель был выслан из страны. Сейчас он живет и работает в США, штат Вермонт.

В минувшем году в редакцию «Нового мира», а насколько нам известно, и в редакции других журналов и газет поступило множество писем с требованиями рассказать правду о необычной судьбе писателя, напечатать его произведения.

Удовлетворяя столь естественный интерес к личности и творчеству Александра Солженицына и полагая, что это безусловный наш долг, «Новый мир» предлагает вниманию читателей одно из важнейших для понимания творчества и личности писателя выступлений — «Нобелевскую лекцию», рассматривая ее как предисловие к последующим его публикациям\*.

С. ЗАЛЫГИН.

### 1

**К**ак тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.\*\*

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаём за деньги, угрождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — за тычкую или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что определил Искусство? перечислил все стороны его? А может быть уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы недолго могли

\* Автор предоставил «Новому миру» в лице его главного редактора С. П. Залыгина и заместителя заведующего отделом прозы В. М. Борисова право распоряжаться всеми своими публикациями на территории СССР. Пользуясь этим правом, мы намерены опубликовать в ближайших номерах главы из книги «Архипелаг ГУЛАГ», а затем — повесть «Раковый корпус», роман «В круге первом» и другие произведения.

\*\* В публикации сохранены основные особенности авторской пунктуации и орфографии.



на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объёмлющей ответственности за него, — но поддается, ибо нагрузкой такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача, — валят её на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже его ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Ещё в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: за чем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. Умрём — мы, а оно — останется. И ещё поймём ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не всё — называется. Иное влечёт дальше слов. Искусство растапливает даже захлавленную, затемнённую душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

## 2

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасёт красота». Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровавой истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противоположенная речь, публицистика, программа, инструкторная философия, — и всё опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несёт само в

себе: концепции придуманные, натянутые не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам её сгущённо-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно,— и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трёх деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются,— то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взойдутся в то же самое место, и так выполнят работу за всех трёх?

И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

### 3

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырёх примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с бóльшим даром, сильнее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны,— но сколько не узнанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребённая не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаённому тенью павших, и со склонённой головой пропуская вперёд себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать о н и ?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы её понимали. Словами Владимира Соловьёва:

Но и в цепях должны свершить мы сами  
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных переброях, в колонне заключённых, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчётливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движениями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у

лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, то ю жизнью проверены, от т у д а выросли.

Когда ж ослабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на болотную топь восклицающий: «Что за очаровательная лужайка!» — на бетонные шейные колодки: «Какое утончённое ожерелье!» — а где катятся у одних неотирные слёзы, там другие приплясывают беспечному мьюзикалу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы? Бесчувствен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

#### 4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: «Не верь брату родному, верь своему глазу кривому». И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нём. И долгие века, пока наш мир был глухо, загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своём обществе, наконец, и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признаётся средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы, и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, ещё не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаления одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым, — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнаёт об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира — не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то во всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных

и неблагоприятных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения,— и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Всё же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признаётся нами, со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв,— в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчит через океан, чтоб ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком,— потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лёд, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, всё почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырёх, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвёт эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

## 5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно тяжело и невыносимо, а что только поблизости натирает нам кожу,— и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему про-

ходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцое земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздаёт опыт, пережитый другими,— и даёт усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает и на века, когда, кажется, так всё наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдуманно и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этою второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И ещё в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущённый опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит её утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганью. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства,— и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному,— это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестаёт пониматься и вся целиком История.

## 6

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам её я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились

нам представления, что писатель может многое в своём народе — и должен.

Не будем попира́ть пра́ва художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает своё дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от рождения готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего не дол́жен, но больно видеть, как может он, уходя в своесозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось всё страшное в нём. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, — на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Всё меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но её трубно оправдание: заливают мир наглая уверенность, что сила может всё, а правота — ничего. *Бесы* Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расплозаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонами самолётов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им. Молодёжь — в том возрасте, когда ещё нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами ещё нет годов собственных страданий и собственного понимания, — восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность не поживших сердец: вот эти хлюпых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодёжи возразить, — многие не смеют возражать, даже заискиваю́т, только бы не показаться «консерваторами», — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его «рабством у передовых идеек».

Дух Мюнхена — насколько не ушёл в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашёл ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни

стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдётся.. (Но никогда не обойдётся! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А ещё нам грозит гибелью, что физически сжатому стеснённому миру не дадут слиться духовно, не дадут молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри *оглушённой* зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а ещё проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушённой зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать её в святой уверенности, что «освобождают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединённых Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не организация Объединённых Наций, но организация Объединённых Правительств, где уравниены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб — стонов, криков и умолений единичных маленьких *просто людей*, слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за двадцать пять лет документ — Декларацию Прав человека — ООН не посилалась сделать обязательным для правительств, условием их членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках учёных, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества учёных, а не от политиков должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, учёные не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Цельми конгрессами отшатаются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десятигибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлём ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презренье у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадёжно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всём зле, совершённом у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурные пятна навек зашлёпали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той верёвки. И если юные его сограждане развязно декларируют пре-

восходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников,— то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдём ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

## 7

Однако ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали, и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Бёльль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чём — на невидимом, немом натяге сочувственной общественной пленки,— я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего пятидесятилетия я изумлён был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, сохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, ещё позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлечённая огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Ещё багровеют государственные границы, накалённые проволокою под током и автоматными очередями, ещё иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, ещё выставляются газетные заголовки: «не их право вмешиваться в наши внутренние дела!» — а между тем *внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа — одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил **въявь и может быть никогда не увижу.**



Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых разногласиями партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущённый опыт одних краёв в другие так, чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силою узнавания и болевого ощущения, как будто пережили её сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом быть может сумеем развить в себе и *мировое зрение*: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнём вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесём, и соблюдём мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый лёгкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодёжи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А: не забудем, что насилие не живёт одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаюсь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь её сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: *победить ложь!* Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскалённый час. Не отнекиваться безоружностью, не отдавать себя беспечной жизни — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде*. Они настойчиво выражают немалый тяжёлый народный опыт, и иногда поразительно:

#### ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

---

## ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ



### ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### Активированный

Набычась, в думу погружен,  
шел сумасшедший в сером френче.  
Разумный мир со всех сторон  
шумел, раздумью не переча.

Важна была, сильна была  
в башке мыслительная сила —  
и рот ему перекосило,  
и слово, как бы удила

перекусив, он дошептал,  
последний слог, подобный эху,  
и просветлел и начертал  
на небе памятную веху.

...Шел пятьдесят какой-то год,  
его уволили по чистой.  
Раз в день, бывало, проорет  
в припадке ярости: — Троцкисты! —

белки застынут между век,  
кривятся губы в пене млечной...  
А в общем, мирный сумасшедший,  
активированный человек.

#### Объяснительная записка

содержанья охранного,  
жития ради странного и сугубого сыска приставного  
мною составлена.

Филология, помощи в кровь не драться!  
Не о Боге я, братцы, хоть его попущением  
хульны ереси на нь писахом...

**МЫ ОБЯЗАНЫ ПРОСВЕЩЕНИЕМ НАШИМ ЧЕРНЫМ  
МОНАХАМ.**

Связным времятечением — тем списателям и ученым  
в постриге, в облачении белом и черном.

Не оставивший имени паче славного нарекаем —  
и к родимому вымени все приникаем.

Перемазаны киселем-кашей — ликование и резвосты!  
**ЧТО Ж КУСАТЬ НАМ ГРУДЬ КОРМИЛИЦЫ НАШЕЙ —  
ИЛИ ЗУБКИ ПРОРЕЗАЛИСЬ?**

Мы обязаны словом — малым школам пряжеским,  
темным книгам крестовым,  
Дамаскинам своим безымянным — тверским, вологодским...

ЖИЛ-БЫЛ ПОП — НЕГОДАЙ ДУХОВЕНСТВА.  
 Филология, помоги,  
 тут кричит неравенство  
 и синонимы суть враги.  
 Кто кому что наследует? Как себя понимает?  
 Только с Богом священник беседует —  
 поп начальству внимает  
 и последнего русского евангелиста  
 так с амвона поносит — святых выноси...  
 ДУХОВЕНСТВО РУСИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧИСТО.

### На этюдах

Как старушечки эти шумливы!  
 Тормозит на пригорке шофер,  
 и автобус стоит терпеливо,  
 и слепит подмосковный простор.

Водят кисточкой, дышат прилежно  
 три бабуси, а два молодых,  
 в сорок лет подающих надежды,  
 бородатых и желто-худых,

покидают автобус прозрачный,  
 где угарно сухое тепло,  
 и бредут по окрестности дачной,  
 где дорогу не так замело.

Красота! Выбьют пепел из трубок  
 и опять под стеклянный колпак.  
 В результате взаимных уступок  
 тут заминка — не влезут никак.

Вот последний овраг и березка,  
 вот Госстраха могучий плакат  
 и дома, что бездарно и броско  
 заслонили январский закат.

Завтра те же угар и дорога,  
 и за ширью и гладью стекла  
 усмехается солнце Ван Гога  
 над потугами их ремесла.



# ПУБЛИЦИСТИКА

И. ШАФАРЕВИЧ

## ДВЕ ДОРОГИ — К ОДНОМУ ОБРЫВУ

(ФФ) изики уже привыкли к тому, что появление в некоторой области противоречий обычно предвещает обнаружение какой-то новой закономерности. Ту же мысль можно привлечь при обсуждении трагических перипетий нашей новейшей истории: выделив некоторые факты, казалось бы, не согласующиеся друг с другом, попытаться понять причину их видимого противоречия. Одна такая антиномия бросается в глаза, к ней я и хочу применить этот прием. Речь идет о двух положениях:

а) сталинский террористический режим прямо противоположен по духу либеральной западной идеологии прогресса;

б) очень многие виднейшие представители этой идеологии не только не протестовали против преступлений сталинского режима, но защищали его от критики других, превозносили, восхваляли.

Загадка усугубляется тем, что сталинская пропагандистская машина была весьма сурова к западным либералам: неизменно провозглашала их демократию «фальшивой», гуманность — «классовой», а их самих — «социал-предателями» и «социал-фашистами».

Постараемся несколько уточнить понятия, которыми будем дальше пользоваться. Во-первых, говоря о сталинском режиме, мы будем подразумевать не только эпоху единовластия Сталина, но включать и время, когда оно подготавливалось (особенно идеологически), — 20-е годы. Во-вторых, под либералами мы будем понимать всех западных деятелей, исходивших из концепции демократии, прав человека, свободы, идеологии прогресса. Нас будет в основном интересовать эпоха 20—50-х годов, когда все либеральное (в этом широком смысле) течение подчинялось жесткому давлению своего более радикального, левого крыла.

Напомню некоторые факты. Каждый, кто жил сознательной жизнью в конце 40-х — начале 50-х годов, помнит, вероятно, непрерывную череду знатных западных посетителей: философов, писателей, ученых, политиков, священников. Нельзя сказать, что они приезжали ничего не подозревавшими невинными младенцами. Очевидно, до их ушей что-то уже доходило. Типичный их отзыв звучал примерно так: «Я приехал в Москву настороженным, под влиянием разных мрачных слухов. Но я увидел своими глазами заполненные народом улицы, смеющуюся молодежь — и понял, как далеки были от действительности эти грязные инсинуации». За ослепительными их улыбками, детски невинными глазами и серебряными сединами чувствовалась стальная решимость умереть «при исполнении долга», но не увидеть и не услышать того, что по каким-то загадочным причинам видеть и слышать им не надлежало. И они уезжали, так и не заметив, что из нашей жизни исчезали знаменитые артисты, писатели, ученые, театры, научные школы, целые республики и народы.

К тому времени это была уже отшлифованная традиция, и выработалась она давно. Так, Исаак Дон-Левин, очевидец Октябрьской революции и активный пропагандист на Западе новой власти, вновь посетив Россию в 1923 году, получил некоторые сведения о расстрелах и истязаниях в Соловецком концлагере. Он вывез на Запад письма 323 зеков и напечатал их. Рукопись этой книги он послал известным духовным вождям западного мира, попросив отозваться на нее. Большинство из них отказались! Вот типичные ответы.

Ромен Роллан. Это позор! Кто-то ломает себе руки, в отчаянии, от омерзения! <...> Я не буду писать предисловия, о котором Вы просите. Оно стало бы

оружием в руках одной партии против другой <!...>. Я обвиняю не систему, а Человека.

Г. Уэллс. Сожалею, что не могу судить о подлинности Вашего собрания писем; равно я не понимаю, почему Вам так хочется получить от меня комментарий к книге.

Э. Синклер. Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против него <!...>. Я надеюсь, что правительство рабочих России утвердит уровень гуманности более высокий, чем то капиталистическое государство, в котором я живу.

К. Чапек. Я не позволю себе быть несправедливым ни к жертвам, ни к гонителям. Я отдаю себе отчет в том, что в той или иной степени весь мир участвовал в создании положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес.

Б. Шоу — отделяется шуткой и обвинением автора в антисоветизме.

Были, конечно, и исключения: например, А. Эйнштейн отвесил к рукописи с чувством. Он писал: «Всем серьезным людям следует поблагодарить издателя этих документов. Их публикация должна способствовать изменению ужасного положения дел». Но тенденция набирала силу и все больше подчиняла себе умы. В 1934 году Дон-Левин вместе с А. Л. Толстой (дочерью писателя) обратились к Эйнштейну с просьбой подписать протест группы общественных деятелей против расстрелов в Ленинграде после убийства Кирова. Теперь Эйнштейн отказался. Вот его ответ:

«Дорогой г. Левин,

Вы можете себе представить, как я огорчен тем, что русские политики увлеклись и нанесли такой удар элементарным требованиям справедливости, прибегнув к политическому убийству. Несмотря на это, я не могу присоединиться к Вашему предприятю. Оно не даст нужного эффекта в России, но произведет впечатление в тех странах, которые прямо или косвенно одобряют бесстыдную агрессивную политику Японии против России. При таких обстоятельствах я сожалею о Вашем начинании: мне хотелось бы, чтобы Вы совершенно его оставили. Только представьте себе, что в Германии много тысяч евреев-рабочих неуклонно доводят до смерти, лишая права на работу, и это не вызывает в иеврейском мире ни малейшего движения в их защиту. Далее, согласитесь, русские доказали, что их единственная цель — реальное улучшение жизни русского народа; тут они уж могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем, следовательно, акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Развѣ не вводит в заблуждение подобный выбор?

С искренним уважением  
А. Эйнштейн».

В своих бумагах я обнаружил кусок старой газеты неизвестного названия и даты. «„Прекрасна эта поездка по каналу. Истинное наслаждение плыть сотни километров по местности, преобразенной человеческими руками...“ — писал Мартин Андерсен-Нексе, совершивший в 1933 году путешествие по Карелии. Тогда только что закончилось строительство Беломорско-Балтийского канала. Датскому писателю хотелось все увидеть своими...» Далее газета оборвана.

В 1937 году СССР посетил другой писатель — Л. Фейхтвангер, всего за несколько лет до того эмигрировавший из Германии после гитлеровского переворота. Казалось бы, он должен был особенно болезненно реагировать на всякое насилие, на культ вождя. Он пишет книгу «Москва 1937». В ней есть раздел «Сто тысяч портретов человека с усами». Всей ситуации умелый автор придает полукомический характер, отмечая такую характерную черту русской жизни: даже в женских банях висит портрет бородатого Маркса. И даже «человеку с усами», оказывается, претит избытие его портретов. Он сам жалуется автору: ему так надоели эти подхалимствующие дураки! После такой подготовки автор переходит к самому деликатному вопросу — показательным процессам. Он описывает здоровый вид подсудимых, убедительность улик... И честно, решительно отклоняет какие-либо посторонние мотивы признаний: пытки, угрозы, наркотики. А завершает цитатой из Сократа: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

В такой оценке этих процессов Л. Фейхтвангер был тогда далеко не одинок. Например, английский юрист Дадли Коллард заверял через газету «Дейли геральд», что процесс Пятакова — Радека «юридически безупречен». Член английского парламента,

лейборист Нейл Маклин писал: «Все присутствующие на процессе иностранные корреспонденты, за исключением, конечно, японских и германских, отмечают большое впечатление, произведенное весомостью доказательств и искренностью признаний». Как замечает английский историк Конквест, этим на не согласных с точкой зрения автора бросалась тень — «это фашисты» (повторяя в миниатюре логику процесса).

В 1944 году вице-президент США Генри Уоллес посетил Магадан — центр Дальстроя, одного из самых больших и суровых скоплений лагерей. Он отметил, как годно отличается обстановка там от американских присков времен золотой лихорадки, где царили «грех, водка и драки». Сравнил условия работы на Дальстрое с условиями американской компании Гудзонова залива. Рабочих нашел «крепкими и упитанными». (А по рассказам зеков, их всех вывезли из того района и заменили охранниками, переодетыми в аккуратные ватники.)

Однако, старательно закрывая глаза на то, что они здесь видели, западные либералы приводили и оправдания (чему-то?). Так, вожди английского фабианского социализма Сидней и Беатриса Уэбб писали: «Пока продолжается работа, всякое публичное выражение сомнения или хотя бы опасение возможной неудачи плана является изменой, даже предательством, ввиду его воздействия на энергию и усилия других».

Не сказать, чтобы на Западе было мало сведений о происходившем у нас, но он был к ним глух — а что ему надо слышать, решали его либеральные и прогрессивные духовные вожди. По словам А. И. Солженицына, оказавшись на Западе, он обнаружил, что задолго до его «Архипелага ГУЛАГа» там уже существовала целая литература на эту тему, десятки книг, в том числе и очень яркие, — но они полностью игнорировались, почти никому не были известны.

Мы сталкиваемся с еще одной загадкой. Оказывается, оценка западным либеральным общественным мнением положения в нашей стране не была все время одной и той же, она стала резко меняться где-то в 50-е годы. Но вот что загадочно: раньше они не хотели замечать творившейся у нас трагедии, а потом вдруг стали все строже судить нашу жизнь как раз тогда, когда миллионы заключенных были отпущены и жизнь стала постепенно смягчаться. Например, в 30-е годы Пьер Дэкс (из французских левых) разъяснял: «Лагеря... в Советском Союзе — это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком», а в 60-е написал хвалебное предисловие к переводу «Одного дня Ивана Денисовича»!

Первый признак этого изменения появился в связи с «делом врачей» в самом конце жизни Сталина. Исаак Дойчер в своей биографии Сталина пишет, что этой акцией он уничтожил «основание законности и свидетельство о рождении» своего режима. Поразительно, что Дойчер не применяет столь ярких образов, описывая, например, коллективизацию (даже когда приводит драматический рассказ старого чекиста, вспоминавшего, едва сдерживая рыдания, как он расстреливал из пулеметов крестьянскую толпу). Но, впрочем, может быть, Дойчер только *post factum* придает такое значение «делу врачей» — тогда, в начале 50-х годов, мировой резонанс был очень скромным. Реально либеральное общественное мнение Запада стало меняться только после смерти Сталина и хрущевских разоблачений. Этот процесс захватил 60-е и 70-е годы. Если в 60-х годах в Европе учреждались общественные «трибуналы» для суда над действиями американцев во Вьетнаме, то в 70-е годы на таких же «трибуналах» и «чтениях» осуждалось уже нарушение «прав человека» в СССР.

Последнее понятие играет столь большую роль во всех дискуссиях о положении в нашей стране, что на нем необходимо остановиться подробнее. Смысл всякого понятия, применяемого к явлениям жизни, уясняется не из его формального определения (вроде понятия ромба в геометрии), но из конкретного анализа его употребления. И здесь мы сталкиваемся с очень странной ситуацией. Я не помню, чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или «культурной революцией» в Китае. Последнее время в Китае проводится суровая политика государственного ограничения рождаемости — запрет второго ребенка. Наказываются родители, нарушившие запрет, проводятся унизительные профилактические осмотры женщин, на фабриках действует «полиция бабушек», следящая за молодыми работницами. Это привело к волне детоубийств: по древней китайской традиции родители стремятся иметь сына, а для этого убивают новорожденных девочек (чему идет навстречу и закон, считающий уголовным преступлением лишь убийство ребенка, прожившего уже три дня). В результате в этом году власти согласились на смягчение: разре-

шено иметь второго ребенка, если первый — девочка. Такого, кажется, история еще не знала! И я никогда не слышал, чтобы это беспрецедентное вмешательство в самую интимную сторону человеческой жизни трактовалось как нарушение прав человека. То же относится к слухам о китайской политике стерилизации в Тибете, которые без особых комментариев передавало западное радио, и о пропаганде подобных мер в Индии.

Какое право человека бесспорнее, чем право жить, — и даже не жить самим, ибо мы все обречены на смерть, а чтобы жили наши потомки? Но вот данные, которые часто приводятся в западной экологической литературе: население США составляет 5,6 процента от населения мира, они используют 40 процентов всех природных ресурсов и выбрасывают 70 процентов всех отходов, отравляющих среду. Говоря попросту, США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией «прав человека». Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушения столь фундаментальных «прав человека», что оказываются препятствием в переговорах по ограничению вооружений, в торговле или по расширению научных связей.

Создается впечатление, что понятие «прав человека» не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже.

Безусловно, наша жизнь и в послесталинские годы была далеко не идеальна, здесь достаточно материала для критики (о чем и я, в числе многих, не раз публично заявлял). Но поразительно, что град обвинений обрушился на нашу страну как раз в тот период, когда положение изменилось к лучшему — самая лютовость сталинского режима отошла в прошлое. Типична эволюция некогда популярного эстрадного певца, члена (теперь бывшего) Французской коммунистической партии Ива Монтана. В начале 50-х годов он был яростным защитником всех сторон сталинской системы, включая и показательные политические процессы в восточноевропейских странах. Этим он облегчил вынесение смертных приговоров, в некоторой степени на его совести судьба его партийных товарищей. В последние годы он, как уверяет, прозрел. Что же он, кажется? Нет, он обличает не себя или левых интеллектуалов — а нашу страну, в которой (несмотря на все тяжелые стороны нашей жизни) все же по политическим обвинениям уже не расстреливают. Еще поразительнее, что многие западные левые, с разочарованием отвернувшись от СССР, нашли свой идеал в Китае, где именно тогда Мао осуществлял «культурную революцию» (наиболее известный пример — Ж. П. Сартр).

В 20—40-е годы у нас в стране сложился специфический жизненный уклад, который многие сейчас называют командной системой. Этот термин, как и всякий другой, приемлем, если ясно отдавать себе отчет в том, что он характеризует. Примем его в этой работе и мы. Создание и укрепление командной системы не вызывало протестов в западном либерально-прогрессивном лагере, скорее сочувствие, стремление защитить ее от критики. Но положение в нашей стране стало вызывать раздражение, активную неприязнь, да больше того — восприниматься этим течением как нетерпимое, когда появились первые попытки вскрыть самые бесчеловечные аспекты системы, избавиться от них. Следовательно, можно предположить наличие какой-то духовной близости, каких-то существенных общих черт командной системы и западного либерального течения прогресса. Эти общие черты и интересны.

## О КОМАНДНОЙ СИСТЕМЕ

Мне представляется, что кульминацией командной системы явилась трагедия коллективизации — раскулачивания, обрушившегося на деревню в конце 20-х — начале 30-х годов. Именно тогда были разрушены социальные и психологические структуры, которые труднее всего поддаются восстановлению, — индустриальная культура при благоприятных условиях усваивается в несколько десятилетий (как мы это видим в Южной Корее или Сингапуре), а крестьянская создается тысячелетиями. Последствия именно этого «великого перелома» наиболее болезненны и в наши дни, ведь и сейчас потоки горожан сезонно текут на помощь деревне, а не крестьян — на помощь

городу. Грандиозный социальный катаклизм, насильственно изменивший жизнь 3/4 или 4/5 населения, создал тот дух «осадного положения», при котором любая форма диктатуры казалась оправданной. Именно этим действием Сталин укрепил свою власть, спаяв свое окружение по рецепту Петруши Верховенского — связать «пролитую кровью, как одним узлом». Да и сам он придавал тому периоду совершенно особенное значение. В своих воспоминаниях Черчилль рассказывает, что, когда во время Сталинградского сражения он подивился самообладанию Сталина, тот ответил: это ничто в сравнении с тем, что ему пришлось пережить «в период коллективизации, когда было репрессировано 10 миллионов кулаков, в подавляющем большинстве убитых своими батраками». Естественно предположить, что «великий перелом», который был для Сталина страшнее войны с Гитлером, и являлся центральным действием в создании командной системы. Все предшествующее можно рассматривать как подготовку к нему, последующее — как его следствие, разбегающиеся от него волны (впрочем, бушующие и по сей день). Из анализа этой катастрофы мы и попытаемся извлечь понимание командной системы.

В своем анализе я опираюсь на глубокую работу К. Мяло «Оборванная нить» («Новый мир», 1988, № 8). В ней, насколько мне известно, впервые высказана следующая важная мысль, которую хочу напомнить, дополняя ее некоторыми своими аргументами. Деревня являлась не просто экономической категорией, определенным методом производства съестных продуктов. Это была самостоятельная цивилизация, органично складывавшаяся многие тысячелетия, со своим экономическим укладом (и даже несколькими разными типами земледелия), своей моралью, эстетикой и искусством. Даже своей религией — православием, впитавшим гораздо более древние земледельческие культы. Типична в этом смысле череда земледельческих праздников, опоясывавших весь год и соотнесенных с православным циклом церковной службы. Или ритуал исповеди и покаяния земле перед церковной исповедью:

Что рвала я твою грудушку  
Сохой острою, разрывчатой,  
Что не катом я укатывала,  
Не урядливым гребешком чesывала,  
Рвала грудушку боронышкою тяжелюю,  
Со железными зубьями ржавыми.  
Прости, матушка,  
Прости грешную, кормилушна,  
Ради Спас Христа Честной Матери  
Всесвятны Богородицы.

Или ритуал взятия земли в крестные матери. Наконец ритуальное восприятие избы, отражавшей космос, и ритуальные действия при закладке дома, соотносившие ее с идеей сотворения мира.

Катаклизм, сотрясший деревню на грани 20—30-х годов, был не только экономической или политической акцией, но столкновением двух цивилизаций, не совместимых по своему духу, отношению к миру. Этим он аналогичен, например, уничтожению цивилизации североамериканских индейцев английскими переселенцами — пуританами. К. Мяло пишет: «...любой анализ судеб русского крестьянства в эту пору останется неполным, если забыть о том заряде ненависти, который уже в начале 20-х годов был обрушен на традиционно деревенский уклад жизни — хозяйствование, чувствования и мышление, быт. Кажется, что даже сам вид этих бород, лаптей, поясков и крестов — видимых знаков «темноты» и «бескультурия» — вызывал вспышки отвращения, острые и неконтролируемые, как это бывает при резко выраженной „психологической несовместимости“». «Думается, не будет преувеличением сказать, что налицо приметы открытой дегуманизации предполагаемого „врага“, то есть уничтожения тех сдерживающих психических механизмов, которые ограничивают проявление агрессивности по отношению к человеку.

Действительно, отношение идеологов «перелома» к мужику было не только враждебным, оно как бы отлучало его от жизни, отрицало его право на существование, причем, как всегда, идейная подготовка предвосхищала практические действия, готовила им путь. Например, еще в 1918 году Д. Рязанов, видный партийный деятель, говорил как о чем-то самоочевидном: «Толстой предлагал устроить Россию по-мужицки, по-дурацки». Горький, обращаясь за помощью голодающим (письмо в «Юманите», 1921 год), видел опасность голода в том, что он «может уничтожить лучшую энергию



страны в лице рабочего класса и интеллигенции», — хотя умирали от голода как раз в деревне. О крестьянах он говорил: «...полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — почти страшные люди...» Деревня и мужик объединялись в образе «Расеюшки» или «Руси»:

Бешено,  
Неуемно бешено,  
Колоколом сердце кричит:  
Старая Русь повешена,  
И мы — ее палачи.

(В. Александровский)

Именно духовный аспект крестьянской цивилизации, наиболее явно выраженный тогда в произведениях крестьянских поэтов (прежде всего Есенина), вызывал шквал злобных нападок. Мы все учили в школе о них: «мужиковствующих свора». Но Маяковский был тут неоригинален — он лишь цитировал; это Троицкий назвал деревенских поэтов мужиковствующими, а их поэзию — примитивной и отдающей тараканами. Бухарин же усмотрел, что поэзия Есенина — это «смесь из «кобелей», «икон», «сисястых баб», «жарких свечей», березок, луны, сук, господ бога, некрофилии, обильных пьяных слез и «трагической» пьяной икоты...». Тут не было разделения на левых и правых — фантастический «правотроцкистский блок» в этой области реализовался во плоти.

Когда же от слов перешли к делам, то опять борьба мировоззрений составляла важнейший компонент. Коллективизация, как правило, начиналась с закрытия церкви — по большей части насильственной (типичный случай описан в «Мужиках и бабах» Б. Можяева). По словам К. Мяло, крестьяне, обладавшие высоким духовным авторитетом, становились первой жертвой раскулачивания: «...общину удавалось обезглавить разом и как хозяйственное и как культурное целое, убрав в одну ночь грамотных наставников».

Какая же идеология противостояла крестьянской цивилизации, двигала тот водопад ненависти, который тогда обрушился на деревню? Это прежде всего концепция «темноты», «дремучести» деревни и мужика. Вот примеры:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?  
Что же! Вечная память тебе.  
Не жила ты, а только охала  
В полутемной и тесной избе.  
Костылями скрипела и шаркала,  
Губы мазала в копоть икон,  
Над просторами вороном каркала,  
Берегла вековой, тяжкий сон.

(В. Александровский)

Л. Фейхтвангер твердо знал все, что ему нужно знать о русских неколективизированных крестьянах: «Они не умели ни читать, ни писать, весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа».

Само собой очевидно, что этот жалкий строй жизни не имел права на существование: он должен был быть взорван, а жизнь построена наново. Но нам важно выяснить, какими путями и чем его предполагалось заменить. Прежде всего бросается в глаза, что речь шла о водворении на место крестьянской цивилизации мира техники, замене мужика машиной:

У вымощенного тракта,  
На гранитном току,  
Раздавит раскатистый трактор  
Насмерть раскоряку-соху.

(М. Герасимов)

Есенин видел крестьянскую Россию в образе бегущего по полю жеребенка и спрашивал: «Неужель он не знает, что живых коней победила стальная конница?» М. Горький высказывал А. Воронскому более радикальную мысль: «Если б крестьянин исчез с его хлебом, — горожанин научился бы добывать хлеб в лаборатории».

Для мужика на случай, если он не «исчезнет», в этой системе находилось новое применение. В последнее время много раз цитировался доклад Троицкого на IX парт-

съезде, в котором предлагался план милитаризации населения страны: мобилизации его в трудовые армии с военной дисциплиной. План вызвал на съезде дискуссию, но лишь по поводу того, применять ли милитаризацию только к крестьянам (как предлагал оппонент Троцкого В. Смирнов) или ко всему населению, как считал Троцкий, выступавший от ЦК. По поводу же применения этих мер к крестьянам тогда, по-видимому, разногласий не было.

Этот идеал и был осуществлен Сталиным на Беломорканале и других «великих стройках». Работавшие там зеки и являлись той «милитаризованной рабочей силой», о которой говорил Троцкий. Остальную часть крестьянства подвергли милитаризации пока лишь частично.

Тот же принцип «социального переустройства» применялся не только в деревне. Массовое разрушение церквей, да и вообще старых зданий имело целью создать *tabula rasa*, пустое место, на котором можно было бы все строить заново. Для этого требовалось и «классиков сбросить с парохода современности», и русскую историю вытеснить из сознания, превратив ее в «проклятое прошлое». Параллельным процессом, движимым тем же духом, было «преобразование природы» — строительство грандиозных каналов, в идеале — механизация всего земледелия, превращение его в фабрику. К. Мяло называет это противопоставлением технокентризма — космоцентризму крестьянской цивилизации. Даже более общо: всего нерукотворного, природы — рукотворному, технике. Работа К. Мяло дает почувствовать характер этого противостояния.

Что давала человеку «крестьянская цивилизация», почему крестьяне так держались и боролись за нее? Представление об этом можно получить из произведений «деревенской» литературы, например из «Прощания с Матёрой» В. Распутина, «Канунов» или «Лада» В. Белова. Но что двигало другую сторону конфликта, что давало силы и даже бешеную энергию активистам «шерелома»? Как мне кажется, это было чувство соучастия в реализации некоей грандиозной техницистской утопии, неслыханной дотоле попытке превратить природу и общество в единую космическую машину, управляемую из одного центра. Создание такой машины, управление ею представлялось делом избранной элиты, «новых людей», покорителей вселенной — такими и ощущали себя эти активисты.

Вьющиеся речки с неконтролируемыми половодьями должны быть заменены каналами, «законанными в берега из бетона и стали». Бескрайние, безобразные болота — осушены. Их должны пересекать прямые, как стрела, трассы, по которым будут сновать автокары. Поля с пасущимися на них коровами — заменены земледельческой фабрикой или лабораторией. Крестьянам же в этой сверхмашине предусматривалась роль сырья, планомерно в нее загружаемого и движущегося по ее трубам. Слова персонажа повести В. Распутина: «Матёра на электричество пойдет» — передают дух этого плана умерщвления матери-земли и использования ее как сырья для грандиозной машины.

Литература 20-х годов передает пафос поклонения машине, желание молиться ей или превратиться в нее: «Шеренги и толпы станков, подземные клоты огненнойечи, подъемы и спуски нагруженных кранов, дыхание прикованных крепких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь молчаливая пресса — вот наши песни, религия, музыка» (А. Гастев).

Режиссер и художник Ю. Анненков утверждал: «Искусство достигнет высшей очки расцвета лишь после того, как несовершенная рука художника будет заменена очной машиной». «Разве современного человека, слышавшего хоть раз полифонию Ёюкастальского порта, может удовлетворить кустарное искусство маленького Шалаяина, вытягивание на цыпочки теноров...»

А Гастев рисовал такую космическую утопию:

«Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом. Небо — создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей.

Ринемтесь вниз!

Вместе с огнем, и металлом, и газом, и паром... мы зароемся в глуби, прорежем тысячу стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами зета и наполним их ревом металла. На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцаия звезд, сольемся с землей: она в нас, и мы в ней.

Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном одея! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда... Мы погибнем, мы схоронимбя в ненасытном беге и трудовом ударе.

Землею рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним; но земля преобразится: запертая со всех сторон — без входов и выходов! — она будет полна не-смысленной бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в иступлении трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек.

Но и человек воспринимается всего лишь как совершенная машина:

«Нужно сделать, чтобы вдруг человечество открыло, что сам человек есть одна из самых совершенных машин, какие только знает наша техника... Мы должны заняться энергетикой человеческого механизма... будем «метрировать» человеческую энергию... Здесь не должно быть ничего священного».

Стране предстоит превратиться в колонию таких людей-машин.

«Мы должны быть колонизаторами своей собственной страны. Мы — конечно, нас небольшая кучка в аграрном пустыре — автоколонизаторы». (Тогда же и в политике предлагался план — например, Преображенским — использования деревни как «первоначального накопления» для индустриализации, подобно колониям Запада.)

Поразительную картину с этой точки зрения представляет собой творчество А. Платонова (на это мое внимание обратил В. А. Верин). В первых своих статьях («Воронежская коммуна», 1920 — 1923 годы) он выступает яростным идеологом именно этой утопии. Он призывает к уничтожению всей природы. Или предлагает «разморозить Сибирь» путем взрыва окружающих ее гор, направив в нее теплый воздух, — это будет стоить, по его подсчетам, 2 миллиарда золотых рублей. Но потом в его художественных произведениях подобные идеи становятся элементами антиутопии и высказывают их антигерои, которых автор называет насильниками природы или даже «сатаной мысли».

Сама форма левого авангардного искусства начала века соответствовала духу такой техницистской утопии. Из живописи вытеснялись живая природа, человеческий облик, их место занимали кубы и треугольники — готовые детали механизма. В литературе опасным, «правым» объявлялся психологизм, принцип «живого человека». Ставилась задача — описывать дело, производственный процесс. Приобщение к старому искусству приравнивалось к контрреволюционной деятельности. В. Мейерхольд, которого называли «главоверхом театра», выдвинул лозунг «Октябрем по театру». Об одной его постановке кто-то из его последователей сказал: «эстетический расстрел прошлого». Прокламирвалось вообще отмирание искусства как независимой деятельности, слияние искусства и производства. Человек рассматривался только как материал для обработки при помощи искусства — производства. Задача искусства ставилась так: «...подготовить такой человеческий материал, который был бы, во-первых, способен к дальнейшему развитию в желаемом направлении... и, во-вторых, был бы максимально социализирован» (Б. Арватов).

В последние годы жизни Сталина явно вырисовывались новые конструктивные идеи по совершенствованию этой «мегамашины». В своем как бы духовном завещании — работе «Экономические проблемы социализма в СССР» — Сталин некоторые из них высказал. Он считал, например, что «кооперативная собственность» (то есть колхозы) создает «препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием». (Ведь колхозы все же владели, например, семенами!) И предлагал неуклонно сокращать «систему товарно-го обращения», заменяя ее «системой продуктообмена». Он явно сожалел, что милитаризация в свое время не была завершена!

Образу общества-машины соответствует человек-винтик. Еще в 1923 году идеолог Пролеткульта В. Плетнев понял «индивидуальность как винтик в систем грандиозной машины СССР». Позже Сталин с одобрением назвал жителей управляемой им страны «„винтиками“ великого государственного механизма», даже предложил за их здоровье. По-видимому, это устойчивый образ, связанный с духом командной системы, так как несколько позже, во время «культурной революции», китайские газеты сочувственно писали о некоем Лэй Фэне, назвавшем себя «нержавеющей винтиком председателем Мао».

Сейчас мы сравнили бы такую охватывающую и природу и общество «мега-машину» с грандиозным компьютером, управляемым при помощи введенной в него системы команд. При таком понимании термин «командная система» представляется подходящим для описания этой попытки воплотить технологически-инженерическую утопию. Попытка не удалась. Несмотря на понесенные страной потери, устойчи-

вость, укорененность жизни оказалась сильнее напора утопического мышления. Напор не спал и до сих пор: слияния и разлияния колхозов, попытка повернуть реки вспять, затопить территории, равные по площади большим государствам, или превратить земледелие в отрасль химической промышленности — все это его проявления. Но все же основной смысл последних десятилетий заключается в растущем противостоянии утопическому мышлению, ослаблении его напора. Можно надеяться (при достаточном оптимизме), что из тисков командной системы мы вырвемся. Но главная, судьбоносная проблема — как жить дальше? — еще ждет нас. Удастся ли вновь основать жизнь на космоцентрическом, а не техноцентрическом восприятии мира?

### О «ПРОГРЕССЕ»

Выявить реальное содержание столь употребительного термина, как «прогресс», очень трудно. Оно сначала кажется очевидным, но ускользает при попытке понять, что же конкретно «прогрессирует». Я, конечно, не претендую на то, чтобы ответить на этот вопрос. Хочу лишь указать на одну, как мне кажется, очень важную тенденцию, проявляющуюся в том отрезке истории, который все соглашаются рассматривать как самое полное воплощение «прогресса». Имеется в виду период возникновения в Западной Европе и распространения по всему миру современной «индустриальной», или «технологической», цивилизации. Конечно, подбор фактов и цитат, касающихся нескольких веков истории, субъективен. Чтобы сделать его немного более объективным, я постараюсь использовать наиболее известные, признанные классическими источники.

Многие из писавших о Ренессансе отмечали черты «конструктивности», «абстрактности», разрыва с традицией и органичностью, характерные для этой эпохи. Якоб Буркхардт, Альфред фон Мартин и другие указывают, что в то время место «божественного порядка» занимает взгляд на мир как на поле конструктивной деятельности индивидуума, который может перестраивать общество и космос, «конструировать» их. Одна из глав книги Буркхардта о Ренессансе называется «Государство как искусственное сооружение». Государства кондотьеров он называет «искусственными существами». Основной взгляд Макиавелли — что политика — это расчет, похожий на инженерный, столь же мало ограниченный нормами морали или религии.

В этом «конструируемом» мире важнейшими становятся такие свойства, как «мастерство», «техника» или «искусство»: «искусство дипломатии», «искусство войны». Возрастает роль специалистов: инженеров, дипломатов, кондотьеров. Денежное хозяйство делает возможным «свести все к числам» (бухгалтерии). Этот дух проникает и в область морали. (В одной бухгалтерской книге того времени записано слева: «Дождь Фаскари — мой должник за смерть отца и дяди», а когда дождь был убит, справа записано: «Уплатил».) Тому же духу соответствует новая наука об измеримых, вычисляемых и предсказуемых в числах явлениях. Галилей сформулировал ее цель: «...измерить все, что измеримо, и сделать измеримым все, что неизмеримо». Возникло представление, что весь мир можно постичь через вычисления. Все субъективное: краски, запахи, тепло и холод — было объявлено находящимся за рамками науки, результатом несовершенства «человеческого прибора», познанием более низкого сорта. Этому соответствовала надежда вычислить и будущее — отсюда увлечение астрологией.

В XVI и XVII веках появляется новый вид литературы — утопии Мора, Кампанеллы, Бэкона и других. Это загадочное течение мысли. Казалось бы, в период, когда формируется новый, капиталистический дух, можно было бы ожидать фантастически гипертрофированных описаний присущего ему индивидуализма, свободной конкуренции или же тоски по уходящему средневековому жизненному укладу. Вместо этого нечто совсем неожиданное: предельно стандартизованное общество, одинаковые дома, города, строжайшая регламентация производства, личной жизни. Общество построено на научных принципах и управляется учеными.

С появлением более развитого капиталистического хозяйства перед обществом возникает новая проблема. Макс Вебер иллюстрирует ее следующим примером. Поездик платил жнецам по 1 марке за уборку 1 моргена, и они убрали по 2,5 моргена в день. Желая увеличить продуктивность хозяйства, он увеличил плату в полтора раза, но вместо ожидаемых им 3,75 моргена жнецы стали убирать меньше 2 моргенов на человека, получая примерно те же 2,5 марки. Отгадка в том, что у жнецов

существовало устойчивое представление о естественных потребностях и они работали лишь для того, чтобы их удовлетворить. Такой строй мышления типичен для традиционного хозяйства, и, пока он не будет сломан какими-то внешними силами, развитие капиталистического производства невозможно. Необходимо прежде изменить сознание, чтобы производство стало самоцелью, а не средством достижения других человеческих целей.

Эта новая концепция не смогла подчинить себе жизнь еще и в XVIII веке. Например, в Англии тогда существовала обширная литература для предпринимателей о том, как вести хозяйство. Обычно совет был — выйти из хозяйственной деятельности, когда капитал достиг 50 тысяч фунтов, так как после этого можно купить поместье и жить как сквайр, а продолжать дело — уже бессмысленный риск. То есть принципы хозяйственной жизни еще были скроены по человеческой мерке, человек оставался мерой всех вещей.

Вернер Зомбарт в книге «Буржуа» показывает, как это мировоззрение постепенно заменяется духом позднего капитализма. Например, долг, воспринимавшийся раньше исключительно как элемент человеческих отношений, заменяется векселем, который анонимен — может быть продан и перепродан. Появляются ценные бумаги и биржа, хозяйство принимает коммерциализированный, абстрагированный (от конкретной трудовой деятельности) характер. Сердцем его становится биржа, центральной деятельностью — продажа акций, а грандиозная работа промышленности оказывается лишь последствием, отражением обращения бумаг. Благодаря появлению ценных бумаг собственность удаляется от человека, с которым она раньше была связана почти как орган его тела. Она легко переходит из рук в руки, становится анонимной, механизированной. Такая механизированная собственность, говорит Вальтер Ратенау, и называется капиталом. Возникают новые «индивидуальности» — тресты, предприятия и т. д. Их единственная цель (то есть мера успеха и конкурентоспособности) — увеличение дохода, а это не имеет естественного предела. Жизнь приобретает характер неограниченного, устремленного в бесконечность процесса, и в этой бесконечности ограниченная человеческая жизнь оказывается бесконечно малой, ничтожной величиной.

Другой стороной служит беспредельное увеличение темпов изменения жизни. Каждое изменение — это разрыв с традицией, но обычно единство, связность развития успевает опять восстановиться. Однако, если скорость изменения жизни превосходит какой-то предел, такое заживление разрыва уже не успевает произойти. В результате нарушается органичность развития, жизнь не опирается на традицию, развитие идет за счет абстрактной, чисто рациональной деятельности. С этой стороны духа капитализма связана большая роль в его развитии переселенцев, эмигрантов — людей, лишенных корней. Примером служат бежавшие из Франции в Германию гугеноты и пуританские переселенцы в Америку. Особенно в последнем случае отсутствие исторической преемственности создало идеальную почву для развития капиталистического хозяйства — и люди и окружающая природа стали в чистом виде объектом хозяйственной деятельности. Все эти черты Зомбарт резюмирует так: «Капиталистическое предприятие является совершенно искусственным организмом, ему чуждо все органичное, естественно выросшее».

В XIX веке громадную роль начинает играть идеология сциентизма — стремление построить жизнь на научных основаниях. При этом имелись в виду главным образом естественные науки, успех которых связывался с абстрагированием от индивидуальных различий. Мир виделся состоящим из одинаковых тел, одинаковых молекул и т. д. Сен-Симон, например, утверждал, что построил Историю как «социальную физику», на едином принципе, аналогичном всемирному тяготению. Его ученик Огюст Конт писал: «Существуют законы, управляющие развитием человеческого рода, столь же определенные, как те, которые определяют падение камня». Он считал, что несколько компетентных инженеров могли бы создать гораздо лучший организм для выполнения определенной функции, чем это сделала природа, и что то же верно в отношении общества.

Сен-Симон отводил науке в своей системе столь большую роль, что предлагал чтобы человечество управлялось великим ньютоновским советом, состоящим из лучших ученых мира с математиком во главе. Во всех провинциях должны быть созданы малые ньютоновские советы и в храмах Ньютона совершаться поклонения ему.

Предполагалось всю жизнь подчинить научным принципам, например создать новую религию «так, как в Политехнической школе учат строить мосты или дороги». Сен-симонизм был ярким примером того, что утопическое мышление и успешная капиталистическая деятельность не только не противоречат друг другу, но прекрасно сочетаются. Среди его последователей были крупнейшие французские капиталисты и промышленники: Анфантен, Родригес, братья Перейра, Тальбо, оказавшие громадное влияние на развитие французской экономики, — создатели новых банков, строители сети железных дорог.

К XX веку развитие технологической цивилизации радикально изменило жизнь людей. Все большая часть человечества используется для производства механизмов или механизмов, производящих механизмы (эта цепь может все удлиняться). Труд все более удаляется от своей цели, то есть смысла. В своей работе люди большей частью не соприкасаются ни с чем живым. Ритм их труда, стиль жизни подчиняются технике. Человек зависит не от себя, а от какой-то внешней силы. Воду он приносит не из колодца, она кем-то подается в водопроводный кран. Он согревается, не топя печку, — кто-то греет его дом кипятком или паром. Он рождается не дома, а в больнице и умирает в больнице, где его не провожают священник и близкие. Личные отношения учитель — ученик или врач — пациент растворяются в многолюдных школах и громадных больницах. Жизнь людей стандартизируется как массовое производство. Исчезает национальный стиль архитектуры (Новый Арбат неотличим от набережной Гаваны или улицы Сан-Паулу).

Люди, живущие на противоположных точках земного шара, оказываются неотличимо одинаково одетыми. Газеты прививают человеку стандартный средний язык, а радио убивает местные говоры. Людей всему учит общество. Подростки учатся в кино, как надо целоваться, а на порнофильмах — и более интимному поведению. Человеку трудно ответить — что же такое он сам? Эстрадные звезды, например, меняют свою наружность: цвет кожи (инъекциями гормонов), лицо (пластической операцией), — им придумывают хобби и политические взгляды. Их выступления требуют сотен тонн аппаратуры. Сама звезда исчезает как человек, остается лишь гочка приложения анонимных сил.

Человек все больше исключается из природных условий, помещается в искусственные. Яркое освещение улиц вырывает его из цикла день — ночь, комфортабельные дома и транспорт — из цикла зима — лето. Даже пространство все больше исчезает из жизни: чтобы добраться из Москвы в Ленинград или Нью-Йорк, надо затратить примерно одинаковое время.

Исчезает дом как место, с которым связаны традиции и семейные чувства. Ле Корбюзье говорил, что дом — это «машина для жилья». Он предлагал разрушить исторический центр Парижа (и Москвы тоже), ибо он построен хаотически, без плана (в Москве это в значительной мере удалось).

Беспочвенность этой цивилизации облегчает ее пересадку на новую территорию, е экспансию. По словам Ганса Фрейера, для того чтобы утвердиться на новой почве, такая цивилизация совсем не обязательно должна там вырасти. «Одно-два поколения нужны, чтобы электрифицировать, перевести на международные промышленные рельсы страну, жившую тысячелетней традицией». Это и есть то «экономическое чудо», которое совершается то в Сингапуре, то на Тайване.

Вторая научно-техническая революция в середине XX века усиливает и обостряет описанные выше черты западной цивилизации. Вот характеристика этого нового общества словами нескольких видных современных мыслителей.

Льюис Мамфорд замечает: «Технологическая цивилизация поглощает человека целиком — не только в работе, но и в потреблении, развлечении, отдыхе, — все организуется ею». Вся жизнь включается как элемент в массовое производство. Но то человек может пожить реальной жизнью, подключившись к телевизору, и получить из этого ящика причитающуюся ему порцию человеческих переживаний. Менинческий мир телевизора все более вытесняет реальный мир. Например, американский подросток до восемнадцати лет проводит в полтора раза больше времени у телевизора, чем в школе и за чтением книг. Это воздействие аналогично гипнозу — есть нет диалога, невозможен вопрос и нельзя даже, как в книге, перечесть еще раз едущую страницу.

Механизмом, обеспечивающим полное включение человека в деятельность технологической цивилизации, служит реклама в широком смысле слова: промышленная,

политическая, реклама идей и идеологий. Она основывается на достижениях науки: психологии, социологии, нейрофизиологии. Массовые социологические эксперименты дополняют те принципы, которые были найдены при экспериментах на собаках и крысах. Крыса запускается в лабиринт, где сзади ей грозит удар тока, а в конце — ожидается пища. Она тем самым полностью вырывается из своего обычного окружения, и из бесчисленных экспериментов подобного рода делается вывод о психике крыс, которая оказывается очень похожей на принципы функционирования робота. Эта аналогия вполне оправдывается, если только абстрагироваться от всего, что специфично для крысы и отличает ее от робота! Дальше эти принципы применяются к психике и поведению людей. Громадные затраты промышленных фирм и политических партий на этот «психологический бизнес» и конструируемую им рекламу показывают, что такой метод приносит практические результаты.

Как говорит фон Бергаланфи: «Этот дух господствует в нашем обществе и, более того, по-видимому, необходим для его функционирования: редукция человека к низшему уровню его животной сущности, манипулирование им как автоматом для потребления или марионеткой политических сил». «Это (может быть, исключая атомную бомбу) — величайшее открытие нашего века: возможность редукции человека к автомату, «покупающему» все, от зубной пасты и «Битлзов» до президентов, атомной войны и самоуничтожения».

Изложенный мною взгляд на развитие технологической цивилизации ни в коей мере не является бунтом против техники, науки или городской жизни, желанием (как сказал Вольтер о Руссо) «встать на четвереньки и убежать в лес». Рост человечества с нескольких миллионов в конце палеолита до 5 миллиардов ныне — это объективный факт. Ни охотничья, ни чисто земледельческая цивилизация не смогли бы прокормить такое население, потребовались бы какие-то Драконовские меры, вроде массового убийства детей. Вероятно, неизбежно было развитие в сторону увеличения удельного веса городов, роли науки и техники. Но тот вариант развития, который все яснее проявляется в последние полтора-два века, явно носит болезненный характер. Несмотря на свои колоссальные достижения в некоторых конкретных областях (например, почти полное уничтожение детской смертности, увеличение продолжительности жизни), этот вариант в целом утопичен. Как и сталинская командная система, западная технологическая цивилизация избрала техноцентрическую идеологию в противоположность космоцентрической. Это всего лишь другой путь осуществления уже знакомой нам утопии об «организации» природы и общества по принципу «мегамашины» с максимальным исключением человеческого и вообще живого начала.

Подобная утопия в самой себе несет залог своей гибели. Основным и наиболее загадочным свойством всего живого (и даже всего органически выросшего) является знание им своей формы, способность к самоограничению. Еще Аристотель заметил, что всякая органичная сущность (например, корабль) имеет свой естественный предел. Отказ от органичности оборачивается для технологической цивилизации потерей этого свойства. Современная техника (как созидания, так и уничтожения) может развиваться лишь неограниченно, увеличиваясь и убыстряясь. Этим она приходит в противоречие с ограниченностью (то есть органичностью) окружающей природы, включая человека. Природные ресурсы, способность природы выдерживать разрушительное воздействие техники, способность человеческой психики приспособляться к вечно увеличивающемуся темпу перемен и к механическому характеру жизни — все это имеет предел, по-видимому, уже очень близкий. Особенно опасным представляется последний фактор — западные психиатры обращают внимание на быстрый рост психических заболеваний, связанных с потерей чувства осмысленности жизни. Обычные бреды носят технологический характер: больной ощущает себя машиной, он манипулирует, его существование лишено автономного смысла. Вероятно, те же причины лежат в основе агрессивных студенческих волнений и роста терроризма — люди (особенно молодые) ощущают, что жизнь для них становится чем-то непереносимой, хотя им еще неясно — чем именно. Очень трудно себе представить, что эти трудности могут быть преодолены на том же пути, на котором они возникли, — посредством еще более радикального технического воздействия на природу. Скорее выход связан с отказом от техницистской утопии, от техноцентрического мышления.

Но здесь возникает другое противоречие, заложенное в самих принципах технологической цивилизации. Оно связано с ее беспочвенностью, универсальностью, способностью быстро подчинять себе другие культуры — уничтожаются возмо-

ные запасные варианты, которыми человечество могло бы воспользоваться в случае кризиса этой цивилизации. В период кризиса античной средиземноморской цивилизации человечество обладало целым спектром возможных путей развития. Еще сравнительно недавно можно было надеяться, что Россия, Китай, Япония, Индия, страны Латинской Америки сохранили достаточное разнообразие общественных и экономических укладов, чтобы в случае кризиса технологической цивилизации человечество могло среди них найти альтернативный вариант развития. Сейчас для таких надежд гораздо меньше оснований.

Технологическая цивилизация пришла на смену цивилизации в основном крестьянской, когда подавляющая часть населения жила среди природы, в постоянном общении с животными. Труд был непосредственно связан с его результатом, смысл его — понятен. План работы составлялся, каждое важное решение принималось самим крестьянином — это был творческий труд. Но на другой чаше весов лежали тяжелая, изнуряющая физическая работа, неуверенность в завтрашнем дне, частый голод, громадная смертность — особенно детская. Почти каждому взрослому приходилось пережить смерть своего ребенка. Все эти несчастья смогла в значительной степени устранить технологическая цивилизация, но, как оказалось, на собственных условиях. Человек должен был отказаться от своих, человеческих, требований к жизни и подчиниться логике техники. На таких условиях эта цивилизация оказалась исключительно продуктивной — и не только в производстве атомного оружия, но и в выработке энергии или в способности накормить громадное население. Однако человеческие запросы к жизни при этом столь радикально игнорировались, что создалась угроза существованию самого человека. Вся ситуация напоминает сказку, в которой человек заключает договор с волшебником. Договор исполняется волшебником пунктуально, но благодаря тому, что в нем не были записаны какие-то казавшиеся самоочевидными условия, результат оказывается обратным тому, к которому стремился человек. Сейчас человечество близко к моменту, когда по договору надо расплатиться.

По-видимому, человечество переживает сейчас какой-то переломный момент истории, оно должно найти новую форму своего существования. Этот перелом по масштабу можно сравнить с переходом от охотничьего уклада к земледельчески-скотоводческому в начале неолита. Тогда тоже возникла кризисная ситуация: истребление в результате совершенствования техники охоты многих видов животных — дикой лошади, мамонта — создало положение, аналогичное теперешнему экологическому кризису. И выход из кризиса (переход к земледелию) был глубоко нетривиален и далеко не прямолинеен. Так, известная неолитическая культура расписной керамики (у нас представленная трипольской культурой) считается археологами попыткой перехода к мотыжному земледелию, по каким-то причинам не удавшейся (так она, во всяком случае, трактуется в учебнике археологии А. В. Арциховского). Этот пример показывает, что в истории бываюи линии развития, кончающиеся неудачей. Похоже, что такая и линия развития технологической цивилизации, основанная на идеологии научно-технической утопии. С той, однако, лишь ей присущей особенностью, что ее неудача грозит гибелью не только этой локальной культуре, а всему человечеству и всему живому на Земле.

## СОПОСТАВЛЕНИЕ

Если читатель согласится, что приведенный выше анализ выделяет некоторые существенные черты как командной системы, так и западного либерального течения «прогресса», то мы будем иметь основу для того, чтобы сформулировать ответ на вопрос, поставленный в начале работы: почему у западных либералов существовала симпатия к сталинской командной системе? Оба этих исторических феномена представляют собой попытку реализации сциентистски-техницистской утопии. Точнее, это два варианта, два пути такой реализации. Западный путь «прогресса» более мягкий, в большей мере основан на манипулировании, чем на прямом насилии (хотя и оно играет свою роль в некоторый период его развития: террор Великой французской революции или колонизация незападного мира). Путь командной системы связан с насилием громадного масштаба. Это различие в методах создает видимость того, что оба течения являются непримиримыми антагонистами, однако на самом деле ими вижет один дух и идеальные цели их в принципе совпадают. В западном варианте, например, раскрестьянивание экономически осуществляется даже эффективнее, чем



при командной системе,— население, занимающееся земледелием, редуцировано в гораздо меньшей части (3,6 процента населения в США). Все более интенсивное применение все более тонких достижений химии и генетики сделало сельское хозяйство похожим скорее на завод или лабораторию — мечта Горького осуществилась!

Хотя, по-видимому, идеология современного западного индустриального общества чисто рационалистична, она так далеко ушла от непосредственных человеческих ценностей, что явно приобрела утопический характер. Западные социологи отмечали, что рациональность капиталистического предпринимателя относится лишь к средствам, но он иррационален в своих целях и мировоззрении.

По словам Симона Рамо: «Мы должны планировать совместное господство над землей с машинами... Мы становимся партнерами. Машины требуют для оптимального функционирования определенных черт общества. У нас тоже есть свои пожелания. Но мы хотим получить то, что могут нам дать машины, и, следовательно, должны идти на компромисс. Мы должны изменить правила общества так, чтобы они стали для машин приемлемы». У нас подобное подчинение человека процессу производства было прокламировано еще в начале 20-х годов. А. Гастев писал: «Современная машина, особенно же машинные комплексы имеют свои законы настроений, отправлений и отдыхов, не находящихся в соответствии с ритмикой человеческого организма... история настоятельно требует ставить не эти маленькие проблемы социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого решающего фактора, как машинизм».

С другой точки зрения описание этого аспекта цивилизации дается в повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» словами старой крестьянки: «Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянетесь. Оне от вас — вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили. Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать. Уж не до себя, не до человека... себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге. Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо... Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матёру?! Схпапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропалодка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя».

Противопоставление техноцентрического космоцентрическому мировоззрению, описанное на материале нашей деревни 30-х годов К. Мяло, параллельно тому, что пишет Льюис Мамфорд на основании западного опыта:

«Существует глубокий антагонизм между механистической экономикой, центр тяжести которой — сила, и более старой органической экономикой, ориентированной на жизнь. Жизненная экономика стремится к непрерывности, многообразию и сохраняющему структуру целенаправленному росту. Такая экономика скроена по человеческой мерке: чтобы любой организм, любое сообщество, любое человеческое существо имело многообразие пути и переживаний, необходимое для свершения его индивидуального жизненного пути от рождения до смерти. Характерной чертой жизненной экономики является сохранение обусловленных жизнью пределов: она стремится не к максимально возможному количеству, а к нужному количеству и нужному качеству в нужном месте. Ибо слишком много чего-либо так же губительно для живого организма, как и слишком мало.

Наоборот, экономика, основывающаяся на силе, предназначена для непрерывного и насильственного расширения производства ограниченного типа благ — тех, которые особенно приспособлены для массового производства... Хотя эти современные «силовые установки» производят максимальное количество высокоспециализированных материальных благ — автомобилей, стиральных машин, холодильников, ракет, атомных бомб,— но они не способны реагировать на гораздо более сложные потребности человеческой жизни, так как эти потребности не могут быть механизированы и автоматизированы, тем более контролируемы и по произволу подаваемы без того, чтобы не убить нечто существенное в жизни организма или в самоуважении человеческой личности».

Для обоих течений существенна опора на мощную технику и подавление органических, традиционных сторон жизни. (Один западный социолог сформулировал даже смысла современной техники так: уничтожить природу и создать вместо нее другую, искусственную.) Наконец, оба течения основываются на разработанной технике управления массовым сознанием. Их родство подтверждается и тем, с какой легкостью новые моды (в одежде, шоу-бизнесе или искусстве) перебрасываются от одного к другому. Такая их близость порождает ощущение духовного родства и может объяснить, почему представители одного течения болезненно воспринимают критику другого, чувствуют, что она ударяет и их.

С этой точки зрения совершенно понятно, почему западные последователи идеологии «прогресса» охладели к нашей стране как раз тогда, когда жизнь в ней стала смягчаться; это смягчение было связано с ослаблением роли утопической идеологии командной системы, которая их привлекала. К тому же нечеловеческая жестокость командной системы предстала слишком неприкрыто, надо было как-то от нее отмежеваться, тут и пригодилась возможность выступить суровыми судьями, списав все жестокости за счет особенностей русского характера и русской истории.

Мы сталкиваемся здесь с тем, что два разных, внешне резко различающихся пути ведут в принципе к одной цели. Однако в истории это случалось уже не раз, и нам будет полезно рассмотреть несколько примеров, вариантов этого явления. Простейший из них — двухпартийные политические системы. Для устойчивого их функционирования необходимо, чтобы конкурирующие партии выступали как антагонисты, внушали, что приход к власти конкурента будет национальной катастрофой. Но столь же необходимо, чтобы политические принципы этих партий в основе своей совпадали. Например, сейчас такая система в Великобритании переживает, кажется, кризис, так как программы лейбористской и консервативной партий стали действительно принципиально различаться.

Другим примером служит соперничество Сталина и Гитлера. Для них лично это, несомненно, была борьба не на жизнь, а на смерть. Но, с другой стороны, действия каждого из них парадоксальным образом способствовали успеху другого — и это продолжалось довольно длительное время. Приходу к власти Гитлера очень помогла коллективизация и процессы «вредителей» в СССР — Гитлер уверял немцев, что нечто подобное грозит Германии и лишь он может от этого защитить. Но приход Гитлера к власти укрепил международные позиции Сталина — как противовеса Гитлеру. Они и играли на этих клавишах: один — как единственная реальная защита Европы от «коричневой чумы», другой — от «красной». В этой игре особенно важно было гипнотическое внушение того, что выбор возможен лишь между ними, третьего не дано. Вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» — имел именно этот смысл, что можно выбирать только между Сталиным и Гитлером.

Многочисленные примеры дают две фракции — умеренная и крайняя в большинстве оппозиционных и революционных движений: пуритане и индипенденты в английской революции, жирондисты и якобинцы во французской, либералы и террористы в России 60—70-х годов XIX века и т. д. Последний вариант отражен в образах Степана Трофимовича и Петра Степановича Верховенских («Бесы»). Его описание с точки зрения очевидца дано Львом Тихомировым (брошюра «Начала и концы»). Он утверждает, что именно либералы снабдили террористов мировоззрением. Для либералов терроризм был лишь крайностью — тем, что они хотели бы, но боялись делать. Террористы же считали либералов предателями и, не скрывая, указывали, какой их ожидает конец в случае победы. Поужее настроение господствовало и в «освободительном движении» XX века. Тогда был распространен принцип — «у нас не может быть врагов слева». Это создавало очень своеобразную ситуацию: группы, находившиеся «левее», могли вести себя по отношению к соседям «справа» как к врагам, а те не могли им ответить тем же!

Поучительный пример подобной ситуации — известная дискуссия, когда Каутский выступил с критикой политики «военного коммунизма». Троцкий ответил ему целой книгой («Анти-Каутский»), Каутский — еще одной книгой («От демократии к государственному рабству. Ответ Троцкому»). В последней книге есть интересный параграф: «Грозящая катастрофа». В нем Каутский с несокрушимой логикой доказывает, что скорый крах большевизма неизбежен. По поводу ситуации «после краха» он пишет: «То, чего мы опасаемся, это не диктатура, а нечто иное, пожалуй, гораздо худшее. Вероятнее всего, что новое правительство будет чрезвычайно слабо, так что оно не

сможет, даже если захочет, справиться с погромами против евреев и большевиков», «потому можно понять тех социалистов, которые говорят, что хотя большевизм и плох, но еще хуже то, что наступит после его гибели, и что потому мы вынуждены защищать его, как меньшее зло». Так что основным аргументом оказывается не сочувствие загубленным жертвам «рассказывания» или расстрелянным священникам. Пугает то, что проводимая политика «вредна для дела». Но тогда в несколько другой ситуации, чтобы «не повредить делу», можно нащупать и другой выход — поддержать, затушевать слишком неприглядные черты, создать лучший образ в глазах общественного мнения. Это уже делает более понятным отношение западных либералов к Сталину. К тому же он для них несомненно находился «слева», а «слева не может быть врагов».

Остается трудный вопрос о том, как совместить гуманность и уважение к человеческой личности, присущие западному либерализму, с полной антигуманностью сталинского режима. Западный либерализм несомненно много способствовал распространению гуманности, представители именно этого течения боролись против процессов над ведьмами, за отмену пыток, укрепление всевозможных гарантий свободы личности. Однако все это относится лишь к жизни внутри общества, принявшего принципы прогрессивно-либеральной идеологии, гуманность никак не распространяется на остальную часть человечества. Это связано с важной чертой идеологии прогресса — гипнотической убежденностью в том, что она открывает единственный путь развития человечества. В следовании ей и заключается «прогресс» и цивилизация. «Прогрессивным» было в истории все то, что вело к созданию современного западного общества, только такие общества и составляют предмет истории. Других культур не существует — это лишь тупики на пути «прогресса» или даже препятствия «прогрессу».

На эту парадоксальную концепцию указывали, например, русский мыслитель Данилевский и английский историк Тойнби. По мнению последнего, она будет рассматриваться нашими потомками как исторический курьез. Подобный, например, письму китайского императора Чуэн Лунга английскому королю Георгу III, посланному в 1793 году. Император выражает удовлетворение прибытием британского посла, так как Китай всегда стремился к распространению просвещения, но выражает сожаление, что посол оказался совершенно неспособным к обучению церемониям и культуре. Таков был и взгляд египетских жрецов, даже в то время, когда над их страной уже сменилось ассирийское, персидское, македонское и римское господство. Тойнби считает его признаком окостенения и началом упадка цивилизации.

Западная концепция единственности исторического пути порождает понятия «передовых» и «отсталых», «развитых» и «развивающихся» стран. Только она оправдывает высказывания о том, кто от кого отстал и даже на сколько лет (например, Сталин утверждал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет»). Хотя, кажется, это никогда явно не формулировалось, но такая точка зрения предполагает исторический процесс одномерным. Но даже грубый материальный мир, по представлениям современной физики, не может быть описан при помощи трех измерений: требуется ввести четыре, десять или двадцать шесть измерений. А гораздо менее тривиальный мир истории предлагается мыслить одномерным! Интуитивно история представляется так, как если бы какие-то букашки ползли по веточке: одна букашка уползла вперед, другая от нее отстала. В одном месте от веточки ответвляется отросток, букашка свернула на него — это тупиковая линия развития.

Концепция исключительности западной цивилизации делает западную прогрессивно-либеральную идеологию совершенно глухой к любым трагедиям, разыгрывающимся в других цивилизациях, — эти цивилизации, с ее позиций, существуют как бы «незаконно», являются помехами на пути человечества к прогрессу. Поэтому Запад и способен соединять высокую гуманность внутри с крайней жестокостью ко всему, находящемуся вовне. Один из множества примеров — истребление переселенцами-пуританами североамериканских индейцев. Их натравливали друг на друга, скупая скальпы, им подбрасывали отравленную муку, травили собаками, устраивали на них облавы, расстреливали. (Один фермер — участник массового убийства в долине Моргана — вспоминает, например, что они не решались стрелять в детей из винтовок большого калибра, так как их разнесло бы в клочья, их убивали из револьверов смит-вессон.) И самое радикальное средство — распахивали прерии, служившие для кочевья (спустя несколько десятилетий деликатная, не приспособленная для пахотного земледелия почва прерий превращалась в пыль и в виде пылевого облака уносилась ветром в

океан). А в заключение уничтоженная цивилизация убивалась еще раз — духовно, вычеркиваясь из истории или входя в нее как тупиковая, обреченная на гибель линия развития. Если обратить внимание на эту сторону «прогресса», то окажется, что гораздо гуманнее были, например, центральноафриканские государства, где ежегодно в жертву богам плодородия приносилось всего несколько сот человек! И не вызывает никакого удивления, что западные либералы полностью игнорировали все зверства сталинского режима, бывшего для них лишь «блистательным историческим экспериментом».

Уже было отмечено, что технологическая цивилизация не несет в себе представления о своих границах — она неограниченно и агрессивно распространяется по земле. Так она стала проникать и в Россию, сначала в своем стандартном западном варианте: через обезземеливание крестьян, имущественное расслоение деревни, рост числа промышленных рабочих, строительство железных дорог, увеличение экспорта и включение в мировой рынок. Однако этот процесс наткнулся на глубокую укорененность, устойчивость крестьянской цивилизации. Для крестьян речь шла не просто о выборе более выгодной профессии — уход из деревни означал для них разрыв со всем, что придавало красоту и смысл их жизни. Он требовал от них отказа от всей системы, нравственных ценностей, жизни в мире, лишенном внутреннего смысла и морального оправдания. Глеб Успенский описывает впечатления крестьянина, ушедшего в город: «Он испугался этой голой работы из-за денег: ему трудно было жить без «своих», трудно работать без их поддержки». Потерпев неудачу, он возвращается: «Как ни изнурят, ни измучают его, но свои места, а главное — возвращение «к крестьянству», то есть земледельческому труду, вновь восстанавливает все его нравственные силы, уничтожает на его лице следы болезней, горя, негодования, — и вновь это лицо глядит спокойно, благомерно и приветливо...» Толстой много раз описывал судьбу крестьян, ушедших в город: алкоголизм, нищенство — для мужчин; публичный дом, смерть от сифилиса в больнице — для женщин. Что означает для крестьян разрыв с родной землей — описано и в «Прощании с Матёрой» В. Распутина. Но это уже эпоха, когда последний маленький островок деревенской жизни захлестывают волны технологической цивилизации, — можно представить себе, насколько сильнее звучал голос земли, когда крестьянская цивилизация еще не была подорвана.

В результате подчинение России стандартам технологической цивилизации тормозилось, а в ответ эта цивилизация создала образ России — «препятствия на пути к прогрессу человечества». Русские террористы вызывали сочувствие либерального общественного мнения Запада, а русские финансовые займы неизменно наталкивались на сопротивление. Дошло до того, что в первую мировую войну, когда русские солдаты массами гибли, спасая дело союзников, правительства западных стран Антанты вынуждены были оправдываться перед своими парламентами, что связали себя с таким реакционным режимом. А их послы в России систематически раскачивали этот режим, способствуя выходу из строя одного из главных своих союзников.

Давление технологической цивилизации: разорение значительного числа крестьян и разрушение общины, образование фермерских хозяйств, уход большей части населения в город — все это было тяжелым потрясением для крестьянской цивилизации. Возникло ощущение угрозы основным жизненным ценностям со стороны плохо понятного, невидимого врага, повысился уровень агрессивности. Это создало предпосылки для успеха второго, командного, варианта технологической утопии, по видимости диаметрально противоположного первому, опирающегося на возникшие в народной психике стрессы. Так и в этом случае успех одного из двух соперничающих вариантов проложил путь другому, по пословице: от волка бежал, да в болото попал.

Рассмотренный нами вопрос, относящийся, казалось бы, к прошлому, становится вновь актуальным сейчас, когда наша страна стоит перед выбором, от которого, возможно, зависит все ее будущее. Мы видим, сколько сил уходит на преодоление инерции командной системы. А если мы ошибемся в выборе и страна разгонится по новому пути — откуда взять силы, чтобы опять остановиться? В таком положении надо извлекать все что можно из опыта прошлого. Дает ли нам что-либо предшествующий анализ? Он заведомо не дает и не претендует дать одного: четкого указания на оптимальный путь развития, плана на будущее. У автора не только нет подобных предположений, но имеются серьезные опасения по поводу них в принципе. Мы очень при-

вышли в науке и технике к такому ходу решения задачи: идея — детальный план — модель или эксперимент — и, наконец, воплощение в жизнь. На этом чисто рационалистическом пути действительно создаются и заводы и атомные бомбы, но так никто не создал ни нового растения, ни животного. Жизнь творится какими-то другими путями, а история — это форма жизни. Чисто рационалистическое творчество история тоже знает, но так создаются утопии, а, по словам Бердяева, утопии обладают тем недостатком, что в наш век слишком легко реализуются. Органичные же изменения общества происходят, по-видимому, другим путем, более похожим на рост организма или биологическую эволюцию. Они не придумываются, а вырастают из жизни, и роль человеческой рациональной деятельности здесь главным образом в том, чтобы их угадать, угадать их значение и способствовать их укоренению.

Но другой, гораздо более скромный вывод из предложенного выше анализа, пожалуй, все же можно сделать. Это — призыв к отказу от взгляда на историю как на одномерный процесс. В сегодняшней ситуации такой взгляд выражается в виде утверждения, что для нас возможен лишь выбор из двух путей: назад — возврат к командной системе и вперед — максимальное приближение к западному образцу, повторение западного пути. Это вообще не выбор — Запад болен всего лишь другой формой болезни, от которой мы хотим излечиться. Оба пути ведут к одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу. Конечно, такой конец не предопределен, в обоих вариантах есть надежда найти какой-то выход, без нее невозможно было бы и жить. Но то, что является выходом для Запада, может не быть выходом для нас. В западной цивилизации, кроме бросающегося сейчас в глаза утопически-техницистского течения, заложены и громадные жизненные силы. Об этом свидетельствует и прекрасное искусство, созданное начиная с эпохи Возрождения, и глубокая и красивая наука. Там веками вырабатывались многообразные методы контроля и воздействия одних слоев общества на другие (хотя и отточена техника отвода глаз, психологической обработки). Наша история создала другие, во многом отличные силы, и наш путь должен опираться именно на них.

Призыв «догнать» представляется вообще весьма рискованным, если он относится к социальной области, а не к реальным бегунам. Попытка повторить чужое творчество (а история — творческий процесс) обычно приводит не к точной копии, а к продукции второго сорта. Лишь найдя какой-то свой путь, удастся обычно достичь того же или более высокого уровня.

Чтобы получить полноценную копию западного образа жизни (даже со всеми его недостатками и опасностями), надо иметь в качестве исходной точки их средневековые и прожить их последующий путь. Эти триста лет никаким способом нельзя сжать в тридцать. Если же копировать лишь некоторые результаты этого развития, то мы получим скорее всего нечто более похожее на Латинскую Америку, чем на США и Западную Европу. То есть колоссальный долг передовым странам (а он уже и сейчас не мал), разорение природы, вопиющее имущественное неравенство, терроризм и тоталитаризм. Параллельность утопических тенденций командной системы и западного общества дает возможность легко взаимодействовать созданным в них экономическим структурам, и грандиозные западные капиталовложения без тех защитных мер, которые Запад мучительно и долго вырабатывал, смогут окончательно разорить страну за несколько десятилетий.

Западный опыт, конечно, должен быть использован, но с большой осторожностью, не как образец, которого необходимо достичь. Надо мобилизовать опыт всех более органичных форм жизни: раннего капитализма, «третьего мира» и даже примитивных обществ. На Западе сейчас растет интерес к этим вариантам исторического развития — именно в поисках структур, которые возможно использовать для преодоления современного кризиса. В обширной литературе исследуется система ценностей в обществах «третьего мира» и в примитивных обществах — например, относительная ценность свободного времени и материальных благ, принципы отношения к природе, к традиции, воспитанию, культурная и религиозная жизнь этих обществ. Для нас же самой близкой и понятной является та крестьянская цивилизация, среди которой еще так недавно протекала жизнь наших предков. Вернуться назад к ней никак нельзя — в истории вообще возврат невозможен. Но она может стать для нас наиболее ценной моделью органически выросшего жизненного уклада, у которого можно многому научиться, и главное, космоцентризму — жизни в состоянии устойчивого социального, экономического и экологического равновесия.

Это раньше всех ощутила литература, как всегда, более чуткая. Таково, как мне кажется, происхождение феномена «деревенской» литературы и объяснение ее успеха. Причем успеха не только у нас, но и на Западе.

На «деревенскую» литературу возможны три точки зрения. Можно считать, что она представляет этнографический интерес как живописующая хоть и отошедшую в прошлое, но любопытную и своеобразную микрокультуру. Другая точка зрения была недавно очень ярко высказана в предисловии, написанном В. Солоухиным к вышедшей во Франции антологии «деревенской» прозы. Он пишет: «Эти люди, родившиеся в русской деревне, выросшие в ней и хоть немного помнящие, какой она была, прощаются, в сущности говоря, с родной матерью, оставаясь одинокими и беззащитными на холодном и беспощадном ветру истории». То есть речь идет о реквиеме, или, вернее, русском плаче, по прекрасной погибшей цивилизации и, следовательно, о литературе, обращенной в прошлое. Но возможна и третья точка зрения, примыкающая к изложенным выше соображениям. Искусство делает, казалось бы, невозможное: воскрешает крестьянскую цивилизацию — хоть и не в жизни, а в наших переживаниях. Мы соприкасаемся с нею и понимаем ее гораздо глубже, вернее, чем если бы пользовались любыми средствами социологии и этнографии. Нам открывается пример органичного, устойчивого общественного уклада, основанного на глубоком единстве человека и космоса: модель того уклада, поиск которого — глазная проблема современного человечества. Отсюда понятна притягательность и успех «деревенской» литературы — она указывает путь в будущее.

В заключение еще один беглый взгляд из более отдаленной перспективы на современный кризис. Он бесконечно обострился, приобрел взрывной характер в последние десятилетия, но корни его очень древние — это итог развития, длящегося десятилетиями тысячелетий. Усовершенствование методов охоты, переход от охоты к земледелию или от сохи к плугу, создание мощной искусственной ирригации, развитие промышленности — все это одна линия усиливающегося воздействия человека на природу. Этот процесс сопровождался постоянным ростом населения Земли. Очевидно, что оба процесса имеют естественный предел, к которому мы, по-видимому, приблизились. Столкновение с таким пределом и порождает экологический и демографический кризисы. Единственный возможный выход — перейти от развития, основанного на постоянном росте, к стабильному стилю существования. В частности, бэконовский принцип «покорения природы» должен быть заменен противоположным — «покорения техники». Но ведь это означает изменение всего характера жизни, смену основного вектора, характеризовавшего движение человечества по крайней мере с момента возникновения *homo sapiens*. Такого коренного, глобального перелома всего хода истории человечество еще не знало. В области экологии не видно даже и признаков конца переломного периода, выхода из того кризиса, который сейчас переживает человечество. Оно находится в самом его начале, мы только начали осознавать это. Социальным аспектом начальной фазы этого периода является и наша командная система, и утопическая линия развития позднего капитализма. Очевидно, что такой кризис захватит несколько веков, — таковы прогнозы и в области демографического кризиса (если, конечно, эти века будут нам даны, если человечество в принципе способно вписаться в равновесие природы). Вряд ли у нас сейчас есть хоть какие-то основания предугадать, как человечество выйдет из кризиса. Но, возможно, по крайней мере освободится от мертвых схем, которые не дадут этот выход увидеть. Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западного пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор.

А. МИГРАНН



## ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ДОМУ

В ЛАБИРИНТЕ

**В**ыступая на проходившем в начале второй мировой войны международном симпозиуме по проблемам свободы, итальянский философ Бенедетто Кроче бросил англичанам упрек в том, что на них ложится часть вины за безрадостное состояние, сложившееся в мире к тому времени (торжество фашизма во многих странах Европы, угроза его распространения по всему миру). Вину англичан Кроче видел в том, что они огнеслись к утвердившимся у них демократическим институтам и ценностям как к своему национальному достоянию и не попытались распространить их повсюду в мире. Выступление Б. Кроче в известном смысле было знаменательным. Оно свидетельствовало о заблуждении, укрепившемся в тот период у многих даже серьезных философов и политических мыслителей, насчет того, что демократическую политическую систему можно экспортировать. Как показали события 60-х годов, связанные с массовой деколонизацией бывших колоний в странах Азии, Африки и Латинской Америки, подобное заблуждение господствовало не только в области теории. Те же англичане на этот раз попытались реализовать его на практике. Дарованные колониям конституции, в основе которых лежали принципы английского парламентаризма, в большинстве случаев были немедленно отброшены: в освободившихся от колониальной зависимости странах тут же возникли правые или левые авторитарно-тоталитарные режимы.

Перед политической наукой встала серьезная проблема: требовалось выяснить природу демократического механизма и попытаться ответить на вопрос, какую последовательность надо выдерживать, создавая предпосылки для формирования демократической политической системы в странах, которые совершают переход от традиционных структур к индустриальным.

Политологи отмечают, что ни одна страна не смогла органично и безболезненно осуществить переход от традиционных абсолютистско-олигархических систем к демократии. Тут больше повезло Великобритании, Голландии и странам Северной Европы. В этих государствах необходимые процессы утверждения основных демократических ценностей и институтов происходили непрерывно в течение нескольких столетий. В Великобритании, например, борьба за защиту индивидуальных прав граждан и общества от произвольного вмешательства королевской власти просматривается по меньшей мере с XII века. Уже в XV веке Фортескью дал, может быть, первый в новой истории сравнительный анализ политических систем Англии и Франции, показав архаичный характер французского общества, качественный разрыв между двумя странами как в сфере благосостояния народа, так и в обеспечении прав и свобод граждан, в отношениях между обществом и государством. В XVIII веке эти выводы подтверждает Монтескье, показывая еще больший разрыв в уровне развития двух стран. Впоследствии Токвиль, анализируя французскую политическую, экономическую и социальную систему кануна Великой французской революции, говорит о том же самом.

Английская «славная революция» конца XVII века, оповестившая об окончательной победе гражданского общества над государством и провозгласившая торжество принципов либеральной демократии, ядром которой является имеющий общечивилизационное значение принцип обеспечения всей совокупности индивидуальных прав и свобод для отдельного индивида, — эта революция не начинала процесс демократических преобразований, а ставила в нем последнюю точку. Попытки же

французского общества из одного состояния сразу перескочить в иное, реализовать на практике некую абстрактно-рассудочную, умозрительную схему социальной организации, немедленно добившись счастья и свободы для всех на первом же этапе, после революции обернулись прямо противоположными результатами. Токвиль как-то заметил, что французские мыслители и революционеры забыли поговорку, известную в народе еще в XIV веке: попытка добиться свободы наибыстрейшим способом означает ступить на путь, ведущий прямо в рабство.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что переход Франции к демократической политической системе, начатый революцией 1789 года, практически продолжался вплоть до начала 80-х годов нашего столетия, когда произошло окончательное приращение последней крупной потенциально-антисистемной силы (блок социалистов и коммунистов), которая, придя к власти, цементировала и придала англосаксонский характер французской политической системе: устойчивый двухполюсный центр и узкие слои ультрарадикально настроенных групп на правом и левом флангах политического спектра. Для этого Франции потребовалось почти два столетия и немалое количество революций, диктатур, охлократий, смен различных монархических форм правлений на республиканские и обратно. Эти почти двести лет ушли на то, чтобы подготовить к демократии социально-классовую структуру, национальный характер, преобразовать обычаи и традиции, выработать соответствующую политическую культуру.

Некоторые весьма культурные народы Европы так и не смогли самостоятельно перейти к стабильной демократической политической системе. Так, сорокалетние попытки авторитарного кайзеровского режима в Германии приручить под сенью государственной власти в рейхстаге различные классовые и социальные интересы не дали ожидаемого результата, несмотря на высокий уровень экономического и культурного развития немецкого народа. Как мне представляется, не дали (об этом много и интересно писали М. Вебер и О. Шпенглер) прежде всего из-за особенностей национального характера, обычаев и традиций. После крушения в 1918 году авторитарной опоры в лице монархической власти под складывающимся в стране гражданским обществом Германия пережила период резкой социально-классовой поляризации сил, усугубленной мировым экономическим кризисом. Недостаточно глубоко укоренившиеся демократические ценности и институты, пересаженные на немецкую почву, не выдержали такой нагрузки. Резкая поляризация и радикализация общественно-политической жизни привели страну к хаосу, а затем — к национал-социализму.

Если англичанам и американцам из мирового экономического кризиса удалось выйти с серьезными изменениями в политической системе (особенно в США именно в этот период государство начало свое активное вмешательство в социально-экономическую жизнь с целью в какой-то степени компенсировать негативные последствия рыночных отношений), сохранив основные политические права и свободы отдельных граждан, то в Германии в силу вышеназванных причин недостаточно окрепшая демократия рухнула. В этой ситуации были возможны два выхода, два известных истории способа усмирения охлократических страстей и восстановления стабильности политической системы: либо левототалитарный режим сталинского типа, либо режим правоавторитарный, который не раз встречался в истории Франции XIX века. Однако на деле сложился режим, неизвестный до тех пор в практике мирового политического развития, включая Италию, потому что итальянский фашизм в его сущностных характеристиках ближе к обычным правоавторитарным режимам (франкистская Испания, Португалия, Греция, многие еще недавно существовавшие диктаторские режимы в Латинской Америке, Азии и Африке).

В Германии возник не авторитарный и не полностью тоталитарный, а своего рода правый тоталитарно-авторитарный режим. При тотальной регламентации политической и духовной сфер партийно-государственная власть Гитлера не пошла на такую же регламентацию в промышленности и сельском хозяйстве, не осуществила тотальное огосударствление собственности, что потребовало бы тотального отчуждения от нее граждан и превращения их в полностью зависимых от государства и его милостей рабов. Хотя в Германии функционирующий в рамках корпоративизма бизнес и был зажат в жесткие тиски фашистского партийно-государственного механизма, органические хозяйственные связи и довольно широкая сфера самодельности в экономической сфере сохранялись. За исключением этого (довольно существенно) элемента фашистская Германия и ее политическая система обладали всем набором признаков, которыми характеризуется тоталитарное государство.



## ТУПИК ТОТАЛИТАРИЗМА

Сравнивая авторитарно-тоталитарный и чисто тоталитарный режимы, я отвлекаюсь от вопросов об их социально-классовой и исторической оценке (с точки зрения «прогрессивности», устойчивости, соответствия конкретным потребностям общественного развития того или иного народа, степени «укорененности» в национальной истории и т. п.). Это важные, но другие вопросы. Меня же в данном случае интересуют достаточно абстрактные политические характеристики этих режимов и общая логика движения от них к демократии.

Тоталитарный режим формально допускает граждан в политический процесс, в реальности они оказываются полностью от него отчужденными. На каждом уровне управления страной власть сосредоточивается в одном центре (в руках отдельного человека или группы лиц). Исчезает грань между политической и неполитической сферами жизни, вся жизнедеятельность общества оказывается регламентированной, любая ее несанкционированная форма исключается. Исчезает проблема большинства и меньшинства — во всем требуется полное единогласие и единомыслие (любое инакомыслие карается законом, любое меньшинство запрещается). Формирование власти на всех уровнях осуществляется через закрытые каналы бюрократическим способом. Формально существующие негосударственные общественно-политические организации на деле превращаются в продолжение тех или иных органов государства, и их деятельность тоже в деталях регламентируется. Существенно при этом, что тоталитарный режим требует не пассивного подчинения и лояльности по отношению к себе, а активного проявления преданности и поддержки. Как правило, в таких режимах нет механизма преемственности верховной власти. Поэтому ее переход из одних рук в другие чреват политическими потрясениями, закулисной борьбой и дворцовыми переворотами.

Еще одна особенность тоталитарного режима требует пристального рассмотрения, особенно в свете развернувшихся за годы перестройки дискуссий о природе и социально-классовой основе сталинского режима.

Подобный режим в силу своей специфики не нуждается в социально-классовой опоре. Мало того, он проводит последовательное деклассирование общества. Разрушив все органические связи, атомизировав все общество, отчуждая всех от собственности и власти, данный режим затем уже каждого индивидуально подключает к общественной системе вне всяких горизонтальных или любых других несанкционированных связей. В результате общество из организма превращается в механизм, произвольно сконструированный властными структурами. На первый взгляд может показаться, что наличие групповых связей и включенность в различные коллективные связи, имевшие место в сталинский период и позже, противоречат утверждению об индивидуальном подключении каждого в общественную систему. Однако анализ этих связей делает очевидным их квазиколективный характер. Включение каждого в эти структуры носит не органически добровольный характер, а жестко предписывается индивиду. Напротив, вовлекаясь в те или иные действительно коллективные формы деятельности, отдельные индивиды получают возможность защищаться от произвольного воздействия государственной власти. По крайней мере так было при феодализме и при капитализме: разного рода союзы и ассоциации были промежуточными институтами, амортизирующими отношения между государством и отдельным индивидом. Однако при тоталитарном режиме эти «квазиколективы», в которые вмонтированы отдельные индивиды, призваны эффективно контролировать и регламентировать жизнь отдельного человека. Именно через них режим пробивает каждую клетку общества, детально регламентируя ее жизнедеятельность. Вот почему никогда в истории не было такого бессилия отдельного человека перед властью, как это имеет место при тоталитарном режиме. На каждом шагу и в любой сфере своей жизнедеятельности индивид оказывается один на один со всей громадой властных структур. Учитывая эту особенность тоталитарного режима, я считаю бесспорными дискуссии о том, какой класс или социальный слой был опорой сталинского режима.

История не знает пока ни одного примера мирного вращивания тоталитарной политической системы в демократическую. Немецкое тоталитарно-авторитарное государство было сломлено в результате военного разгрома, а демократические институты и ценности были навязаны Западной Германией Соединенными Штатами и их падлыми союзниками. Конечно, трудно переоценить роль внешней помощи в стабили-

зации западногерманского общества, восстановлении экономики и создании демократических политических институтов. Однако для быстрого укоренения этих институтов колоссальное значение имел тот факт, что разрушение корпоративной системы разомкнуло экономику, которая оказалась готова сразу же стать мощной опорой для новой политической системы. Видимо, поэтому после войны Западная Германия стала развиваться относительно безболезненно и очень эффективно.

Переход от «идеальной» тоталитарной системы к демократии нельзя осуществить мгновенно, скачком. При первоначальном разгосударствлении духовной, а затем и экономической жизни, по мере юридического оформления различных (негосударственных) форм собственности происходит усложнение общества, в котором быстро возникают многочисленные и конфликтующие интересы. Их поляризация и конфликт между ними увеличивают возможность хаоса и краха находящейся в стадии радикальной перестройки политической системы. Поэтому, пока будет идти сложнейший процесс формирования, оформления, упрочения гражданского общества в экономической и духовной областях, чрезвычайно важно, чтобы в политической сфере сохранилась крепкая авторитарная власть, которая на этом этапе допускала бы ограниченную демократию. В обществе, находящемся в переходном периоде, во избежание всяких иллюзий у народа необходимо, чтобы власти, проводящие реформу, во всеуслышание говорили о необходимости ограничения демократии и объясняли причины этого.

Вместе с тем авторитарная власть должна заниматься в этот период созданием демократического политического механизма, вовлекая в него представителей различных институтов гражданского общества, постепенно предоставляя им права и полномочия, но сохраняя за собой роль арбитра и корректировщика. Говоря иначе, задача авторитарной власти в политической сфере на данном этапе сводится к тому, чтобы обеспечить разрешение конфликтов интересов в обществе через легальные процедуры в созданных политических институтах публичной власти с тем, чтобы порядок легального решения конфликтов вошел в ткань политической культуры.

Если политическая практика не знает ни одного примера перехода к демократии от тоталитарно-авторитарных или «идеально» тоталитарных режимов путем реформ сверху (фашистская Германия, Япония, Италия), то к настоящему времени у нас есть достаточно много примеров перехода к демократической политической системе от авторитарных режимов (франкистская Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Бразилия, Аргентина и др.). Учитывая, что без более или менее длительного сохранения такого рода режимов пройти путь от тоталитаризма к демократии невозможно, считаю необходимым хотя бы вкратце охарактеризовать их особенности и сущностные черты, отличающие их от тоталитаризма.

Авторитарный режим возникает, как правило, в тех случаях, когда происходит слом старых социально-экономических институтов и поляризация сил в процессе перехода стран от традиционных структур к индустриальным. Практически все европейские страны на разных этапах своей истории прошли этап авторитарного развития. Например, в России этот этап начался с реформ Александра II и закончился февральской революцией. Многим странам, которым не удалось сразу перейти к действенной демократии, не раз приходилось пройти этот авторитарный период развития (Англия, Франция, Испания, ряд стран Латинской Америки и Азии и др.). Такой режим чаще всего опирается на армию. Она вмещивается в политический процесс для того, чтобы покончить с длительным политическим кризисом, с которым невозможно справиться демократическими, легальными средствами. В ряде стран авторитарные режимы (по крайней мере так было до сих пор) защищают интересы крупных промышленников и землевладельцев. Но в ходе проведения прогрессивных реформ с целью смягчения антагонизмов и облегчения процесса модернизации они могут иметь и широкую народную поддержку. Может показаться, что все это мало чем отличается от тоталитаризма. Такое впечатление может усиливаться, если учесть, что у двух типов режимов есть и другие сходные черты (например, современные авторитарные режимы тоже не имеют механизма преемственности власти, и ее передача происходит бюрократическим путем, нередко путем переворотов с использованием вооруженных сил и насилия). Но надо учитывать, что при авторитаризме не исключаются определенные элементы демократического режима: выборы, борьба политических партий в парламенте и др. Правда, политические права граждан и общественно-политических организаций сужены, серьезная легальная оппозиция запрещена,

политическое поведение как отдельных граждан, так и политических организаций строго регламентировано. Однако в отличие от тоталитаризма, когда любое инакомыслие и всякая легальная оппозиция объявляются вне закона, авторитаризм разрешает и определяет пределы допустимого инакомыслия и легальной оппозиции.

Это отличие очень существенно. Оно и подводит к ответу на вопрос, почему авторитарный режим в ходе своей эволюции способен более или менее безболезненно перейти к режиму демократическому, как это имело место за последнее десятилетие в Испании, Греции, Португалии и ряде других стран. Основная причина такого относительно безболезненного перехода — наличие при авторитаризме определенной сферы гражданского общества, свободной от тотальной регламентации со стороны политической власти, которая жесткой рукой подавляет конфликты в гражданском обществе только в периоды резкой поляризации социально-классовых сил.

Как показал недавний опыт политического развития в Испании, в ряде государств Латинской Америки, Южной Кореи, на Филиппинах, при относительно благоприятном экономическом и социальном развитии этих стран под сенью авторитарной политической власти противоречия между различными поляризованными социально-политическими силами, ранее казавшиеся непримиримыми, обычно преодолеваются. Это дает возможность образовать в рамках гражданского общества новый стабильный центр из различных социально-классовых сил и создать предпосылки для перехода авторитарной власти, находящейся, как правило, в руках военных (Латинская Америка, Южная Корея, возможно, скоро Чили), в руки гражданской администрации, которая может быть сформирована на основе демократических принципов организации государственной власти.

После такого краткого историко-политологического обзора модернизации политических систем я попытаюсь выяснить для нас более конкретные и животрепещущие вопросы: какова на сегодняшний день природа нашего политического режима? в каком направлении и с какой последовательностью мы должны модифицироваться, если хотим создать демократический режим, то есть правовое государство?

На мой взгляд, до середины 50-х годов политический режим в нашей стране был «идеально» тоталитарный. Тотальная регламентация охватывала все три важнейшие сферы общественной жизни: экономическую, политическую, духовную.

После XX съезда партии страна вступила в новую эпоху. Правда, в экономической и политической областях сохранился полный тоталитаризм, так как по-прежнему весь народ был отчужден от собственности и власти, эти сферы оставались полностью регламентированными. Но в духовной сфере произошли серьезные изменения. Когда прекратился тотальный террор против тех, кто мог хотя бы в мыслях отклоняться по тому или иному вопросу от официальной доктрины, в обществе возникло двоемыслие: одни идеи — для официального потребления, другие — для себя, друзей, домашних. Можно сказать, что в этой сфере воцарился классический авторитаризм — режим негласно заявляет о своей готовности не вмешиваться во внутреннюю жизнь тех, кто не выступает публично против власти и ее официальных догматов.

Размывание любого вида тоталитаризма в духовной сфере начинается именно с этого. Так было с христианством, когда в процессе секуляризации многие прихожане внутренне отпали от веры, но внешне остались при церкви. Так было и у нас. Последние три десятилетия были периодом подготовки духовных предпосылок перехода от авторитаризма к демократии. В это время наряду с официальной культурой (литературой, искусством, обществоведением) сложилась и стала развиваться неофициальная. Началась постепенная легализация многих ценностей как отечественной дореволюционной культуры, так и достижений человеческого духа вообще, которые по тем или иным причинам были изгнаны из официальной духовной жизни.

На каком-то этапе, примерно с середины 70-х годов, началось сближение этих двух потоков. Как запретные фамилии, так и произведения из сферы неофициальной культуры стали пробиваться в официальную. Деятели литературы и искусства, ученые, формально не допущенные в последние и не обласканные властью, пользовались большим уважением и популярностью, чем те, кто был официально признан. С повышением культурного уровня должностных лиц политической иерархии неофициальная культура и ее представители стали высоко цениться и негласно поддерживаться отдельными просвещенными аппаратчиками. И когда М. С. Горбачев в 1985 году провозгласил переход к политике революционной перестройки, в духовной сфере почва

для нее была готова. Можно сказать, что в этой области у нас в значительной степени уже сложилось гражданское общество, которое сразу же стало опорой нового курса, чего, к сожалению, не было в экономике и политике.

За последние три года мы практически перешли к ограниченной демократии в духовной сфере. Надеюсь, что в скором будущем будет сделан последний шаг и процесс демократизации этой сферы завершится.

Мы не смогли бы осуществить этот переход в духовной сфере, если бы у нас не начался переход от тоталитаризма к множественности в экономике, по крайней мере на уровне деклараций, научных разработок и законодательных актов. Процесс разгосударствления собственности и гражданского общества, складывание различных независимых от государства интересов и их правовое закрепление — это тот путь, по которому, видимо, нам придется идти до тех пор (может быть, не одно десятилетие), пока в отношениях между обществом и государством общественная собственность в кооперативно-ассоциированной форме не получит приоритет над государственной, а экономическая сфера в целом не освободится от жесткой опеки и регламентации со стороны государства.

Но для того чтобы данный процесс успешно продвигался в экономике, необходимо уже на нынешнем этапе осуществить серьезные шаги в сторону постепенного перехода к авторитаризму в политической сфере. Это сложнее всего, так как в данном случае необходимо осуществить двойное расчленение. Сначала предстоит придать партии динамизм, изменив организационные принципы формирования института партийных лидеров на уровне райкомов и выше, но при этом сохранить за ней (партией) авторитарные полномочия, роль высшего и последнего арбитра в политической системе. Вместе с тем необходимо вытащить из «чрева» партии государство, которое она «проглотила», замкнув на своих органах решение всех текущих административно-хозяйственных и социокультурных проблем, и начать создавать с нуля действительные органы государственной власти: законодательные, исполнительные и судебные.

Венгры и поляки по этому пути шли уже более тридцати лет. Китай почти десять лет проводит аналогичную модернизацию. Если в Венгрии эти реформы изначально целенаправленно велись под руководством Кадара и его единомышленников, то в Польше, к сожалению, этот процесс на разных этапах оказался выпущенным из рук реформистски ориентированных лидеров во многом из-за их непоследовательности и нерешительности. В результате в Польше процесс неоднократно подталкивался снизу, что в отличие от Венгрии не раз отбрасывало Польшу в политическом и социально-политическом отношении далеко назад. Но как бы там ни было, в этих двух странах почти одновременно мы наблюдаем конец авторитарного развития и мирный переход к полностью демократической политической системе.

Предложенная модель перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демократии в наибольшей степени может соответствовать модернизации политических режимов таких стран, как Венгрия, Польша и даже Китай. Политическая практика этих стран во многом подтверждает правильность данной модели перехода. Однако применительно к нашей стране в ней не хватает одного очень важного измерения, связанного с вопросом нашего государственного устройства, с точки зрения характера взаимоотношений между центральной властью и местными ее органами, в первую очередь между центральной властью и национально-государственными образованиями.

## ДВА ТИПА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Одна из важнейших проблем, с которыми сталкиваются те или иные страны при установлении демократической политической системы, — это проблема нахождения эффективных взаимоотношений между центральными инстанциями и местными властями. Эта проблема особенно остро стоит в федеральных политических системах, где элементами федерации являются самостоятельные государственно организованные административно-территориальные образования.

Товкиль, анализируя особенности политической системы Англии, США и Франции, в своей знаменитой книге «О демократии в Америке» отметил, что существуют два типа централизации: правительственная и административная. При правительственной централизации устанавливаются общие законы, касающиеся всех граждан, и определяется порядок отношения народа с другими государствами.

При административной централизации устанавливаются отдельные предписания, касающиеся только отдельных частей народа или отдельных проявлений социальной жизни.

То, что Токвиль называл правительственной и административной централизацией, мы могли бы назвать политической и бюрократической.

С точки зрения современной политической теории один тип централизации приводит к возникновению моноцентризма, к установлению деспотизма бюрократии, а другой тип — к установлению полицентризма в обществе и реализации плюрализма интересов. Не случайно поэтому один тип централизации — это путь установления тоталитарно-авторитарной власти, а другой — плюралистической политической системы.

Выделенные два типа централизации лежат в основе взаимоотношений между центральной властью и органами власти на местах как в рамках унитарных государств, так и в рамках федеративных систем. В демократических федеративных системах преобладающим принципом централизации является принцип правительственной централизации независимо от того, каким образом исторически сложилась та или иная федеральная система. Отношения между центром и местными органами власти вследствие этого носят не централизованно иерархический и бюрократический, а политический характер, не прямое, автоматическое, иерархическое подчинение нижестоящих органов власти вышестоящим. В результате демократические федеративные системы избегали до сих пор тех негативных последствий, что ведет с собой административная централизация. Конечно, федеральное правительство в подобных странах имеет большие возможности оказать влияние на отдельные элементы этой федерации, но для этого существует соответствующий политический механизм в сфере публичной власти, минуя который ни одно центральное правительство не в состоянии произвольно навязывать свою волю тем или иным частям федерации.

Наша федерация при формальном наличии внешних атрибутов государственной власти на местах на деле представляет собой пример законченной административной централизации.

Подобная централизация власти и стремление одним взглядом охватить из единого центра все, что происходит на одной шестой части земного шара, и из этого же центра детально регламентировать все формы жизнедеятельности приводят к известным всем печальным результатам.

Сейчас даже унитарные государственные образования, скажем, такие, как Франция и Италия и многие другие индустриально развитые демократические страны, идут по пути уменьшения административной централизации при максимальном расширении автономии и самостоятельности отдельных административно-территориальных единиц страны. Чем меньше ежеминутной внешней навязанности со стороны центральных органов власти, тем органичнее складываются связи между различными хозяйственными районами и регионами, тем эффективнее и органичнее происходит становление новых хозяйственных и культурных центров в масштабах страны. Наша федерация по уровню самостоятельности своих членов не идет ни в какое сравнение даже с этими унитарными государственными образованиями.

Разрушая старые институты и ценности, подвергая критике и ломке тоталитарный режим в различных направлениях, перестройка столкнулась, может быть, с наиболее сложной проблемой на своем пути в процессе демократизации нашей социально-политической системы — с необходимостью перестройки нашей федеративной системы. По существу, нам предстоит заново создавать нашу федерацию. Эту работу требуется совершить в сложных условиях, когда для людей, проводящих перестройку, уменьшаются возможности для маневра. Что я имею в виду?

## РЕФОРМЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В нашей стране на первых порах возникли и продолжают расти как численно, так и организационно и институционализироваться различные интересы гражданского общества. Эти интересы и институты в принципе управляемы. Однако за последнее время в нашем обществе при еще первых робких шагах в сторону авторитаризма в политической и экономической сферах возникают интересы, которые как по своим масштабам, так и по силе воздействия на процесс модернизации и перестройки не были учтены в вышеизложенной схеме перехода. Речь идет о национальных интере-

сах. Формирование этих интересов приобрело резкое ускорение и придало процессу перехода еще более непредсказуемый характер. Не регламентируемые государством оформившиеся структуры общества, выражающие национальные устремления в ряде республик, подмяли социально-экономические интересы. Процесс дифференциации по социально-экономическим линиям во многих регионах страны сопровождался более энергичным процессом интеграции по национальным линиям. Происходит поляризация между центром и отдельными регионами и фактическое подталкивание руководства, проводящего реформу сверху, из центра, к принятию непопулярных, недемократических мер в прямо противоположном по отношению к целям перестройки направлении. Это не только ослабит весь процесс перестройки, но и заставит с еще большей оглядкой принимать очередные решения по демократизации социально-экономической и политической жизни страны. Может возникнуть угроза того, что вся созидательная сила властей, проводящих реформу, будет направлена на смягчение, примирение и в конце концов подавление конфликта разнонаправленных национальных интересов. В итоге вместо движения к правовому государству мы можем быть отброшенными далеко назад даже по отношению к застойным годам нашей истории. В сфере национальных отношений у нас так же мало культуры, как и вообще в политической сфере, в понимании и принятии основных неотъемлемых прав и свобод для отдельного индивида. Преобразовывая и перестраивая наши федеральные структуры, регулирующие межнациональные отношения, мы нуждаемся в особой ответственности и мудрости интеллигенции и лидеров самостоятельных объединений, представляющих национальные интересы.

К сожалению, мне представляется, что и у руководства страны, осуществляющего реформу, нет отчетливого концептуального проекта перестройки для отдельных республик и регионов, что ставит центр заранее на оборонительные позиции, когда приходится отвечать на уже брошенные вызовы с мест. Думаю, что и здесь не должно быть уравниловки. Республиканский (или региональный) хозрасчет не может быть введен одновременно везде. Еще опаснее стараться добиваться одних и тех же темпов и результатов в разных регионах. Для принимающих ответственные решения в этой сфере должен быть очевидным тот факт, что Эстония и Туркмения имеют разные исходные позиции и в разном социокультурном контексте подошли к настоящей фазе модернизации. Совершенно очевидно, что некоторые республики и регионы страны вполне готовы стать зонами новых подходов и решений. В этих зонах будут формироваться необходимые звенья механизма подключения нашей страны к мировой хозяйственной системе. Трансформируясь сами, они будут оказывать подталкивающее воздействие на остальные регионы нашей страны, способствуя модернизации их социально-экономических и политических структур. Эти регионы, по существу, должны стать локомотивами по вытягиванию с помощью западной техники, технологии и денег, относительно высокой культуры рабочей силы и наличия необходимых ресурсов остальных территорий из застоя и стагнации.

Нелегкие проблемы сулят вопрос о судьбах культуры в процессе перестройки. Уже первые годы модернизации показали, что официальная советская культура, достаточно обветшавшая за последние три десятилетия, но некогда монопольная и сложившаяся в некую наднациональную структуру, «национальную по форме и социалистическую по содержанию», превратилась в некую коллекцию национально окрашенных, но бессодержательных, пустых фикций. Кризис этой культуры, которая худо-бедно на определенном этапе нашей истории подпирала и в какой-то форме прикрывала самодовлеющую силовую структуру, которая стягивала воедино все нации и народности нашей страны, создал новую ситуацию. В результате усиливается процесс культурного изоляционизма наших народов и возникает угроза глухоты друг к другу не только в экономической, но и в духовной сфере.

Правда, если наша культура и вся духовная сфера действительно были бы отлиты целиком из пустых и бессодержательных форм официальной культуры, возможно, что результатом их дезинтеграции стало бы абсолютное отчуждение заполненных национальным содержанием культур наших народов. Однако, к великому нашему счастью, за последние почти тридцать лет переход от тоталитаризма к авторитаризму заложил основы не только для возникновения неофициальной культуры, не только способствовал созданию субкультур на социальной почве. В оппозиции к официально транслируемой культуре из центра в республиках ростки национальных субкультур начали естествен-

ный процесс взаимодействия и взаимообогащения с другими национальными субкультурами. Происходит и возрождение наднационального религиозного сознания. Этот процесс, к сожалению, в силу объективных обстоятельств недостаточно продвинулся. Сейчас при росте центробежных тенденций он может быть смят, что будет иметь губительное последствие для всех народов нашей страны, так как усилится угроза непонимания между ними. Это будет означать, что со снятием идеологического каркаса исчезнет главное, сцепляющее общество воедино. Задача сторонников модернизации в этой области — нахождение и активное закрепление в обществе, помимо ростков сложившихся органическим путем универсальных духовных и культурных ценностей для всех наций и народностей нашей страны, еще и иных, более действенных транснациональных ценностей и целей (как, например, весь круг экологических, миротворческих интересов и других подобных), которые могли бы противостоять мощным центробежным тенденциям, способствовать консолидации нашей многонациональной страны на труднейшем этапе перехода от тоталитаризма к демократии.

Только сочетание умелых и мудрых решений как сверху, так и со стороны руководителей национальных фронтов и других самостоятельных объединений относительно безболезненно приведет к переходу от сверхцентрализма к нормальной федерации с политическими отношениями между центром и местными органами власти. Одновременно будет происходить переход от официальной советской культуры к культуре, базирующейся на множестве и разнообразии национальных субкультур. Если мудрости, терпения и ответственности не хватит, все эти центробежные тенденции на местах непосильным грузом лягут на хрупкие структуры, на которых держится весь процесс перестройки и модернизации.

### ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Политическая система нашей страны в процессе своего становления и развития претерпела ряд метаморфоз. Свертывание личных прав и свобод и институтов развитого гражданского общества в послереволюционной России к 30-м годам привело к поглощению как индивида, так и общества государством. Подобное развитие событий было громадным шагом назад по сравнению даже с политическими системами буржуазных стран, где начиная с английской революции XVII века происходит процесс закрепощения человека, обретения им неотчуждаемых индивидуальных прав и свобод, а гражданское общество через свои институты обретает контроль над государством и подчиняет государство обществу. Но если в истории человечества были примеры поглощения индивида и общества государством как в полисных системах античности, так и в эпоху абсолютизма в Европе и в России, то при развитии нашей политической системы у нас сложилось такое устройство, которое не было известно в истории никогда. Утвердившись в масштабах страны начиная от района и выше и замкнув на себе решение всех важнейших вопросов экономической, социальной и духовной жизни, партийные органы фактически поглотили государство. Власть в обществе на каждом уровне оказалась сосредоточенной в одном органе, в одних руках, партийный суверенитет подмял под себя верховенство народа. Долгие годы подобное аномальное состояние в политической системе рассматривалось как нормальное и даже отвечающее требованиям политической теории марксизма. Ситуация усугубилась тем, что, назвав сложившуюся политическую систему социалистической и отмахнувшись от всего ценного, что человечество накопило в процессе государственного строительства, мы перестали нуждаться в теоретическом обосновании и узаконении существующей политической системы. В итоге тоталитарный политический режим с отчуждением народа от власти и собственности был объявлен высшей формой демократии. Это привело практически к полной ликвидации сферы публичной власти, в роли которой чисто формально продолжали выступать Советы на разных уровнях. Подобные явления в политической системе не могли не отразиться катастрофическим образом на экономике, социальной и духовной жизни общества. Современная экономика, ориентированная на рентабельность, учет и контроль, на рациональные способы хозяйствования, не могла не испытать разрушительного воздействия неповоротливости политической системы с произволом начальников и чиновников, ориентированных на сохранение сложившихся структур. Низкий уровень политической культуры общества, закрытые каналы связи между властью предрежания породили чиновничество и расцвет клиентельных отношений, коррупцию и деформации в общественной морали и нравственности. Все эти факторы в совокупности

гоставили страну в предкризисное состояние и создали реальную угрозу для ее дальнейшего существования как великой державы. Ухудшение ситуации в экономике, социальной, духовной сферах, изменения в международных отношениях, когда все новые и новые страны становятся на путь более динамичного и эффективного развития, были осознаны новым руководством партии, которое нашло в себе смелость смотреть на ситуацию трезвыми глазами и наметить пути реформы экономической и политической системы.

### СОВЕТЫ И РЕФОРМА

Мне представляется, что главная задача нашей политики на данном этапе — анализ возможных сложностей, которые могут возникнуть при проведении реформы, и тех имманентных противоречий, уже заложенных в послереформенной политической системе, которые могут развиваться в нежелательную для целей перестройки сторону под влиянием объективных и субъективных факторов.

В происходящей реформе политической системы в концептуальном плане сосуществуют два прямо противоположных принципа, два потока. С одной стороны, мы ставим задачу превратить Советы в полновластные, эффективные, профессиональные органы законодательной власти, тем самым предполагая воссоздать эту отрасль власти, которая у нас была сведена практически к нулю. Этот принцип требует отказаться от идеи неотчужденности власти от производителя и непрофессионального характера законодательной власти. Тем самым мы делаем первые шаги в сторону возврата на магистральную дорогу государственного строительства и использования достижений человечества на этом пути. С другой стороны, мы не в силах отказаться окончательно от дорогой нам идеи, что Советы могут и должны быть одновременно (!) и законодательными, и исполнительными, и распорядительными органами. Тем самым в сфере политической теории по проблемам организации механизма власти мы остаемся на уровне Марковского понимания кратковременного опыта Парижской коммуны, реализация которого в принципе невозможна в условиях неполитической системы, игнорируя, по существу, наш собственный богатый опыт. История последних семи десятилетий показывает, что реализация этой модели «непосредственной демократии» в форме имеющихся у нас Советов привела к тотальному отчуждению народа от власти и к господству ничем не ограниченной, не избранной народом административно-управленческой иерархии в обществе. Беспокоит то, что в предлагаемой программе реформы политической системы опять не предполагается осуществления разделения властей между профессиональной сферой законодательной власти и столь же профессиональной сферой исполнительной власти. Вместо этого в рамках Советов мы снова создаем иерархическую структуру власти, при которой исполнительная власть подчинена законодательной, а законодательная в значительной степени — партийной. Получается, что мы пытаемся провести разделение функций между различными сферами властей, не проведя институционального их разграничения. При нынешней, дореформенной системе, при урезанных функциях и полномочиях Советов вся полнота власти де-факто сосредоточена в одном институте — в партийных органах соответствующего уровня, а наша политическая система лишена механизма сдержек и противовесов. Учитывая номенклатурный характер назначений и продвижений и практически отсутствие публичной сферы в партии, нетрудно увидеть, что власть сосредоточивается в руках первых секретарей на всех уровнях, а это приводит к установлению неограниченной и абсолютно бесконтрольной власти по всей иерархии партийно-государственной системы. Так как наше общество с лихвой испытало на себе последствия подобного сосредоточения власти в одних руках, совершенно очевидно, что при реформе политической системы необходимо создать определенные гарантии для предотвращения повторения нашего печального опыта. Однако если мы проанализируем возможные последствия институциональной реформы, то сразу же обнаружим, что, отказываясь от принципа разделения властей между законодательной и исполнительной, мы практически де-юре закрепляем то, что существовало в нашей политической системе де-факто. Избрав первого секретаря партийного органа председателем соответствующего Совета, мы тем самым сосредоточиваем в его руках всю полноту партийно-государственной власти. В политической системе не остается института, который имел бы независимую и самостоятельную базу собственной легитимизации и на этой основе обрел возможность играть роль противовеса Советам. Все сторонники совмещения двух должностей говорили о той благотворной роли, которую сыграет процедура выбора первого секретаря председателем Совета и тем самым поставит его под



контроль Совета. Так ли это? Во первых, на данном этапе и при предложенном механизме реформы, когда только Верховный Совет будет состоять (отчасти) из постоянно действующего корпуса профессионалов, получающих зарплату за свою деятельность, депутаты всех остальных Советов окажутся материально зависимыми людьми, очень уязвимыми для любого давления со стороны администрации их постоянного места работы. Во-вторых, при сохранении нынешнего соотношения между партией и государством, когда она на всех уровнях занимается подбором и расстановкой кадров, депутатами в значительном числе случаев будут избраны те люди, которые окажутся легкоуправляемыми. В-третьих, при нынешней системе выборов, когда возможен отзыв депутата со стороны избирателей в любое время, это тоже окажется дополнительным оружием, с помощью которого депутат будет держаться в повиновении. Наконец, и это самое главное, если даже предположить, что депутаты во всех Советах действительно независимы, очень строго подошли к кандидатуре первого секретаря при избрании его председателем, то все равно получается так, что вне Совета в политической системе нет другого института на любом уровне, который мог бы в какой-то степени уравновесить силу и влияние председателя Совета.

Практически при такой системе организации власти народ, может быть, в несколько меньшей степени, чем раньше, но останется отчужденным от политической системы.

Мне представляется, что возвращение в нашу политическую систему такого института, как съезд Советов, — это романтическая дань нашему прошлому. Идея прямого представительства общественных организаций, на мой взгляд, позитивна, но не на уровне съезда, а прямо в Верховный Совет. Наличие съезда Советов как промежуточного звена между избирателями и Верховным Советом делает выборы в Верховный Совет косвенными, многоступенчатыми, а следовательно, отчужденными. Я пишу эту главу за месяц до съезда народных депутатов. Невозможно прогнозировать, как он пройдет, как решится трудная задача выборов в Верховный Совет. Ведь нужно, чтобы в состав этого двухпалатного парламента попало из 2250 депутатов равное число представителей как от территориальных избирательных округов, так и от национально-государственных и национально-административных образований. Далее, я думаю, что нам следует пересмотреть характер взаимоотношений между депутатом и электоратом. Депутат должен быть свободен и независим в своей профессиональной деятельности, чтобы самому решить, в каких вопросах он должен жестко стоять за интересы своих избирателей, а когда можно жертвовать их интересами ради интересов общества в целом. И наконец, независимость и стабильность положения депутата требуют отказа от архаичной системы досрочного отзыва депутата (кроме случаев совершения противоправного действия). При свободных выборах и борьбе различных кандидатов и программ, если избранный кандидат не проявит себя в сфере впервые образовавшейся в нашей политической системе публичной власти, то на очередных выборах электорат сможет выбрать другого, тем самым исправив собственную ошибку. Лучше терпеть одного-двух по ошибке попавших в высший законодательный орган депутатов, чем всех держать на все время срока их полномочий в уязвимом положении. Тем более что пока в обществе есть могущественные силы, которые смогут использовать возможность досрочного отзыва депутата, чтобы, оказав давление на избирателей, добиться отзыва не в меру ретивых и независимых избранников народа.

### КУДА МЫ ИДЕМ?

Нам волей-неволей придется думать, куда же в конечном итоге может вывести нас политическая реформа. Наше преимущество на данном этапе заключается в том, что мы не являемся первопроходцами на этом пути, каковыми мы были еще совсем недавно. На магистральном пути движения к представительной демократической политической системе человечество выработало, по сути дела, две основные политические системы и одну промежуточную. К первым относятся английская парламентская и американская президентская системы, а ко второму — французская президентско-парламентская система. В результате нашей политической реформы должна родиться политическая система, обеспечивающая на деле максимальное вовлечение масс в политический процесс и учет их интересов в процессе принятия политических решений.

Учитывая промежуточный характер нашей реформы и особенности нашего политического режима, я полагаю, что наиболее подходящей системой для нас мо-

жет быть президентская, с четким институциональным разделением властей. Эта система в наиболее полной форме была реализована в США при создании американской республики. «Отцы-основатели» отказались от парламентской системы, потому что в английской парламентской системе разделение властей претерпело определенную модификацию. Задолго до американской революции в Англии исполнительная власть в лице правительства назначалась королем и источником его легитимизации был король, а палата общин как законодательная власть противостояла исполнительной власти и имела в лице народа другой источник своей обоснованности. Такое противопоставление двух властей наряду с независимостью суда создавало эффективный механизм сдержек и противовесов и препятствовало сосредоточению всей полноты власти в одних руках. Однако при развитии партийной системы в Англии эволюционировали и отношения между королевской властью и парламентом. Произошла модификация как системы разделения властей, так и механизма сдержек и противовесов. С одной стороны, парламент, назначив исполнительную власть из представителей победившей партии, как бы отнял часть прав главы государства, оставив ему чисто представительные и ритуальные функции, однако перенес в большей степени контроль за деятельностью исполнительной власти внутрь самого парламента, в первую очередь в лице депутатов от оппозиционных партий. Некоторые контрольные функции над правительством сохранились также за королевской властью.

Таким образом, хотя вроде бы основой легитимизации правительства является парламент, но часть парламента, состоящая из представителей неправящего меньшинства, выступает в роли оппозиции к исполнительной власти. Это сохраняет в политической системе механизм сдержек и противовесов. Теперь уже не весь парламент противостоит королевской власти в лице его администрации, а часть парламента и сама королевская власть противостоят исполнительной власти и препятствуют сосредоточению в одном центре всей полноты власти.

Отказ американцев от сложившейся ко времени их революции английской институциональной системы объясняется тем, что «отцы-основатели» хотели избежать образования в молодой республике политических партий, которые, конкурируя друг с другом, привели бы к фрагментации общества, обострив противоречия между различными политически оформленными интересами, в конечном итоге стали бы источником неэффективной организации политического процесса, где частные интересы оказались самодостаточными и доминировали бы над общими. В конечном итоге все это могло бы привести к краху политической системы. Именно по этой причине, стремясь сохранить единство американского общества вокруг некоторых основополагающих ценностей либеральной демократии и одновременно пытаясь избежать узурпации всей полноты власти со стороны какого-либо класса или же социального слоя и сосредоточения всей полноты государственной власти в одном институте, «отцы-основатели» при создании политических институтов пошли по пути рассредоточения исполнительной и законодательной власти таким образом, чтобы каждая из этих властей имела бы свой независимый и равный по силе источник легитимизации. Прямые выборы электоратом лидера исполнительной власти уравнивают в силе весь законодательный орган — конгресс, где совокупность всех депутатов в сенате и палате представителей имеет за своей спиной как источник легитимизации совокупность всего электората страны. Хотя США не удалось избежать участи Англии и других стран и там появились политические партии, однако сложившийся механизм сдержек и противовесов не претерпел существенных изменений. Не вдаваясь подробно в рассмотрение характера взаимоотношений между президентской властью и конгрессом, отметим лишь, что при сложившейся в США системе степень независимости конгрессмена от своей партии гораздо выше, чем в любой другой парламентской системе. Несмотря на особые отношения между президентом и представителями своей партии в конгрессе, все же можно сказать, что весь конгресс в целом как часть государственной власти противостоит исполнительной власти. Вместе с верховным судом на федеральном уровне они создают механизм сдержек и противовесов.

Выбирая стратегию реформы нашей политической системы, мы должны исходить из того, что, как уже отмечалось выше, приняв парламентскую систему за основу в том виде, как она функционирует в странах Запада, нам не удастся добиться разделения властей и механизма сдержек и противовесов, если в рамках законодательных органов не будут участвовать представители неправящих оппозиционных партий. В концепции реформы предполагается прямое представительство одной трети делегатов от общест-

венных организаций, которые в какой-то форме могли бы стать независимым голосом при решении тех или иных вопросов или при контроле за деятельностью администрации. Однако подлинных, самостоятельных, самоуправляемых и саморегулируемых общественных организаций пока что не существует в нашей стране. А то, что раньше да и сейчас иногда называется общественными организациями, на самом деле является продолжением то ли государственных, то ли партийных структур в различных сферах жизни общества. Их роль могла бы быть эффективной, и они, вероятно, стали бы той институциональной основой, через которую плюрализм интересов мог бы быть перенесен в сферу обсуждения и принятия политических решений, однако при условии их прямого представительства в постоянно действующем Верховном Совете в качестве, скажем, третьей палаты. Одна палата состояла бы из представителей территориальных избирательных округов, чему соответствует нынешний Совет Союза. Вторая палата представляла бы национальные республики и крупные административно-территориальные образования РСФСР, Украины, Казахстана, а в третьей палате могло бы быть представлено гражданское общество в лице институционализированных экономических, социальных, профессиональных, экологических и иных интересов общества. Необходимо создать условия, при которых происходит не просто внешнее разделение функций между различными органами власти, а на самом деле осуществляется разделение властей и каждая из них получает собственный источник легитимизации в лице своего электората. При этом необходимо особо рассмотреть роль партии в этой новой политической системе.

### ПАРТИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА

Требует глубокой проработки вопрос о новой роли партии в политической системе. Фундаментальным направлением реформы, как было отмечено выше, является отделение общества от государства, а государства, в свою очередь, от партии. В предложенной же системе этого отделения не просматривается ни на данном этапе, ни в обозримом будущем. Можно предположить, что Советы будут сами вырабатывать политическую линию и принимать самостоятельно законодательные решения, обязательные для исполнительных органов. В таком случае действительно центр тяжести в выработке политической линии переместится в Советы и действительно лидер Совета — представитель партии — будет в центре принимаемых решений. Но возникают вопросы: а чем же будет заниматься партийный орган? какие функции сохранятся за ним? Можно предположить, что за ним останутся функции подбора и расстановки кадров, функции политического просвещения, функции контроля и т. д. Но совершенно очевидно, окажется, что первый секретарь со своим аппаратом будет контролировать первого секретаря во главе Совета, которому подчиняется исполком. Создание сферы публичной власти и преодоление отчуждения между массами и институтами власти сделают ненужными многие так называемые просветительские и воспитательные функции. Политическая культура вырастает не в результате лекции о политической активности и культуре, а в самом процессе активного вовлечения масс в решение ключевых вопросов общества. Что касается подбора и расстановки кадров, то совершенно непонятно, каким образом может осуществиться реформа политической системы как в Советах и исполнительных органах, так и в партии, если не будет разрушена номенклатура в той форме, в которой она имеется и что обычно называется подбором и расстановкой кадров. Противники номенклатуры решительно выступают против способа занятия этих ключевых постов членами номенклатуры. Если сохранится номенклатура в старом смысле этого слова, то практически центральная задача политической реформы — преодоление отчуждения между народными массами и органами власти — не будет выполнена. По заранее составленным спискам на разных уровнях будут перемещаться по вертикали и горизонтали партийно-государственные функционеры за спиной общественности по различным этажам административной пирамиды. Если партийные органы будут сохранять за собой право снятия с должностей и исключения из партии тех или иных должностных лиц в советских или административно-хозяйственных органах, то реформа политической системы не имеет никаких шансов продвинуться ни на йоту. Ни одна из названных проблем в отношениях между партийными и государственными органами не получила должного прояснения.

Мне представляется, что динамизм политической системе можно придать, только осуществив действительно разделение партийных, законодательных, исполнительных и судебных властей, расширяя при этом сферу публичной власти как в государстве, так

и в партии. При этом нужно трезво осознавать переходный характер нынешнего периода, понимать, что мы не сможем перейти без серьезных катаклизмов и катастроф к многопартийной системе, так как такой переход в стране без достаточной политической культуры, явно выраженного и осознанного согласия (консенсуса) по ключевым ценностям и институтам общества между различными социальными, национальными, религиозными, культурными и иными интересами может привести к неминуемому краху и развалу имеющейся политической системы, вместо которой для усмирения конфликтующих интересов может возникнуть еще более жесткая тоталитарная диктатура... Однако правящая партия и высшее руководство, которые поставили перед собой эту титаническую, беспримерную в истории человечества задачу перехода от тоталитарного режима к демократии сверху, должны осознать, что по мере демократизации сосредоточенная в партийных органах вся полнота власти должна быть своевременно расщеплена среди вновь создающихся институтов политической системы, а не сохраняться в тех же руках, только лишь изменив конфигурацию различных элементов политической системы. Нет никакой необходимости, чтобы партийные органы одновременно выступали во всех ипостасях: разрабатывали политику и законодательно ее оформляли, реализовывали ее и контролировали ход ее реализации, делали все ключевые назначения. Для этого вполне достаточно на переходном этапе сохранение за партией ряда наиболее ключевых, но не очень свойственных до сих пор для нее функций и задач. Помимо выработки политической программы для развития страны, ей предстоит на данном переходном этапе создание независимых органов власти — законодательных и исполнительных, которые, получив политическую программу от партии, самостоятельно должны превращать эти программные установки в законодательные нормы с определением конкретных направлений деятельности, которые затем должны быть реализованы исполнительными органами. В самом деле, партийные органы, обладая всей полнотой власти, не нуждаются в том, чтобы проникать внутрь законодательных и исполнительных органов иначе, чем просто через членов партии. Только дистанцируясь от вновь создаваемых политических институтов, можно, во-первых, дать им возможность обрести самостоятельность, опыт, действенность и, во-вторых, примирить конфликты и противоречия, возникающие как внутри этих новых органов, так и между ними. Эта новая роль партии ответственна и огромна. Она действительно должна стать авангардом нашего общества.

При этом КПСС весь труднейший период перехода к демократическому политическому режиму сохраняет свою роль гаранта стабильности политической системы. Совершенно очевидно, что отсутствие политической культуры и консенсуса по базисным ценностям и целям нашего общества, которые пока что недостаточно оформлены и выражены, вместе с желанием представителей различных групп с наибольшим рвением проталкивать свои интересы могут привести к возникновению конфликтов и противоречий, тем более что не все группы и интересы общества могут быть представлены в законодательных органах. В этих условиях роль партийных органов должна заключаться в примирении этих конфликтов и противоречий с учетом интересов общества в целом.

Партийное руководство начало процесс перестройки, и партия сегодня — единственная сила, которая в состоянии руководить этим процессом. Но могут ли партийные органы успешно выполнять эту сложнейшую задачу, сами оставаясь неизменными как в функциональном, так и в структурно-организационном плане? Для этого необходимо уже на этапе перехода осуществить достаточно радикальные шаги с целью преодолеть сложившуюся систему отчуждения как народных, так и в данном случае партийных масс от власти.

Функциональные перемены в деятельности партийных органов вносят уже сами процессы демократизации, поворот страны к экономическим методам хозяйствования, что сокращает возможности вольного или невольного административного вмешательства в советскую работу, оперативно-распорядительную деятельность хозяйственников, в сферу культуры. Что касается организационно-структурных перемен, то, на мой взгляд, целесообразно прежде всего изменить порядок избрания первых секретарей райкомов и горкомов.

Эти выборы, по моему мнению, должны быть прямыми, с участием всех членов партии и носить соревновательный характер при выдвижении на каждом уровне неограниченного числа кандидатов от первичных партийных организаций или же групп коммунств. Каждый кандидат должен представлять конкретную программу развития района,

города, исходя из стратегической линии на перестройку, разработанную партией. Такая система выборов, во-первых, сделает сферу выработки конкретных программ и решений жизненно важных вопросов для жителей города, района открытой для обсуждения и даст возможность выбрать наиболее приемлемые альтернативы, разрушив сложившиеся закрытые каналы продвижений. Во-вторых, она сделает эффективным контроль партийных масс над избранными руководителями, а также укрепит силу и власть последних над аппаратом.

Конечная цель перестройки — переход к демократии — может быть достигнута только тогда, когда эффективно заработают законодательные органы, в рамках которых притрутся друг к другу в конструктивном диалоге и сотрудничестве представители различных реальных интересов в обществе. До тех пор, пока не будет уверенности в том, что сложившаяся политическая система способна самостоятельно и эффективно функционировать, патерналистский, авторитарный характер власти партии необходимо сохранить в нашем обществе во избежание фрагментации политической системы из-за борьбы множества противоречивых интересов, что может привести к краху политической системы.

Мировой опыт успешной модернизации сверху показывает, что силы, ставящие перед собой задачу революционизировать общественную систему, должны обладать очень сильной властью для принятия радикальных решений на высшем уровне власти и для последовательного твердого проведения их в жизнь. Авторитарная природа политической власти на переходном этапе тем самым впервые приобретает конструктивный, созидательный характер, так как направлена на преодоление механизма торможения. Без сильной власти в высшем звене или основном институте политической системы невозможно надеяться, что механизм торможения не пустит под откос все благие намерения и решения. «Просвещенный авторитаризм» в нашей политической системе, похоже, станет той основой, под сенью которой дозревают все необходимые предпосылки для перехода к полностью демократическим формам организации и функционирования нашего общества.

### КРИЗИС ВЛАСТИ?

Выделив в общем виде возможность и последовательность этапов перехода от тоталитарных режимов к демократии в начале статьи, считаю необходимым предложить собственную версию, почему, вступив в зону перехода к авторитаризму, мы до сих пор все-таки не в состоянии вырваться из тупика тоталитаризма и осуществить решительный прорыв вперед. Мне кажется, что на данном этапе перестройка буксует из-за особенностей властных структур, сложившихся за последние десятилетия застоя. Они заключаются в следующем: если для сохранения системы в неизменном виде деперсонифицированная власть номенклатуры есть идеальное средство, то эта же безличная власть становится колоссальной помехой для реформы. Так называемое коллективное руководство является идеальным средством для сохранения застоя и стагнации. Именно поэтому ни одна динамично функционирующая политическая система не пользуется подобным инструментом власти. Опыт модернизации и реформы в Китае, Венгрии и Польше подсказывает, что необходимость успешной реформы требует персонифицированной сильной власти на вершине номенклатурной пирамиды. Эта персонифицированная сильная власть должна быть несколько дистанцирована от высшего звена пирамиды и в то же время опираться на это звено, состоящее из единомышленников, разделяющих общую концепцию реформы и ее последовательности, которая имеется у высшего реального носителя власти. Одним словом, требуются реальный и сильный политический лидер и «его команда» на вершине пирамиды власти. Но и этого недостаточно, чтобы высший руководитель имел необходимую свободу для маневра при проведении политики реформ. Помимо традиционной легитимизации власти высшего руководителя по линии номенклатуры, он нуждается в опоре на широкие слои народных масс, активные и энергичные силы в обществе, которые могут стать субъектами или движущими силами реформы. Для успешного продвижения реформы необходимо, чтобы эти силы могли самоорганизоваться в параллельных структурах и одновременно могли бы быть вовлечены в формальные, властные структуры для давления на номенклатуру снизу. Давление сверху, со стороны высшего руководителя, который прочно опирается на силовые структуры (армия, государственная безопасность, министерство внутренних дел), и высшего звена номенклатуры, поддержанное давлением снизу тех сил и интересов, которые приведены в дей-

ствие этими несколькими годами «раскачивания лодки», могут создать благоприятные возможности для того, чтобы решения верхов были подхвачены низами и в результате давления как сверху, так и снизу были реализованы промежуточными структурами номенклатуры.

Попытаюсь проанализировать причины, по которым сегодня буксует перестройка и наблюдается анемия верховной власти.

Мне кажется, что длительный кризис верховной власти объясняется именно тем, что за годы перестройки все еще не удалось вычленить персонифицированную власть в лице высшего руководителя из всех властных структур. Нет уверенности в том, что ниже верховного руководителя имеется созидательное единство высшего звена номенклатуры по стратегическим вопросам перестройки. Именно по этим причинам пока еще не удалось принять ни одного серьезного решения. Все решения, принятые за последние годы высшим руководством, хотя и имели верную направленность, но в окончательном виде оказались половинчатыми или же обставлялись оговорками, которые сильно ослабляли их влияние. Это в равной степени относится к двум таким ключевым законам, как Закон о государственном предприятии (объединении) и Закон о кооперации. Таким образом, с одной стороны, нет отрыва высшего звена от остальных властных структур для давления на них сверху, но с другой, что чрезвычайно важно для дальнейшей судьбы перестройки, — нет каналов подключения к формальной политической системе всех тех интересов и структур, которые оформились за годы перестройки. Номенклатурная структура не получает должного воздействия снизу, через легальные каналы и параллельные структуры. Между высшим звеном власти, ориентированным на радикальные преобразования, и активными и динамичными низами пока что связь оказалась довольно надежно заблокированной. Если попытаться подытожить, почему мы качаемся, но не двигаемся с места, то следует отметить, что в обществе не сложился союз необходимых сил сторонников перестройки и согласованных действий между ними. Конфликт и противостояние в обществе пока что происходят под прикрытием призывов к полному единству. Разрыв между высшим звеном власти и массами не преодолевается и с помощью средств массовой информации, хотя последние активно способствуют перестройке. Как уже отмечалось выше, нет законных гарантий ни для параллельных структур низов, ни для независимости печати. В итоге мы оказались в ситуации, когда старые структуры и механизмы уже не работают, новые еще не созданы, а там, где они созданы, работают неэффективно. В результате всего этого общая социально-экономическая и политическая ситуация постоянно ухудшается. Ни одна политическая система не может в таком подвешенном состоянии долго функционировать. При длительном сохранении подобной ситуации наиболее вероятны два выхода: или откат назад, к доперестроечному периоду, со всеми вытекающими отсюда последствиями силового решения сложившихся противоречий, или выход ситуации из-под контроля вследствие дальнейшего ухудшения социально-экономического положения страны, поляризации и радикализации массового сознания. Мирный, эволюционный путь может оказаться отброшенным, и общество вступит в полосу социальных катаклизмов с непредсказуемыми результатами. Время, оставшееся для того, чтобы верхи без сильного давления снизу имели определенный простор для маневра, проводили курс реформ, держа инициативу в своих руках, неумолимо сокращается. В самое ближайшее время придется принять какие-то решения, которые позволят избежать как отката назад, так и падения в пропасть.

В этой связи представляют громадный политический интерес итоги прошедших в стране выборов. Очень важно разобраться, найти правильный ответ на вопрос, насколько они изменят характер сложившихся властных структур нашего политического режима.

### УРОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

После 26 марта в нашей стране ощутимо пробиваются сильные, жизнестойкие ростки политической жизни. Страна получила политическое измерение жизни. Это то измерение, где на законных основаниях сталкиваются интересы и получают какое-то разрешение и гармонизацию. Эти выборы носили особый характер еще и потому, что мы впервые за годы советской власти создаем сферу публичной политики. Однако выборы, проведенные сразу в высший орган власти в такой относительно демократической форме, показали, как мне кажется, и недостаточную подготовленность социально-экономической и культурной жизни общества. Это таит в себе угрозу опасного потенциального конфликта для судеб перестройки. В обществе еще не сложились, не

окрепи самостоятельные, разгосударственные сферы жизнедеятельности. В этих сферах не проявились естественным образом различные интересы, и они не получили институционального оформления. Поэтому в качестве кандидатов в депутаты во многих случаях выдвигались люди, или выражающие интересы номенклатуры (которая сама сейчас далеко не однородна, но тем не менее эти кандидаты относительно управляемы), или же лица, которые выступали с антиноменклатурных позиций, но при этом не имели за собой и не имеют пока что каких-либо более или менее серьезно оформленных интересов. Это может привести к дальнейшей поляризации сил как в высшем эшелоне номенклатуры, так и между номенклатурой и этими депутатами.

Санкционируя создание политического измерения, официальные власти оказались неготовыми принять то, что сами инициировали. Отсюда и те многочисленные большие и малые кризисы, которые то и дело возникали в процессе подготовки и проведения выборов.

Первые кризисы возникли при регистрации кандидатов в депутаты. Партийно-государственный аппарат оказался неготовым принять и реализовать то, что сам решил. Итоги всем хорошо известны: во многих случаях на кандидатов оказывалось давление. В большинстве окружных избирательных комиссий отсекались лица, которые по тем или иным причинам были негодными, нежелательными, неуправляемыми. Апофеозом всего стало выдвижение кандидатуры Б. Н. Ельцина и последующие за этим события вплоть до решения Пленума ЦК о создании комиссии по рассмотрению поведения коммуниста Ельцина. И здесь возобладало старое представление о порядке решения подобных несанкционированных действий со стороны членов партии. Дело в том, что есть определенный неписанный закон, сложившийся еще в эпоху Сталина в рамках нашего режима и гласивший, что если какой-то партийный руководитель, особенно на высоком уровне, в чем-то провинился и его осудили, он уже политический труп. И когда кандидатуру Б. Н. Ельцина выдвинули по самому престижному в стране Московскому национально-территориальному округу и он на это согласился, то с точки зрения старой аппаратной логики многим показалось, что Ельцин играет не по правилам. Потому что это не вписывается в логику нашей прежней политической жизни и номенклатурных отношений. С точки зрения аппарата проштрафившийся человек не должен без санкции аппарата претендовать на высокие должности и почести.

То, что сделал Ельцин, было совершенно неожиданным, не укладывалось в наши традиции, и поэтому, как показали итоги мартовского Пленума, даже члены ЦК и высшее руководство партии к этому оказались не готовы.

Вкратце коснусь еще одного вопроса. За что голосовали избиратели? Совершенно однозначно, что избиратели часто голосовали против партийно-государственного аппарата. А вот за что? Возможно, что за надежду. Но за что они голосовали реально? Как мы уже говорили, у многих кандидатов программы недостаточно четко сформулированы. И во многих избирательных округах население проголосовало против существующей ситуации. Тем самым оно показало, что готово к каким-то изменениям. Многие из выдвинутых секретарей обкомов, горкомов и т. п. оказались забаллотированы. Это означает, что избиратели ясно дали понять, что за сложившуюся ситуацию в экономической и социально-культурной жизни в стране ответственность несет аппарат. Это совершенно логично. Но есть еще один очень важный вопрос. Многие говорят, что население проголосовало за перестройку. Ответить на это очень сложно. Проголосовало ли население за перестройку? Как общество на самом деле относится к нынешнему руководству и к ходу перестройки? Выборы показали, что народ недоволен результатами перестройки. Он не согласен ни с темпами, ни с ходом перестройки, и это совершенно очевидно. Подобное настроение в народе создает действительно взрывоопасную ситуацию. Я эти выборы, с одной стороны, воспринимаю как шаг вперед, к демократизации политической системы. Труднее предположить, с другой стороны, какие шаги должны быть предприняты, чтобы закрепить позитивные итоги выборов и предотвратить возможный откат ситуации к исходным, если не к более худшим временам. Создание нового Верховного Совета — очень важный шаг в сторону взаимного освобождения государства и партии, но этот же шаг означает открытие дополнительного политического напряжения в условиях, когда общество еще не отделилось от государства и даже снизу не созданы структуры, которые могли бы стать опорой для этого важнейшего государственного органа. Отсекая от Верховного Совета многих функционеров, выборы показали реальное отношение народных масс к ним. Не исключена возможность, что функционеры попытаются взять реванш. По-

этому ситуация после выборов не только не прояснилась, но стала еще более напряженной. Что же произойдет дальше? Сегодня мы наблюдаем известную заторможенность власти. Ни одно решение не оказывается полностью реализованным. Это говорит о том, что создалась некая конфигурация, которая не позволяет принять властное решение. Есть номинальный лидер с выдающимися качествами, с большим желанием реализовать реформу. Может ли номинальный лидер стать полновластным? Мне кажется, что и съезд народных депутатов и в особенности постоянный Верховный Совет могут столкнуться со старыми механизмами власти. Вполне может возникнуть ситуация, когда всерьез относящийся к своей роли Верховный Совет вступит в конфликт с прежними структурами. Тогда роль лидера партии и одновременно Председателя Верховного Совета еще более усложнится. В реальности переход власти к Советам, и прежде всего к Верховному Совету, будет происходить в трудностях и борьбе. Ветвь властных структур замыкается сегодня на партии. Необходимо осознать, что Верховный Совет — это росток демократической государственности, он не имеет пока иных опор в обществе, кроме неоформленных и неорганизованных масс народа. Однако обращение прямо к народу в ситуации конфликта может быть губительным для судьбы перестройки. Опыт французской и российской революций показывает, что прерванная сверху революция массовым включением низов в этот процесс и радикальные действия по общественному переустройству, когда для этого не созрели необходимые предпосылки, кончаются морем крови самого народа и установлением еще более жестокого и тиранического режима, чем было до начала этих революционных действий снизу.

Популярность М. С. Горбачева сегодня по сравнению с первым и вторым годами перестройки упала. Он был и есть политический лидер с определенными харизматическими качествами. В эти первые годы он проявил себя как народный лидер. Его манера объяснять, уговаривать очень близка народным массам. На самом деле он большой политик, который понимает реальный уровень масс населения и работает именно с этим уровнем, работает достаточно эффективно. Рост популярности и успех у народа подобного лидера возможны на определенном отрезке времени, если он выступает в роли только лишь ниспровергателя ненавистного прошлого и обещает вместо этого создание более привлекательного будущего. Однако этого недостаточно для постоянного подкрепления популярности и массовой поддержки без позитивных результатов. Лидеры нуждаются в успехах, хотя бы небольших. Они усиливают его авторитет и влияние на массы. И, напротив, отсутствие успехов сводит на нет или же уменьшает в значительной степени возможность вести за собой массы. Еще одна особенность положения Горбачева не работала на рост его популярности и влияния. Он сам, будучи не в оппозиции к существующей политической системе, а формально возглавляя за эти несколько лет партийно-государственные властные структуры, очутился в достаточно драматической ситуации. Он практически оказался один в двух ролях: и Лютера и папы римского. С одной стороны, он бросает вызов номенклатурным структурам и хочет разрушить, изменить их, а с другой стороны — олицетворяет в глазах общественности эти структуры. И конечно же, неудачи, отсутствие ощутимых успехов за прошедшие годы вследствие неповоротливого функционирования партийно-государственных структур работают не на усиление его роли как лидера, а наоборот. Все это, вместе взятое, оказало, как мне кажется, определенное воздействие на изменение общих настроений у широких масс. Ожидания быстрых результатов и их отсутствие вызвало чувство неудовлетворенности и раздражения, страстного желания каких-то ощутимых изменений и конкретных результатов, чувство нетерпеливости. Кроме того, массы людей оказались в психологическом отношении в дискомфортном состоянии. Разрушение старых мифов отняло у них представление некой целостности жизни, в которой они пребывали. Вместо отнятой целостности они не получили другой и, не выработав ее самостоятельно, остались во внутреннем разладе с самими собой. В итоге у них сложилась примерно такая картина их жизни: прошлое позорно, настоящее чудовищно, а будущее неопределенно, непредсказуемо. В подобном психологическом состоянии массы готовы принять любого лидера, который скажет: «Я знаю, что надо делать и как надо делать». И мне кажется, что феномен Ельцина и итоги выборов в Москве объясняются во многом подобным психологическим состоянием народа. Б. Н. Ельцин оказался человеком, вокруг которого первоначально создали миф сами партийно-государственные структуры на октябрьском Пленуме 1987 года. Из него сделали мученика и героя — человека, который один борется за народные ин-



тересы. Этот образ он закрепил во время избирательной кампании, так как в центре его программы стояли очень простые и понятные для народных масс вещи — против привилегий, за равенство, социальную справедливость. И во всех этих выступлениях антиаппаратный, антиноменклатурный пафос. Я бы назвал Б. Н. Ельцина таким неолевельским лидером, центральным пунктом выступлений которого является то, что в общем-то было лейтмотивом всех большевиков как до, так и после революции, — призыв вернуть народу награбленное. Логика очень простая: партийно-государственный аппарат присвоил себе квартиры, дачи, машины, больницы, блага и т. д. — мы должны все это взять, перераспределить. Те настроения, которые сделали Ельцина популистским лидером, очень опасны. В 1917 году мало кто воспринимал большевиков всерьез, но ситуация, которая стремительно ухудшалась, делала их шансы все более и более реальными. И в конечном итоге это привело к тому, что люди, которые в принципе не знали, как надо решать сложнейшие проблемы общества, вместо этого предлагая некий набор очень простых и примитивных, доступных для общества квази-решений, оказались у власти. Сегодня феномен Ельцина заставляет политическую систему модифицироваться таким образом, чтобы преодолеть паралич власти и консолидироваться вокруг лидера. Нельзя упускать из виду, что если всего этого не произойдет, то дальнейшее ухудшение общего положения в стране еще больше расширит круг «решительных» людей, которые готовы будут поддержать любого лидера, если тот пообещает систему простых, быстрых и эффективных решений под лозунгом социальной справедливости. Подобные лидеры не смогут модернизировать систему, они смогут ее только разрушить. Уже наша революция показала, что перераспределение — еще не окончательный результат социальной революции. Необходимо, чтобы в обществе создавались определенные структуры, готовые взять на себя полномочия властных органов, необходимо знать, какие рычаги должны быть задействованы и с какой последовательностью, чтобы увеличить общий объем производимых благ в обществе. Иначе путь на перераспределение имеющихся благ — это тупиковый путь в грядущее новое рабство. Очень скоро оказывается, что уже нечего перераспределять. А дальше... террор, репрессии...

Жизнь требует от руководства партии, которое начало реформу и продолжает ее осуществление (и прежде всего от М. С. Горбачева), принятия более серьезных и радикальных мер, чтобы приостановить падение его авторитета, чтобы перехватить инициативу, находящуюся сегодня в руках номенклатурных структур и радикально настроенных групп и лидеров.

Необоснованные и порой чрезмерные требования «больших скачков» приводят к резкой поляризации и напряжению, что чревато выходом процессов модернизации из-под контроля и управления. Когда поляризация доходит до угрожающей степени, а одновременно в обществе оказываются в непримиримом конфликте сверхрадикализм и безответственное поведение низов наряду с бездейтельностью и нерешительностью сил, осуществляющих реформу, может быть осуществлен государственный переворот со стороны тех сил, которые затем будут мотивировать насильственную остановку процесса модернизации желанием восстановить закон и порядок в обществе и покончить с угрозой сползания страны в хаос.

В переходный период, который мы переживаем, для центральной власти, ставшей перед собой исторические задачи, слишком большая роскошь столь длительное время плестись в хвосте событий, отвечая лишь на вызовы, да к тому же с огромным количеством ошибок и с большим опозданием. Сегодня судьба перестройки и успех модернизации главным образом зависят от того, удастся ли в самое ближайшее время преодолеть анемию высшей власти, укрепить общепризнанный авторитет и сильную политическую волю в центре, чтобы твердо держать инициативу в своих руках и последовательно проводить реформы во всех направлениях. Иначе опять придется с грустью констатировать, что был прав Чаадаев, утверждая, что в нашей стране нет исторической памяти, потому что мы начинаем каждый день с чистого листа и потому обречены на то, чтобы повторять одни и те же ошибки.

---

С. С. АВЕРИНЦЕВ



## «НО ТЫ, СВЯЩЕННАЯ СВОБОДА...»

*Отзвуки Великой французской революции  
в русской культуре*

**И**на дворе 1789 год, тот самый,— но до шумных парижских улиц очень далеко. Перед нами Москва — широко, немного по-деревенски раскинувшаяся на холмах и в низинах, вся в золоте своих куполов и крестов, такая православная, такая патриархальная столица. Москва, облик которой еще не изменен пожаром 1812 года; на каждом шагу — воспоминания допетровской поры.

В вельможном доме Петра Александровича Соимонова галерея празднично освещена множеством маленьких свечей. Эту иллюминацию устроила дочь хозяина дома Софья, которой нет еще и полных семи лет,— умная, впечатлительная, не по годам развитая девочка. Отец удивлен — что это она выдумала? Он многое спускает с рук своей любимице, однако хочет знать: по какому поводу зажжены свечи? И девочка отвечает: «В честь взятия Бастилии и освобождения бедных заключенных!»

Нет, читатель, эта девочка не станет сочувствовать идеям якобинцев. Понятливая собеседница такого яростного оппонента Революции, как граф Жозеф де Местр, Софья Петровна, в замужестве Свечина, войдет в историю католицизма XIX столетия; ей придется по причине религиозных убеждений покинуть Российскую империю, и в ее парижском салоне десятилетиями будет собираться весь цвет тогдашней католической умственной элиты: либералы Монталамбер и Лакордер, традиционалист Доносо Кортес и прочие. Пути душ не так-то просты. Но и этот путь в цепи причин и следствий связан с Революцией, хотя и парадоксально. Революция занесла Жозефа де Местра в Россию; да ведь и самый феномен проведенного через рефлексию, претворенного в идеологию или антиидеологию воинствующего консерватизма, какой являет собой его мысль, без опыта Революции невозможен. В дореволюционной Франции, в дореволюционной Европе голоса энциклопедистов и Руссо звучали, вызывая время от времени бессильные полицейские меры или столь же бессильные нападки, но никем или почти никем по существу не оспариваемые. Лишь по эту сторону черты, раз и навсегда проведенной 1789, 1793 и 1794 годами, оказался возможен содержательный спор между идеологией — и антиидеологией, между утопией — и антиутопией. Это спор, все новые глубины которого непрерывно разверзаются, составляя драматическую интригу умственной жизни в продолжение последних двух веков,— и конца ему не видно. Для удобства злободневной полемики Революция предпочитала видеть в своих оппонентах людей вчерашнего дня. С гораздо большим правом она могла бы, напротив, утверждать, что сама заново создала своих оппонентов, разбудила их, вывела из исторической инерции, принудила их привести в порядок свои резоны.

Что до ребенка, благодаря которому тогда же, в 1789 году, состоялось первое российское празднование взятия Бастилии,— он мог, разумеется, выбирать позднее между самыми различными путями. Один только путь с той минуты был для него закрыт: быть «как все».

«Освобождение бедных заключенных» — ничего не скажешь, детская душа сразу попала в точку, угадав центральную тему русской жизни и русской культуры на

ближайшие два века. Почти через год после взятия Бастилии, не без причинной связи с паникой, вызванной французскими событиями, последовал арест Радищева за его книгу, представлявшую собой (как и сама Революция) радикальное приложение рас-судка Просвещения и слезного пафоса сентиментализма к общественному быту. По пути в ссылку Радищев написал с неожиданным мрачным юмором:

Дорогу проложить, где не бывало следу,  
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,  
Чувствительным сердцам и истине я в страх  
В острог Илимский еду.

И он попал в точку. Дорога была проложена для многих, смельчаки «и в прозе и в стихах», как выразился он с наивной угловатостью старинного слога, находились вновь и вновь. Это тоже — один из архетипов русской культуры. Примерно через столетие Короленко скажет, что каждому русскому писателю у врат рая будет задан вопрос: сколько лет он отсидел за правду? А его современник, известный литературовед С. А. Венгеров, напишет труд со знаменательным заглавием: «Героический характер русской литературы». От самого ареста Радищева, через все ссылки Пушкина, через солдатчину Полежаева и каторгу Достоевского — к расстрелу Гумилева и лагерным писательским судьбам нашего века идет одна линия.

Поэт — для русского восприятия прежде всего мученик. Как оплакано русской Каменной, от Пушкина до Маддельштама, изгнанничество Овидия! Но Овидий — жертва императора Августа; его судьба недостаточно трагична, ибо непричастна высшему трагизму, рождающемуся из проблематики Революции, из бездн ее внутренних антиномий. В связи со всем этим один образ двухсотлетней давности приобретает для русской поэтической традиции, основанной Пушкиным, совершенно особое, ни с чем не сравнимое значение. Это образ лучшего поэта революционной Франции, поэта-гражданина, вдохновленного Революцией и Революцией казненного, сложившего голову под самый конец Террора, как жертва за всех, после поглощения которой — вспомним античные легенды — бездна закрывается, — образ Андре Шенье. Андрея Шенье, как его по нормам своего времени называл Пушкин, а некоторые поэты нашего века — Мандельштам, Цветаева — в подчеркнутом следовании примеру Пушкина. Это русское имя — Андрей, русская культура словно усыновила его.

Как известно, творчество и судьба Шенье только в 1819 году впервые стали достоянием читающей публики в самой Франции и за ее пределами. И уже через шесть лет, в год восстания декабристов (1825), Пушкин пишет большое стихотворение «Андрей Шенье». В это время по всей Европе лились слезы по только что умершему Байрону; однако Пушкин, для которого Байрон значил так много, отворачивается от его тени, чтобы последовать зову тени Шенье — еще бы, ведь она сошла в мир теней «с кровавой плахи», да еще «в дни страданий». В центре стихотворения — монолог Шенье перед казнью. Авторский голос Пушкина неразлично сливается с голосом его героя (что подчеркнуто введенной в монолог пушкинской автоцитацией). Для такого слияния нет смысловых помех, ибо позиция Шенье, с большой краткостью и выразительностью разъясняемая в пушкинских примечаниях к стихотворению, для Пушкина непосредственно близка. Он явно не видит ни малейшего противоречия в том, что может представиться политическому мышлению безнадежно противоречивым. Поэт, просто потому что он — поэт, не может не любить Свободу, в том числе и тот гражданский аспект Свободы, который Революция провозглашает как императив.

Приветствую тебя, мое светило!  
Я славил твой небесный лик,  
Когда он искрою возник,  
Когда ты в буре восходило.  
Я славил твой священный гром,  
Когда он разметал позорную твердыню  
И власти древнюю гордыню  
Развеял пеплом и стыдом...

Он радуется посрамлению «гордыни» власти, радуется тому, что дан отпор «самовластию». Но когда король низвергнут и победители готовят ему расправу, поэт, просто потому что он — поэт, не может не перестать видеть в нем короля и врага. Не может не увидеть в нем человека. «Известно, что король спрашивал у Конвента письмом, исполненным спокойствия и достоинства, права апеллировать к народу на

вынесенный ему приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлено Андреем Шенье», — выписывает Пушкин из А. де ла Туша. А в стихах:

Когда святой старик от плахи отрывал  
Венчанную главу рукой оцепенелой,  
Ты смело им обоим руку дал,  
И перед вами трепетал  
Ареопаг остервенелый.

Гильотина была названа «преступной секирой» еще в юношеской оде Пушкина «Вольность» — стихотворении, как известно, сугубо мятежном. Ибо для поэта невозможно дать согласие своей воли на казни — и это не из филантропической сентиментальности, а потому, что самая душа поэзии, то есть та же Свобода, несовместима с духовной атмосферой, распространяемой казнями. Такова вера Пушкина.

Столетием спустя Мандельштам, добиваясь помилования нескольких человек, приговоренных к смертной казни, пошлет Н. И. Бухарину свой поэтический сборник с надписью: «Каждая строчка этих стихотворений говорит против того, что вы намереваетесь сделать». Он этим отнюдь не хочет сказать, что его стихи как-то особенно филантропичны по своим темам, — как не был сентиментальным и Пушкин, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке «Памятника»: «И милость к падшим призывал». Поэзия не может дышать воздухом казней. Уживаться с этим воздухом, а значит, составлять с ним одно целое может только «литература» в специфическом, одиозном смысле слова. Поэзия в субстанциальном акте казнит казнь — и постольку казнит «литературу». Мандельштам в период своей жизни, следовавший за упомянутыми хлопотами, вспомнит: «Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил». Вот насколько верна себе, насколько цельна и непрерывна традиция русской культуры от Пушкина до Мандельштама. Были, конечно, русские поэты, отступавшие от пушкинского исповедания веры; самый большой из этих апостатов — Маяковский, которому никак не откажешь в величии. Но готовность славить насилие есть самоубийство самой поэзии, за которым последовало физическое самоубийство поэта...

Для Цветаевой, еще одной наследницы этой пушкинской традиции, образ Шенье в годы гражданской войны абсолютная парадигма:

Андрей Шенье взошел на эшафот,  
А я живу — и это страшный грех.

Мы должны запомнить: то, что мы назвали пушкинским исповеданием веры, было изначально сформулировано в связи с опытом Революции и не без оглядки на пример Шенье, как этот пример понял Пушкин; возвращение к Пушкину было снова и снова возвращением к Шенье. Смысл монолога Шенье у Пушкина можно выразить в двух фразах: порыв к Свободе как идеальный импульс Революции не может быть скомпрометирован ничем, даже Террором, но Террор должен быть осужден именно ради сохранения этого импульса. Шенье критиковал Революцию не извне, а изнутри, исходя из ее принципов, на ее собственном языке, пережив первые радости ее прихода, вовсе не отрекшись от них после всех разочарований. Это придает его критике в глазах Пушкина моральную силу, а его примеру — значимость. И за Пушкиным последовала в его пиетете перед Шенье русская поэтическая традиция вольнолюбия. Не певец авторитаризма, но певец Свободы имеет слово в споре о Революции — в том споре, который был начат Революцией и не кончается, в котором не произнесено окончательного вердикта.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*Из истории русской общественной мысли*

В. В. РОЗАНОВ



## РУССКИЙ НИЛ

Однажды мне встретилась книга: «Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы... Собрал и дополнил А. В. Смирнов... Гор. Владимир, 1899». Верно, этот Смирнов перерыл тьму газет и журналов, выискивая имена своих земляков, собирая их «жития», чтобы для памяти потомкам и прославления земли владимирской утвердить дела и помыслы своих сородичей, запечатлеть в истории свою родину. Есть такие книги и для других губерний.

Если бы возродилась прерванная традиция составления таких словарей землячеств, то словарь Волги стал бы богатейшей энциклопедией: Карамзин, Гончаров, Языков, Радищев... И как бы далеко ни уходил человек от своего гнезда, паступает возраст, когда он неодолимо повертывает свой взор в ту сторону, откуда он вышел. «И вот почти в старости, — пишет Розанов, — мне захотелось пережить «опять на родине», пережить этот трогательный сюжет многих русских поэтов».

Он, однако, вышел не с берегов Волги. Розанов родился в дальнем углу лесного костромского края — Ветлуге. В этот уезд с молодой женой пришел писмоводителем его отец, Василий Федорович, не захотевший продолжить дело своего родителя — сельского священника. Он умер молодым, тридцатидевятилетним человеком, оставив сиротами восемь малолетних детей, после чего вдова его возвратилась в родной город — Кострому. Случилось это в 1861 году, когда Васе Розанову было около пяти лет. Розановых тут ожидала полуннищета, а детей — полное сиротство. После смерти матери в июле 1870 года Василий поступил под опеку старшего брата Николая. Здесь, в доме матери у Боровкова гряда, родилась розановская душа; здесь находился источник «творчества» Розанова — остальное было для него только «образованием». Отзвуки костромской жизни слышны в его автобиографических книгах: «Уединенное» (СПб. 1912), «Смертное» (СПб. 1913), «Опавшие листья» (СПб. 1913; Пг. 1915, 2 «короба»). Эти воспоминания, точно «касания перстами открытых ран», были зачем-то нужны ему, если он выносил их в печать: «Я вышел из мерзости запустения, и так и надо определять меня выходец из мерзости запустения». Автобиографические страницы в «Русском Ниле» имеют свою жанровую условность («фельетон для газеты»), но зная другие источники, биограф многое раскроет в недолгом, незаметном, но таком важном периоде жизни Розанова в Костроме.

«О мое страшное детство...

О мое печальное детство...

Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной...

«Больное-то дитя» и любишь...»

Но это — на закате дней.

Симбирск же был для Розанова «духовной» родиной. Свою отроческую жизнь здесь он описал ярко, с большой памятью о событиях и о тех тончайших движениях, какие обнаруживает душа, когда у нее «растут крылья». Биография Розанова стоит на «трех китах», на трех сваях. Это его три родины: «физическая» (Кострома), «духовная» (Симбирск) и, позднее, «нравственная» (Елец).

Следующая волжская стоянка путешественника Розанова была непродолжительной. Он мало говорит о ней. А рассказать ему было что. В Нижнем Новгороде он закончил гимназический курс и навсегда покинул берега «русского Нила». Гимназические годы В. Розанова прошли под «знаменем» Белинского. Пафос Белинского вызывал в юных душах безудержное стремление к знаниям. И Розанов приступает к широкому освоению культуры; он занимается практически всем: от естествознания до богословия. «Компиляция всегда составляла любимую форму, в которой с гимназических лет выражалась моя усидчивость и прилежность, — писал он в 1914 году. — Начавшись в III-м классе компедированием «Физиологических писем» Карла Фохта, она в V—VI-м классах выразилась в собрании обширных хронологических таблиц, и подборе матерьяла для этих таблиц, для

чего я перечитывал книги по истории наук, истории живописи и проч. Матерьялы эти, тогда же собранные, были весьма обширны. Меня занимала мысль уловить в хронологические данные все море человеческой мысли, преимущественнее, чем искусства и литературы, — дав параллельно даты только важнейших политических событий. Вообще история наук, история ума человеческого всегда мне представлялась самым великолепным зрелищем» (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 224, л. 213).

Приобретенные еще в гимназические годы разнообразные сведения стали основой той энциклопедической эрудированности, что окажется впоследствии важнейшей компонентой розановского интеллектуального мира, которому присущи и блистательные аллюзии с историческими понятиями, и причудливые манипуляции символами мировой культуры. Свобода, которую он проявляет в «мировом хозяйстве» (хотя она и не исключает исторической точности и конкретности соотнесения с наличной данностью, столь им уважавшейся), — одно из замечательных свойств его гения.

С берегов Волги Розанов увез не только обширные познания, но и не менее ценное наследие: реализм мирозерцания и глубокого демократичности. Страницы «Русского Нила», как, наверное, ни одно из его произведений, делают очевидными эти черты его личности. Присутствие Розанова в веке XX может показаться случайным — и от этого происходят многие парадоксы розановской биографии: его вкусы и пристрастия скорее относятся к XIX столетию. Это видно уже по тому набору литературных тем, проблем и персоналий, которые вошли в его незаданный сборник статей «О писателях и писательстве»: здесь — вся русская литература «от Пушкина до Чехова». Поэтов и писателей XX века Розанов мало жаловал: его критика Блока, Леонида Андреева, Бальмонта и других иной раз напоминает скорее «порку розгами», нежели литературный разбор. «Новых писателей», «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен, — свидетельствует его друг Э. Голлербах. — Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: „Ну-ка покажите, что тут есть хорошего — вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю“». Достаточно назвать его отповедь Ю. Айхенвальду (см.: «Споры около имени Белинского» — «Новое время», 27 июня 1914 года), который «покусился» на имя Белинского, чтобы увидеть в Розанове старинного и преданного ученика «великого критика». И надо перечитать все статьи, «опавшие листья» и «попутные заметки» о Некрасове, прочитать его статью «Юбилейное издание Добролюбова» (иллюстрированное приложение к «Новому времени», 26 ноября 1911 года, стр. 10—11) — и перед нами встанет тот симбирский гимназист из «Русского Нила», которому «свет» и «тьма» открылись в произведениях шестидесятников. И все это написано не сотрудником «Русского богатства» или «Современного мира» — журналов, хранивших «идеалы шестидесяти годов», но человеком с устойчивой репутацией реакционера, мистика, «нововременца» и всего того, что сопровождает его имя в энциклопедических статьях и аннотированных указателях имен. Такой сочетаемости противоположностей у Розанова удивлялись и его современники. «Он совмещает в себе, — писал безымянный обозреватель, — точно два лица, говорящих на двух различных языках» («Раздвояющийся писатель» — «Вестник Европы», 1897, сент., стр. 422).

Розанов стал «отрицательным героем» на подмостках новейшей русской истории: с его идеями полемизировали левые и правые, декаденты и «церковники». Эта роль «антигероя» оказалась настолько прочной, что даже сегодня, на чуть ли не векомом расстоянии от тех живых событий, когда формировались политические критерии, она осталась почти без переосенки. И для того чтобы ввести Розанова в современную культуру, недостаточно только ослабить всевидящий идеологический контроль — необходимо перевести отношение к нему в иную плоскость. Розанов — один из русских писателей, счастливо познавших любовь читателей, неколебимую их преданность. Уразуметь корни этой любви — быть может, главное условие для понимания его наследия.

В литературу Розанов вошел уже сформировавшейся личностью. Его более чем тридцатилетний путь в литературе (1886—1918) был непрерывным и постепенным разворачиванием таланта и выявлением гения. Розанов менял темы, менял даже проблематику, но личность творца оставалась неуязвимой.

Условия его жизни (а они были не легче, чем у его знаменитого волжского земляка Максима Горького), нигилистическое воспитание и страстное юношеское желание общественного служения готовили Розанову путь деятеля демократической направленности. По своему темпераменту он должен был стать одним из выразителей социального протеста. Однако юношеский «переворот» изменил его биографию коренным образом, и Розанов обрел свое историческое лицо в других духовных областях.

Рано обнаружившееся философское призвание еще на гимназической скамье включило Розанова в круг тех проблем, которые связаны с популярными в 60-е годы позитивизмом и утилитаризмом Дж. Милля, К. Фохта и других кумиров демократической части русского общества. Тогда у Розанова (IV класс) уже сформировался этический идеал: «цель человеческой жизни есть счастье». Розанов самостоятельно обосновал эту аксиому, но в его построение включался негативный элемент — безразличное. Дисгармония цели и условий, сопутствующих ее

достижению, разваливала логику «системы», и мысль Розанова оназдалась как бы парализована. «Это был первый зародыш всего моего последующего умственного развития, или, точнее, первая формуловка того, что возникло во мне как-то невольно и бессознательно, — писал он своему биографу Я. Н. Колубовскому. — Но я помню ясно, что начиная с этого времени, и чем далее, тем упорнее, я думал об одной этой идее до 3-го курса университета <...>. Логическое совершенство этой идеи было полно, но я не был только ее теоретиком. Будучи убежден в ее верховной истинности, я и свой внутренний мир, и свою внешнюю деятельность стал мало-помалу приводить в соответствие с нею. <...> Вследствие практических попыток осуществить ее и вследствие постоянного анализа своей души и своей деятельности, в 22—23 года я стоял перед этой идеей, как очарованный, бессильный оторваться от нее и бессильный далее следовать за нею <...>» (автобиография В. В. Розанова (письмо В. В. Розанова Я. Н. Колубовскому) — «Русский труд», 16 октября 1899 года, стр. 26).

Но вот «волжская» биография была как бы оставлена им на берегах реки, его вскормившей, и с Московского университета (1878—1882) стал он плести другую нить своей жизни. Переход к созерцательному мировосприятию сразу же дал свои первые результаты: ему открывается понятие Бога. «К В<огу> меня нечего было «приводить»: со 2-го (или 1-го?) курса университета не то чтобы я чувствовал Его, но чувство присутствия около себя Его — никогда меня не оставляло, не прерывалось хоть бы на час» («Опавшие листья, Короб второй», 1915, стр. 319). Но Бог Розанова особый. «Свой Бог» Розанова — так подчас определяли его конфессиональную проблему. Действительно: «Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога...» — это и «вспоминание» Розанова и самоопределение («Уединенное»). «Богостроительство» Розанова — отдельная страница его творческой биографии, требующая самого тонкого анализа розановской души. Ошибка здесь может привести к полному непониманию Розанова и его творческого пафоса — а ошибиться очень легко, так как Розанов сам вольно или невольно оставлял много «ложных следов».

Так или иначе, переворот действительно совершился: изменилось и существо его творческой деятельности, которая отныне все больше и больше подчиняется наличной реальности и приобретает отчетливый «пассивный» характер. Эта «пассивность» проявилась главным образом в присутствии Розанову комментаторстве — гениальном, оригинальнейшем комментаторстве. За исключением немногих книг («Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени») необъятное наследие Розанова, как правило, написано по поводу каких-либо явлений, событий. Это видно явственно.

Идейный переворот, пережитый Розановым в студенческие годы, создал как бы развилку сознания, которую он так и не преодолел в себе до конца жизни. Отсюда, думается, вытекает чудовищная розановская антиномичность сознания. В культуре это явление беспрецедентное. Антиномии Розанова возникли из действительности его чувствования и внутреннего пафоса. Так, его открытая религиозность прорывается иногда буйным атеизмом. Розановской свободе, отличающейся нетерпимостью ко всякому авторитаризму, сопутствует внутренний детерминизм. Его социальный анархизм часто переходит в сугубую государственность. Почти натуралистическое признание наличного бытия сочетается с полным игнорированием фактов, доходящим иногда до мифологических пределов. Постоянная борьба с «позитивностью» современного века соседствует с глубоко спрятаным позитивизмом сознания. Внешне он, казалось, не тяготился этим, даже гордился: «На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это «координаты действительности», и действительность только через 1000 и улавливается». Такая «теория познания» действительно продемонстрировала необычайные возможности специфически его, розановского, видения мира. Однако она же порождала немало внутренних трудностей, которые ему пришлось пережить. Двуличность, расщепленность сознания и усиленная рефлексия привели Розанова к глубокой жизненной драме, которую он стал осмысливать только на исходе своих дней. Драма эта заключалась во все большей и большей потере чувства действительности и, как следствие, в фатальной обреченности на неучастие в ней. «Странник, вечный странник и везде только странник». Это были его сухие слезы.

«Ни одно мое намерение в жизни не было исполнено, а исполнялось, делалось мною, с жаром, с пламенем — мне вовсе не нужно оно, не предполагаемое и почти не хотимое, или вяло хотимое».

Жар и пламень сопровождали Розанова всегда. Начиная от свою творческую биографию как философ. Первая его большая работа — классический философский труд «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (М. 1886). Книга в сорок печатных листов, по словам самого Розанова, была «посвящена рассмотрению ума человеческого и устройству, расположению системы наук, реальных и возможных (потенциально в уме заложенных)» (В. Розанов, «Злое легкомыслие» — «Новое время», 24 марта 1904 года). Книга прошла незамеченной, что было воспринято ее автором как полная неудача, и после трехлетнего «онемения» (до 1889 года Розанов ничего не печатал) он навсегда оставил «классическую» форму философствования. Случайное знакомство с Н. Н. Страховым и С. А. Рачинским открыло Розанову путь в журналы консервативного направления, и в 90-е годы

XIX века он целиком уходит в публицистику. «Огненная встреча» с К. Н. Леонтьевым (май — ноябрь 1891 года) обострила розановские консервативные идеи до ультрарадикальных пределов.

Однако настоящей темой Розанова, открывшей новую эпоху его творчества, стала тема пола. Этот третий период выявляет наконец оригинальный розановский подход к действительности, но в то же время оказывается осложнен как перипетиями биографии Розанова, так и исторической ситуацией в России. Он мог еще быть «глухим» к «событиям на улице», но «боль биографии» никогда не оставляла его равнодушным. А тема пола теснейшим образом связана с его биографией.

После неудачного брака с А. П. Сусловой, известной также и по биографии Ф. М. Достоевского (Суслова оставила Розанова без развода, что в условиях тогдашнего положения о браке было непреодолимым препятствием новой женитьбе), Розанов вступил в «незаконный» брак (скрепленный тайным венчанием). Жена оказалась на положении любовницы, а пять человек детей — незаконнорожденными. Драматическую ситуацию семьи Розанов «увидел» в 1896—1898 годах, когда он начал понимать, что может оставить детей сиротами, а жену без права на какую-либо социальную помощь. «Таким образом, — писал он А. А. Александрову, — счастье и страдание мое личное удивительно замешалось в эту тему». Поводом его обращения к теме пола оказалось письмо в газету одной женщины в связи со съездом сифилитологов. Розанов начал писать Комментарий к Письму одной женщины. «И вот комментарий к Письму женщины стал переходить в несчастье, в исследование самой женщины. Тут открылась тема пола: и едва я подошел к ней, как увидел, что, в сущности, все тайны тайн связаны тут в узел. Если когда-нибудь будет разгадана тайна бытия мироздания, если вообще она разгадываема — она может быть разгадана только здесь. Вообще — никто и ничего об этом не знает, кроме того, что это есть как факт: полный эмпиризм, над которым я захотел поднять лампу. «Дальше в лес — больше дров» — и я Вам объясню только, что в обширное исследование, насколько уже оно написалось, введена разгадка Гоголя — в его психике, Лермонтова («демонизм» его), Достоевского, Толстого; и затем Платона, коего «Федр» и «Пир» мною комментированы, как «Легенда об Инквизиторе»; до сего доведена моя работа, перевалившая за 320-ю страницу моего обычного письма, когда я бросил ее, чтобы перейти к фельетонам для «хлеба насущного»; в дальнейшем плане она обнимет — в самом кратком замечании Пифагореизм, подробнее Элевзинские таинства; очень подробно — Сиро-финикийские культы и Египетские секреты. Затем восход — к Библии и, наконец, Предвечному Слову, распятому на кресте. Дело все в том, что, как я открыл без всякого труда через исследование своих родных писателей — Гог<оля>, Лер<монтова>, Дост<освского>, Толст<ого> — половое чувство как-то связано с религиозным мистифизмом. Это какая-то таинственная ли жизненность, в меня влитая, или прямо Перст Божий: но я догадался, что узел этого — в младенце, который правда «с того света приходит», «от Бога его душа ниспадает»; и дело в том, что пол, о коем мы ничего не постигаем, есть в самом деле как бы частица „того света“» (письмо Розанова А. А. Александрову [январь 1898 г.] — ЦГАЛИ, ф. 2, оп. 2, ед. хр. 15, л. 65—68).

В этих планах заключается вся последующая мысль Розанова, ставшая основанием его будущих сочинений. Именно здесь, в «теме пола», раскрылась природа естественных целей, к которым он обратился в студенческие годы, отказавшись от «искусственных целей», от своего утопического сознания. Тема была найдена, и его «жар и пламень» целиком были отданы семье и браку, разводу и проблеме незаконнорожденных детей. Розанов весь погрузился в культуру семитского Востока, ветхозаветных преданий и в египетскую культуру. Отсюда, с увлечения «египетскими секретами», начали развиваться в скрытом виде его антихристианские идеи. Консервативный ригоризм 90-х годов стал смягчаться, появилась терпимость к «иноверию», выявились интересы к сектантству и т. д. К этому же времени относится и знакомство с «декадентами» (Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым), собственно, извлечшими Розанова из литературного захолустья, в которое к началу XX века превратилась консервативная печать. Начинает расти его слава как одного из первых «законодателей духа».

Усилия Розанова, направленные на утверждение в обществе культуры семьи, который мог бы, по его мнению, обновить разрушающийся современный мир, сопровождались многими трудами. Были опубликованы книги: «В мире неясного и нерешенного» (СПб. 1901; изд. 2-е. 1904), «Семейный вопрос в России» (СПб. 1903, тт. 1—2). Остались неопубликованными «История семьи в России», некоторые книги по смежным проблемам, касающимся темы пола и «религии семьи». Социологи должны обратить внимание на это богатое наследие писателя, одного из самых ревностных строителей русской семьи. Но как и при жизни Розанова, когда общество было всецело занято «глобальными проблемами», так, судя по всему, и сейчас разгадку Розанова пытаются найти в иных темах. Тогда как главный нерв творчества Розанова — семья.

Реализация творческого гения у Розанова всегда была связана с его личностью. Он насквозь проживал свои темы. Розанов неотделим от своей «литературы», а «литература» его неотделима от тех тем и проблем, которыми он бывал



захвачен. Особенной «плотностью отношений» Розанова и темы отличается его встреча с культурой семитского Востока.

Розанову не только открывались картины ветхозаветной жизни — он идентифицировал себя с древним иудеем и обладал вполне «ветхозаветными» качествами. Проникновение в душу древнего иудея родило целый ряд превосходных работ по психологии и быту ветхозаветной жизни (см. «Юдаизм» — «Новый путь», 1903, № 7—12; «Чувство солнца и растений у древних евреев» — «Новый путь», 1903, № 3; и др.). Страстность, нетерпимость к иноверию, непоколебимая уверенность в себе и своем деле, любовь к Богу — вот психология Розанова. Надо снова простить его «Ответ г. Владимиру Соловьеву» («Русский вестник», 1894, апрель) или же «По поводу одной тревоги графа Л. Н. Толстого» («Русский вестник», 1895, № 8) и другие статьи 90-х годов, чтобы убедиться в том, что перед нами человек с ветхозаветной нетерпимостью, ветхозаветный русский. Если же, кроме этого, мы учтем «богостроительство» «своего Бога» у Розанова, то в целом мы смогли бы быть свидетелями того, как образ священной истории Израиля рождается в истории личности Розанова. «История сливается с лицом человека. Лицо человека поднимается до исторического в себе смысла».

Однако когда он занимался проблемами брака и развода, он заботился о русской семье, в педагогических темах его «Сумерек просвещения» он решал проблемы русской школы, а в своих литературных штудиях он занимался почти исключительно русскими писателями. Ветхозаветный Израиль и Египет были нужны ему как мировые высоты, с вершин которых он мог оценивать русские идеалы. Это была его «вселенская истина», и она не допускала к Розанову «национализма». Даже в таком сложном политическом событии, которое потрясло русскую жизнь, так называемом деле Бейлиса, Розанов был «чист», несмотря на крайние его увлечения. Рассматривая «дело Бейлиса» и участие в нем Розанова, можно было бы извлечь из него (для исследования) и некое «дело Розанова». Розанов в круговороте событий отстаивал себя и свое, преданность завету, заключенному со своим Богом, хотя политически в тот момент им легко было «воспользоваться». Важно понять, что и так называемое иудеофильство и так называемое иудеобство Розанова росли из одного корня — из невозможности для него находиться на либерально-гуманистической поверхности при истолковании вещей, которые он чувствовал как сакральные, идущие из глубины мировой истории, роковые; невозможности удовлетворяться формально юридическими подходами современной ему позитивистской эпохи.

Если бы Розанов нарушил этот «завет», то после 1911 года мы, возможно, увидели бы закат Розанова, полный конец его в культуре. Но, отстояв себя, Розанов уже после события отказался от сочинений по «делу Бейлиса» (нераспространенный тираж своей книги «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» приказал ликвидировать. Это — на 2 тысячи рублей). И свои выступления он признал ошибкой. Это было в 1917 году (до октябрьских событий). И вот теперь Розанов с еще большей силой и уверенностью отстаивает преданность завету со своим Богом, открыто выступив против Христа. Он следовал неукоснительно путями законников и фарисеев и так же слепо «распинал Христа». Это была последняя страница его «ветхозаветной истории». Преданность Розанова своему пути была беспримерной. Она напоминает фанатизм законника Савла. И возможно, что Розанову могла бы быть уготована участь обращения Савла в Павла. Линия его религиозного возрастания была столбовой, а события в России только начинались. Почти с уверенностью можно заявить, что проживи он пять — десять лет, и ему пришлось бы разделить мученический конец с миллионами своих соотечественников. И неизвестно, какое сердце увидели бы его последние свидетели. Шло «лихолетье на Руси», и Розанов физически его не перенес в самом начале. «Черные воды Стикса прорвали последние заслоны и затопили его сердце».

Это было 5 февраля 1919 года по новому стилю, когда ему было шестьдесят три года и девять месяцев с небольшим.

«**Р**усским Нилом» мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил — не в географическом и физическом своем значении, а в том другом и более глубоком, какое ему придал живший по берегам его человек? «Великая, священная река», подобно тому, как мы говорим «святая Русь» в применении тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к городам, расположенным на нем, а за это огромное тело своих вод, периодически выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга наша издревле получила прозвание «кормилицы». «Кормилица-Волга»... Кроме этого названия, она носит другое и еще более священное — матери: «матушка-Волга»... Так почувствовал ее народ в отношении к своему собирательному, множественному, умирающему и рождающемуся существу. «Мы рождаемся и умираем, как мухи, а она, матушка, все стоит (течет)» — так определил смертный и кратковременный человек свое отношение к ней, как к чему-то вечному и бессмертному, как к вечно сущему и живому, тельному условию своего бытия

и своей работы. «Мы — дети ее; кормимся ею. Она — наша матушка и кормилица». Что-то неизмеримое, вечное, питающее...

Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицей», и «матушкой» народ наш зовет великую реку за то, что она родит из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение и полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные обороты; и все это «хозяйство» связано и развязано, обобщено одним духом и одною питающею влагою вот этого тела «Волги», и вместе бесконечно разнообразно, свободно, то тихо, задумчиво, то шумно и хлопотливо, смотря по индивидуальности участвующих в «хозяйстве» лиц и по избранной в этом хозяйстве отрасли. И вот наш народ, все условия работы которого так тяжки по физической природе страны и климату и который так беден, назвал с неизмеримою благодарностью великую реку священными именами за ту помощь в работе, какую она дает ему, и за те неисчислимые источники пропитания, какие она открыла ему в разнообразных промыслах, с нею связанных. И «матушка» она, и «кормилица» она потому, что открыла для человеческого труда неизмеримое поприще, все двинув собою, и как-то благородно двинув, мягко, неторопливо, непринужденно, неповелительно. В этом ее колорит.

Все на Волге мягко, широко, хорошо. Века тянулись как мгла, и вот оживала одна деревенька, шевельнулось село; там один промысел, здесь — другой. Всех поманила Волга обещанием прибýtка, обещанием лучшего быта, лучшего хозяйства, нарядного домика, хорошо разработанного огородика. И за этот-то мягкий, благородный колорит воздействия народ ей и придал эпитеты чего-то родного, а не властительного, не господского. И фабрика дает «источники» пропитания, «приложение» труду. Дают его копи, каменные пласты. Но как?! «Черный город», «крошечный ад», «дьявольский город» — эти эпитеты уже скользят около Баку, еще не укрепившись прочно за ним. Но ни его, ни Юзевку не назовут дорогами, ласкающими именами питаемые ими люди. Значит, есть хлеб и хлеб. Там он ой-ой как горек. С польнью, с отравой. Волжский «хлеб» — в смысле источников труда — питателен, здоров, свеж и есть воистину «Божий дар»...

Нил связался у меня с Волгой, однако, не по этой одной причине. Я припомнил одно чрезвычайно удивившее меня сообщение, услышанное лет семь назад, в самый разгар моих увлечений страной фараонов<sup>1</sup>. Сперва об этих увлечениях. Конечно, не фараоны меня заняли и не пресловутые «касты», на которые, будто бы, делилось население Египта. Я хорошо знал, что эти «касты» никогда не существовали в том нелепом виде, как это представляют нам гимназические учебники, что образование открывало доступ к первым должностям в государстве всякому сыну пастуха или земледельца; а что касается фараонов, то они... царствовали и завещали археологам свои мумии. Великий интерес к Египту проистек у меня из удивления к такому подъему в нем жизненной энергии, сочных, ярких сил, какого, я твердо знал, никогда не существовало ни в Греции, ни в Риме, ни у евреев. Меня все занимал вопрос, откуда проистекала эта энергия, не опадавшая на протяжении времени, равного протекшему от Троянской войны (XII век до Р. Х.) до наших дней. Греки гениально творили на протяжении каких-нибудь трехсот лет, римляне — на протяжении четырех столетий, но Египет, не уставая, весело, с улыбкой творил начиная уже с 4-й своей династии, по крайней мере за три тысячи лет до Р. Х., и до этого самого Р. Х., когда александрийские художники славились еще изяществом и вкусом своих работ, а знаменитая библиотека, основанная Птоломеем-Филаделфом, видела в стенах своих первых ученых тогдашнего мира. И все это без усталости, без исторического утомления, без того утомления, которое после 1500 лет самобытной европейской истории так явно легло на все народы Западной Европы, французов, отчасти немцев и англичан, на полувывродившихся итальянцев, испанцев, португальцев, не говоря уже о жалком отребье, оставшемся от «эллинов». И как я угадывал не без основания, что родник жизни всякого народа лежит в его отношениях к трансцендентному миру, в его понятиях о Боге, о душе, о совести, о жизни здесь и судьбе души после смерти, то, естественно, меня и заняла мысль проникнуть в «святая святых» племен, поклонявшихся каким-то странным Аписам и «волооким» Изидам<sup>2</sup>. Это у Гомера имя Геры, верховного женского божества, всегда сопровождается эпитетом «волоокая», «с бычачьими глазами», «воорис». «Что за красота?» — посмеивались мы гимназистами. Но когда я стал заниматься Египтом, то догадался, что Гера новенького греческого народца приходится кровною внучкою Изиде с берегов Нила, которая изображалась

(не всегда) в виде женщины, но с головою коровы или (чаще) в виде молодой, красиво сложенной коровы, с разумными, почти говорящими глазами. «Vooris», очевидно, осталось эпитетом от этих древнейших изображений ее бабушки. В Греции она стала полным человеком, без малейшего атрибута четвероногого, но «глазок» этого четвероногого сохранила.

Вдруг я узнаю, что один архилиберальнейший издатель в Петербурге, все издающий книжки по естествознанию и социологии, нечто вроде покойного Павленкова, имеет обыкновение каждые два года хоть раз съездить на берега Нила, — так просто «отдохнуть и погулять», по-русски. На мое изумление мне рассказали, что привлекают его вовсе не феллахи и английский владычество в Египте, но памятники древности; однако привлекают не как археолога и историка, ибо он не блистал этими качествами, а как живого человека, вот именно как издателя архилиберальнейших книжек, «самых современных и самых нужных». Удивлению моему не было конца. «Он просто любит это зрелище Египта, древнего, прежнего, сочного, яркого; и находит, что это очень напоминает нашу Волгу, но только напоминает как что-то осуществленное и зрелое свой ранний задаток, свою младенческую фазу. То есть Волга — это младенчество, а Нил времени фараонов — это расцвет. И любитель Сен-Симона и социализма, немножко и сам социалист, бродит около старых сфинксов с мыслью, что около Нерехты, Арзамаса и Казани могли бы стоять не худшие. Что придет время, и бассейн Волги сделается территорией такой же цветущей, хлебной, счастливой и здоровой цивилизации, как и побережье великой африканской реки».

Признаюсь, это удивительное сообщение, услышанное мною совершенно случайно, в мелькающем разговоре без темы, заставило меня взглянуть с совершенно новой точки зрения на наших радикалов. Несомненно, вот уже пятьдесят лет в них бьется какой-то сильный пульс. Несомненно, они куда-то ведут Россию. Их почему-то любят, за ними идут. Идут за их честностью, прямою, решительностью, готовностью к жертвам. И куда они приведут Россию? Порыв пока ясен в одном: в направлении к сочности, жизни, цвету народной и вообще человеческой жизни, без теснейших определений. Но я не думаю, чтобы это «безбожное» движение, каким оно выступает сейчас, и до конца осталось таковым. Когда-нибудь оно захочет молить, поднимет глаза к небу, задумается о гробе и жизни. И тогда каковы будут эти молитвы? Куда? Кому?

Как бы то ни было, но, услышав приведенное сообщение, я крепко пожал руку оригинальному петербургскому либералу, которого никогда лично не встречал, хотя и знал его фамилию, как ее знает вся Россия. «Вот еще на какой почве русский человек может сойтись с русским человеком: не на вкусовом и симпатическом сочувствии, à la Чаадаев, к католицизму<sup>3</sup>, не на соловьевской теократии, не на протестантских чаяниях молодого нашего священства, а на вкусе, симпатии... просто к соку, силе и цвету бытия и жизни, на Ниле или на Волге». Кстати, этот год вышла небольшая монография об одной египетской легенде г-на Сперанского<sup>4</sup> в связи с вариациями той же темы в европейских сказаниях. При чтении ее меня поразило следующее: в египетских надписях, в папирусах собственные имена фараонов всегда сопутствуются предшествующими им предикатами: «жизнь, здоровье, сила». Это что-то вроде нашего «благочестивейший, самодержавнейший». С этим постоянным устремлением ума на биологический, виталистический принцип жизни как было не прожить три-четыре тысячи лет? Все росло, все росло в «жизнь, здоровье, силу». Это уже не наше «надгробное рыдание».

И вот мне захотелось взглянуть на эти тихие воды, может быть, будущие «воды», в смысле далекой и новой судьбы, какая сложится на этих берегах для нашего племени. Сказал же о нем Лермонтов вещие слова: «Россия — вся в будущем»<sup>5</sup>. Сказал и обвел в своей черновой тетради эти слова чертогу, как особенную и преимущественную свою веру, как свое горячее убеждение и предвидение.

Детство мое все прошло на берегах Волги — детство и юность. Кострома, Симбирск и Нижний — это такие три эпохи «переживаний», каких я не испытывал уже в последующей жизни. Там позднее я как-то более господствовал над обстановкою. Сам был зреее и сильнее, и, словом, внутренняя моя жизнь, движение идей и чувств уже набирали впечатление улиц, площадей, церковей, реки. Не то в детстве, о котором и мамы говорят, что «дитя — как воск, на него что ляжет, то и отпечатается». И вот я помню эту Кострому, — первое самое длинное, тягучее, бесконечное впечатление. Знаете, взрослый человек как-то больше года, — хотя и странно их сравни-

вать,— и от этого год ему кажется маленьким, коротеньким, быстро проходящим. Годы так мелькают в возрасте 40—50 лет. Но для шестилетнего мальчика год — точно век. Ждешь и не дождешься Рождества, и точно это никогда не придет. Потом ждешь Пасхи, и как медленно она приближается. Потом ждешь лета. И этот поворот лета, осени, зимы и весны кажется веком: ползет, не шевелится, чуть-чуть, еле-еле...

Дожди... Вообразите, что господствующим впечатлением, сохранившимся от Костромы, было у меня впечатление идущего дождя. У нас были сад, свой домик, и я все это помню. Но я гораздо ярче помню впечатление мелкого моросящего дождя, на который я с отчаянием глядел, выбежав поутру, еще до чая, босиком на крыльцо. Идет дождь, холодный, меленький. На небе нет туч, облаков, но все оно серое, темноватое, ровное, без луча, без солнца, без всякого обещания, без всякой надежды, и это так ужасно было смотреть на него. Игр не будет? Прогулки не будет? Конечно. Но было главное не в этом лишении детских удовольствий. Мгла небесная сама по себе входила такую мглой в душу, что хотелось плакать, нюнить, раздражаться, обманывать, делать зло или (по-детски) назло, не слушаться, не повиноваться. «Если везе так скверно, то почему я буду вести себя хорошо?»

Или утром — опять это же впечатление дождя. Я спал на сеновале, и вот, встало, открыв глазки (дитя), видишь опять этот же ужасный дождь, не грозовой, не облачный, а «так» и «без причины», — просто «дождь», и «идет», и «шашаш». Ужасно. Он всегда был мелок, этот ужасный, особенный дождь на день и на неделю. И куда ни заглядываешь на небе, хоть выбредя на площадь (наш дом стоял на площади-пустыре), — нигде не вымотришь голубой обещающей полоски. Все серо. Ужасная мгла! О, до чего ужасно это впечатление дождливых недель, месяцев, годов, целого детства, — всего раннего детства.

«Дождь идет!» — Что такое делается в мире? — «Дождь идет». — Для чего мир создан? — «Для того, чтобы дождь шел». Целая маленькая космология, до того невольная в маленьком ребенке, который постоянно видит, что идут только дожди. — Будет ли когда-нибудь лучше? — «Нет, будут идти дожди». — На что надеяться? — «Ни на что». Пессимизм. Мог ли я не быть пессимистом, когда все мое детство, по условиям тогдашней нашей жизни зависевшее всецело от ясной или плохой погоды, прошло в городе такой исключительной небесной «текучести». «Течет небо на землю, течет и все мочит. И не остановит его, и не будет этому конца».

И не настало «конца», пока нас, маленьких двух братьев, не перевезли из Костромы в Симбирск<sup>6</sup>. Но тут началось уже все другое. Другая погода, другая жизнь. Я сам весь и почти сразу сделался другим. Настал второй «век» моего существования. Именно «век», никак не меньше для маленького масштаба, который жил в детской душе.

И вот почти в старости мне захотелось пережить «опять на родине», пережить этот трогательный сюжет многих великих русских поэтов.

\* \* \*

Обыкновенно желающие отдохнуть на Волге отправляются из Петербурга до Нижнего и уже здесь садятся на пароход, чтобы видеть «наиболее красивые берега Волги». Это большая ошибка. Прежде всего железнодорожный путь, с летнею жарой и пылью, теснотой вагонов и вынужденною неподвижностью является сильным приемом нового утомления на усталые нервы. Во-вторых... берега. Правда, после Нижнего они становятся гористыми, но это наши русские «горы», напоминающие только поговорку: на безрыбье и рак рыба. Действительно, Россия до того равнинная страна, что, всю жизнь живя в ней и даже совершая большие поездки, можно так-таки и не увидеть ни единой горы по самый гроб свой. Для такого переутомленного равнинностью соотечественника правый «гористый» берег Волги, правда, кое-что представляет. Но для каждого, кто доезжал до Урала, бывал на Кавказе, в Финляндии и тем более кто видал Тироль и Альпы, «гористый» берег Волги является приблизительно «ничем». А так как «отдых на Волге» предполагает некоторые средства у отдыхающего, то большинство их видали настоящие горы запада и юга и, садясь на пароход в Нижнем, имеют какое угодно удовольствие, но только не от «гористого» берега Волги. Напротив, если бы они сели на пароход в Рыбинске, как это сделал я, они испытали бы чрезвычайно много нового, свежего и поучительного, хотя бы и были заправскими туристами.

Важен не берег, а то, что на берегу. Как и везде в природе, интереснее всего

человек. Верхняя половина Волги, до Нижнего, несравненно изящнее, красивее и одухотвореннее нижней тою огромною деятельностью, которая развита на ней именно начиная с Рыбинска. Едва по длиннейшим сходням вы спускаетесь на один из громадных рядом стоящих пароходов, вы точно окунаетесь в «волжский труд», как что-то своеобразное, в себе замкнутое, как в особый новый мир, который сразу отшибает у вас память Петербурга, Москвы и даже вообще всего «не волжского». Удивительное ощущение, почти главное условие действительного отдыха, доставляемого Волгою! Пока вы сидите в вагоне, все равно Николаевской или Рыбинско-Бологовской дороги, вы точно тащите за собою Петербург. Его впечатления, его психология, его тревожения — все с вами и около вас, в разговорах, которые вы слышите, в ваших собственных думах. Даже когда живешь на даче очень далеко от Петербурга, уже по тому одному, что она связана непрерывною линией рельсов с Петербургом — этим железом и этим стуком, этою почтою и этими газетами, — вы никак не можете изолироваться от Петербурга и продолжаете, в сущности, жить в нем, но только как бы на очень отдаленной улице, и мало посещаете центры его. Между тем для петербуржца суть отдыха, разумеется, заключается в перерыве петербургских ощущений, в разрыве с Петербургом. В этом отношении не только лучшим, но и единственным способом «обновления духа» является плавание, и непременно не по Финскому заливу, который, естественно, является дополнением Петербурга, «предсловием» или «послесловием» к книге его Духа и его истории.

Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти удары — мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявлением движения и жизни после того вечного стука и лягза железа о железо или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве и который истощает и надрыгает всяческое терпение. У петербуржца и москвича половина душевной силы уходит на борьбу с этими пассивными впечатлениями, вам не нужными, которых вы не ищите, но которые лезут вам в душу, независимо от вашей воли, и каждое из них потому только, что оно влезло в ваше ухо или в ваш глаз — непременно «чиркнет» по вашей несчастной душе, как фосфорная спичка по зажигающей поверхности, и кое-что снимет с нее или покроет каким-то своим, повторяю, для вас ненужным и неинтересным, налетом. Как бы эти впечатления ни были малы, но, уже в силу чрезвычайного их множества, они ложатся чрезвычайным балластом на душу. И я уверен, что так называемая неврастения, или душевное переутомление, столичного жителя происходит не столько от работы его, сколько вот от этих пассивных и ненужных впечатлений, зрительных и особенно слуховых, которые ни с какою работою не связаны, а раздражают даже больше работы именно оттого, что они невольны, неизбежны, что в отношении их чувствуешь себя каким-то зависимым рабом. Со временем, когда-нибудь, медики окончательно об этом догадаются и изобретут какой-нибудь и золятор для ушей, при котором они открывались бы только тогда, когда я хочу слушать. Все люди, желающие не только слушать, но еще и немного размышлять и вообще жить «про себя» и «с собою», сторицею поблагодарят медиков за это изобретение. Говорят: «труд» и «труд». Но разве Бернулли и Лейбницы работали меньше теперешних докторов, адвокатов, журналистов? Но они решительно были свежее, бодрее их: и просто оттого, что «в доброе старое время» улицы еще не мостились, конки не звенели, фабричные трубы не дымили и не свистели.

Пассивные впечатления... ими займется когда-нибудь медицина!

\* \* \*

Уже на другой и третий день, как я сел на пароход, мне казалось, что я не только никогда не жил в Петербурге и помню его только какою-то далекою памятию, но что я никогда не был и писателем. До того новый мир, «волжский мир», охватывает вас крепко своим кольцом, не дает пробудиться ничему из прежнего. Пишем и не ждешь, тогда как прежде три раза в сутки почтальон «подавал почту». Газеты, во-первых, только на больших пристанях, а во-вторых, они до того являются запоздавшими против «сегодняшнего дня», что как-то не хочется и взглянуть. Да и сверх того натуральный мир самой Волги, панорама которой все шире раскидывается с каждым часом и сутками, решительно кажется вам интереснее всяких возможных политических новостей. Чувствуется, что здесь живут в века: века строили эти городки и села, и, кажется, век стояла вот эта миниатюрная лавочка, где я покупаю чайную посуду. Сидит в ней и продает чашки какая-то «тетенька», а до нее тор-

говала ее «маменька», а до них обеих — их «дедушка». И всегда-то это «было», не началось и не росло, а только было и дышало. И все на Волге, и сама Волга точно не движется; не суетится, а только «дышит» ровным, хорошим, вековым дыханием.

Вот это-то вековое ее дыхание, ровное, сильное, не нервное, и успокаивает.

\* \* \*

Людей на пароходе, сравнительно с городской улицей, конечно, слишком мало. И это тоже очень хорошо, и даже слишком хорошо. Все молча становятся «знакомыми», замечая друг друга некоторым ласковым примечанием. Не образуется опять-таки той «толпы без лица», вечно новой и куда-то уходящей, которая в Петербурге и Москве проходит перед вашими глазами, как бесконечная лента шляпок и «котелков». «Фу, пропасть! Устал!» — этого вы не говорите на пароходе, видя, как вчера и сегодня усаживается за свой «чаек» та же чета, или семья, или одиночки. Манеры каждого помнятся, и образуется, повторяю, молчаливое ласковое знакомство всех со всеми, не утомляющее, не раздражающее и развлекающее.

Несколько практических советов для туристов: пароходы всех решительно компаний, вероятно, нуждаются в соперничестве, сведены к совершенно одинаковой плате за проезд и совершенно одинаковы в смысле комфорта, величины, хода и проч. Так что как одинаково покупать булку у Филиппова, Савостьянова или Бартельса, так совершенно одинаково садиться на пароход «Самолета», или «По Волге», или «Бр. Каменских». Все они теперь так называемой американской системы, которая дивила и чаровала лет тридцать назад взор волжан первыми пароходами этой системы: «Император Александр II», «Колорадо» и «Бенардаки». Теперь этих пароходов нет, но все таковы же: только самолетские некрасивого розового цвета, «По Волге» — белого (очень красивого) и, кажется, других обществ — тоже белого. Белая стройная громада, быстро движущаяся по реке, чрезвычайно красива. Практическое замечание об одинаковости всех пароходов важно в том отношении, что делает совершенно ненужным телеграфный заказ себе каюты из Петербурга или Москвы: всегда в течение полутора суток вы можете отыскать себе свободную и удобную каюту на пароходе, отправляющемся через 1—2—3—5 часов, и это не составляет многих хлопот, так как все пароходные пристани рядом. Далее, если бы вы сделали эту ошибку — заказали по телефону, то ни в каком случае не заказывайте первого класса, а второго. В старой конструкции пароходов, не «американской системы», действительно была разница между первым классом, который помещался наверху, и вторым, который помещался внизу, в корпусе корабля. В случае пожара, столкновения и вообще несчастия с пароходом, днем или, особенно, ночью, положение пассажиров второго класса было губительно, ибо каюты его быстро заливались водою, а выбежать из них нельзя было скоро; в этом отношении первый класс представлял огромные преимущества. Но при «американской системе» оба класса выведены на верхнюю палубу, каюты совершенно одинакового размера по величине и по всему убранству, и пассажиры обоих классов пользуются всею верхнею палубою, обнесенной барьером и ничем не разгороженною, не отделенною, совершенно слитою. Единственная разница заключается в том, что столовая первого класса имеет несколько великолепных кожаных кресел, тогда как во втором классе мебель столовой — гнутая, буковая, тоже превосходная в смысле комфорта и изящества. Второй класс помещен на кормовой палубе, первый — на носовой. Вот и все. Разница до того ничтожна, что кажется нелепым самое разделение на «первый» и «второй» классы. Поэтому при большом рейсе, и особенно если поездка совершается семьею, причем цена билетов становится уже значительною, — ни в каком случае не следует брать каюты первого класса. Несколько десятков рублей, выигрываемых при этом, гораздо лучше истратить на том же пароходе на что-нибудь более приятное.

Два слова о бескультурности, о нашей русской молодой бескультурности, которая объясняется не отсутствием ума или умения, а вот именно только молодостью, неопытностью, недосмотром и какою-то именно молодою торопливостью, ажнотажем или застенчивостью. Например, в столовой первого класса есть рояль, но за восемь дней путешествия только один раз случилось, что одна пассажирка сыграла после обеда несколько пассажей, галантно попросив позволения у присутствующих. Между тем музыка так приятна на реке, что естественно было бы, если бы вечером перед ужином или после обеда «присутствующие» просили кого-нибудь в среде своей побаловать их роялем. И выслушали бы с простой благодарностью не первосортную музыку. Первосортная музыка требует и первосортного слушателя. Зачем эти претензии?

Мы все учились понемногу,  
Чему-нибудь и как-нибудь,—

как сказал наш Пушкин о книжном русском учении, и то же самое можно повторить о художественном и о музыкальном русском учении. Средний уровень слушателей, естественно, поблагодарил бы за среднюю музыку, и, безусловно, среди пассажиров, и особенно пассажирок, каждый день и каждый час были такие средние музыканты и музыкантши: это было видно по лицам, по платью, ибо «немножко музыке» у нас все учатся из известного круга. Но никто из них не сел за рояль по этой вот бескультурности, по этой почти мещанской мысли: «А вдруг среди слушательниц и слушателей кто-нибудь знает в музыке больше меня и внутренне посмеется надо мною». Какое-то уже априорное предположение вражды и насмешки к себе в слушателях; какая-то и своя вражда к этим слушателям. Фу, как это неумно!

В этой же столовой шкап с книгами — крошечная парходная читальня. Опять — как умна мысль! Но каково ее выполнение? «Рим» Э. Золя и еще несколько его же романов; Гончаров, Достоевский и несколько беллетристов из более новых. Почему «Рим» и зачем вообще Золя на Волге? Я пересмотрел заголовки всех книг: ни одной нет, относящейся до Волги. Это до того странно, до того неумно, что растериваешься. Между тем, строя огромный пароход, ставя на нем рояль, мебелируя его великолепной (совершенно ненужной) мебелью, что стояло поставить в книжный шкап «Волгу» Виктора Рагозина — огромное и дорогое (рублей 16) издание со множеством карт и объяснительных рисунков, вышедшее лет двадцать назад<sup>7</sup> и, вероятно, именно по серьезным своим качествам не нашедшее ни рынка, ни читателей. Нет даже кратких путеводителей по Волге — ничего! Нет описания хотя бы какого-нибудь приволжского города! Между тем у нас есть «Географический словарь Российской империи» — многотомное издание академика Семёнова<sup>8</sup>, где есть исчерпывающие, хотя и сжатые, научные, не художественные описания решительно всякого местечка в России, и в том числе, конечно, Волги и всех не только городов, но и сел по ее берегам! Конечно, этому «Словарю» первое место на волжских пароходах. Есть целая литература о Нижегородской ярмарке, о движении товаров по Волге, о гидрографических свойствах и русла и течения Волги, но из этого ничего нет, ни одного листка в «читальнях» волжских пароходов. Наконец, если уж брать «развлекающую» беллетристику, то отчего было не взять «В лесах» и «На горах» Печерского, это великолепное и единственное в своем роде художественное воспроизведение быта раскольников по верхней (лесной) Волге и по нижней (гористой) Волге! В составлении читальни выразилось глубокое неуважение пароходных компаний к своим пассажирам, которое на самом деле свидетельствует только о глубоком невежестве самих этих компаний. И между тем нельзя поверить, чтобы в составе «правлений» их не было людей очень образованных и умных. Просто «не пришло в голову», «не догадались» вот этою молододою недогадкою 17-летнего юноши или только что кончившей курс гимназистки.

На стенах столовой — ни одного полтипажа приволжского города, тогда как естественно ожидалось бы встретить здесь «виды» всех значительных городов. Это так ведь легко! И наконец — что составляет уже совершенное и необъяснимое варварство, — ни на котором из двух лучших пароходов общества «Самолет», на которых я ехал: «Князь Юрий Суздальский» (ходит до Нижнего) и «Гоголь» (от Нижнего до Астрахани), нет карты Волги и нет даже карты Российской империи, по которой можно было следить пассажирам, где они будут, к какому городу пристанут в ближайший час, какая река впадает в Волгу в этом-то месте и проч.! Между тем в Петербурге на Финляндском вокзале висит громадная карта Финляндии, и на ней все железные дороги ее и другие пути сообщения: реки, каналы, озера, все, что может быть нужно или любопытно пассажиру узнать.

Варварство! Дикое варварство!

И между тем эта грошова претензия на интеллигентность: «Князь Юрий Суздальский» (знание до некоторой степени частных историй), «Гоголь», «Достоевский» (якобы любовь к литературе!). И такое невежество в простой грамоте!

На ночь в каюте, прекрасной, благоустроенной, пытаюсь запереть окно, выдвинув его из-за жалюзи, которое весь день прекрасно затеняло каюту. Ушиб руку, ссадил палец и должен был вызвать звонком слугу, который наконец и справился: наложил крючок на петлю. «Так просто?» — удивитесь вы. Но что же делать: крючок привинчен к движущейся деревянной раме так низко, что не может свободно вращаться во-

круг своей оси, а упирается кончиком в подоконник. Окно (в задвигающейся раме) было в течение дня открыто, и предательский крючок уже наставился, так сказать, «упрямым лбом» в подоконник. Его следовало бы спичкой или гвоздиком предварительно приподнять и затем выдвинуть раму. Но, не ожидая западни в таком месте, я просто сильно дернул раму из пазов. Тогда «упрямый лобик» крючка плотно уткнулся в подоконник. Рассмотрев дело, я уже пытаюсь приподнять крючок спичкою. Не тут-то было: он «плотно уперся», спичка ломается, а он в том же положении. Дергаю — не поддается. Тогда, чтобы ослабить крючок в его «упорстве», я чувствую, что раму надо еще дальше задвинуть внутрь пазов. Тогда все ослабнет, и я подыму крючок за «носик» спичкою. Но рама уже до края задвинута, и дальше подвинуть невозможно. А потому невозможно и ослабить упершегося крючка, а следовательно, и приподнять его, а с тем вместе и закрыть все окно! Я до того поражен глупостью и чепухой всего этого дела, что стал сильнее и сильнее дергать раму, думая, что она хоть сколько-нибудь приподнимется в пазу, крючок сделает оборот около оси и все дело кончено. Ничего не вышло, и я с болящей рукою зову слугу, который, рванув раму мужицкою силою, действительно заставил ее подняться на тот нужный миллиметр или два миллиметра, которые дали крючку повернуться около оси, и рама выдвинулась!

Но, добрый читатель, ведь это целая метафизика народного характера! Пароход стоит миллион, на нем всяческие приспособления: машины, рояль, чудная мебель, «читальня». Почему же, когда делали раму, не выбрать было или крючка покороче на два миллиметра, или привинтить его к движущейся раме на два миллиметра выше! Наконец, отчего слуге не доложить капитану, что в «этой каюте окно не запирается», а капитану, взглянув, не приказать поставить другой крючок или переместить старый! Вдобавок, уже приехав в Кисловодск, я узнаю, что именно на пароходе «Гоголь» всего за сутки, как мы сели на него, убили и ограбили в каюте первого класса пассажира. Может быть, именно при незапертом окне! И даже, может быть, того несчастного пассажира, который пытался запереть более фундаментальное окно и, не достигнув цели, «плюнул», как говорится, на дело и положился на одно легонькое жалюзи, крючок коего отпирается без всякого затруднения и шума через сквозные отверстия между палочками жалюзи, для чего достаточно иметь длинный гвоздь с загнутым концом. Грабитель и убийца, беспшумно отодвинув жалюзи, мог столь же беспшумно войти через него в каюту и задушить и убить спящую жертву, не дав ей и вскрикнуть.

И после этого не осмотреть крючков! Как и не назначить дежурств около кают многочисленной прислуги парохода, не занятой ночью. Ничего!

Где же метафизика этого? Одна молодость нации? По крайней мере не одна она! еще пассивность народная, эта ужасная русская пассивность, по которой мы оживляемся только тогда, если приходится хоронить кого-нибудь. Тогда мы надеваем ризы, поем, кадим. Великолепно! Красота, поэзия, движение — точно все обрадовалось. Но вот похоронили мертвого, остались люди жить.

И всем так скучно, так сонно!

Удивительная нация, которой «интересно» только умирать!

\* \* \*

Громадные новые мануфактуры и старинные церковные городки чередуются по верхнему течению Волги. Я назвал эти древние исторические города «церковными», потому что в самом деле «храм Божий» был единственным не частным, не личным достоянием в городе, единственным местом, где собирался народ и где он единился в общих молитвах, обрядах, в уповании и таинствах, и, следовательно, единственным выражением его культурной и политической физиономии. А затем, до нашего времени, «храм Божий» сохранился и единственным историческим памятником города. Кроме его, что же еще, положим, в Нерехте, в Плесе, в Юрьевце, в Макарьеве? За чертою храмов, вне круга богослужений, уже начинается совершенно частная, пофамильная жизнь; начинаются те «семейные хроники», один образец которых оставил нам С. Т. Аксаков. Жизнь эта, бесполезно медлительная, почти стоячая, везде сходная, в каждом доме, во всяком дворе, есть уже достояние литературы, поэзии, бытовой живописи. Здесь каждый мазок, положим, живописца изображает и момент и вечность, ибо относится равно и к концу и к началу XIX века, да даже, пожалуй, и к XIX и к XVII веку. Я сказал, что это «стоячая жизнь», и мне грустно, что тут есть



упрек, которого в душе у меня нет: «стоячее» — я говорю не в ином смысле, как назвал бы «стоячим», не изменяющимся, и наше лицо. И оно изменяется так медленно, как будто вовсе не изменяется. Но в этой своей недвижности оно, конечно, живет. Так и быт в XIX веке уже чуть-чуть не то, что в XVII, но именно чуть-чуть. Так же доят коров, выгоняют их в поле, делают из молока творог и сметану, любят, женятся, рождают, умирают; рассказывают о колдунах и разбойниках; мечтают о царе, царице и царевиче. И надо всем этим единственной исторической фигурой стоит «поп», который крестит, венчает и хоронит по обрядам Византии. «По обрядам Византии», а не по обычаям Нерехты; и как сказали это слово, так и началась история, открылась связь народов, судьба и водоворот культур. «Византия» — это павшее язычество, начавшееся христианство. Здесь приходи Иловайский<sup>9</sup> и пиши свой труд взамен поэтических страниц Аксакова, Тургенева и Некрасова.

Вот почему я и говорю об этих городках: «церковные». Исторического в них только и есть церковь, храмы. И как же хороши они, например, в Романове-Борисоглебске, двойном городке, раскинутом на обоих берегах еще неширокой здесь Волги! Самые имена и одного и другого города, и Романова и Борисоглебска, говорят о самом начале нашей истории, о князе Романе (неужели Галицком?)<sup>10</sup> и святых убитых братьях Борисе и Глебе. Если связать все это с недалеким Ярославем, получившим свое имя от Ярослава Мудрого, мстившего Святополку Окаянному за умерщвление Бориса и Глеба, то вот и все зачалось русской истории. Грустная история. И как-то сумела же она сохранить не только имя, но и колорит, или «наваждение», с этой среди таких сцен убийства, братоненавистия и кровавых распрь. Читаешь подробности: все, кажется, дрались, убивали. Одно ослепление Василька Ростиславича чего стоит: нанятый раб вырезал ножом глаза предварительно связанному князю, который смотрел, как этот раб точит нож, смотрел последним взглядом очей своих и знал, что он готовится сделать, и заплакал последними слезами... Бррр!.. Но вот умерли все; посыпал всех землицей исторический «поп». Собрат его летописец Пимен принялся за «Повесть временных лет» — «откуда есть-пошла русская земля». И все стало «святым». Чудное действие воображения и исторической перспективы.

Только еще в Москве есть такие прекрасные церкви, как в Романове-Борисоглебске и Нерехте, да не знаю, сравнятся ли и московские. Пишу наугад и потому только, что московские мне тоже очень нравятся. Но когда я смотрел на эти палевые, темно-желтые или светло-серые колоколенки, высокие, острокопечные, с маленькими окошечками-просветами на все стороны; когда смотрел (у других церквей) на совершенно крошечные ярко-золотые главки, выделяющиеся на синем фоне купола храма, мне казалось, что ничего лучшего не только нет, но и нельзя себе вообразить, нельзя пожелать. «Вечно бы молиться в этом храме» — внушить эту мысль, вызвать это расположение не есть ли задача вообще церковного строительства? И если она вызвана, в сущности, «избушкой на курьих ножках» (по величине и незамысловатости всего), то ведь что до этого за дело? Почему храм должен быть величествен, огромен, изящен, пропорционален, «Парфенон» или «Пропилеи»? Нипочему. Храм должен быть просто храм, то есть чтобы вот молиться Богу. Должно быть, в русской душе есть что-то бесконечно прекрасное в отношении ее к Богу, милое, простое, доброе, что она создала такие для себя храмы, создала медленным тысячелетним созиданием. Уверен, в Греции таких нет. И нигде нет. Это вовсе не «влияние Византии», ибо ведь строили их уездные маленькие зодчие, ну — губернские, но вообще «какие-нибудь», не Растрелли, не Тоны и проч. Отчего же этих московских приходских церквей или вот романо-борисоглебских и нерехтских нет в Петербурге, в Одессе, где ученые архитекторы уж конечно знают хорошо «византийский стиль»? Нет, тут провинциальный наш вкус, тот милый вкус, который дал кружево и аромат таким приволжским созданиям, как, например, «Обрыв» Гончарова, или тургеневским «Запискам охотника». Это воздвигла не «православная вера» и даже не «христианство», которые воздвигли же в других местах св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, кельнский и страсбургский кафедралы. Нет, просто это «русская вера» создала себе каморочки, где она молится, где она теплится. И как это хорошо!

С печалью я думаю, и давно думаю, что пройдет время — и развалятся эти кирпичные уездные церкви. И вот будущий историк даже не поймет, о чем я здесь говорю: до такой степени отлетит память о них. Ибо, кажется, никто не сохраняет для исторической памяти и нигде в подробностях красок и размеров не воспроизведены эти уездные «избушки на курьих ножках». Святейший Синод за два века

своего существования не озаботился составлением генерального описания всех российских монастырей и церквей<sup>11</sup>. «Генерального» — это прежде так говорилось о всем «всеобщем»: «генеральная карта России» и проч. Генеральное значило «универсальное», «исчерпывающее». Это в ту пору, когда Россия была помешана на генералах, или, деликатнее, «чувствительно тронута» ими...

Когда мы подъехали к Кинешме, то, завидев издали такие-то вот две церковки на окраине города, за садами и в садах, я не утерпел и, так как пароход грузился у пристани два часа, решил осмотреть их. Взял возницу. Подъем. Пыль. Какие-то лавочки. Бульварчики. Бредут жители. Сонно, устало, жарко. Что-то копают, кажется, новый затон. Это по части «мануфактуры и торговли», и я спешил далее, к старой исторической Руси. Но вот показались и корпуса церквей с золотыми главками над синим куполом. Соскакиваю торопливо с возницы, иду по лестницам (церковь, дальняя, поставлена высоко на пригорке, укрепленном каменной кладкою). Какой-то мальчик.

— Как пройти в церковь?

Оглянулся и бежит дальше... Точно никогда людей не видал.

Как же мне пройти в церковь?

— Эй, дяденька, как бы мне пройти в церковь?

Этот «дяденька» лежит на лавке и спит около церкви...

Дяденька пошевелился. Я его растолкал.

— Что вам угодно?

— Мы проезжие. С парохода. Нам хочется осмотреть церковь. Вы сторож будете?

— Сторож.

— Так вот, пожалуйста, отойдите. Взглянуть. Путешественники.

— Что это вы? Разве я могу своею властью. Спросите разрешения у отца настоятеля.

— А где отец настоятель?

— А вон домик, раскрытые окна.

Пошел. В воротах встретил какого-то гимназиста и гимназистку. На мой вопрос ответили: «Там».

Иду «туда». Торкнулся в крыльцо. Отворилось. В дверь — тоже не заперта. Кухня, таз, мыло и умывальник. Торкнулся в следующую дверь.

— Кто там?

— Мы.

— Чего нужно?

— Путешественники. С парохода. Хотим осмотреть церковь и пришли попросить у батюшки разрешения отпереть и показать нам. Сторож говорит, что не может без разрешения о. настоятеля.

Но я напрасно уже говорил дальше. Никакого звука «оттуда» не последовало. Опять повторяю. Опять стучу! Ничего! Заперлась баба, верно, «матушка», и не из добрых, и, чтобы не беспокоить «батюшку», а вместе с тем и не вступать в пререкания, решила просто не отзываться. Этот стук в дверь, когда я знаю, что за нею сидит живой человек, этот мертвый и безответный стук до того меня раздосадовал, что и сказать не умею. Очарованность как слетела. Казенная вещь, а я думал — храм. Просто — казенная собственность, которая, естественно, заперта и которую, естественно, не показывают, потому что для чего же ее показывать? Приходи в служебные часы, тогда увидишь. Казенный час, казенное время, казенная вещь. А теперь час сна.

Я шел. И на душе сумрачно. Обхожу кругом храма, который все-таки очень хорош. Сбоку, смотрю, дверца открыта, то есть в фундаменте, и я вошел в полутемный сарай — хлев — погреб, не знаю что. Сырость, гадко, земля и кирпичи. Вижу, стоит тут плащаница. Старинная; живопись полустерта; но несомненно это плащаница, по изображению умершего Христа на верхней доске, или, благочестивее: «дске», «дщице», а на передней боковой доске какие-то пророки или праотцы, и что-то они говорят, потому что от губ их, входя в губы острым уголком, идут далее расширяющиеся ленточки, на которых написаны изречения, цитаты из этих пророков или праотцев, вероятно, предрекающие пришествие Христа и Его крестную за нас смерть. Несомненно, это как образ, да и, кажется, плащаница считается еще святее образа: с каким благоговением к ней прикладываются в Страстную пятницу и субботу! Но куда же ее поместили? Это гораздо хуже сарая, это — хлев, и даже более черное место, которое страшно назвать. Запах был несносный, тяжелый.

— Верно, эта старая плащаница, прежняя, не употребляемая более. И вынесена, так сказать, без священства в несвятое место.

Все, с кем я был, думали так же<sup>12</sup>. Пошли спросить сторожа, ибо за плащаницу мы были смущены и почти испуганы. Но сторож куда-то ушел. Обошел вокруг церкви. Дворик, должно быть, сторожа. Вошел туда. Смотрю: женщина в положении католических мадонн чистит самовар. Следы юбки, расстегнута рубашка, груди наружу, молодая и нестесненная.

— А где сторож?

— Не знаю.

— Это что у вас за плащаница там?

— Плащаница.

— В сарае?

— Это не сарай, а место.

— Как «не сарай, а место»: это хуже сарая, там пахнет, грязь и сор, всяческое.

— Ну так что же?

— Как «что же». Верно, есть другая плащаница, новая, а это — прежняя, вышедшая из употребления. Тогда другое дело. Вы, верно, тетенька, не знаете.

— Знаю я, что другой плащаницы в церкви нет. А что открыли место, и вам бы не надо туда заглядывать, то для того, чтобы просушить. Сыро там.

Еще бы не «сыро». Как в могиле. И какая ирония: поместить в самом деле «Христа в гробу», что изображает собою плащаница, в такую ужасную яму, под фундаментом, грязную! Воистину «в могилу»! Но как это сделано, конечно, без всякой имитации и уподобления грозному и ужасному событию Иерусалима<sup>13</sup>, а по кинешемскому небрежению, то невозможно не сказать, что эта «простота», грубость и бесчувственность стоят западного острология.

Ну, эти кинешемские Ренаны, пожалуй, отрицают не меньше парижского, только на другой фасон<sup>14</sup>. А впрочем...

Я сел на извозчика.

— А впрочем, «казенное место»!

Пыль, жара, барышни, гимназисты, мост и строящийся затон. А вот и наш «Самолет» и пароход «Князь Юрий Суздальский».

\* \* \*

В Ярославле мне захотелось отслужить панихиду по недавно почившем архиепископе Ионафане<sup>15</sup> — человеку добром, простом, чрезвычайно деятельном, но деятельном без торопливости и ажитации. Потеряв рано жену и имея дочь, он постригся в монашество, но сохранил под монашескою рясою сердце простого и трудолюбивого мирянина, отличный хозяйственный талант и благорасположенное, внимательное сердце простого и трудолюбивого к мириадам людей, с которыми приходил в связь и отношения<sup>16</sup>. За это он получил название «отца», несшееся далеко за пределами его епархии. Ничего специфически монашеского в нем не было, но, не рассуждая, он принял с благовением всю монашескую «оснащенность» и нес ее величественно и прекрасно, веря в нее традиционно, но полагая «кумир» свой не в клобуке и жезле, а в заботе о людях и в устремлении надобностей епархии. И так-то он приветливо и хорошо это делал, что имя его благословлялось в далеких краях и рядами поколений. Богословом он не был, принимая целиком и все традиционно. Все из принятого было для него «свято». Но, выразив свое отношение к традиции в этих пяти буквах, он затем уже, не растериваясь и не разбрасываясь, всю энергию живого человека обратил на теперешнее, текущее, современное.

Пароход подходил поздно к Ярославлю, и я поспешил к мужскому монастырю, где погребен пресвященный Ионафан<sup>17</sup>, пока не заперли ворот. Вот опять эти памятные садики и дорожки монастыря — резиденции местного архиепископа. Только мне показалось, что все теперь запущеннее и распущенное, чем как было при Ионафане<sup>18</sup>. Впрочем, может быть, только показалось. По садику бредут... не то монахи, не то послушники, молодые и бородатые, и как будто нетвердою поступью. Подумал, грешный: «Венера и Бахус из древних богов одни перешли к нам; здесь, может быть, и нет Венеры, но царство Бахуса очевидно». Впрочем, может быть, это все мои преувеличения и из намеков я построил действительность<sup>19</sup>. Иду дальше, подхожу к какой-то арке, соединяющей два здания, и вижу монаха ли, послушника ли, идущего уже явно нетвердою, вяляющею походкой и вытянув руки. «Ну, пьян так, что на ногах

не держится, и ищет, за что бы ухватиться и поддаться. Я смотрел с отвращением, но, подойдя ближе, с удивлением увидел, что это — слепой. Вынув гривенник, кладу ему в протянутую руку (слепой-калека, сам не может пропитываться).

— На что? — переспросил он.

Голос резкий, громкий.

— Милостыня.

— Я милостыни не беру. Не нуждаюсь.

И он отстранил руку.

Сконфузившись, я сказал, чтобы он поставил свечку над могилой преосвященного Ионафана.

— Это могу.

И он положил гривенник в карман подрясника.

— На что же ты, голубчик, живешь?

— На свои средства. Звонарь. Исполняю должность звонаря здесь.

— Звонаря? Но ведь это надо лазить на колокольню? Как же при слепоте?

Он, нащупав дверь и замок, отпер ее.

— Так что же? Слепота не мешает. Я везде хожу и все делаю.

И, главное, такой бодрый и крепкий голос, глубоко уверенный в каждой ноте, при очевидной старости монаха ли, послушника ли.

— Вы что же, монах будете?

— Рясофорный. Я рясофорный монах. (То есть имеющий рясу-мантию, довольно величественную.)

Это значит в монастыре то же, что у нас столбовой дворянин.

Я стал вежливее и все удивлялся полуудивлением.

— Не хотите ли у меня чаю откушать?

Я и мои спутники поблагодарили его, но обещали зайти на обратном пути, отслужив предварительно панихиду по Ионафану.

Пошли и отслужили по доброму владыке. Мир праху твоему, воистину пастырь добрый.

Любопытство наше было возбуждено, и мы решили завернуть в келью слепого звонаря. Она помещается в фундаменте ли церкви или в толстой старинной стене — я не разобрал хорошенько. Во всяком случае три ступеньки от двора ведут вниз, в углубление. И стоит одиноко, не примыкая ни к каким другим кельям. Похоже на сторожку именно звонаря.

Вошли. Все чисто прибрано. Просторно, хоть и не очень. На стенах почему-то несколько часов. На комодке тоже часы. Посреди комнаты новенькая фисгармония. За нею кровать. Прибрано и чисто, но странно.

— Чья же это фисгармония?

— Моя.

— Кто же на ней играет?

— Я играю.— И в голосе его удивление на мои вопросы.

— Как играете, когда вы слепы? Ведь вы не видите клавиш: куда же вы ударите пальцем?

Не отвечая, он сел за фисгармонию, издал несколько приятных аккордов.

— Что же вам сыграть, светское или духовное?

У «рясофорного монаха» мы решились выслушать что-нибудь духовное. Я попросил из пений на Страстной седмице.

Но как в пении это хорошо, так на фисгармонии выходило «не очень». Или слух не приучен, или уже те протяжные и монотонные звуки так и сообразованы только с человеческим голосом. Правда, «играть» и «петь» — какая в этом разница! Вероятно, звуки симфоний показались бы тоже нелепыми, попробуй их выполнить через пение.

Была игра, и правильная игра. Я вспомнил «св. Цецилию», слепую музыкантшу католической церкви<sup>20</sup>. Право, этот деятельный русский монах мне нравился не менее. На этот миг.

Оставив клавиши, он заговорил (на мои вопросы):

— Рано ослеп. Ребенком. Света и не помню. Играю, потому что слух есть. Я все звоны здесь установил, до меня была нелепость, нелепый звон, не музыкальный и не согласованный.

Так как я не понимаю в звоне, то и не мог очень понимать его разъяснений.

Но определение «нелепый звон», несколько раз твердо им сказанное, запомнил хорошо. Скорей из направления и тона его объяснений я понял только, что наука звона мудреная и сложная, требующая понимания музыки, гаммы; что требуется подбор колоколов и проч.

— И в Ростове Великом звоня я же устанавливал. Там пять звонов. (В цифре могу ошибаться.)

Он говорил явно о системе звона, о методе и тоне, что ли, не понимаю. Очевидно, однако, по твердости и уверенности объяснений и по высокой разумности всей речи, что он был высокий художник этого, в сущности, очень важного дела. Наблюдали ли вы, что по звонам, например, различаются католическая и наша церковь? В католической церкви колокольный звон точно мяуканье кошки. Так вкус выбран. Что-то крадущееся и стелющееся, «иезуитское»<sup>21</sup>, у нас звон точно телка бредет. Басок, тенорок и дискант — все в согласии. «Хоровое начало» славянофилов? Не знаю. Во всяком случае для городов и весей русских выбор характера колокольных звонов куда важнее «filioque»<sup>22</sup>, в котором никто ничего не понимает. Мелодично-грустный «вечерний звон» русских церквей скольких скептиков и сатириков удержал от протеста, критики и сатиры; и, может быть, только благодаря мягкому вечернему звону у нас никогда не зародился ни Вольтер, ни Ренан.

— А для чего у вас не одни часы на стене? Двое, трое...

Я обернулся назад, ожидая увидеть еще.

— Это не мои. Я поправляю.

Он указал и на комод, где лежала по крайней мере пара карманных часов.

— Вы поправляете часы?!

Изумлению моему не было предела.

— Теперь стар стал и рука не тверда. Волоска (в механизме) не могу поправить, а прежде и волосок мог. Но если волосок цел и неисправны другие части механизма, я чиню хорошо. Разберу, поправлю и соберу.

— Не ошибетесь? Ведь так тонко и сложно все?!

— Как бы ошибался — не брался бы.

По возрасту монаху 45—50. Конечно, из мужичков, и «богословие» тут ни при чем. «Живет по преданию». Это «по преданию», мне кажется, естественно заменило «истину» для темного, безграмотного люда. «По преданию» — значит ошупью. Пошупал батюшку — «так верил», пошупал дедушку — «так верил». И так до Николая-чудотворца и святителя Алексия<sup>23</sup>. «Все так верили», — говорит, ошупав всех, слепой мужичок. И заключает: «Так». Как же иначе поступить?

Я вышел с истинным уважением к слепому монаху, наполнившему жизнь свою трудом, деятельностью и пользой. Отчего, при слепоте, он выбрал такие занятия, как поправка часов и установка звонов? Явно его ум был не только деятельный, но предприимчиво деятельный; ум его окрылял и влек, ум был слишком зряч. А глаз недоставало...

Неподалеку от Ярославля расположился на левом берегу красивый Толгский монастырь<sup>24</sup>. Белая, высокая каменная ограда отнесена сажень на 50 от берега, в виду, без сомнения, весеннего разлива. Был ранний вечер, все золотилось в солнечных лучах... Красиво погуливали монахи около ограды, и другие, сидя на лавочках, любовались на проходящий пароход.

Толга — богатый монастырь с чудотворною иконою Божией Матери, явившейся здесь на дереве. Толгская Божия Матерь, в подробностях ее написания, одна из прекраснейших икон православия<sup>25</sup>.

Плыли мы и мимо старого Макария — древнего монастыря, по имени которого Нижегородская ярмарка именуется Макарьевскою<sup>26</sup>. Она, как известно, перенесена в Нижний правительственным распоряжением, а «сама собою» зародилась около Макарьевского монастыря и состояла первоначально из домашних изделий и товаров, приносимых и привозимых богомольцами, стекавшимися с Волги и впадающих в нее рек и речек, ко дню годового праздника преподобного Макария. Есть еще в Решме другой монастырь того же имени, бывший еще недавно мужским, но теперь женский. Любопытна история его преобразования: монахов становилось все меньше, да и те своим пьянством и безобразным поведением только возмущали окрестных крестьян. Наконец монахов осталось что-то человек пять, и монастырские службы не посещались никем. Монастырь надо было закрывать; но Влад. Карл. Саблер<sup>27</sup> придумал дру-

гое — обратить его из мужского в женский. Появились «благоуветливые монашенки», с ними деятельная и смышленная игуменья; запели они свои «стихири» и «псалмы» плачущими девичьими голосами, кроткими и жалобными, и народ кинулся сюда на богомолье и с приношениями. Старое имя и древнее место были спасены.

На пристани в Реше пассажиры парохода выслушивают «напущивший молебн путешествующим», и пароход, конечно, пристающий здесь для своих торговых надобностей, не отходит, пока не кончится молебен и все присутствующие не получат кропления св. водою. Все это красиво и народно, и как бы не воспользоваться, чтобы ответить на порыв мирян помолиться тепло и торжественно, но служба (на этот по крайней мере раз) была до невозможности плоха, небрежна, прямо нечистоплотна. Все пассажиры были возмущены; служилось с пропусками молитв, и голоса читающих, поющих и возглашающих точно спросонья или с перепоя.

Вот и красавец Нижний! Я посетил его. Как он переменялся, помолодел, покрасивел с 1878 года, когда я его хорошо знал. Теперь там действует фуникулер, почему-то называемый здесь «элеватором», вагончики на зубчатом рельсе, поднимающие почти вертикально вверх. Это заменяет прежний медленный и трудный подъем на гору, на которой расположен город. Над гимназией те же две стрелки, к четырем концам которых прикреплены инициалы стран горизонта: «С. Ю. В. З.». Я помню, что учеником этой гимназии читал роман г. Боборыкина «В путь-дорогу», и по словам автора, учившегося здесь, его товарищи в ту пору переводили эти буквы: «юношей велено сечь зело» (вместо: «север, юг, восток, запад») <sup>28</sup>. Милое остроумие, едва ли очень утешавшее тех учеников, на долю которых выпадали роковые две буквы.

Я учился в этой гимназии в директорство Садокова <sup>29</sup>, который за административные таланты был сделан впоследствии помощником попечителя московского учебного округа. Отличие для директора гимназии неслыханное и небывалое никогда! Действительно, он был очень умен. Деятелен, дальнзорок, предусмотрителен, влиятелен, и даже очень влиятелен, в городе. Голос его, авторитет его везде имел вес. В трудах он был неутомим. Гуманен. Но я имею грех, что почему-то никогда не любил его. Не любил просто потому, что боялся и что он был «начальство». Нужно его было передвинуть не на пост помощника попечителя, а прямо попечителя; тогда этот крепкий русский человек, обаятельно спокойный и ласковый, с железной волей и неустанный с утра до ночи, несмотря на 60 лет, сделал бы очень многое для образования в семи или восьми губерниях, подведомственных московскому попечителю. Но в качестве «помощника» он должен был стать только зрителем тех проделок и гешефтмакерств, какие его начальник, граф <sup>30</sup>, утонувший в долговых обязательствах, проделывал на своем «ответственном посту» с помощью правителя своей канцелярии. Мир праху их всех...

Темное время, не любимое мною.

\* \* \*

Дни и ночи плывешь по Волге... Все так же рассекают спицы паровых колес ее воды... Солнце всходит и заходит, и, кажется, нет конца этой Волге. «Мир Волги» — как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный и самостоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить его в одно! Россия, разделенная на совершенно нелепые «губернии», ничему в ней не отвечающие и ниоткуда не проистекающие, на самом деле представляет группу стран, совершенно иного в каждом случае характера, иной природы и со своим у каждой страны средоточием. Что Волга имеет общего с черноморским побережьем? С Кавказом? На Волге даже и не вспоминаются, даже и на ум не идут Одесса или Владикавказ. Просто — не чувствуются, никак не чувствуются. А Рыбинск, например, чувствуется в Астрахани, и Астрахань чувствуется же в Рыбинске. Все это соединено, слито, а Рыбинск и Одесса «разлиты» по разным котлам. Самим Господом Богом разлиты. Тут не надо противиться природе вещей. Не нужно трепетать за единство империи, или, вернее, России, которая тем меньше будет иметь тенденцию рассыпаться, чем более каждая часть будет чувствовать удобнее себя, поместится удобнее для себя географически, хозяйственно и этнографически. Искусственное разделение на «губернии» с отношением каждой губернии только к Петербургу, а не к соседним губерниям или вот не к «матушке Волге» в ее целом — это не может не вредить тысяче местных (приволжских) интересов и нужд, не породить тысячи упущений, не причинить тысяч и тысяч ущербов единичным хозяйствам

и не внести в души людей тысяч и тысяч досад и раздражений. К чему все это? Очевидно, «Приволжье», «Приуралье», «Черноморье», «Кавказ», «Туркестан», «Балтика», «Литва», «Польша» — вот естественные «края» и «земли», вот великие «землячества», из которых состоит Великая Русь. Как инстинктивно умно студенты последних десятилетий стали группироваться в «землячества». «Земляк», «соотчич» — самое натуральное понятие, факт и имя. И никакого тут «разделения», «распада», «разложения», просто — естественность и удобство.

\* \* \*

Начиная с Нижнего, берега Волги резко изменяются: они становятся пустынями и мало заселены, в то же время геологически красивее. Не видно этих постоянных деревенок, громадных торговых сел и частых городов. Чувствуешь, что удаляешься из какого-то людного и деятельного центра на окраину, менее культурную и менее историческую. На Волге в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далекую Азию. Какой тоже мир, какая древность — другой самостоятельный «столп мира», как Европа и христианство. На пристанях все более и более попадаются рабочие-татары. А в Казани пристань парохода уже завалена их «басурманскими» шарфиками, шапочками и туфлями. «Ну, Магометово царство пошло», — думаешь.

Дюжий, здоровый народ. Во что оценить только одно, что из десятков и сотен миллионов от Казани до Бухары и Каира нет из ихнего народа ни одного пьяницы! Ни одного пьяницы: этому просто, кажется, невозможно поверить! Ведь вино так сладко? Да, но и опий сладок, но он запрещен в Европе. Запрещен, и нет, не манит. Проклятый алкоголь есть европейская форма опия, и если мы не кричим и не визжим при его виде, как закричали бы и завизжали, если бы народ вдруг начал окуриваться опиумом, то оттого только, что алкоголь у нас «свое», привычное. Но качества и следствия его — точь-в-точь как опия и гашиша: одурение, расшатанность воли и характера, нищенство, преступление, вырождение, смерть.

Поговаривают иногда о религиозном обновлении, о новых чаяниях и горизонтах здесь, о новом пророчестве и новом апостольстве: воистину не принял бы никакого пророка, который не начал бы дела своего с вышиба бутылки с водкою из народных рук. «Пьяный не помнит Бога, пьяный — не мой» — вот с каким первым словом пусть явится новый пророк на Руси. Да и в самом деле, какая религия около пьянства? Какая молитва у пьяного? Какого от него ждать исполнения религиозного закона? По самому существу дела, для каждого пьющего водка и есть «бог», — это его «сотворенный земной кумир», который его вечно тянет, тревожит, заставляет забывать все, и в том числе Бога на небесах. Все пьющие, которые говорят, что они «верят», — лгут: их пьяный язык плетет, что угодно, — песню или молитву. «Слово веры есть у них, но закона веры нет в них и нет, и не может быть памяти Бога».

«Пьющие — не мой» — вот слово нового пророка.

Проплывая через Казанскую губернию, мы были зрителями странной картины, которая не сейчас объяснилась. Перед носом парохода пересекла путь лодка. «Утонут! Утонут!» — говорили пассажиры в страхе, видя, как несколько мужиков, очевидно, пьяных, что-то неистово крича, ломались, вертелись в лодке, а один из них, перегнувшись за борт лодки, окунулся головою в воду. Но поднялся и махал руками и что-то кричал, потрясая кулаком вслед уже проплывшему пароходу и неистово показывал, очевидно, пассажирам парохода, на воду. Точно он толкал кого-то мысленно в воду. Каково же было наше удивление, когда минут через десять на пароходе заговорили, что это — не пьяные, а голодные мужики, из голодающих мест Казанской губернии, и кричали они проклятия прошедшему пароходу и желали ему утонуть или сгореть и чтобы все пассажиры «в воду!» Так как крики не были достаточно слышны, то окунувшийся головою в воду мужик и показал наглядно, чего он и все они, голодные, от души желают плывущим на великолепном пароходе сытым богачам. «В воду вас», «утонуть вам», «сгореть вам и утонуть», «и с проклятыми детками вашими, проклятые» — будто бы слышали с борта и с кормы пассажиры нижней палубы (III и IV класса). Не сейчас это передалось к нам, наверх (II и I класс). Никогда до этого я не видал «голодающих мест», голодного человека. Не оттого, что ему не было времени или случая поестъ день и он поест и даже наестся вдвое вечером, а голодного оттого, что ему нечего есть, нет пищи, у него и вокруг нехватка, как у волка в

лесу, у буйвола в пустыне! Представить себе это в Казанской губернии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, университетами, православием и миллиардным бюджетом! Просто не умею вообразить! Хоть и видел на лодке, но не верю, что видел. Мираж, наваждение, чертовщина!

Гимназия, ученички в мундрах; почта цивилизованного государства, спокойно принимающая корреспонденцию: «У вас заказное письмо? Две марки». — «Простое? Одна марка!» — «У меня простое, потому что это записочка к любовнику». — «Это — заказное, потому что отношение к исправнику». И около этого... человек, которому нечего есть, и он не ел сегодня, не будет есть завтра и вообще не будет есть!!! Бррр... Не понимаю и не верю. Читал в газетах — и не верю, видел — и все-таки не верю!!!

Как может быть то, чего не может быть? Разве «дважды два» уже «пять».

\* \* \*

Вот наконец и вторая моя родина, духовная, — нагорный Симбирск. Я не надеялся когда-нибудь его увидеть, потому что не было и не предвиделось никогда повода спуститься так далеко по Волге. Зачем? Я не странствователь, а домосед. Но выпал случай «хорошенько отдохнуть», и фантазия отдыха повлекла меня на Волгу.

Мы, гимназисты младших классов, ни разу не рискнули переплыть на лодке на ту сторону Волги: так широко она в Симбирске. Во время весеннего разлива глаз уже не находит того берега, теряясь на глади вод. Берег чрезвычайно крут: и самый город с его «венцом» (гулянье над Волгою) лежит на плоском плато, которое обрывается к берегу реки. В симбирской гимназии я учился во 2-м и 3-м классе в 1871—1873 учебных годах<sup>31</sup>, в пору директорства там Вишневого, в пору Луповского, Христофорова, Штейнгауэра и Кильдюшевского, из которых некоторые были известны не в одном Симбирске учебниками или литературно. Всякий, взглянув на эти коротенькие годы (1871—1873) и молоденькие классы (2-й и 3-й), усомнится и не поверит, что же я мог тогда видеть, заметить и пережить? Между тем я пережил в них более новое и, главное, более влиятельное, чем в университете или в старших классах гимназии в Нижнем.

Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (и, вероятно, раньше и позднее потом) происходило именно в этой гимназии. Вся гимназия делилась на две половины, не только резко различные, но и совершенно противоположные, тайно и даже явно враждебные, — совершенной тьмы и яркого, протестующего, насмешливого (в сторону тьмы) света. Прямо из «мамашиного гнездышка» (в Костроме) я попал в это резкое разделение и ощутил его не идейно и «для других», а ощутил плечом, кожей и нервами, для «своей персоны», что такое и тьма, что такое и свет. Воистину для меня это было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорит: «вот — добро», «вот — зло». Боже, такая разница пережить это разделение или только сознать его, какое богатство и преимущество физиологического ощущения над идейным, головным, когда копаешься-копаешься и вот докапываешься до «умозаключения».

Здесь чувствует кожа, и все незабвенно!

«Управляя» гимназией Вишевский — высокий, несколько припухлый, «с брюшком» и с выпуклым, мясистым, голым лицом генерал. За седые волосы и седой пух около подбородка ученики звали его «Сивым» (без всяких прибавлений), а генералом я его называю потому, что со времени получения им чина «действительного статского советника» никто не смел называть его иначе как «ваше превосходительство» и в третьем лице, заочно, «генерал». Но он был, конечно, статский. Он действительно «управлял» гимназиею, то есть по русскому, нехитрому обыкновению он «кричал» в ней и на нее и вообще делал, что все «боялись» в ней, и боялись именно его. Все мысли и всей гимназии сходились к «нему», генералу, и все этого черного угла, видимо или невидимо (дома, в канцелярии), стоит его фигура, боялись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш милый, образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя, улыбаться. Так чуть-чуть, неуловимо, субъективно. Но как-то без слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учеников и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (то есть человек пять в третьем классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям ума, переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было, всякие были.



Улыбка искала себе опора: она ставила делом чести чтение книг, и никогда я (и мои наблюдаемые товарищи) не читал и не читали столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, спорили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти 71—73 годы, я никогда не переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно верить, но сам-то и про себя я твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, углов зрения, точек отправления, с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было. Разумеется, невозможно было самому все это проделать: но, на счастье, я плохо учился, выйдя совершенным «дичком» из мамашинного гнездышка, и для меня взят был «учитель», сын квартирной хозяйки, ученик последнего класса гимназии Николай Алексеевич Николаев. С благоговением пишу его имя теперь на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как насмешливо и мысленно с ним споря. Но это пусть. Фаза пройдена. А пройти ее, и так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н. А. Николаевым.

Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пушком, золотистыми, слегка выюпимися волосами, как я теперь понимаю, он для меня был «Аполлон и музы». Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. Ну, а я был «подмастерье». «Саложник» и «мальчик при нем»: самое удобное положение и отношение для настоящей выучки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто «мальчиком», «подпаском» и «на посылаках» у настоящего ученого, у Менделеева или Булгéroва. Но мне «настоящий ученый» был бы непонятен и, следовательно, не нужен или вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было и даже что «Бог послал». Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, как — не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал, непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч. Кончив уроки, я шел к его столику и брал из кучки книжек «что-нибудь неучебное». Понимал я? Не понимал? Ну, конечно, фактов, сообщений «науки» я не понимал или понимал это в 1/10 доле, но живым, чутким и (в ту пору) безгранично деятельным умом я схватил самый центр дела; не то, что писалось авторами этих книг, а что их заставляло все это писать, за что они боролись, страдали, куда летели. Словом, думаю и вполне уверен (теперь, в 50 лет), что я схватил суть дела, суть, если хотите, всего русского и европейского умственного развития, в 14—15 лет, с свежестью и безграничностью будущего, какая заключена в сути этого возраста! Тем, которые, читая эти строки, сомнительно качают головою, я скажу: но разве между мною, 14-летним симбирским гимназистом, и Боклем с его философской «Историей цивилизации в Англии»<sup>32</sup> было больше разницы, нежели между «рыбаком» Петром и И. Христом с его «глаголами жизни вечной». И между тем не первосвященники, не учителя фарисеев, не Никодим, а Петр и Иоанн восприняли слово Христово, полнее всего его уразумели и разнесли всему свету<sup>33</sup>. Вот почему, не в силах будучи проверить всех «сообщений» Бокля, я в святая святых души его, ума его, характера его, метода его — того всего, ради чего Бокль и жил, вошел, может быть, лучше всех европейских читателей и его переводчика Бестужева-Рюмина. Клянусь, из нас двоих — меня, 14-летнего мальчика, и Бестужева-Рюмина — Бокль прижал бы к сердцу как «своего» именно меня! Ибо я был тот же Бокль, только без «арсенала», без его эрудиции. Но «душа»-то боклевская и потом вот писаревская, фохтовская, Белинского, не вместе, а порознь и преемственно — в эти безумные два года чтения эта душа через посредство той изумительной ассимиляции, восприимчивости, какая свойственна 14-ти годам, — она, эта душа, вошла в меня, росла во мне, жила во мне!.. Чего же им как учителям, нужно было еще? Конечно, я был лучший их ученик в России и в Европе, и говорю это твердо теперь, в 50 лет.

— Да когда же ты дашь мне покой? — выговорил как-то мой уставший учитель на прогулке или когда мы куда-то шли, может быть, вот на пароходную пристань, где служил начальником конторы (по письменной части) его отец. Этот его вопрос я помню: наконец и он утомился, который сам во мне все пробудил и возбудил мильми, прекрасными, охотными разговорами-рассуждениями-разъяснениями. Утром ли, встав, я перебежал с своей постели на его; и вечером опять был под его одеялом. Мать его (моя хозяйка) была грубая, жесткая, смышленная и почему-то очень меня не любившая женщина, смеявшаяся над моею заброшенностью, сиротством (без отца и матери) и бедностью; старший его брат был слабоумный; сестра Соня была девяти лет; отец бывал дома только с вечера субботы до вечера воскресенья: остальное вре-

мя он был занят службою в «конторке» на пароходной пристани «Самолета». Таким образом, не только для меня но и для него не было вокруг и непосредственно родной атмосферы умственного общения: был только я, как для меня был только он (грубость семьи его, это я подчеркиваю и это сыграло большую роль). Мать его была не только грубая женщина, но и властительница, и от этого, верно, в доме его не появлялось его товарищей, кроме одного, Соловьева, по-видимому, влиявшего на него. Сам он в семье был и подавлен и свободен, уважаем и ценим, но ценим, как ценят 17-летнего даровитого юношу его родители, заработавшие хлеб и давшие ему воспитание (молчаливое требование благодарности и повиновения). В самом доме, в отношениях его со старшими образовалась атмосфера условности, сдержанности и умолчаний. Опять уже для него самого был, таким образом, открыт, чтобы «поделиться», только я один. И он меня никогда не учил, не наставлял, кроме разве первых месяцев моего пробуждения, а жил около меня, но свободно и делаясь только со мною, и я тоже жил около него свободно же и делаясь только с ним. Но какая это была жизнь...

Сдержанный в отношении к внешним, он был неизменно веселый (без шума), ласковый, остроумный, шуточный, изобретательный, «придумчивый» со мною; и само, все читая и читая, только еще сам многое узнав недавно и вновь, он имел не только охоту, но и потребность делиться знаниями, «горизонтами», идеями, надеждами русскими и европейскими, по части «муз» и рабочего вопроса, критики и публицистики, социологии и политики,—и делился со мною. То есть просто при мне и вслух мечтал, негодовал, восхищался, порицал, смеялся, как и я при нем недоумевал, спрашивал, негодовал, сомневался,—при нем и обращаясь к нему. Должно быть, и даже без сомнения, он нашел во мне душу, единственную по восприимчивости, впечатлительности и любознательности (тогда); такой пожирающей любознательности, желания все знать, во все заглянуть, все разрешить себе, на все построить умственный ответ и разрешение я никогда не испытывал сам и ни в ком никогда не встречал. «Перечитал бы все книги, переслушал бы всех людей»...

Почувствовав такую восприимчивость, он, вероятно, и меня ответно полюбил, как я его: о чувствах мы никогда не говорили. Считали «глупостями» это и вообще всякую нежность, в том числе дружбу с ее «знаками». Просто ничего не говорили о себе и своем отношении, а только о мире, о вещах, о предметах и вообще внешнем и далеком. Я хорошо помню, что мы никогда и ничего не говорили даже об учителях и гимназии (в которой и он кончал курс), о доме или родных: мы исключительно говорили о далеком и идейном...

Не могу иначе передать этих отношений, никогда еще потом не пережитых, как что мы взаимно влюбились друг в друга, влюбчивостью идейной, мозговой, и формально прожили два года в любовничестве страстном и горячем, духовном, спиритуалистическом. Как иначе назвать эти двухгодичные отношения, в которых не было только ддя, но и минуты взаимного неудовольствия, недоверия или подозрительности, неуважения, ни ниточки скрытности. И между тем, собственно, «симпатии», «миалого» или чего-нибудь сюда входило так мало, что, разлучившись, мы с ним ни разу даже не обменялись письмом. Между прочим, и по невозможности: «личного» мы никогда ничего друг другу не говорили, а продолжать прежние рассуждения, разговоры, это значило бы бросить учение и вообще все дела, обязанности и только начать писать. Конечно, мы предпочли каждый «уткнуться носом» в свою книгу, расставшись и молча, мы оба погрузились в «дальнейшее чтение», «развитие»...

Помню, он выписывал на свои деньги газету «Самодетельность». Уж из заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, 60-х годов, а с другой — грядущего «освободительного движения»... Помню и выражение его: «маленькая, но хорошая газета». Никогда я потом и позднее не видал ее. Казанская или петербургская? Кто был редактор и сотрудники? <sup>34</sup> Поступил он на медицинский факультет, где был годом его раньше кончивший курс Соловьев, вскоре умерший. Фигуру этого Соловьева, как друга своего друга я ярко не помню.

По этим двум лицам, вплотную и без замены увиденным мною в 1871—1873 годах, я судил потом всю жизнь и до сих пор сужу, что такое тот менее идейный и более психологический перелом, какой около того времени вообще совершился в русской душе, а по зависимости истории от души — совершился и в истории русской. О нем можно было бы и нужно было бы писать целую книгу. Значение его, смысл его, содержание его, многоцветные ниточки в нем неисчислимы. Но для меня выпуклее всего бросается в глаза следующее.

Грубость внешняя. Отрицание всяких «фасонов», условностей; всякого притворства, риторики, лжи. Всего «ненастоящего». Свирепая ненависть к «идеализму» и «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно «идеализм»-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которую пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое.

— Свирепая правда! — вот лучшее определение перелома. Притом самый перелом совершился до того целомудренно и застенчиво, так сказать, «не смотря в зеркало», что я даже не помню, чтобы слова «правда» и «правдивость» когда-нибудь и у кого-нибудь из «них» фигурировали или даже просто упоминались. Просто шли «бокком» и «плечом» к правде, не смотря ей в глаза (с виду), как будто «не интересуясь этой барыней».

Все движение было в шутках. Шутка была «колером» движения. Так ведь это и сохранилось потом и до сих пор, когда тон «Русского Богатства», «Отечественных Записок» или «Товарища» есть шуточный, шутящий, грубо и просто шутящий, если сравнить его с тоном «Вестника Европы», «Речи» и проч.

Под этой шероховатой, грубой, шумящей внешностью скрыто зерно невыразимой и упорной, не растворяющейся и не охлаждающей теплоты к человеку и жизненного идеализма, во всем — в политике, в социологии, литературе, публицистике, «музах» и проч., и проч., и проч. Я не смогу лучше этого выразить, как сказать, что в ту пору 60—70-х годов рождался (и родился) в России совершенно новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю нашу историю. Я настаиваю, что человек именно «родился» вновь, а не преобразовался из прежнего, например, из известного «человека 40-х годов», тоже идеалиста и гегельянца», любителя муз и прогрессивных реформ. Этому тогда «вновь родившемуся человеку» не передали ничего ни декабристы, ни даже Герцен: хотя в литературе «этих людей» и трактовались постоянно декабристы и Герцен, даже трактовались с видом подчинения и восторга. Но именно только «с видом»... Если я назову Некрасова около декабристов, Гл. И. Успенского около «великодушного» Герцена, — всякий поймет, что я говорю и насколько основательно говорю..

«Пошел другой человек» — вот слово, вот формула!

Наконец, я не скрою своей внутренней догадки, догадки за 20 лет размышления об этом явлении, так рано увиденном: что перелом этот есть не оплакиваемое, желаемое и не полученное возвращение к «естественному человеку», о чем говорили Руссо, Пушкин («Цыганы»), Толстой («Казак») и Достоевский («Сон смешного человека»), а реальный и как-то даром и «с неба», простой, добрый, безыскусственный, освободившийся от всех традиций истории. Буквально как «вновь рожденный». И, чтобы договаривать уже все и сразу окинуть смысл происшедшей перемены, скажем так, что это... возвращение к этнографии и народности, язычеству!

Последний термин нуждается в объяснении: я наблюдал — на людях и <в> книгах, в журналах, в газетах, разговорах, — что ничто до такой степени не чуждо этим людям, как хотя бы первый «аз» религиозной метафизики, которая нам известна под формою христианского богословия; чужд и неприятен всякий тон сентиментальной «кротости», «прощения врагу», «милосердия», «миротворчества», «непротивления» и проч., и проч., и проч.! Словом, весь тот дух и тон, какой мы соединяем с христианством, жаргон и фразеология его, его мотивировка, его слова и манеры, жесты и причитания, какие имеют «главным складом» своим духовенство и распространены всюду, которые имеют главною книгою Евангелие и действительно пошли от него, — все, все это имеет себе в «мыслящих реалистах», в Базаровых и Рахметовых такое непонимание себя, такое отрицание себя, такую вражду, гнев и презрение к себе, недоверие и отвращение, что я не умею передать! Да это все знают, все чувствуют! В этой «первичной этнографии», которую мы чудесным образом опять получили в своих Рахметовых и Базаровых, Писаревых и Добролюбовых, — русский человек станет с «этнографическим любованием» смотреть на еврея, татарина, язычника, тоже «этнографически» посмотрит и на «попа», без вражды, но чтобы он «подошел к нему под благословение» или записался в «братчики» человеколюбивого комитета, им основанного, чтобы он о чем-нибудь начал «по душе» с ним разговаривать, — этого не было, нет, не будет никогда!

Все реальность — в одном!

Все идеология — в другом!

Непреодолимое расхождение! До отвращения, до крови!

Вот мой внутренний взгляд, внутреннее понимание явления, о котором размышляю тридцать лет, которое хотела понять вся наша литература и так и оставила его, не разгадав, несмотря на кажущуюся его простоту и элементарность. «Пришли новые люди, всем нагубили и всех прогнали». Да, они «нагубили», как остготы римлянам: и ведь никогда римлянин не мог понять вестгота!

\* \* \*

Я продолжу о состоянии симбирской гимназии в 1871—1873 годах, так как этот маленький уголок и за небольшое время был, в сущности, тою культурною «молекулою», которая повторялась на протяжении всей России и обнимает приблизительно 30 лет перелома в ее жизни — перелома, до такой степени важного, что я не умею сравнить с ним никакой другой фазис ее истории. «Рождался новый человек» — этим все сказано, ибо из человека рождается его история; и когда появилось новое в человеке, то уже наверное все и в истории пойдет иначе.

Вся гимназия разделилась на «старое» и «новое», разделилась в учениках, в учителях. Нового было меньше, около  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ . Но в каждом классе, начиная с самых маленьких (приблизительно с 3-го), была группа лично связанных друг с другом учеников, которые точно китайскою стеною были отделены от остальных учеников, от главной их массы, без вражды, без споров, без всякой распри — просто равнодушие! Теперь, 35 лет спустя, это нашло себе выражение в терминах: «сознательный», «бессознательный», «сознательное», «бессознательное». Термин очень удачен, ибо он попадает точь-в-точь в суть явления. Тогда этого имени и самого слова не было. Не попадало на язык. Но явление было точь-в-точь то самое, которое теперь охватывается этим явлением.

Масса учеников,  $\frac{3}{4}$  или  $\frac{4}{5}$ , были, так сказать, реалистами текущего момента. Папаши с мамашами, или, грубее (потому что в их лагере все было грубо), официальные «родители», «власть имущие», отдали их в гимназию, «казенное заведение» — это было что-то еще более «власть имущее», нежели сами родители. Робкая, смиренная, недалекая, ленивая душа этих учеников, смесь сатиры и идиллии, снизу вверх с необоримым страхом взирала на эту как бы железную крышу всяческих «властей», домашних и городских, семейных и государственных, и, подавленная, только думала об исполнении. Исполнение — оно скучно, сухо. Это «учеба уроков» и «хорошее поведение». Нужна и поэзия: поэзией и утешением, грубее — развлечением для них служили драки, плутовство, озорство, ложь, обман, в старших классах — кутежи, водка и тайный ночной дебош. Как заключение этого подготвления, как награда за скучные учебные годы, давалась и получалась «казенная служба», такая или иная, смотря по выбору, склонностям, успехам и связям или общественному положению родителей. В основе все это было лениво и косно. Было формально и без всякой сути в себе. Тоже удачно было это названо в 80-х годах «белым нигилизмом». Тут не было ни отечества, ни веры, но формы «отечества» и «веры» были. Стояли какие-то мертвые скелеты, риторические выпренности, и им поклонялись мертвым поклонением высушенные мумии, просто с тусклым в себе «я», без порыва, без идеала, без «будущего» в смысле мечты и вообще чего-нибудь, отличного от «того, что есть».

Люди «как они есть» и поклоняются «тому, что есть» — общее, чем этою формулюю, я не умею выразить этого состояния.

Общею внешнею чертою, соединявшею этих людей (мальчиков и юношей), было отсутствие чтения. На ловца и зверь бежит, говорит пословица. Правда, в гимназии не поощрялось чтение, но в глубине явления лежало то, что если бы чтение даже и поощрялось учителями и начальством, ученики эти все равно ничего не стали бы читать по отсутствию внутреннего к нему мотива.

Я склонен думать, что и «русские условия» в самом обширном смысле слова, захватывая сюда не одну политику, но и городской и сословный строй, и церковь, и «учебу», — все вместе мало-помалу измельчили «русскую породу», довели ее до вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до потери самой впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не личным явлением, но родовым, наследственным, откуда и объясняется множеством людей отмеченный факт, что более даровитыми и «обещающими» являются люди с крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глухой-глухой Волги, из далекого северного края, ибо эти люди выросли вне всяких влияний «русской гражданственности» и «русского просвещения», которые, как плохой плуг землю, только портят, а не обрабатывают человека.

Отсутствие «чтения» проходило разделяющей чертой не только между учениками, но и между учителями. И они тоже делились на читающих и нечитающих, на любящих книгу и не любящих книгу. Кажется, это странно встретить в учителе гимназии. Между тем уже в 1886 году при первом посещении мною семьи одного учителя русского языка я, на вопрос о чтении его взрослых детей, услышал ответ, сопровождаемый полуулыбкой, полусмехом:

— У нас, в дому, читают одного Пушкина. Дети, жена и я.

— Ну что же, отличное чтение. Одного Пушкина прочитать...

— Да не Александра Сергеевича. Мы ужасно любим, собираясь все вместе, читать Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта. Помираем со смеху!<sup>35</sup>

Не знаю этого Пушкина и в первый и единственный раз о «Пушкине, рассказчике из еврейского быта» я услышал от этого учителя русского языка в русской гимназии, уже прослужившего 25 лет в министерстве народного просвещения и который в этом другом Пушкине находил более вкуса и интереса, нежели «в том, в Александре Сергеевиче», которого он, однако, по обязанностям службы преподавал ученикам едва очень охотно.

«Нечитающая» часть учителей симбирской гимназии была, естественно, и «непросвещенною». Они были тоже «реалистами текущего момента». Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправность. Чтобы ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было «историй».

— Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение.

Так «Сивый» директор кричал на ученика, распекая его. Очки его при этом бывали подняты на лоб; брюхо, более обширное, нежели выпуклое, слегка тряслось, и весь он представлял взволнованную фигуру.

Он волновался только от гнева. Ничто другое его не волновало, не трогало.

Этот лозунг — «хорошее поведение, а до остального дела нет» — был дан давно Сивым или даже, может быть, до него. Мы, я в частности, уже вступали в этот режим как во что-то сущее и от начала веков бывшее (детское впечатление), но... чему настанет конец!

«Настанет! Настанет!»

И мы яростно читали.

Да будет благословенна Карамзинская библиотека! Без нее, я думаю, невозможно было бы осуществление этого «воскресения», даже если бы мы и рвались к нему<sup>36</sup>.

Библиотека была «наша городская», и «величественные и благородные люди города» установили действительно прекрасное и местно-патриотическое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совершенно бесплатно, внося только 5 руб. залога в обеспечение бережного отношения к внешности книг (не пачкать и не рвать, не «трепать»). Когда я узнал от моего учителя (репетитора) Н. А. Николаева, что книги выдаются совершенно даром, даже и мне, такому неважному гимназисту, то я точно с ума сошел от восторга и удивления!.. «Так придумано и столько доброты». Довольно эта простая вещь, простая филантропическая организация, поразила меня великодушием и «хитростью изобретения». «Как придумали величественные люди города»...<sup>37</sup> Это отделялось всего несколькими месяцами и не более чем годом от времени, когда я уже читал Бокля и конспектировал «Физиологические письма» К. Фохта.

Конспектирование мое произошло через желание все схватить, все удержать и при немощи купить хотя бы одну «собственную» книгу. Книги даются только читать, но ведь я должен их помнить! Как же сделать это, когда я не могу ни удержать книги, ни купить новой такой же? Самый простой исход и был в том, чтобы, возвращая книгу в библиотеку, оставить дома у себя «все существенное» из нее, до того существенное, что, обратившись к тетради, я как бы обращался к самой книге.

Нужно заметить, что о существовании конспектов и вообще о самом методе этого отношения к читаемой книге я ничего не знал (3-й класс гимназии) и ни от кого не слышал. И мой универсальный во всем наставник Н. А. Николаев этого мне не говорил — это я хорошо помню. Вообще он мне никогда ничего не навязывал и не «руководил» ни в чем; эта его благороднейшая черта была и педагогичнейшею. Я рос и развивался совершенно «сам»; только около меня был умный и ласковый, меня любивший человек, тоже смотревший всегда сам в книгу. Конечно, времени сохранилось тем больше, чем конспект был сжатее: тогда все чтение получало более

быстрый или по крайней мере сносно быстрый оборот. А ведь мне предстояло сколько прочитаты! С тем вместе конспект должен был вполне заменить книгу, ибо и цель-то его была именно в замене книги. Поэтому энергично, с величайшею точностью, торопливостью и вниманием, я, как только ухватился за Фохта или за «Древность человеческого рода» Ч. Ляйзля<sup>38</sup>, я начинал выбрасывать мысленно все лишнее, прибавочное, словесное, все литературные распространения,— это с одной стороны, а с другой — и все остающееся, «нужное», фактически и идейно сжимал в передаче до последней степени сжимаемости.

Мне неизвестно, поступали ли так другие читающие, но это все равно,— идя другими путями, они срывали другие плоды! Но ничего подобного этому «нахлынувшему чтению», какому-то «потопу» его, который все «срывал с петель», ломал и переворачивал в старом мирозерцании, точнее — ни в каком мирозерцании, а просто в старой лени и косности, я не запомню ни в последующие годы в нижегородской гимназии, ни потом в университете. Должно быть, не было уже этого возраста, святых этих лет, когда

И верилось, и плакалось,  
И так легко, легко...<sup>39</sup>

Прошу прощения у поэта, что ставлю применительно к воспоминаниям в прошедшем времени его глаголы...

Старшие классы этой гимназии, в которой я знал много учеников, конечно, «читали» уже гораздо сознательнее и серьезнее, чем мы, и, не вмешиваясь, молча мы прислушивались к их спорам. Совершалось все это на «сборных» ученических квартирах, где в одной комнате жили ученики и 2—3-го класса, и 6—7-го. Нельзя сказать, чтобы мы искали слушать эти споры; нельзя сказать, чтобы ученики старших классов нам «пропагандировали». Они на нас не обращали внимания, но и не стеснялись. Итак, все вышло само собою. Во всяком случае и религиозный, и политический переворот стоял «вот-вот» у входа нашей души. Впрочем, нельзя сказать, чтобы «политический». В определенном смысле этого не было. Имен не было. Было «начальство», «вообще начальство», русское или французское,— и все это сливалось с Кильдешевским, Сивым (директор Вишневский) и Степановым, который, бывало, своим грозным, положительно странным голосом говорил:

— Дубровский, боуан, пошел, стань хожей в угол.

То есть «Дубровский, болван, пошел, стань рожей в угол».

Он не выговаривал некоторых букв. Дубровский, высокий, худенький мальчик, был выше этого кряжевитого, низкорослого, масляного, бесшумного в движениях (кот) учителя со старомодными бакенбардами. Благодаря тому, что он преподавал математику, а следовательно, и мог каждого сбить в ответе и свести к «богвану», каковое имя им выговаривалось страшно и грозно, мы, бывало, все затихаем, как мертвая вода, перед его уроком.

Нам, читающим, он «богвана» уже не говорил. Вообще удивительная вещь: мы их, учителей, ненавидели и боялись никак не менее, чем нечитающие, косные мальчики. Но, должно быть, что-то и у учителей было в отношении «читающих» учеников: я не помню ни одного случая, чтобы учитель, даже явно ненавидевший подобного ученика, сказал ему, однако, какую-нибудь резкость или грубость, закричал на него. Что-то удерживало. Я помню на себя окрик во 2-м классе «Сивого»:

— Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!

Но это было до «чтения». Случай этот, крик директора, мне памятен по причине первой испытанной мною несправедливости. В перемену мы бегали, гонялись, ловили друг друга по узкому длинному коридору между классами. Все это делают массою. Да и как иначе отдохнуть от сидения на уроке? Но когда в некоторые минуты шум и гам сотен ног становятся уже очень непереносимы для слуха надзирателя (что понятно и извинительно), он хватает кого-нибудь за рукав и, ставя к стене или двери, кричит:

— Останься без обеда!

Это сразу останавливает толпу, успокаивает резвость и смягчает действительно несносный для усталого надзирателя гам беготни и стукотни. Это хорошо и так нужно. Но схваченный и поставленный к стене явно есть «козлице отпущения», без всякой на себе вины, ибо точь-в-точь так же бегали двести учеников. Это знают и надзиратель и ученики: но для «проформы» такого гипотетического «безобедника» после

всех уроков, на общей молитве всей гимназии, все же вызывают перед директора (в этом и суть наказания), говорят: «Вот бежал по коридору в перемену» (то есть худо, что не шел степенно), после чего директор обычно говорил: «Веди себя тише» — и отпускал, в отличие от других настояще виновных учеников. Когда я вышел перед директора, совсем маленький, и он, такой огромный и с качающимся животом и звездой на груди, закричал: «Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!» — то мне представлялось это в самом деле кануном исключения из гимназии! И за что? За беганье, когда все бегают.

Я помню хорошо, что когда долго плакал (прямо рыдал), услышав этот окрик, то это было не от страха исключения, а от обиды несправедливости: «все бегают, а грозят исключить меня одного». Почему? Как? Весь мой нравственный мир, вот эти заложенные в человека первичные аксиомы юриспруденции, ожидания юриспруденции, были жестоко потрясены.

И между тем в эту же минуту я знал, что этот личный и особенный окрик происходил из-за того, что мой брат и воспитатель (за круглым сиротством), в то же время учитель этой же гимназии и, значит, подчиненный директора, за месяц перед этим перевелся из симбирской гимназии в нижегородскую по причине самых неопределенных и общих «неладов» с начальством. Брат мой не был либералом, но он читал Гизо и Маколея, любил Д. С. Милля и среди Кильдюшевских, Степановых и Вишневыских, естественно, был «коровою не ко двору». Директор был, однако, оскорблен не тем, что он перешел в другую гимназию, а тем, что он сделал это с достоинством и свободно, тактично и вместе с тем чуть-чуть высокомерно в отношении к оставляемому месту. «Мертвые души», у которых он не выпрашивал ни прощального обеда, ни рекомендаций, ни тех «лобзаний на прощанье», которые помнятся столько же, сколько съеденный вчера блин, были оскорблены и обижены.

Доктор Ауновский (инспектор) шепнул мне на другой или третий день:

— Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осторожнее, так как к вам могут придаться, преувеличить вину или не так представить проступок и в самом деле исключить.

Сущее дитя до этого испытания (по детскому масштабу), я вдруг воззрися вокруг и различил, что вокруг не просто бегающие товарищи, папаша с мамашей и братцы с сестрицами, не соседи и хозяйева, а «враги» и «невраги», «добрые и злые», «хитрые и прямодушные». Целые категории новых понятий! Не ребенок этого не поймет: это доступно только понять ребенку, пережившему такое же. «Нравственный мир» потрясся, и из него начал расти другой нравственный мир, горький, озлобленный, насмешливый.

Тут я и начал читать (вскоре) Бокля и Ляйэля и злобно радовался, что мир сотворен не 6000 лет назад, как говорили папаша с мамашей и законоучитель, но что по толщине торфа, наросшего над остатками человеческих построек, по измерениям поднятия морского дна около Дании и Швеции, земля доказанно существует не менее 100 000 лет, а гипотетически, вероятно, она существует уже миллионы лет!

Так говорили мои книжки и конспекты, и, слушая, или, точнее, не слушая, законоучителя на уроках, я говорил в себе:

— Знаем, где раки зимуют.

И, оглядываясь на товарищей, которые правили свое поведение перед учителем, договаривал:

— Болваны.

\* \* \*

Никак не может быть доказано, чтобы содержалось что-нибудь священное, даже просто специфическое в тех правильно выстриженных фигурках знаний, какие известны под именем «программ учебных заведений» — под именем «программы 3-го класса», «программы 4-го класса». Просто собрались чиновники в комиссию и, поковыряв зубочистками в зубах, промямлили, один, что по алгебре нужно пройти то-то, другой — что по Закону Божию нужно пройти столько-то, по истории — что непременно надо выучить германских королей франконской и саксонской династий, а то еще и «Суд Любуши»<sup>40</sup> и пр. Коньки, выстриженные из бумаги, только не детьми, а «действительными статскими» и «просто статскими советниками». Что это так, видно из того, что «коньков» этих стригут и перестригают так и этак приблизительно каждые двадцать лет. А потому я совершенно уверен, что наше тогдашнее гимназическое «чтение» — причем уроки, конечно, были не пройдены или полупройдены —

по крайней мере дало все то же, что могли дать и эти уроки, но только все вошло в нас в пламенно сваренном виде, как металл из плавильного котла. Но мне и в голову не приходит уравнивать одно и другое. Какое! Мы пережили, точнее переживали, в каждые 2—3 года целую культуру и культуры. Вот trivium и quadrivium ранней схоластики<sup>41</sup>, вот — renaissance, а там подалее и «революция»; у немногих бывала — да, бывала! — целая «реформация», религиозные перевороты, переходы от веры в неверие и от неверия к вере глубочайшей искренности, чистосердечия, да даже, я думаю, и глубины. Отчего нет? Что опять-таки за специфичность в вопросах Лютера? Да и вообще, если измерять дело достоинством души человеческой, а не внешними событиями, разыгрывающимися из этих душевных переворотов, если все мерить Божию мерою, а не человеческою мерою, без тщеславия и искания славы, то непонятно, почему история наших тогдашних душ меньше или незначительнее историй самых знаменитых душевных развитий, о каких записано в биографиях и автобиографиях, в мемуарах и правильно изложенных историях? Об одних рассказано, а о других не рассказано, вот и вся разница. Вспомнишь Ломоносова:

Герои были до Атрида,  
Но древность скрыла их от нас.

То есть и до Ахилла были Ахиллы, но без Гомера они умерли и были забыты, как и вообще все как бы не существует без истории и историков...

Из учеников старших классов симбирской гимназии — вот этих отшатнувшихся от начальства и вставших в новый строй — я помню Михайлова, Викторова, Растргуева, Есипова, но особенно — братьев Беклемишевых, из которых младший был моим товарищем. Из своих товарищей, вышедших в «новые люди», — помимо двух братьев Баудер, Рупе (сын местного аптекаря) и особенно Кропотова, который почему-то звал себя и подписывался на записочках: «Kropotini italio». Что за фантазия? Конечно, потому, что Италия — страна Данта и Петрарки: это-то мы знали и чувствовали и в 3-м классе. Дело и шалости, «развитие» и поэзия, ребячество и чуть не замыслы «потом» перевернуть весь свет — все шло в восхитительном сплетении, узор и красоту узора которого рассматриваешь только вот в 50 лет. Боже, сколько свежести! Боже, сколько веры!

Вот отчего в зрелые свои 50 лет я скажу, что никакая «система образования», классическая или реальная, никакой лицей или гимназия не дали бы нам большего и, главное, лучшего, чем это «саморазвитие», в какое мы и целая симбирская гимназия тех лет бросались, как странствующие Робинзоны. Удачное имя: именно как Робинзоны, но только со страстью не к морским приключениям, а с определенной и твердою верою, что «там», где-то «дальше», за пределами нашей гимназии и за спинами этих Кильдюшевских и Вишневских, скрывается мир бесконечного и прекрасного идеала, людей истинно добрых и благородных, знаний безграничных, жизни светлой и возвышенной. Еще «подалее» манила нас какая-то благоустроенная и мудрая жизнь народа нашего, или, точнее, всех народов, «человечества». «Но только для этого надо трудиться; этого еще нет; злые люди мешают». Когда потом, в старших классах гимназии, я читал у Щеглова и Чичерина о Кампанелле и Томасе Море, о «Республике» Платона<sup>42</sup>, то это вошло в мою душу как что-то давно знакомое. И я замечу для историков, что все эти и подобные построения до того естественны и неприменны у человека в известную фазу его развития, в фазу среднюю и сливающую <ся> между научным званием и мечтательностью, между отчуждением от действительности и верою в идеал!

.....

Увеличивая масштаб, скажу так: готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделали Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, исполнительных и аккуратных», а увидели бурю и молнии... Масштаб надо уменьшить, чтобы не власть в хвостовство, но суть была именно такова. Ведь недаром и есть в психологиях глава о «свободной воле», и глава эта не выкидывается даже в семинариях. Но там она «проходится», а мы ее показали. «Зачем же, наставнички, вы позабыли собственную главу в преподавании? Или относились к ней как к какой-то словесной схоластике, без того реального чувства, каковое вы сохраняли к чудесам Феодосиев и Антониев? Ну, а мы сохранили реальное отношение к свободной воле. И квиты, даже научно квиты».



Начальство, министерство, целая половина России вчера удивлялись этим «злым плодам учения». «Готовили одно, а вышло другое». Почему? Как? Но дело в том, что решительно всякое учение, как бы его ни кастрировали, ни обрабатывали «педагогически», содержит, однако, в себе непременно взрывчатые силы маленького или большого «renaissance'a», реформации, революции и т. д.; оно содержит определенные и не могущие быть выкинутыми из программы сведения против всяческой тьмы, закорюзости, традиционности, прямых обманов и лжи, какие вошли, и тысячеелетне вошли, во весь уклад старой Европы. Ну, например, эти 100 000 доказанных лет от сотворения мира? Красота маленьких республик Греции и Италии? Факт свободной воли? Да и это ли одно? А идеалы литературы и поэзии? «Мертвенность» или «консервативность» школы может заключаться в том только, что все это будет упоминаться глухо, на эти отделы будет накинута покров схоластики. Но не упомянуть об этом все-таки невозможно: просто эти отделы науки, вечного и повсюдного знания! Но преподаватели-то прошли это глухо и мертво, а ученики взяли да и оживили! Влили сок и кровь в слова! Возвели школу к реальному!

Для темных и старых сил истории есть только один выбор: не учить вовсе, похоронить науку совсем! Открывать не то чтобы «охранительные» школы, а не открывать вовсе никаких школ. Это можно, то есть можно повести Россию к эпохе печенегов и половцев, к состоянию Кореи или Китая. Можно и это, но ценою бытия, жизни, ибо мертвые, неживые куски истории проглатываются живыми организмами. Тут и биология и Бог — и с этим не справиться ни мудрецам, ни хитрецам, ни повелителям.

— От кого, от кого я мог ожидать этого, а уж не от Михайлова, — воскликнул удивленно директор Вишнеvский, узнав об аресте и заключении в тюрьму этого «украшавшего гимназию» ученика в первые же месяцы по окончании курса в ней. Заключение в тюрьму было на политической почве: в ту пору для этого достаточно было иметь на столе К. Маркса или что-нибудь из Лассалья, быть в дружбе с кем-нибудь из «ходивших в народ с книжками».

Этого Михайлова я помню: белый, умеренно полный, благовоспитанный, спокойный. Безукоризненных успехов и поведения. Да и мой репетитор Н. А. Николаев не спускался ниже 2-го ученика, то есть был лучшим в своем классе, а в «поведении» тоже был довольно осторожен. Эта настороженность протеста и негодования вообще была «тоном» гимназии, обусловленным жестоким давлением сверху, бесперемерностью и нечистоплотностью грозившей расправы. Но под льдом снаружи бежала тем более горячая вода внутри. Я не помню во все последующие годы, ни в нижегородской гимназии, ни в Московском университете, этой силы протеста, этой его определенности и упорства.

\* \* \*

Было 11 часов ночи, когда пароход подвалил к Симбирску. Все собирались спать. Но я решил выйти.

Огни города были высоко-высоко над водою. Я знал «подъем» туда, на гору, по которому поздним вечером я подымался долго-долго, когда в 1871 году приехал сюда с братом учителем. Нечего и думать было взойти туда: для этого надо часы (взад и вперед). Но я решился все-таки сойти на берег.

Ничего не узнаю: все ново. Только вот этот огромный, сложный (зигзагами) въезд-подъем. Я оглянулся на пароход и пристань: да, это мостки к пристани такие длинные; они были и тогда, когда, бывало, мы с которым-нибудь товарищем или с моим любимым репетитором ходили на эту самую пристань «в гости» к отцу его, служившему на пароходной конторке. Это мы часто делали, раза два в месяц. И после длинного утомительного пути так-то, бывало, обрадуешься, когда увидишь эти мостки-сходни.

— Сейчас сядем, — и чай с малиновым вареньем.

На обратном пути взбираться было ой как трудно! А кругом, в верхних частях спуска, вишневые сады. Спуск был очень сложен и, кажется, «неблагоустроен» — ради чего можно было с главной дороги сойти в сторону и пробираться какими-то «сокращенными путями», которые на деле оказывались удлиненными, но зато более интересными, именно: попадались сады не огороженные или с совсем сломанным забором, в которые мы заходили «по пути» и совершенно невольно. Завидев здесь такую бездну вишен, какой нам и не случалось никогда видеть дома или у себя в малень-

ких садах, вишен, по-видимому, никому не принадлежащих и во всяком случае не охраняемых, мы торопливо наполняли ими подола рубашек, в то же время наполняя и рот. Не понимаю, как мы не отравились: ведь в вишнях содержатся крошечные дольки амильной кислоты, и если съесть их бездну, то отравишься. Но мы положительно съели бездну. Помню, один вечер мы так увлеклись, что и не заметили, как наступила ночь. Со мной был «Kropotini italio». Мы и не сумели бы выбраться из сада, решительно неизмеримого и стоявшего «где-то»; а главное, боялись поздно за полночь постучаться к своим грозным хозяикам. Тогда мы решили переждать здесь ночь. Думали, так, проговорим. Но «объятия Морфея» (иначе не выразался о сне мой товарищ) потребовали себе жертвы. Между тем с каждым получасом становилось холоднее. И земля была холодна. Легли отдельно и рядом — холодно. А спать хочется. Мы сняли свои мундирчики и, сделав из них одеяло (пуговицы одного мундира в петли другого), покрылись сей импровизацией и, обнявшись, заснули, не потому, чтобы можно было так спать, а потому, что не могли не спать. Сила нашей молодой природы одолела силу внешней природы: и заснули, и не простудились.

С солнышком — опять вишни и вождеденное «домой».

\* \* \*

Бреду... Какие-то рельсы. Ничего подобного не было тогда! Ночь темная-темная, ничего рассмотреть нельзя. «Родина моя, вторая родина, духовная, — еще важнейшая физической!» Тут первое развитие, первое сознание, первые горечи сердца, — отделение «добра от зла»... Так хотелось бы пронизать все глазом, и нельзя. Я оглядывался, ступал. Заборы, дорожки: все не то, не то, или я не узнавал ничего! Вдруг я почувствовал, что узнал одно:

— Воздух!

Да этот самый, индивидуально этот, «в частности» этот. Читателю странно покажется, как я мог узнать в воздухе, которым не дышал 35 лет. Но когда, сперва как-то смутно ощутив, что я чувствую вокруг себя что-то знакомое, уже когда-то ощущавшееся, и не зрительно, а иначе, я остановился и с радостью стал спрашивать себя, «что это такое», то я уже и сознательно почувствовал, что кожа моя, и рот, и ноздри, все существо наполнено и обвеяно вот этим «симбирским воздухом», совершенно не таким, каков он в Костроме, Нижнем, Москве, в Орловской губернии и Петербурге, где я жил раньше и потом; не таков воздух и за границей или на Кавказе и в Крыму, где я тоже потом бывал. Только в Симбирске — от близости ли громадной реки, от восточного ли положения, — но, мне кажется, я никогда не дышал этим приятным, утонченно-мягким, нежным воздухом, точно парное молоко. Тепло, очень тепло, но как-то не отяготительно-тепло, легко-тепло!

— Вот он! Этот воздух! Узнаю! И тогда в вишневых садах, и на пристани, и у нас в саду на Дворянской (Большой?) улице. Два года дышал им.

Вспомнил, вспомнил! Другого уже ничего не вспомнил: да и нельзя было — такая тьма!

Что-то безгранично дорогое хватало меня за душу. И захотелось мне дотронуться рукою до какого-нибудь жилища в нем. Кругом все коммерческие постройки — рельсы и проч. Я стал пробираться далее. Смотрю: деревянный домик с раскрытыми окнами, в стороне от дороги. Мне показался он в пять окон. Пошел к нему, и залаяла какая-то скверная собака, и так громко, скандално. «Еще напугаешь добрых людей». Вернулся назад — и разобрала меня досада на собаку. «Может быть, совсем першивая, а мешает моему трогательному чувству» (сознавал, что трогательное). Пошел опять вперед. Собака лает, но я все-таки вперед. Смотрю — домик не в пять, а в три окошечка, а в пять он показался мне (светящимися окнами) оттого, что увидел я его наискось, то есть в одну линию три передних окна и два боковых. И в переднее окно, раскрытое, я увидел, что стоит посреди комнаты и потягивается, должно быть, отец дьякон в подряснике; потягивается и собирается снять подрясник. Разобрать точно нельзя: копошится около себя «на сон грядущий». «Вот еще, — думаю, — выглянет в окно и окрихнет», ибо собака все лаяла. Какая-то глупая канавка, и вообще местность неровная, неудобная. Да, именно так. Всегда любил я деревянные домики: все хорошее на Руси пошло от них. Деревянные домики строили Русь, а казенные дома разрушали Русь.

Ну, вот наконец и угол: хорошо я его обнял и поцеловал. Бревенчатый и небетонный, то есть не крытый тесом: все точь-в-точь такое, что я люблю и считаю

лучшим на Руси. И мои лучшие времена прошли в таких домах, одушевленные, творческие. В каменных домах я только разрушал и издевался.

Теперь собака уже тщетно лаяла. Я быстро пошел назад. Смотрю на сходящих фотографии-открытки (открытые письма) города. Между ними вдруг я увидал вид Свияги. Боже, да ведь Свияга-то для меня еще более дорога, чем Волга! Тут-то мы и купались, и буквально толклись все время на лодке. Свияга — маленькая речка, вся выюющаяся (постоянные извилины), без пароходов и плотов на ней, — чисто «для удовольствия». Она протекает, сколько теперь понимаю, позади Симбирска и параллельно Волге. Во всяком случае мы, гимназисты, все время проводили именно не на Волге, а на Свияге, отвечавшей величиною своею масштабу нашего ума и сил. Точно она для гимназистов сделана. Беклемишевы переплывали ее поперек. Тут превосходные были места для купанья. Но главное — катанье на лодке, тихое, поэтическое, которому ничто не мешает (то есть шумные и опасные пароходы). Вообще тут не происходило ничего торгового, и она вся была для удовольствия, «для гимназистов»... Она сильно заросла около берегов травами; полноводная и довольно глубокая. Местами — деревья, склонившиеся над нею!

С наслаждением купил ее фотографию. Ступил дальше по сходящим. Смотрю: великолепный букет цветов у булочницы.

— Продай, тетенька.

— Не продам.

— Да мне надо, а тебе зачем? Я тридцать лет назад тут жил, и мне дорого, с родины.

— Самой нужно.

— А сколько вы дадите? — послышался сзади голос. Обернулся. Vis-à-vis с ларем парень, должно быть, возлюбленный булочницы. Не видно, чтобы муж. У мужей другая повадка.

— Двадцать пять копеек дам.

— Отдай, Матрена, — распорядился он.

Она передала мне букет. И розы, и все. Прекрасный. Я вошел с ними на пароход. И все дивился: как попал букет к булочнице?

— Да ведь завтра Троица, — сказали мне на пароходе. — Букет она приготовила себе, чтобы идти с ним в церковь, и оттого не продавала.

Так и вышло, что «возлюбленный» и надежда завтра «выпить» принесли мне цветы с родины.

\* \* \*

На волжском пароходе мне встретилась молодая парочка. Он — светлый блондин хорошего роста, с открытым веселым лицом, она — темная брюнетка, молчаливая и несколько угрюмая. Я все примеривал мысленно, какую службу он занимает, и решил, что служит или в банке, или по министерству народного просвещения. Любопытство взяло верх над нерешительностью, и я спросил его.

— Рабинович. Учитель Р-ской гимназии, по математике и физике.

— Но ведь это еврейская фамилия? «Рабби», «Рабинович»?

— Я еврей. А вы и не узнали?

— Но у вас из русских русское лицо! И вся повадка, манеры, речь. И жена ваша еврейка? Эту-то видно, такая темная!

— Из русских русская. — Он назвал фамилию в девичестве. — И она учительница, преподавала новые языки в В-ской гимназии.

— Значит, вы православный? Браки с евреями запрещены.

— Я евангелического вероисповедания. Да вы, может быть, слышали: наш род — старинный ученый еврейский род, но отец мой принял христианство, однако, не православное, а евангелическое. Он, впрочем, был и не лютеранин. Он принял только христианство в его общей форме, не церковной. И основал особую общину «Израиль Нового Завета».

Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева<sup>48</sup>, написанную с большим энтузиазмом, об этом новом движении в еврействе, какое тогда только что произошло. Влад. Соловьев указывал, что «доктор Рабинович своею «общиною Новозаветного Израиля» дает радикальное разрешение еврейского вопроса, перекинув мост между племенами и культурами, доселе непримиримо враждебными». Он писал с энтузиазмом и о самой личности Рабиновича, высоко идеальной и чистой.

— Это о вашем отце писал Владимир Соловьев?

— Да. У отца моего хранилось много писем Владимира Сергеевича. По его смерти их взял, для разбора и издания, мой старший брат, занимающийся историей. Без сомнения, в них много есть любопытного. В лютеранском крае, у нас, о моем отце и возбужденном им религиозном движении читают лекции, и оно вообще вошло в круг протестантского богословского изложения.

— Неудивительно. Но я не думаю, чтобы под этим лежала глубокая точка зрения. Ваш отец все-таки принял христианство если и не в протестантских формах, то в протестантском духе, и это не может не льстить пасторам, которые самолюбивы, как и все мы, грешные.

Из дальнейших расспросов открылась глубоко трогательная вещь. В самом начале 80-х годов сперва на юге России, а потом и в Москве прошло сильное движение против евреев. Совершились первые погромы с убийствами и разорением имущества, и страх этих погромов перенесся и в Москву. Я кончал там курс в университете и живо помню это время, когда евреи упрашивали христиан взять на временное сохранение драгоценные свои вещи. Именно тогда в нашей прессе прошел и впервые был поставлен вопрос о том, «что такое Израиль», какова его историческая судьба, была ли она хоть где-нибудь положительна и плодотворна для коренного окружающего населения, и, словом, возник впервые теоретический «антисемитизм», как оправдание фактической ненависти и гонений. Еврейство заметалось. Невозможно представить себе ничего ужаснее, как то, что вот я, Борух такой-то, торговавший до сих пор папирусами и часами, оказываюсь обвиненным не за личные свои преступления, ненавидимым не за личные свои пороки или приносимый лично мною вред, а за то, что «когда-то» и «где-то» сделали люди, лично мне вовсе не ведомые, лично со мною никак не связанные,— люди, которые уже давно умерли и на которых я никак не мог повлиять, сколько бы ни желал этого! Есть родовой, фамильный аристократизм, и едва ли он симпатичен кому-нибудь: человек кичится «заслугами предков», сам не имея никаких заслуг или даже будучи отрицательно величиною. Насколько же ужаснее родовой, историческое ненавидение, бросающее камень в голову не того, кто виновен, но кто «черен и курчав», кто «еврей»,— хотя бы лично он был уже нам и дружелюбен и полезен. Вспомнишь вековечное предсказание Исаии, где так удивительно и до подробностей точно описана грядущая судьба Израиля между другими окружающими народами: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,— и мы отвращали от него лицо свое; он был презираем,— и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на нем, и раню его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу,— и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден он был на заклание и, как агнец, перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был изъят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению; когда же душа его принесет жертву умилостивления,— он узрит потомство долговечное»<sup>44</sup>.

Знаменитое место это из 52-й главы пророка Исаии зачислено богословами в состав так называемых мессианских мест<sup>45</sup>, будто бы предсказывающих крестную смерть Иисуса Христа, но откуда же толкователи взяли, что у Иисуса Христа было «потомство долговечное» (конец текста), что Он был «изведавший болезни» (начало текста) или что окружающие «отвращали от него лицо свое»? Все было обратное этому! Между тем как к еврейскому народу, никогда не умевшему защититься даже при избивении его, в средние века и до сих пор народно именуемому «порхатый», болезненному, не храброму, не воинственному, робкому, слабому и вместе давшему человечеству Библию, ну, и уж, конечно, имеющему «потомство долговечное», и безродному международному скитальцу все это относится с разительной буквальностью! Даже «от уз и суда он был взят» (что совершенно не относится к Иисусу Христу, Который был «в узах» и «судим»),— как это очерчивает поразительную особенность евреев, что они почти не встречаются под судом и в темницах, «изъятые» от

них. Но оставим в покое богословов, которые вечно тасуют какие-то чужие карты и вечно садятся за какую-то не свою игру.

В эту-то пору начавшегося нового гонения еврейскому националисту случилось быть в Иерусалиме. Затем я передаю почти буквально рассказ его сына: «С ним что-то произошло в храме Гроба Господня. Произошло чудо. Когда он стоял там, без молитвы, конечно, как еврей, и думал о народе своем — а о нем он постоянно думал, — его как будто что-то толкнуло и озарило. Озарилась мысль, но точно пришедшая свыше. «Вот здесь, в этом самом месте, лежит ключ ко спасению Израиля, в Гробе Иисуса Христа. Израиль должен уверовать в Иисуса Христа, и как он уверует в Иисуса Христа, — он будет спасен, вражда и ненависть к нему прекратятся». Эта мысль моего отца, точнее — потрясение его, волнение его, сделалась поворотным пунктом всей его жизни. Больше он ничего не делал и ни о чем не думал, как чтобы привести свой народ к Иисусу Христу. Он основал общину — Израиль Нового Завета. Он обратился к единоверцам с вопросом: почему в то время, как немец не непременно протестант, француз не непременно католик, славянин не непременно православный, но есть славяне и немцы католики, а из французских многие — протестанты, — одни евреи связывают свое племя с Ветхим заветом? Религия — одно, а племя — другое, и между ними нет тождества и никакой вечной связи».

Я его перебил:

— Ну, знаете, точка зрения вашего отца не была весьма глубокомысленна. Правда, православие или католичество и лютеранство не связаны непременно с племенем, но ведь в христианстве и вообще ничто не связано с кровью и семенем. Религия духа... чего же вы хотите? «Не здесь и не на сем месте будут поклоняться Богу, но везде — в духе и истине». Как только это сказал Христос, так для последователей Его и разорвалась связь между народом и религией, между племенным началом и религиозным. Христианские церкви суть исповедания, и для вступления в них так же мало надо быть русским или немцем, как и для выдержания экзамена по алгебре. Но Ветхий завет... вы понимаете, с чего он начался?

Он смотрел на меня с недоумением.

— Ветхий завет есть договор обоюдной верности, в который Бог вступил с Авраамом и потомством его через знак, положенный на самый орган воспроизведения этого потомства, — через обрезание. Тут никакого исповедания нет, это не алгебра и не Никейский символ веры, под которым можно подписаться, как под присяжным листом. Это совсем другое дело, и суть религии еврейской и заключается в племенности ее, в родovitости ее, в нисходящих потомках, которые поскольку рождаются, постольку уже состоят в Ветхом завете, со всеми добавлениями к нему, включительно до Талмуда. Поэтому для германца, например, стать католиком — не значит вовсе перестать быть германцем, отречься от духа германского и культуры германской. Но для еврея выйти из Ветхого завета и перейти в «религию духа» — значит как бы умереть и родиться во что-то новое. Иисус Христос так ведь и сказал еврею Никодиму: «нужно родиться вновь»<sup>46</sup>. О «рождении» мы не станем распространяться, но я указываю, что отец ваш совершенно не понимал того, что для еврея выйти из Ветхого завета — значит умереть как еврею. И, значит, вопрос о «спасении» Израиля не был нисколько разрешен им: он предложил ему «спастись» ценою «перестать быть». Неужели проповедь его имела успех? Уверен, нет. Простолюдьё еврейское инстинктом знает, в чем суть дела.

— Нет, Община Нового Израиля составила, но не была многолюдна. Может быть, рассуждение ваше и верно, но проповедь отца моего имела то благотворное и обширное действие, что евреи на юге России перестали дичиться христианства. И, например, таких случаев, какие бывали в старину, что евреи убивали того единоверца, который принимал христианство, что нередко случалось с еврейскими девушками в случаях любви к христианину и замужества с ним, — этих случаев более нет. Взгляды сделались терпимее, и браки евреев с христианами с переходом их в христианство — не редкость теперь на юге и не возбуждают той смертельной вражды, как прежде.

— Я очень стою за эти браки и от души радуюсь, видя вас женатым на русской, и, по-видимому, так счастливо. Но это мой русский интерес и русский взгляд. Я люб-

лю русских, и мне не антипатичны евреи. Я думаю, между этими племенами, в отдельности очень несчастными, гонимыми извне и угнетенными у себя дома, есть какое-то сочувствие и тяготение, какого, например, явно нет между русскими и немцами, да даже между русскими и французами. В этом взаимном тяготении, взаимной симпатии, которая для меня очевидна, несмотря на погромы, мне мерещится многое исторически значительное. Я думаю, от смешения этих двух кровей произойдет гениальное... Но, как и всегда в супружестве, связь должна быть обоюдосторонняя: мы, русские, должны многое взять у евреев, например, их семейное целомудрие, верность, их половую чистоту, доведенную до щепетильности... Посмотрите наши нравы, семейные и вне семьи. Это что-то ужасное. Но не многие догадываются, что нравы эти проистекли не из распатанности индивидуальной, личной,— напротив, личность распаталась под действием совершенно нелепых, неумных и неуклюжих законов наших о браке. Все «запрещения», все заповедь: «не плодитесь». Ее нет сил исполнить, она против природы, и загнанная в темный угол природа порвала все путы и, не имея нормы и закона для себя, а только голое отрицание себя, кинулась в буйство, безобразия, обезобразилась сама и обезобразила все вокруг себя. Вот вам маленький комментарий к общине новозаветного Израиля, какого не дал Соловьев и какой я даю со своей стороны, даю совершенно твердо. У вас есть братья или сестры?

— Два брата; один женат на русской и другой холост. И две сестры; одна замужем за шотландцем, другая так... не вышла ее судьба.

— Не вышла судьба?

— Она старая девушка.

— Вот уж и начинается... «Холост» один и «старая девушка» другая. В Ветхом завете этого-то и не было. Вы знаете правило и народно-религиозный обычай евреев: девушка, если она некрасива, болезненна, глупа или слабоумна,— все равно равнины ей приискывают соответствующего жениха, тоже неказистого, но который произведет с нею детей. В детях — все, и это-то и есть «Ветхий завет», которого щепки не осталось у протестантов, у католиков, у нас, церковь которых не имеет никакого взгляда на детей, а на деторождение имеет взгляд, во всяком случае отрицательный. «Лучше не жениться», и естественно, что брат ваш остался холостым человеком, а сестра не вышла замуж. Тут законы, но я думаю, тут и Бог. Будьте осторожны в своем личном браке: всеми мерами постарайтесь, чтобы у вас были дети, и много, и пристройте непременно всех их, и сыновей и дочерей. Оглядывайтесь на Ветхий завет, оглядывайтесь со страхом и смирением и не полагайтесь только на заветы вашего отца. Они великодушны, но не весьма далеко заглядывают вперед.

Но мне излишне было предсказывать: около несколько суровой и (мне показалось) холодной супруги-брюнетки этот белокурый и разговорчивый до болтливости еврей так и таял. С простодушием, какому я не знаю примера, он рассказал мне, как «роман» их сделался в две недели, как с первой случайной и непредвиденной встречи он не отходил от нее, и вот теперь везет ее, свое сокровище, показывать родным, куда-то на юг. Она все молчала, вставляя немногие слова. И хотя учила новым языкам, а он — математике и физике, но, одноклассница с ним, она, видимо, была как-то умственно и духовно зреее его, старше его. В нем же так и бродило супружеское «шампанское»: никогда я не видел, чтобы молодой муж до такой степени млеял и весь был захвачен своим «новым счастьем», был так восторжен к предмету своего обожания, мне вовсе не показавшемуся особенно красивым.

И вспомнил я великое ветхозаветное изречение: «того ради оставит отца и мать и прилепится к жене»... Не сказано подобного же слова о жене: о ней сказано, что муж будет «господином» ее и что она будет иметь к нему «влечение». Но я наблюдал, что в счастливейших случаях брака именно не жена «оставляет отца и мать», — напротив, после замужества молодая женщина укрепляется, серьезнеет в своей связанности с родительским домом, особенно со своей матерью, а «оставляет отца и мать» муж, который после женитьбы совершенно охладевает к родительскому крову, как бы отрезывается и окончательно отделяется от своих родителей, особенно от отца, и равномерно привязывается к родителям жены своей. Молодой этот супруг-еврей не преднамеренно, но невольно исполнил все эти тонкие черты, вложенные в слово Божие о браке и брачующихся...

И подумал я еще: тот еврей, до такой степени поработившийся своей жене-русской, какая иллюстрация для опровержения вечной подозрительности всех христиан, что еврей день и ночь все только и думают о подчинении себе христиан, о вытесне-

нии их из всех поприщ деятельности, о рабстве и эксплуатации их!.. Какая иллюстрация: совершается еврейский погром,— еврей вдруг находит, что народ его спасется, уверовав чистосердечно во Христа, и сам верует и основывает общину для перехода в христианство!.. Это среди погрома-то, при безмерной любви к своему народу как племени, как крови, как братьям. Мне кажется, другого примера такого великодушия, такого забвения обид не найдется еще в истории, чтобы в ответ на гонения вдруг слиться в братском объятии с гонителем. Мне не представляется шаг Рабиновича-отца гениальным, но в нравственном отношении это что-то единственное в истории!.. Совершенно поймешь, видя этот и подобные шаги, предсказание, сказанное Богом еще Аврааму и потом повторенное всеми пророками: «о семени твоём благословятся все народы», то есть что все они «процветут и расцветут, насколько потомство твое будет среди них». В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду (неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они именно должны жить в рассеянии, на что содержится указание именно в этих словах, что о семени их будут благословляться другие народы, среди которых, следовательно, они будут и должны жить. Какое предсказание при самом зарождении народа первому еврею! В этом рассеянии, как бы расплывленные среди всех народов, они теряют свою компактную антипатичность и уже становятся красивым явлением на фоне сплошного другого племени, и посмотрите, везде они вносят труд, энергию, оживляют и связывают чужой труд своей предприимчивостью, изобретательностью, «посредничеством» (вечная их профессия) и ко всем народам относятся с ласковостью и готовностью к внешней ассимиляции (только не к общему деторождению), усваивая их костюм, быт, нравы. Как-то я рассматривал иллюстрацию «Бухарские евреи». Оказывается, в Бухаре они одеваются по-мусульмански, а один еврей мне объяснил, что вне Европы они и многоженцы. Следовательно, полное слияние с мусульманами во всем, кроме общего деторождения. Это единственный пункт, где они не смешиваются, в строгое исполнение требования пророков, да и всего «Ветхого завета», по которому вера их и верность Богу своему и заключается только в племенном, своем, единонаследственном размножении. Пыль эта, оживляющая все народы, она должна сохраниться в чистом виде, не для себя только, но и для интересов целого человечества, которое не перестанет никогда нуждаться в таком оживлении. Зачем соли растаивать — она все осоляет. Но горе, если плеснуть воду в самую солонку: тогда неоткуда будет взять соли, чтобы посолить пищу. Вот простой смысл несомненного (см. весь Ветхий завет) Божия слова, чтобы евреи не смели ни с кем смешиваться, ни с кем плодиться: смысл отнюдь не враждебный другим народам. Да и не нелепо ли предполагать, что Божие слово может быть во вред человечеству?! Это — те же карты, неловко стасованные богословами и в которые они убедили играть все европейское человечество...

Всюду евреи и входят к другим народам не только с ласкою и пользою (оживление), но и с истинным «влечением», вот как к мужу жена, как к жениху невеста. Этого мы не замечаем ни у одного народа: немцы, французы, наконец, живущие среди нас массаи татары — все они живут среди нас, около нас, но отнюдь не с нами! Великая разница! Евреи же, приходя в Бухару или живя с русскими, с литвою, поляками, с арабами (в Испании), живут с ними, с нами, слепляются, входят во все наши дела, в подробности их, входят везде с горячностью и энтузиазмом. Известный Шейн, собравший два тома русских народных песен со всеми вариантами — песен свадебных, похоронных, бытовых, — неужели еврей этот служил не нам, а евреям, желал «запустить жидовскую руку в песенное творчество русского народа»? Он так же желал «запустить руку», как бедный Рабинович желал «запустить руку в христианство», приняв Христа и призывая к этому соплеменников! Удивительное «запускание руки» в чужой карман, оставляющее в кармане этом больше, чем сколько в нем лежало! Г-на Венгерова я не могу назвать талантливым критиком или историком литературы, но воображать, что он не для русской литературы, а «на пользу евреям» трудится, собрав биографические сведения о множестве русских писателей (в своем «Критико-биографическом словаре») и издал Белинского, — это до того глупо, что нельзя на это возражать. И множество подобных явлений. В евреях есть что-то женственное, немного бабье. Они нервные, крикливые, патетичны, впечатлительные. Они не имеют басов, а более нежные тембры голоса, начиная с тенора и выше, но не ниже, не переходя в октаву. Все это черты женской души, женского сложения, как и их испуг перед оружием, врожденная антипатия к войне, к лязгу оружия, к грубой

и жестокой борьбе, если это не нервная потасовка. Вот именно в такую «нервную потасовку» они вступили, бессильно и страстно, с римлянами, осадившими их Иерусалим, да и все их борьбы, войны напоминают колоритом своим, бессильною яростью и минутами жестокостью «бабью свару». Никогда это не было тяжеловесною, настоящею, грозною войною. Марса у них не было, а только тысяча Венер, тысяча вакханок, менад, разъяренных, пророчесственных... Таковы их Юдифи, Деборы, Эсфири, то нежные, то мстящие. Да таково и все племя — к тому и я веду речь, — влюбчивое во всякую окружающую культуру, влюбчивое в племена окружающие, около которых они не могут и не умеют жить только соседями, а непременно вступают с ними в интимность, «заводят шашни», вступают в любовную связь, в подлинное супружество, только не плотски, а духовно, сердечно, образовательно и культурно! Вот их роль! Далекая от роли татарина, немца, который живет собою и для себя, который всем сосед и никому не родня, в Бухаре, в Африке или в России.

\* \* \*

На пароходе вообще много едущих не за заботою, а для отдыха. Я все любовался двумя, очевидно, учительницами; в лицах их, манерах и всем поведении чувствовалось такое наслаждение этим отдыхом после тяжелого труда, что было приятно смотреть. Праздники — отдыхи; так сказано в Библии. И кто не знает труда, не знает и праздника в жизни своей, — лишние ужасающие! Эти учительницы постоянно были вдвоем, и прочей публики для них точно не существовало. Примостившись где-нибудь поуютнее, они располагались со своим чаем или пили благоразумное молоко: затем которая-нибудь из них принималась за рукоделие, а другая читала ей вслух. Я прислушался; книжки были интеллигентные, идейные. И негромко они рассуждали между собою во время чтения. Так они учились, большим или малым учением, и во время отдыха. И все было так умно и мило у них.

Озабоченная мамаша с пятью детьми, в возрасте между 12-ю и 5-ю годами, решительно не знала, что делать, и готова была каждую минуту расплакаться. Глаза ее выражали то молитву, то ужас, то раздражение; казалось, пароход разваливается, и ее милые детки сейчас погибнут. На самом деле пароход хлопал колесами по воде и ничего не совершалось грозного. Но детки ее были похожи на птенчиков с отрастающими крыльями, которые начинают подниматься над гнездышком и вылетать из него на несколько аршин или сажень. Так как мамаша с самого рождения не выпускала их из-под глаз, то, естественно, она и не заметила этой медленной метаморфозы и уже привычным глазом, всеми привычками души ожидала и требовала, чтобы они никуда не отделялись от ее больного, слабого, полуразбитого тела. От этого проистекали вечные задор и раздор благочестивого гнезда. Оно наполняя шумом своим пароход, Пассажиры, и в том числе я, любовались на резвых девчоночек и одного мальчика, которые спешили с носа на корму и с кормы на нос, открывая то тут, то там новые прелестные зрелища:

— Белый пароход идет! Белый пароход идет! Огромный!

Все бросались смотреть на белый пароход. Мамаша надрывалась от страха, что пароходы столкнутся и все погибнут, а главное — погибнут ее милые дети. Но кто-то из них уже перебежал на другой борт и оттуда звал сестренку:

— Лодка подошла к самому пароходу! Сейчас она потонет! Под самыми колесами!

Пароход принимал нового пассажира, спускали трап; лодку, правда, страшно качало, но все обходилось без драмы и трагедии.

В чудном вечернем закате солнца пароход несколько притих. Чай кончился, и остающиеся час или полтора до сна все отдались любованию и безмолвию. Даже притихла и успокоилась заботливая мамаша, около которой сгруппировались ее дети, по-видимому, уставшие за день. Старшая из ее девочек, несколько отделившись, сидела, поджав под себя ноги, и, вытягивая напряженно губки, что-то мечтала про себя. В руке у нее был клочок помятой бумаги.

Я подошел и заговорил с нею. Она подала мне клочок бумаги, который я выпросил у нее на память, — так мне это показалось любопытным. Всего 12-ти лет, только что перейдя из первого во второй класс гимназии, она с ужасными кляксами и чудовищными грамматическими ошибками переписала для себя стихотворение, которое теперь восторженно повторяла про себя, как бы молитву на сон грядущий или заветное письмо, полученное от подруги. На бумажке было написано:



На Дальнем Востоке заря загоралась.  
 Сегодня уснуть я всю ночь не могла.  
 То жизнь мне в венке из цветов улыбалась,  
 То терном колючим грозила и жгла.  
 О жизнь, не хочу я позорного счастья,  
 Твоих не прошу я обманчивых роз.  
 Хочу я свободы, свободы, свободы,  
 И знай,— не боюсь ни страданий, ни гроз  
 Иди, я бороться с тобою готова,  
 Я жажду волнений, я жажду борьбы.  
 И пусть я паду за любовь, пусть паду я,  
 Не буду покорной рабыней судьбы!\*

Я был ошеломлен. Не было сомнения, что девочка не имела никакого понятия о том, к чему относилось это стихотворение, ничего не знала другого, так сказать, из «репертуара» этих понятий, слов и особенно действий. Между тем она читала его явно богомольно.

— Нравится вам это стихотворение?

— Очень нравится!

— Что же вам в нем нравится?

— Что? — Она подумала и указала на некоторые строки; это были самые красивые и патетические строки. Девочка схватила в стихотворении, так сказать, общую ситуацию души человеческой, души молодой и именно девичьей, каковою была сама, и приняла все стихотворение как прямо обращенное к себе. Именно как письмо, к ней адресованное, но которое почтальон не донес, выронил на дороге, а она случайно гуляла и нашла его. Известно, что дети растут впереди своих лет, «выходят замуж» и «женятся» в 9, 10, 11 лет, «имеют детей» и носят их в виде кукол. Предварение будущего — вечный закон души человеческой. Девочка страшно горячо взяла душою в ы б о р, выбор между счастьем и страданием, и в сторону последнего. «Позорное счастье», «обманчивые розы» и, в противоположность им, что-то «грозящее и жгущее», что она примет на себя в какой-то «неясной борьбе», — это уже плакало в душе ее. Я видел это по глазам и губам. И, может быть, она заснет эту ночь, как и та 19-летняя девушка, к которой на самом деле письмо-стихотворение написано. Вот вы и подите, и исследите законы влияний души на душу, проследите те тропы и дорожки, по которым оно идет в стране, в народе, в обществе, в эпохе. Вспомните из Иова вопрос Божий: «Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли рассчитать месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их?» (Глава 39-я, стихи 1—2). Неисследимое! Неисследима живая природа в ее диком устроении, а уж душа человеческая с ее «тайничками» и культура человеческая с нехоженными дорогами, впереди ее и по всей ее, неисследима стократно..

— Откуда же вы списали, милая девочка, это стихотворение?

— Из журнала. Папа получает много журналов. Кажется, из «Русского Богатства».

И что такое «Русское Богатство» — она не знала. Короленко, Михайловский — все terra incognita для малытки, почти малытки.

И подумал я: какой вздор самая мысль остановить уже раз начавшееся движение идей! «Останавливающий» что-нибудь можно было до книгопечатания, до Гуттенберга, при рыцарях, закованных в латы, и вообще в том элементарном строе, когда «останавливающий» властелин или олигархия властелинов могли охватить глазом и руками комплекс явлений, подлежащих стискиванию вот эту маленькую жизнь германского феодального княжества или какого-нибудь епископского городка. Но теперь? Теперь все явления социальной жизни стали воздухообразны и решительно неуловимы для физического воздействия. Воздух, электричество, магнетизм — вот сравнения для умственной жизни. Она автономизировалась, получила ту свободу, какой никто не давал ей, просто потому, что стала волшебнo-переносимой, волшебнo-подвижной, волшебнo-неуловимой, неосутимой. «Лови руками холеру», «хватай щипцами запах розы» — вот что можно ответить цензуре и властелинам, рассмеявшись на их попытки. И вообще уже все давно пошло свободно и свободно будет идти, повинувшись лишь своим автономным законам, умирая, «когда смерть пришла», своя, внутренняя, от естественной дряхлости; а пока «смерть не пришла», то живи, несмотря на все палки и

камни, которые неумные люди швыряют в запахи розы или холеру, кому как угодно и кто как назовет.

Свобода и автономия, автономия каждой точки духовной жизни,— это уже такой факт, который никогда не исчезнет из истории человеческой! И как хорошо, наглядно объяснила мне это умная девочка. «Нельзя объять необъятное»,— сказали мне умные глазки, вытянутый ротик и эти две ручонки, из которых одна держала куколку, а другая — революционное стихотворение. «Неужели и меня будут арестовывать? Но ведь я такая маленькая, и мне хочется умереть, как и Иисус Христос, с терниями и муками, а не жить в позорном счастье, в венке из роз, все кушая варенье и пирожное»... «Это только дети делают, а я большая, завтра буду большая,— и это завтра скажет мне, за что умереть».

«Нельзя объять необъятное» и «никто не знает, где рождаются дикие козы»...

\* \* \*

Не сам я познакомился и разговаривал, а моя спутница тоже с одной интересной для наших времен пассажирской парохода. Она ехала одна. И ее замечательное лицо привлекло мою спутницу и заставило, как это возможно только в путешествиях, заговорить с нею на разные, сперва житейские, а затем внутренние и идейные, темы.

Купеческая дочь. Ушла или, точнее, отделилась, без вражды, но упрямо, от родителей и, «оставив отца и мать», богатство и спокойствие, пошла по фабрикам и заводам Нижегородской губернии... с Евангелием!.. Да, я передаю читателю, как все слышала. Теперь она ехала вниз по Волге, ехала, еще не зная сама, куда и на что, негодующая, раздраженная и убитая: ее выгнали, осмеяли, презрели.

— Народ страшно озлоблен! Так озлоблен, так озлоблен... Что я ни делала, ни говорила о Христе, о мире, который Он принес на землю, о прощении обид и огорчений, о несении каждым креста своего — все было напрасно! Это только мучило людей и озлобляло их еще более. Глухая стена. Камень. А под ним страдание. Что делать? А между тем разве Христос — не истина? Разве Он принес на землю не истину? Но между этою Христовою истиною и теми людьми, среди которых я работала, легла какая-то переступаемая пропасть. Что такое — я не понимаю, и никто не может объяснить этого.

Она была, таким образом, проповедницей Евангелия среди народных масс. Все знают, что девушки и женщины гораздо восприимчивее, нежели мужчины или юноши, к евангельскому слову; что по лицу варварской Европы первые женщины принесли евангельскую весть: св. Клотильда — у франков, св. Берта — у англосаксов, св. Ольга — у русских, св. Нина — в Грузии...<sup>48</sup> И вот эта девушка, из купеческого звания, образованная и, словом, «интеллигентка», пошла в народ, в рабочую среду, в революцию, но не с темами о заработной плате и не с Карлом Марксом, а со словом, которое принесла варварам их первые святые и князья! Не правда ли, удивительно? Уверен, что редкий этот случай не одиночен. Она говорила:

— Нужно вовсе не это. Я догадалась. Примирить народ может только великая жертва. Такая жертва, такая жертва, которая была бы больше его собственного страдания, которое очень тяжело. И когда она будет принесена — сердце этих людей раскроется.

Что она разумела под этим — было совершенно загадочно.

— Вы обо мне еще услышите...

И это было загадочно. Что услышать? О чем услышать? О подвиге? Может быть, о преступлении? Так все перепуталось в наше время. Была ли она христианка? Была ли она язычница, ибо только язычество знало натуральные жертвы, жертвы шкурой и кровью? Но она явно говорила о своем решении, о пожертвовании собою. И что значит: «Раскроешь сердце народное»? Судя по предыдущей проповеди Евангелия, как будто это должно было раскрыть народное сердце для Христова слова. Но она так явно была занята Россией и русскими, частнее — работающим людом, что, кажется, смысла ее клонился не к тому, чтобы втиснуть как-нибудь евангельское слово в душу народную, а скорее к тому, что нужно смягчить эту душу, погасить в ней злобу и мрачное отъединение, — и само Евангелие было для этого только испытанным орудием, попыткой неудачною и брошенною. Идея жертвы, как что-то огромное и новое, сильнейшее самого Евангелия, заняла бедный ум девушки, может быть, начавший помрачаться.

— Нужна жертва! Нужна жертва! Я знаю

Может быть, она умрет, работая около холерных. Так совпало. Она направлялась в низовья Волги всего за неделю перед тем, как голодный и измученный, одинокий и злобный люд начал, сверх всего, умирать от ужасной болезни, которая двигалась, как мрак, как ночь, без виновных, без суда и следствия. Может быть, она бросится в эту ночь, если чтобы не спасти, то чтобы утешить свое взволнованное сердце.

И кто запишет эти подвиги? Кто знает о них? Я услышал и точнейшим образом передал первые строки тихого подвига. А сколько их, сколько среди горькой и благогодушной русской земли! И клянусь, как ни бедна и истерзана и, наконец, унижена теперь наша Русь,— я не захотел бы ни за что быть сыном какой-нибудь другой земли, кроме нее. Я думаю, тысячи читателей, пробежав эти строки мои, скажут: «аминь».

\* \* \*

Мы подплывали к Саратову. Город этот теперь назначен быть университетским, но это случилось уже после того, как я побывал в нем. В самом деле, это — столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживленность, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного люда,— все это что-то несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород и Казань. Из всех русских городов, виденных мною, он мне всего более напомнил Ригу, но только это чисто русский город, «по-рижски» устроившийся. И в этой подобранности и величайших усилиях стать «европейским», кажется, большую роль сыграли богатые литературные и общественные традиции Саратова. Это — родина Чернышевского, Пыпина и вообще «движения шестидесятих годов»... Граф Д. А. Толстой, в бытность министром народного просвещения, был так раздражен упорством «нигилистической» традиции, упорно сохраняемой саратовскою семинарией, что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, незаконное «в административном порядке»: из одной только этой семинарии не допускать приема ни в какие высшие учебные заведения России! Почему он думал, что саратовские семинаристы меньше принесут вреда как нигилисты в положении священников, нежели в положении врачей и инженеров,— это Аллах ведает. Оглядываясь на «докритическую» эпоху нашей истории, тогда думаешь, что управляющий люд в ней составил сплосх из каких-то седоволосых младенцев, даже и в тех случаях, когда они становились великими государственными мужами.

Ближайшею целью моею в Саратове было осмотреть Радищевский музей. О нем столько говорили и писали. В самом деле, Казанский университет, Карамзинская библиотека в Симбирске и Радищевский музей в Саратове суть выдающиеся точки культуры на Волге, хотя, к великому прискорбию, и не связанной ничем с Волгою в ее специальных особенностях. Когда-то кому-то придет на ум основать «волжский музей», но кому придет эта мысль, тот делает себе великое имя. За средствами дело не станет: на Волге живет столько богатеев и жертвователей, что дело тут не в рубле и не в мошне. Не зародилось самой мысли, не запал в душу никому самый энтузиазм. Между тем «волжский музей» явился бы интереснейшим в России по своим коллекциям, по своей библиотеке, по возможности сосредоточения в нем и около него, при его пособии и возбуждении, почти самостоятельной науки. География и геология Волги, ее интереснейшие этнография, история приволжских земель и, наконец, поистине неисчерпаемое разнообразие промыслов и вообще деятельности, связанной с Волгою,— все это необозримо. Наконец, этому отвечают приволжский дух, приволжский патриотизм, довольно (как я наблюдал в старые годы) значительный и гордый. Волжане любят свою реку, гордятся ею: с «Волги» они как-то начинают Россию, и где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая.

Радищевский музей мне понравился менее самого города. Правда, здание великолепно. Но это именно то, что мне дал город. Мне не понравилось то, что это есть гораздо более «Боголюбовский» музей, нежели «Радищевский» и что вообще к памяти великого русского страдальца, писателя-народника он не имеет никакого отношения, если не считать таковым «отношением» портрета Радищева и его краткой биографии, отпечатанной на листочке, и повешенных перед входом в залы музея, наряду с портретом и тоже биографией и патентом на орден Станислава 2-й степени знаменитого Боголюбова, кажется, всю жизнь прожившего в Париже и там писавшего посредственные картины, представлявшие «подвиги русского флота»... О всем этом прописано в патенте на ношение Станислава 2-й степени, каковой орден ему был исхода-

тайствован генерал-адмиралом нашего флота Великим Князем Алексеем Александровичем: «за изображение подвигов нашего доблестного флота». А самый патент почему-то тоже пожертвован Боголюбовым музеем как историческое свидетельство, что художественные заслуги его ценились высокопоставленными особами, и вставлен музеем в рамку и под стекло, или, может быть, уже у самого награжденного станиславоносца он сохранялся под стеклом и в рамке. Боголюбов сделал, собственно, под предлогом «Радищевский» музей для сохранения и постоянной выставки своих собственных картин, которые без этого музея едва ли были бы сохранены и, во всяком случае, затерялись бы и не получили «взоров публики» по совершенной неинтересности своих сюжетов и посредственности техники. «Неинтересно! Серо! Скучно!» — с этими словами отворачиваешься от огромной залы, от пола до потолка увешанной произведениями парижско-русского маэстро, не опытного в делах житейских.

Все это очень печально: и музей имел бы совершенно другой смысл, и даже сам Боголюбов неизмеримо вырос бы в глазах истории и общества, если бы, дав музей Саратову и сосредоточив в нем все реликвии, оставшиеся от Радищева, сосредоточив довольно большую литературу о нем, сам стал незаметной фигурой в стороне, если и дав для музея свои картины, то не более как в числе 2—3-х, и всего лучше ни одной, и убрав свои патенты, биографии и портреты. Но он этого не сделал. Радищева нигде не видно. Нет даже его «Путешествия от Петербурга до Москвы», теперь уже изданного, да напечатанного и ранее А. С. Сувориным, кажется, в 2—3-х экземплярах! Для музея имени и памяти Радищева, во всяком случае, было бы возможно раздобыться этою библиографическою редкостью! Наконец, в музее памяти Радищева должна бы быть собрана литература его времени, все эти «истории» и «записки» князя Михаила Щербатова, труды князя Долгорукова, Плавильщикова, Озерова, Княжнина, начинающего Карамзина, и, словом, книжность и словесность, поэтическая и публицистическая, царствование Екатерины II. «Век Екатерины II» в книжных сокровищах и портретах — как это было бы интересно! Но здесь ни зги нет из века Екатерины II, нет даже портрета Новикова, сострадальца Радищева! Ничего! Это скучно и бездарно!

В музее, однако, собрано много величайших ценностей из пожертвований корифеев русской литературы 60-х годов или из пожертвований их родственников после их смерти. Тут находятся многие вещи Тургенева и Некрасова, из обстановки их жизни и орудий труда. Есть портреты этих корифеев и замечательных общественных и государственных деятелей их времени. Но именно и их времени, как обстановка великого Боголюбова, а не времени Радищева, как обстановка его жизни и личности! Все это ужасно неумно! Музей сам по себе прекрасен, нужен и вполне заслуживал бы подробного описания с фотографическим воспроизведением замечательных вещей, которых в нем много, но ко всему примазавшийся и во все вмазавшийся Боголюбов решительно его испортил. Город, конечно, сам от себя мог бы украсить с вой музей, ибо это есть саратовский музей, а отнюдь не «Боголюбовский», по огромной материальной ценности, вложенной сюда городом в виде прекрасного здания, — портретами великих общественных и государственных деятелей России, но отнюдь не специально «современников Боголюбова», а вообще памятных и дорогих для России! Все те же портреты, которые украшают теперь музей, шли бы сюда, но дополненные другими портретами, от Новикова до Некрасова и от Никиты Панина и Мих. Щербатова до Татаринова и Зарудного; они получили бы совсем другое значение, а не это смешное — «осветить эпоху знаменитого Боголюбова», к тому же жившего в Париже.

Все это неудачно, и мы уверены, ранее или позднее Саратов догадается это исправить. Пусть музей сохранит имя «Радищевского», но пусть он освободится от навязчивого живописца, и, например, взамен его «реликвий» отчего бы не собрать сюда все, что шло в истории и литературе нашей параллельно с Радищевым и последовательно за ним! Это был бы действительно музей памяти Радищева! И каким мог бы стать этот музей, если бы это сделать хранилищем всего словесного, живописного, музыкального и проч., и проч. движения в России, направленного к ее освобождению!

\* \* \*

Меня заняло в этом музее чтение длинного письма Гоголя, написанного незадолго до смерти. Несколько листочков, его составляющих, — старых пожелтевших листочков! — помещены между стеклами, так что обе стороны каждого листка читаются с

удобством; а все стекла, вделанные в деревянные тоненькие рамки, соединены между собою на шалнерах. Пример удобного и вместе вечного сохранения. Письмо писано к отцу Матвею, известному ржевскому протоиерею, имевшему подавляющее влияние на несчастного и больного писателя. Этого Мефистофеля Гоголя следовало бы поместить где-нибудь на его памятнике в Москве — в уголку, медалью или фигурой, но вообще поместить. Без него так же не полон Гоголь, как всякий франкфуртский чернокнижник без черного пуделя, преобразующегося в красного дьявола. Известно, что о. Матвей все пугал Гоголя адским огнем и требовал от него не только прекращения литературной деятельности и отречения от великих написанных произведений, которым сам о. Матвей предпочитал проповеди местного своего архиерея, но требовал также и отречения от чисто человеческой привязанности к памяти благородного Пушкина. «Все ничто в сравнении с вечностью и с соленым огурцом», — шутят гимназисты; но о. Матвей без всякой шутки уверял Гоголя, что «все ничто в сравнении с мудростью консисторских решений и с икотой матушки его, попады Смарагды», или как ее там звали. И «Мертвые души» и «Ревизор», и «Медный всадник» и «Цыганы» — только «грех». Можно думать, что «Выбранные места из переписки с друзьями» были опубликованы Гоголем в угоду этому своему наставнику-духовнику. Но, как это часто бывает с самонадеянными семинаристами, о. Матвей не одобрил и самой покорности своей воле, выразившейся все-таки через литературные формы, недоступные и чуждые протоиерею, буквально не читавшему ничего, кроме консисторских указов (консистории изъясляют свою волю «указами»), и не слыхавшему ничего, кроме икоты своей матушки. Он очевидно выбранил Гоголя и за «Переписку», найдя и в ней если не «соблазн» и «грех», чего решительно там нельзя было отыскать и чего не было, то все-таки найдя вредным тот шум и пересуды, вообще литературное и общественное волнение, какое возбудила «Переписка». Гоголь возбудил его «суету сует и всяческую суету», чего не одобряет Экклезиаст.

В письме, сохраняемом в Радищевском музее, великий писатель оправдывается перед о. Матвеем в опубликовании ее. Весь тон письма униженный, деланный и лживый; глубоко несчастный, и еще более нравственно несчастный, нежели умственно несчастный, Гоголь был странно болен. Болея, умирая, он оставался несколькими головами выше своего советчика-духовника и инквизитора. Но это была уже рушащаяся башня, подкошенное болезнью и какими-то нравственными страданиями величие. Оно падало, и падало к ногам коротенького чугунного столбика, где-то терявшегося около его подножия. О. Матвей брал именно короткостью своего существа, где по самым размерам не могло уместиться ничего сложного. Он был прост, ясен и убежден. Он был целен. Всем этим он был неизмеримо сильнее Гоголя, как Санчо-Пансо сильнее Дон-Кихота, и какой-нибудь лакей сильнее Гамлета, знающего столько сомнений. «Вера двигает горы», и о. Матвей своей упорною «верою», стоявшею на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься и, наконец, пасть к ногам своим с громом, который раздался на всю литературу и был слышен несколько десятилетий.

Печальная и страшная история. Бог с нею. Так около гения наших дней в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный узколобий его «друг» из Лондона, который, издавая за границею его морально-религиозные творения, в своем роде продолжение «Выбранные места из переписки с друзьями», фанатично убеждает его, что около этого «соленого огурца» ничто и «Вечность», и Шекспир, и «Анна Каренина»...<sup>49</sup>

Первоначально «Русский Нил» печатался в московской газете «Русское слово» (от 26, 30 июня, 17, 18, 24, 27 июля, 5, 24, 31 августа 1907 года) под псевдонимом В. Варварин и с тех пор ни разу не переиздавался. Розанов высылал в редакцию газеты статьи с Кавказа, где он проводил летний отпуск. Статья, помещенная в газете 24 августа, приобрела по желанию редакции заголовок «Израиль», а статья 31 августа — «В современных настроениях». Однако Розанов настаивал на цельности всего сочинения и хотел издать отдельной книгой под общим заголовком «Русский Нил» (см.: Розанов, Опавшие листья. Короб вторсырь и последний. Пг. 1915, стр. 297). Текст подготовлен с приближением к современной орфографии, но с учетом специфики розановской стилистики и синтаксиса.

<sup>1</sup> Тема Египта оназалась для Розанова сквозной. После первых публикаций на эту тему (см.: «О древнеегипетских обелисках» — «Торгово-промышленная газета», литературное приложение от 21 марта 1899 года; «О древнеегипетской красоте» — «Мир искусства», 1899, № 10, 11-12, 15) Розанов не раз обращался к ней (см.: «Египет» — «Золотое руно», 1906, № 5), а в конце жизни подготовил капитальный труд

«Из восточных мотивов» (Пг. 1916—1917, вып. 1—3. Остальные семь выпусков не опубликованы). С четвертого выпуска он хотел назвать свою книгу «Возрождающийся Египет». «Египетские мотивы» в творчестве Розанова вызвали живой интерес таких ученых, как В. А. Тураев, Н. П. Лихачев, Н. Н. Глубоковский.

<sup>2</sup> Апис — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка. Изида (Исида) — в египетской мифологии богиня плодородия, символ семейной верности.

<sup>3</sup> Розанов не разделял взглядов П. Я. Чаадаева (см.: В. Розанов, «Чаадаев и кн. Одоевский» — «Новое время», 10 апреля 1913 года). На предложение А. И. Доливо-Добровольского преподнести ему «прекрасный и редчайший портрет Чаадаева масляными красками его времени» Розанов отвечал: «Я не устал, точнее, не решился Вас поблагодарить за предложение портрета Чаадаева. Хотя сам Чаадаев не из моих любимцев литературы и истории, однако портрет по Вашему описанию так замечателен, что мне хочется по крайней мере взглянуть на него, конечно, не решаясь принять драгоценного дара. Только осторожное замечание: из рук Ваших он непременно должен перейти в Музей. Я думаю о Домике Пушкина. Это было бы превосходно» (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 271, л. 5—6).

<sup>4</sup> См.: Д. А. Сперанский. Из литературы древнего Египта. СПб. 1906; вып. 1. Рассказ о двух братьях.

<sup>5</sup> Ср.: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем» (М. Ю. Лермонтов Сочинения в 6-ти тт М — Л. 1957, т. 6, стр. 384).

<sup>6</sup> Опекун Васи и Сережи, старший брат Николай Васильевич, в Симбирске получил должность учителя гимназии после окончания Казанского университета.

<sup>7</sup> См.: В. Рагозин. Волга. Т. 1—3. СПб. 1880—1881.

<sup>8</sup> См.: П. Семенов-Тянь-Шанский. Географическо-статистический словарь Российской империи. Тт. 1—5 СПб. 1863—1885.

<sup>9</sup> Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк и публицист. Розанов, уклоняясь от прямой полемики с ним, не упускал случая выразить свое скептическое отношение к его трудам.

<sup>10</sup> Романов-Борисоглебск — уездный город Ярославской губернии, располагался как два города на обоих берегах Волги. Романов основан в XIV веке не Романом Мстиславичем (умер в 1205 году), князем галицким (с 1199 года), а великим князем Романом Васильевичем, сыном ярославского князя Василия Давыдовича.

<sup>11</sup> В это время завершалось издание, на отсутствие которого жаловался Розанов — «Православные монастыри Российской империи» (М. Издание А. Д. Ступина. 1908. 984 стр.). Полный список всех 1105 ныне существующих в семидесяти пяти губерниях и областях России (и в двух иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топографическим, историко-статистическим и археологическим описанием, библиографическими примечаниями, статистической таблицей и четырьмя алфавитными указателями. С указанием ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. Со ста десятью рисунками в тексте и картой монастырей (в две краски) на вкладном листе. Составил Л. И. Денисов, действительный член Московского общества любителей духовного просвещения, церковно-археологического отдела при нем и Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины города Москвы и Московской епархии.

<sup>12</sup> Розанов путешествовал по Волге со всей семьей.

<sup>13</sup> См.: Матфей. 27, 57—60; Марк. 15, 42—47; Лука. 23, 50—55.

<sup>14</sup> Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский историк и писатель. Признавал историческое существование Иисуса Христа, но отрицал его божественное происхождение.

<sup>15</sup> Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев; 1816—1906, 19 октября) — архиепископ Ярославский. Дядя Варвары Дмитриевны, жены Розанова, по линии отца.

<sup>16</sup> Надо учесть, что Розанов отрицательно относился к монашеству как институту христианской церкви.

<sup>17</sup> Архиепископ Ионафан был похоронен в Спасском монастыре.

<sup>18</sup> Вероятно, Розановы навещали архиепископа Ионафана в 1904 году, совместно поездку в Ярославль с поездкой в Саров, куда семья Розановых ездила в годовщину канонизации святого Серафима Саровского (июль). (См.: Т. В. Розанова, «Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье» — «Новый журнал». Нью-Йорк. 1975, кн. 121, стр. 176—177.)

<sup>19</sup> Розанов органически не переносил алкоголя. Ср. его статью «Солнце и виноград. Итальянские впечатления» (СПб. 1909).

<sup>20</sup> Святая Цецилия (первая половина III века) — мученица. Почитается как покровительница духовной музыки.

<sup>21</sup> Розанов был в Италии весной 1901 года и во время празднования Пасхи посещал собор святого Петра в Риме.

<sup>22</sup> Филлиокве (filio que — «и от Сына») — учение католической церкви об исхождении Святого Духа от Бога Отца и Бога Сына. Это учение было одной из причин разделения церкви в XI веке.

<sup>23</sup> Святой Алексий (конец XIII или начало XIV в. — 1378) — митрополит Киевский и всяя Руси, митрополит Московский, почитался в народе как чудотворец. Святой Николай (IV в.) — архиепископ Мир Ликийских.

<sup>24</sup> Первоклассный мужской монастырь в Ярославле. Расположен на левом берегу Волги при впадении в нее речки Толги. Основан в 1314 году. Возвращен Русской Православной церкви к празднику тысячелетия крещения Руси.

<sup>25</sup> Сейчас находится в Ярославском художественном музее.

<sup>26</sup> Макарьевская (или Нижегородская) ярмарка — периодический торг в Нижнем Новгороде. Возникла в середине XVI века возле обители преподобного Макария Желтоводского (1349—1444), на левом берегу Волги. Ярмарка функционировала раз в год в честь праздника в память о преподобном Макарии, отмечавшегося Православной церковью 25 июля (по старому стилю), с 15 июля по 25 августа. После перенесения ярмарки в Нижний Новгород в 1817 году Старый Макарий (город Макарьевск) захирел, и к началу XX века там насчитывалось менее 2000 жителей.

<sup>27</sup> Саблер Владимир Карлович (1845—1929) — обер-прокурор Синода (1911—1915).

<sup>28</sup> Ср.: «Гимназия — большое двухэтажное здание с флюгером на крыше — представляла площадь справа и вместе с почтовой конторой стояла у въезда в улицу, ведущую к острогу. Она была выкрашена дикой, сумрачной краской, и флюгер ее очень внушительно торчал в небесном пространстве; он придавал зданию педантский вид, говоря проходящим и проезжающим о своем ученом значении. От палки ко всем четырем сторонам шли железные прутья, на конце которых приделаны были буквы: Ю. В. С. З... Один из учителей математики, отъявленный остряк, переводил эти буквы на понятный язык. „А это значит, — говорил он, — юношей велено сечь зело“» (П. Д. Боборыкин. Сочинения. СПб. — М. 1885; т. 1. В путь-дорогу!.. стр. 55). Боборыкин учился в нижегородской гимназии в конце 40-х — начале 50-х годов.

<sup>29</sup> Сохранился экземпляр книги Розанова «О понимании» (М. 1886) с дарственной надписью: «Уважаемому и дорогому наставнику Константину Ивановичу Садокову с признательностью и любовью свой труд бывший ученик (1872—78 гг.). Василий Розанов. Брянск, 19 ноября 1886 года» (собрание С. М. Половинкина, Москва). См. воспоминания о Садокове: В. Розанов, «Из дел нашей школы» («Новое слово», 1910, август).

<sup>30</sup> Граф Капнист Павел Александрович (1840—1904) — сенатор, попечитель Московского учебного округа. Централизованная система образования состояла из учебных округов, в которые входили по семь или восемь губерний. Во главе учебного округа стоял попечитель.

<sup>31</sup> Здесь и далее у Розанова описка: братья Розановы жили в Симбирске в 1870—1872 годах.

<sup>32</sup> Книга Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии», столь популярная в России в 60-е годы, вышла в двух томах в издании Тиблена и Пантелеева (СПб. 1863—1865) в переводе К. Вестужева-Рюмина и Н. Тиблена. Перевод выдержал три переиздания. Но наряду с ним существовал другой перевод — А. Буйницкого и Ф. Ненарокова, который тоже переиздавался три раза.

<sup>33</sup> См.: «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских...» (Иоанн, 3, 1). Петр и Иоанн, апостолы, прежде были рыбаками. Это любимая мысль Розанова, которую он по случаю всегда приводит «в пользу малых мира сего».

<sup>34</sup> См.: «Самодетельность» (листок «Вестника благотворительности»). СПб. 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор д-р А. Тицнер.

<sup>35</sup> См.: И. Н. Пушкин (Чекрыгин). Жидок. Сборник еврейских песен, куплетов, романсов и арий со сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. Изд. 3-е. М. 1879.

<sup>36</sup> Карамзинская библиотека была основана в 1846 году.

<sup>37</sup> Первым председателем правления библиотеки был Языков Петр Михайлович, брат известного поэта, должность перешла по наследству его сыну Александру Петровичу.

<sup>38</sup> См.: К. Фогт. Физиологические письма. Изд. 2-е. СПб. 1867, вып. 1—2. [Ч. Лайель] Геологические доказательства древности человека. С некоторыми замечаниями о теориях происхождения видов Чарльза Ляйелля, СПб. 1864 (на обороте книги заглавие сокращено: «Древность человека»).

<sup>39</sup> Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

<sup>40</sup> См. русский перевод в издании: «Краледворская рукопись. Собрание древних чешских лирических и эпических песен». Перевод Н. Верга. М. 1846.

<sup>41</sup> К в а д р и в и й — четыре учебных предмета: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые вместе с тремя другими — грамматикой, диалектикой и риторикой (т р и в и й) — составляли круг так называемых семи свободных искусств. На этой базе покоилась школа поздней античности, затем это легло в основу средневековой школы. Различию тривия и квадривия впоследствии дано было значение различия между гуманитарными и реальными (естественными) науками.

<sup>42</sup> См.: Д. Щеглов. История социальных систем от древности до наших дней. В 2-х тт. Изд. 2-е. СПб. 1891, т. 1. В. Н. Чичерин. Политические мыслители древнего и нового мира. М. 1897, вып. 1.

<sup>43</sup> См.: «Новозаветный Израиль» (Собрание сочинений. СПб. Издание товарищества «Общественная польза», Б. г., т. IV).

<sup>44</sup> См.: Исаия, 53, 3—10. Розанов везде понизил заглавную букву Мессии, преследуя свою задачу. Текст приведен неточно.

<sup>45</sup> Розанов полемизирует с писателем-богословом Г. К. Властовым (1827—1899), издание которого «Толкование на книгу пророка Исаии» (СПб. 1896) находилось в его библиотеке.

<sup>46</sup> Ср.: «Иисус сказал ему в ответ истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанн, 3, 3).

<sup>47</sup> В просмотренных номерах «Русского богатства» за 1906—1907 годы обнаружить стихи не удалось.

\* Розанов называет имена женщин, причисленных христианской церковью к лику святых за распространение новой веры: святая Берта (VI в.) — франкская принцесса, жена короля кентского (Англия) Этельберта; святая Клотильда (475—545) — жена франкского короля Хлодвига; святая Ольга (X в.) — жена князя Игоря; святая Нина (276—340) — грузинская просветительница.

\* Розанов имеет в виду Владимира Григорьевича Черткова (1854—1936) — публициста, издателя, близкого друга Л. Н. Толстого. Крайне отрицательно настроенный к толстовству, Розанов обвинял Черткова в его пропаганде (см.: В. Розанов, «Друг великого человека» — «Новое время», 5 июня 1911 года).

## МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

### ПЛЫВУЩИЙ КОРАБЛЬ

Это неторопливое повествование о великой реке, родящей «из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение к полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод...», спустя восемьдесят лет не только радует читателя, но и удручает его, чего автор не мог предположить.

Перед нами — будто не была, а сказка о золотой рыбке, о том, как старик ловил неводом рыбу, а старуха пряла свою пряжу.

Пушкинские старик со старухой, жившие у синего моря, оказались счастливей их потомков, живущих сегодня по берегам Волги: ведь в сказке, как помнит каждый, «глядь — опять перед ним землянка». Та самая, егo! У него ничего не отняли: ни землянки, ни его собственного разбитого корыта, ни той прибрежной полосы, на которой ему или отцу и деду его вздумалось когда-то основать свое жилье. Вот этого-то сравнения и не выдерживают нервы сегодняшнего читателя прекрасного розановского повествования о «русском Ниле».

«...А она, м а т у ш к а, все стоит» (течет...). Нет, это уже не про нас — про другую какую-то сказочную страну, про другую Волгу...

...Двадцать лет назад, то есть через шестьдесят лет после описанного Розановым путешествия, мне удалось осуществить давнее желание подняться от Астрахани до Москвы — увидеть наконец главную реку средней России. На ее берегах росла моя мать, потом воевал отец; силою вещей Волга оказалась — в начале войны — и среди моих собственных самых ранних жизненных впечатлений, тех, что остаются в составе начальной памяти. И вот, спустившись прежде по Ахтубе на байдарке, в Астрахани села на пароход «Николай Некрасов». Побавиваясь все же скуки непривычного бездействия, купила в Астрахани в книжническом потрепанной том «Братьев Карамазовых». Но в первые же часы возникло то самое состояние, которое с крайней точностью описано Розановым: смывание накопившейся у столичного жителя усталости от насильственных пассивных впечатлений новизной «влажных» звуков, иных впечатлений. «Мерных ударов колес по воде», само собой, уже не было, но как быстро стало ясно, что будешь и будешь сидеть на палубе и без всякой скуки смотреть на бесшумно движущееся навстречу носу парохода спокойно-мощное течение реки, на спящие блики. Читать не хотелось! Поверх книги часами смотрелось на эту живую воду, которая, по слову Розанова, «точно не движется, а только „дышит“»... Медленно менялись слева и справа берега от века неизменной реки, виденные тысячу лет до нас иными, давно погасшими глазами, — все те же, казалось, берега. Где-то вблизи Куйбышева все, однако, переменялось.

Берега пропали. Мы плыли уже не по реке, а по странной бескрайней не морской, не речной глади, над которой клубился туман, и пароходы среди бела дня переговаривались гудками.

Конечно, я знала про плотину и водохранилища. Но такого резкого впечатления почему-то не ждала. Хорошо помню, что возникшее при этом чувство не исчерпывалось горечью, в гораздо большей степени это был бессильный гнев — как всем известно, одна из самых изнуряющих эмоций.

Мы плыли по отнятой у большого народа реке, и невозможно было отрешиться от мучительного сознания, что никто и никогда не сможет уже взглянуть на проплывающие мимо, но, однако, невидимые берега глазами тех, кто взирает на них шестьдесят, сто, двести и триста лет назад. Отделаться от этого чувства не удавалось — отнято было слишком многое, и как-то бесстыдно, неперсонифицировано. В ушах звучала детская дразнилка: «Обманули дурака на четыре кулака!»

Второе сокрушающее впечатление поджидало в Волгограде. (Вот клеймо, оставленное эпохой, — название этого города! Что хочешь, то и делай теперь — Сталинградом обратно не назовешь, Царицыном еще глупее! Мы несем наказание



безвыходности. Так и будет Сталинградская битва происходить в несуществующем городе.) Пароход там стоял пять часов, можно было распорядиться временем. Мой отец, пехотинец московского ополчения, не писал нам из-под Сталинграда год. Уже вернувшись после войны, он объяснял, что хотел приучить семью к мысли о своей гибели заранее, — сомнений в том, что он погибнет не сегодня, так завтра, у него не было: вокруг ежечасно гибли однополчане, и его мучило, что письма их еще идут.

И вот я увидела это, и, как написали бы ранее, свет померк в моих очках. Я настаиваю на том, что статуя, всыщающаяся над пропитанной кровью приволжской степью, во-первых, не может быть передана никакими фотовоспроизведениями, а во-вторых, не имеет отношения к нашим земным масштабам и треволнениям. С первой секунды становится ясно, что она сработана никак не руками землян, а опущена на нашу землю при помощи тросов с какого-то космического инопланетного снаряда. Водруженная, или, скорее, нахлобученная, на курган, она господствует над огромным пространством и лишает тех, кто идет к кургану, возможности сосредоточения. Подавляя естественные прилицивающие случаю чувства, вместо них она навязывает появляющимся в радиусе ее действия людям одно идиотически-возбужденное изумление перед масштабом содеянного: ишь ты! вот это да! Не знаю, может, за прошедшие годы люди к ней привыкли — тем печальнее. Чистая величина, но, однако, почти физически угнетающая. Неужели и это непоправимо? В тот год мне думалось, что — нет, что вернуть здесь земле, которая сама себе служила памятником, прежний облик возможно.

Три года спустя, в 1970 году, в первые дни мая мы плыли на байдарке в дельте Волги — незадолго до холеры и многолетнего карантина. Видели издали розовых фламинго — бессмысленно браться их описывать не поэту. Ночевали на палубе катера. И как только легли сумерки, зазвучало все — вода и воздух. Вся дельта, куда хватало глаз и слуха, жила, кипела. Все курлыкало, квакало, звенело, посвистывало. Мощно, как согласное взмывание огромного оркестра, объявляло о себе воспроизведение жизни на земле. Что-то там сейчас? И что будет?

...На том именно пароходе «Юрий Суздальский», на котором спускался по Волге в 1907 году Розанов, несколькими годами позже все мечтала покататься кинешемская девочка Клавдия Махова. То, что Розанов назвал «бульварчиками», сегодня ей — моей матери — помнится как красивый бульвар. Все горожане знали, что именно на этом бульваре снимали в Кинешме «Бесприданницу». Убийство героини из ревности после ее веселого катания на пароходе по Волге с богатым купцом произошло тут же, у дверей рестораника. «Впритирку с бульваром — церковь. Рядом с ней — церковный дом, женская богадельня... Было еще прекрасное старообрядческое кладбище. Темные памятники. Много ягод... Там так хорошо было играть в прятки! Стоял дом, туда привозили тяжелобольных. Кладбище и дом выстроил на свои деньги купец-старообрядец, он и сам тут где-то рядом жил».

Тот же самый розовый «самолет» (только так и называли) ходил по Волге и в начале 20-х, был все так же шикарен, каким он описан Розановым, и шестнадцатилетняя барышня решила осуществить детскую мечту — не проехаться, так хоть пройти по палубе. Гуляя вечером близ Волги со своими детдомовцами (она была воспитательницей), увидела стоящий у пристани пароход — и, наказав детям дожидаться ее, быстро поднялась по трапу и взошла на палубу. И тут же пароход дал гудок, отчалил и стал разворачиваться на Нижний. Она кричала: «Остановите, у меня дети!»; потом кричала с палубы детям: «Идите домой и ложитесь спать! Я вернусь ночью!» А дальше все происходило как в кинематографе тех лет: красавец адвокат, известный кинешемский сердцеед, купил ей билет (у нее не было ни копейки), уступил свою каюту, помог сойти на ближайшей стоянке, дал денег на обратный билет, поручил ее заботам пожилой дамы, оказавшейся на ночной пристани, — барышня дождалась обратного уже обычного, неказистого пароходика и вернулась в свой детский дом к завтраку, причем заведующий встретил ее словами: «Как это ты, Клавдия, вчера ребят приструнила — их и слышно не было!» (Дети, потрясенные событием, притихли на всю ночь.)

Спустя двадцать лет, в сентябре 1941 года, высокий черный борт огромного парохода, нависающий над прыгающей на воде шлюпкой, — одно из первых моих собственных воспоминаний. Все происходит у того же кинешемского причала. Сильные волны (как потом поясняли взрослые — «от винта»), крики женщин, прижимающих к себе детей, и мужчинам, изо всех сил навалившимся на весла, удается выгрести; я слышу: «Ну, слава Богу». Мы плывем, эвакуированные из Москвы. Дыхание Волги входит в самый ранний пласт сознания, а в словарный запас — «смычка» (паром, соединяющий левый и правый берег). Изба с русской печью, впервые увиденной. Полаты, где спят мои старшие братья, — тоже впервые. Ночью старшие дежурят, чтобы крысы не залезли в колыбель к новорожденной — родившейся в Кинешме нашей младшей сестре.

В 1907 году Розанов описывал соседствующие с русскими на Волге народы. «...Из десятков и сотен миллионов... нет из ихнего народа ни одного пьяницы!» — тут слышится, узнается будущая солженицынская интонация: «Вот, говорят, нация ничего не означает, в каждой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось»; близко к первоисточнику, кажется, и само движение мысли.

Что же до «ихнего народа», до «Магометова племени», то отсутствие в нем не только пьяниц, но пьющих продержится какое-то время и после революции. Отец мой, уроженец Дагестана, учившийся в дербентской гимназии, а в 1922 году приехавший юношей в Москву, в Тимирязевскую академию, только годом-двумя спустя решился попробовать вина, хотя правоверным мусульманином не был с первого же революционного года. Когда же спустя полвека я поехала посмотреть на его родной аул в Южном Дагестане — в каждом доме на стол ставили водку и только водку и не могли никак примириться с равнодушием к ней моего русского спутника.

На Волге же дела подвигались и того быстрее. Бензолка — поселок и завод (на нем мой дед с материнской стороны в первые десятилетия века работал механиком-дизелистом) — превратился в город Заволжск (на левом берегу Волги, против Кинешмы) и Анилзавод — главный поглотитель окрестной рабочей силы, не только мужской, но и женской. Женщины таскали (что делают и до сей поры) на спине по два и три пуда химикатов, получая за это молоко, но предпочитая ему водку. Пили и в царское время, но дальше пьянство росло неудержимо, в него все активней втягивались вслед за мужьями женщины, и в 50-е в городе, по уверению местных, непьющих уже не было. Одному из тех, кого подбирали из канав пьяным именно мертвецки, зашили под кожу то, что положено, но среди заволжского люда бытовало мнение, что «ничего не будет». И жена (I) целый вечер пила с мужем на пару, а потом спокойно отправилась на переправу — ехать к взрослым детям в Нижний Тагил. В Кинешме на вокзале к ней подбежали перед поездом с сообщением, что муж ее только что умер в больнице, и она вернулась, чтобы его хоронить. «Его только на операционный стол успели положить, — рассказывала она эпически. — Разрезали, а у него уже весь желудок съежился и почернел». «Да как же ты с ним пила?» — «Да все пили вшитые! Ничего т а к о г о не было — вызовут «скорую», и ничего!»

В Заволжске и Кинешме молодые замужние женщины сообщают свои анамнезы, способные погрести воображение жительниц Москвы: «Я тридцать два аборта сделала, а Наташка — сорок». И год за годом по несколько раз в год приезжают с Ярославского вокзала в Москву — за колбасой и одеждой. Так ездила до семидесяти восьми лет моя тетья, родная сестра мамы, и с мешками за спиной уезжала обратно к детям и внукам. И все звала: «Приезжай к нам! Уж как же у нас хорошо! Волга!»

И когда в 1985 году я поехала к ней в больницу — только уже не в товарном вагоне, как летом 1941-го, а на верхней боковой полке плацкартного, — увидела, спускаясь к причалу, ту самую церковь с колокольней, которую описывает Розанов (она устояла все эти годы и действует), а потом стала переправляться — и открывшийся волжский простор, упруго бьющий в грудь речной ветер перехватили дыхание. И тогда мне сделалось ясно, как легко становилось хрупкой, замученной жизнью и вечной пьянкой, творившейся вокруг нее, презиравшей водку старой женщине, как только ступала она после поезда со своими мешками и сумками на подвижную палубу и оглядывала великую реку, залитую встающим солнцем.

Розановский пароход, плывущий по стране, которая, как поют современные рокеры, когда-то была моей, по реке, «ровное, сильное, не нервное» дыхание которой «успокаивает» автора повествования, конечно, неизбежно вызовет в памяти у современного читателя фильм Феллини о плывущем по разлому двух веков корабле, о том, как океанской волной начавшегося мирового катаклизма смывает целую культуру. Но корабль Розанова плывет еще за семь лет до мировой войны, за десять лет до февральской революции и всего дальнейшего. Предвидел ли автор почти идиллического повествования это дальнейшее? Ведь он уже видел происходившее год-два назад. Не отсюда ли и идиллия — как бы опережающая ностальгия по обреченному миру?

Розанов, во всяком случае, дает огромную пищу для размышлений о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем нашем дне. Он неустанно исследует феномен русской жизни, углубляется, въедается в него, осматривает и так и эдак и будто демонстрирует то, с чем неизбежно столкнутся будущие преобразователи, не столько не знающие, сколько игнорирующие историко-психологическую толщу российской жизни.

Да уже одно только описание оконного крючочка — какой он у нас есть и каким должен быть по европейским кондициям — уже это неправомо наше, нашешское. Эти «маленькие хитрости» — одно из вернейших, глубочайших отражений нашей жизни в печати последних десятилетий. Если бы журнал «Наука и жизнь» издавался уже тогда, наверное, какой-нибудь умелец пассажир непременно прислал в редакцию описание легкого в домашнем изготовлении приспособления для открывания низко посаженного крючка. «Маленькие хитрости», зоценковские «удивительные идеи» и «счастливые проекты». Приноровление к данности неверно посаженного крючка — нашего поистине недвижимого и пожизненного имущества.

«Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение». Десятый год директорствующий неизвестно по какому праву над крупнейшей библиотекой страны не слышал ведь этих слов директора гимназии. Но через сто лет после него (в начале 80-х) он скажет на ученом совете библиотеки те же слова, всем запомнившиеся именно своей классичностью: «Мне гении не нужны. Мне нуж-

ны дураки, но нравственно чистые». Розанов щупывал то именно, что самовоспроизводится на российской почве, «что то сущее и от начала веков бывшее», но то, чему, возглашает он, призывая свою детскую гимназическую веру, «настанет конец, настанет! Настанет!».

Со знанием и умением пишет он о «нашей русской молодой бескультурности», по которой в библиотеке парохода, плывущего по Волге, нет ни одной книги, относящейся до Волги («...до того неумно, что даже растериваешься»), нет ни путеводителя, ни карт, ничего. И сделано это не по злой воле, а, по мысли Розанова, «молодой недогадливостью» юноши или гимназистки. Это незнание, с какого конца взяться за дело.

Неутомимо исследует Розанов тайну русского национального характера, его высоты и бездны. В этом помогает ему то понимание людей, которое во все времена бывает уделом лишь немногих — и не может быть иным, потому что в тиражировании вольных суждений о душе ближнего своего есть определенная опасность. После смерти своего знакомого, сотрудника «Нового времени», редактора-издателя журналов «Русское дело» и «Русский труд» С. Ф. Шарапова (он считался «правым»), и весьма, но некролог его в «Русской мысли» написал кадет П. Б. Струве), Розанов пишет в «Уединенном», что «он был не умен и не образован, точнее — не развит, но изумительно талантлив. <...> Он безусловно был честный человек». И дальше — главное, важное не для нашего понимания мало кому сегодня ведомого Шарапова, а для размышления о Розанове и нашей национально-общественной жизни: «...Было что-то в нем неуловимое, в силу чего, даже взяв его за руку с вытасненным у меня носовым платком, я пожал бы ему руку и сказал бы: «Сережа, это что-то случайное: ведь я знал и знаю сейчас, что ты один из честнейших людей в России». И он расплакался бы слезами ангела, которыми вот никогда не заплачет «честный» Кутлер, сидящий на 6-тысячной пенсии» («Уединенное»).

Над этим, уверена, многие читатели остановятся — и с разными мыслями. Эти поиски сущест в е н о г о в человеке, самой его сути, не зависимой ни от степени таланта, ни даже от определенных поступков, были близки и понятны, видимо, еще одному русскому писателю нашего века — М. А. Булгакову. Его сосед по дому в 6. Нащокинском драматург Алексей Михайлович Файко рассказал незадолго до смерти о придуманной Булгаковым «игре в отметки» — когда какого-либо кандидата оценивали, как запомнились мемуаристу пояснения Булгакова, «за весь комплекс присущей ему личности. Дело не только в интеллекте, чуткости, такте, обаянии и не только в таланте, образованности, культуре». Он призывал участвующих в игре оценить «человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке, и вот именно за эту совокупность ставить балл». Не тот же ли это взгляд — поверх «платков»? «Когда наши мнения сходились и некий Икс, мало чем известный, тихий, скромный человек единодушно получал высшую оценку, Булгаков ликовал. «За что? — спрашивал он с сатанинским смехом. — За что мы ему поставили круглую пятерку все без исключения?» Он чуть не плакал от восторга, умиления и невозможности понять непонятое».

Слезы восторга и умиления здесь розановские, хотя и перешибаемые булгаковским сатанинским смехом.

...Честные по душе своей люди, попадая на должности, оставаясь при этом, возможно, все столь же душевно честными, делают глупости и даже гадости по слабодушию и «неразвитости», и о вреде, нанесенном этими сугубо национальными качествами России в XX веке, можно исписать томы. Русский человек не потерял и до сей поры особой чувствительности к той не поддающейся вычислению честности, которую умели почувствовать в человеке и Розанов и М. Булгаков. Сегодня эта национальная чувствительность обострилась. Чтобы заговорить о двоякой ее роли, нужно иметь бесстрашие Розанова, но все же попробую. Про тех, кто вызвался сегодня действовать и действует, стараясь послужить тому, чтобы мы достигли хоть какого-то приличествующего людям существования, только и слышно: этот прохвост, тот жулик, а тот краснобай, — а что делал другой в годы застоя, на чем заработал свою степень доктора экономических наук?.. Здесь если только начать — не кончить, здесь есть место, где разгуляться. Не говорю уж о том, что мы все выбираем и выбираем между Обломовым и Штольцем, и конечно же, в пользу Обломова — и впрямь честнейшего человека, да к тому же еще в отличие от Шарапова вполне развитого, образованного, — и куда заводит нас этот вечный выбор? Куда двинет нас вечное чтение в сердцах, которому такую безоглядную повадку дал Розанов? Другое хуже — эта розановская безграциозность, не обеспеченная его единственным в своем роде сочетанием свойств. Почему слова Розанова так естественно ложатся на слух, почему они не раздражительны, как бы ни был раздражителен порою их п р я м о й смысл? Не потому ли, что сам он не огражден от собственного всепроникающего взора? «Да, этот человек ни разу не прикинулся добродетельным, — пишет в своем маленьком опусе о Розанове Венедикт Ерофеев, — между тем как прикидывались все».

Отличка Розанова и в абсолютной непрактичности, нерасчетливости его склада ума.

Дело еще, если позволительна тавтология, и в отсутствии деланности. Од-

нако ценность этого — в прямой зависимости от того, на фоне какой культурной ситуации и в каком персонально-словесном контексте это проявляется. На плоском фоне оно оказывается не больше чем разболтанностью — мысли, слова, поведения, — и если мы услышим на улице «плевать я на вас хотел» или где-нибудь в застолье «давить их всех надо», говорящий не восхитит нас — при всем отсутствии деланности.

Будто забыв всякую мысль о границах произносимого слова, о возможных общественных и личных последствиях сказанного, Розанов задавал в своих статьях немислимые, неудобопроизносимые вопросы, врезаясь в культуру, — и тогдашнее состояние русского общества выдерживало это: культурная почва держала.

Его лько всегда попадет в строку тем, кто все ищет «доподлинное» и, конечно, «тайное» знание — о нации, об истории, о судьбе народа. Оно пригождается и всем, кто руку набил на фокусническом извлечении цитат для многолетних цитатных споров. Но жаль будет, если от привычной игры в чехарду с цитатами из деятелей революции мы плавно перейдем к игре с цитатами из религиозных мыслителей. И Розанов — с его высказываниями на самые разные вкусы, скрепленными лишь его личностью, — может быть, лучшее средство для общественного отвыкания от такой игры и замены ее собственной духовной работой.

Но был он все-таки не мыслитель, а писатель, хотя нигде, наверное, как в его отечестве, не склонны так пренебрегать в рассуждениях писательством — своего каким-то привеском. Для кого уж не было это необязательным дополняющим, так для него. Вся жизнь пошла на борьбу с «Гуттенбергом», с литературой, как бы составленной из печатных литер. Он поставил перед собой немислимую задачу — писать «для себя» и для себя писанное — печатать. Сохранить эту обращенность к себе он и пытался — в печати. Ремизов, М. Гершензон шли уже в какой-то степени за ним (хотя это было и в самом воздухе эпохи), публикуя письма тех, кого Ремизов назвал «серединой»: «...серое поле русской жизни, на которой разыгрывалась история, происходили великие отечественные события», — и призывал хранить эти давние письма, «пустые и не пустые <...> до последнего обрывышка» («Россия в письмах»). Но Ремизова интересовало не последнее — как и угасшая старорусская письменность, прививкой которой он стремился оживить омертвевшую, «офранцузившуюся» современную словесность с ее «прекрасной ясностью по Анри де Ренье»; он публиковал сохранившееся. Розанова не интересовали архивохранилища. Он стирал черту, отделяющую рукописное — как легшее в архив и лишь оттуда поднимающееся на поверхность печатной жизни — от печатного, стирал временную дистанцию, культурную паузу, традиционно отбиваемую культурой интервал между писанным для частного применения (письмо, дневник) и для печати, для всех.

В этом и был смысл произведенной им литературной революции. Он пошел в ней дальше футуристов. Для них искусством было лишь то, что делало искусство, а «обрывышки» оставались частью быта. Рукописи свои они выбрасывали, и никто из них не стал бы, как Розанов, склеивать разорванный черновик письма жены своей шведке-массажистке и воспроизводить — с зачеркнутым и неразобраным — в печати, потому что ему «кажется «состриженный ноголок» с живого пальца важнее и интереснее «целого» выдуманного человека. Которого ведь — нет!!!» (то самое отвращение к «выдуманному», уже шедшее рядом со все большей и большей разрабобанностью искусства, которое успел уже выразить Толстой).

Жизнь Маяковского поместилась между «Я поэт — этим и интересен» (только эти м! Не заглядывайте за пределы «отстоявшегося словом») и «...пожалуйста, не сплетничайте...». Розанов же радостно заявил: интересно все, что я только помыслил и смею занести на бумагу. И — сплетничайте, сплетничайте! И сам сплетничал в печати со вкусом.

Он не мог органически написать ничего такого, что не стало бы тут же, в момент писания (а не под пагиной времени!), литературой. Как царь Мидас едва касался плодов — и они становились золотыми, так Розанов делал литературой — как будто помню воли, даже к собственному изумлению — любой насквозь, до сердцевины бытовой факт, к которому прикасался.

Уплотнение культурного слоя и самой литературы сделало наше общество на несколько десятилетий невосприимчивым к слову Розанова, хотя оно впиталось в почву.

Читая сегодня повествование о «русском Ниле», видишь некоторые стрелки, по которым должно направиться дело возрождения нашего общества. Среди прочего это и уважительное «вы», обращенное путешествующим автором к двенадцатилетней девочке, и бережное внимание к ее образу мыслей, ее будущему. Это и то ощущение России и всей страны как своего дома, которое постепенно оживает сегодня — порую и в изломанном каком-то виде, но оживает.

Вернем ли сложность в духовной жизни? Виде именно эта сложность, многослойность, разветвленность ее определяла прочность культурной почвы, которая, повторю, держала все.

## «РАЗГОВОР НАШ МНЕ ОЧЕНЬ ПАМЯТЕН...»

Неопубликованные письма Л. Н. Толстого

Результаты архивных поисков подчас непредсказуемы; случается, происходит, как выразился один известный писатель и историк, по Грибоевовой: «Шел в комнату, попал в другую...» Случается... Но на этот раз удача улыбнулась нам по пути в «ту самую» комнату. Отправляясь летом 1988 года в США с главной целью ознакомиться с архивом видного американского публициста и путешественника Джорджа Кеннана (1845 — 1924)<sup>1</sup>, автора некогда знаменитой книги «Сибирь и ссылка» (1891), пишущий эти строки с самого начала питал надежды отыскать там среди прочего и автографы Толстого.

Кое-какие основания для этих надежд имелись: Толстого и Кеннана связывали личные и творческие контакты<sup>2</sup>, и, прослеживая по письмам их историю, можно было догадаться, что не все письма до нас дошли.

Познакомились они летом 1886 года, когда Кеннан завершал свое шестнадцатимесячное путешествие по Сибири и европейской части страны (это было его четвертое, и самое длительное по времени, посещение России), результатом которого и стало фундаментальное двухтомное исследование о сибирской ссылке. В «Летописи жизни и творчества Льва Николаевича Толстого» пребывание Кеннана в Ясной Поляне значится под датой 17 июня 1886 года. «Кеннан,— сообщает биограф русского писателя,— рассказывал Толстому о жизни политзаключенных Сибири и беседовал об учении непротивления злу насильем»<sup>3</sup>.

Более подробно об этой встрече и о том, что ей предшествовало, говорится в очерке Дж. Кеннана «В гостях у графа Толстого»<sup>4</sup>, из которого мы, в частности, узнаем, что знакомство американского публициста с Толстым было обусловлено прежде всего глубоким интересом к его творчеству, который возник у него еще до поездки в Сибирь. В дальнейшем этот интерес не мог не усилиться: личность и идеи хозяина Ясной Поляны весьма занимали буудущих героев Кеннана (среди которых, кстати, были и люди, знавшие писателя лично<sup>5</sup>). Они-то и убедили Кеннана встретиться с Толстым и поделиться увиденным, полагая, что свидетельства о сибирских ужасах «изменяют его отношение к правительству от пассивного сопротивления к активному»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Считаю своим приятным долгом отметить здесь, что получил эту редкую возможность благодаря Институту имени Кеннана в Вашингтоне, и сердечно поблагодарить его руководителей и сотрудников за оказанную мне помощь и внимание.

<sup>2</sup> См. об этом: Е. И. Меламед, «Лев Толстой и Джордж Кеннан (по новым материалам)» («Русская литература», 1981, № 3, стр. 153); Е. И. Меламед, Русские университеты Джорджа Кеннана. Судьба писателя и его книга. Иркутск. 1988, стр. 130.

<sup>3</sup> Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М. 1958, стр. 638.

<sup>4</sup> См. сокращенный русский перевод в сборнике: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В 2-х тт. М. 1978, т. 1, стр. 364.

<sup>5</sup> Назовем, в частности, Н. А. Армфельд и Е. Е. Лазарева, послуживших прототипами героев романа «Воскресение» — Марьи Павловны Щетининой и Набатова. См.: Леонид Большаков, В поисках корреспондентов Льва Толстого. Тула. 1974, стр. 164; А. Шифман, «Неизвестная героиня Льва Толстого» («Наука и жизнь», 1981, № 10, стр. 84).

<sup>6</sup> «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 365.

Нет, этого не произошло. Хотя рассказы американского путешественника о жестокостях, творимых в тюрьмах и поселениях, не могли не вызвать ответной реакции Толстого, однако, сочувствуя жертвам произвола, он одновременно и осуждал их:

«Революционеры, которых вы видели в Сибири, хотели противиться злу насильем, а что получилось в результате? Горечь и страдание, злоба и кровопролитие! Зло, из-за которого они взялись за оружие, все еще существует, а их страдания увеличились»<sup>7</sup>.

Но и не прыга к согласию, собеседники расстались вполне довольные друг другом. Посчитав теории русского писателя ошибочными, Кеннан написал о том, что за один день знакомства проникся к нему «чуть ли не самым страстным уважением»<sup>8</sup>. Что касается Толстого, то, отвечая на вопрос профессора И. И. Янжула, верно ли Кеннан изобразил свое посещение Ясной Поляны, он без колебаний заявил: «Конечно, верно, ведь Кеннан не какой-нибудь корреспондент русской газеты, который четверть часа проболтает, а потом сообщит три короба разного вздора из головы. Кеннан истинный джентльмен и человек своего слова...»<sup>9</sup>

Еще раньше, сообщая (28 — 29 июня 1886 года) о встрече с Кеннаном В. Г. Черткову, Толстой назвал его «очень милым — приятным и искренним человеком»<sup>10</sup> и, между прочим, упомянул, что дал ему письмо к адресату в Лондон.

Это полутное упоминание, собственно, и явилось отправной точкой литературоведческого поиска. Дело в том, что в восьмидесяти пятом томе полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, где опубликована его переписка с Чертковым за 1883 — 1886 годы, данного письма нет<sup>11</sup>. Нет его и в обширном архиве Черткова, но там обнаружили письма к нему самого Кеннана (от 18 июля и 13 сентября 1897 года)<sup>12</sup>, из которых стало ясно, что их лондонская встреча 1886 года скорее всего не состоялась. Тогда и возникло предположение, что письмо это следует искать за океаном (другое дело, что тогда, десять лет назад, мы вовсе не были уверены, что сможем его там искать).

Предположение это подтвердилось уже в первый день работы в рукописном отделе Библиотеки конгресса США, где находится большая часть личного архива автора «Сибири и ссылки», когда на наш стол лег небольшой конверт с надписью, сделанной рукой Толстого: «London 9, London Square, В. Г. Черткову»<sup>13</sup>. Той же рукой был заполнен и находившийся внутри листок бумаги:

«<17 июня 1886 г.><sup>14</sup>

Письмо это передаст вам очень приятный и умный американский путешественник Кенен. Мы говорили с ним о религии<sup>15</sup>, и он тронул меня своей искренностью и серьезностью в этом отношении. Если можно, дайте ему от меня экземпляр Christ's Christianity<sup>16</sup>. Я жив здоров и мне хорошо и вас также люблю.

Л.Т.»

<sup>7</sup> Там же, стр. 369.

<sup>8</sup> Там же, стр. 380.

<sup>9</sup> «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг.». СПб. 1911. вып. 2, стр. 19.

<sup>10</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (Юбилейное издание). М. 1935, т. 85, стр. 363.

<sup>11</sup> Оно значится в «Списке писем Толстого, не имеющих в распоряжении редакции» (там же, стр. 428).

<sup>12</sup> ЦГАЛИ, ф. 522, оп. 2, ед. хр. 413. (Кеннан обратился к В. Г. Черткову по совету В. Д. Бонч-Бруевича с просьбой предоставить ему необходимую информацию для статьи о дуборах.)

<sup>13</sup> Library of Congress, manuscript division George Kennan papers, box 1 (листы не пронумерованы). Тот же архивный шифр и у других цитируемых ниже писем.

<sup>14</sup> Здесь и далее в угловых скобках — конъектуры, в квадратных — зачеркнутое в рукописи.

<sup>15</sup> Суть разговора для наших читателей осталась неизвестна, ибо в указанном выше русском переводе очерка Кеннана, как и в его письме Толстому от 21 декабря 1886 года (о нем ниже), места, где речь идет о религии, купированы.

<sup>16</sup> «Christ's Christianity. By Count Leo Tolstoy». Translated from Russian. London. 1885. В этот сборник философско-этических произведений Толстого, изданный на английском языке В. Г. Чертковым, вошли трактаты «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Краткое изложение Евангелия».

Несколько неожиданной оказалась находка другого письма Толстого, от 1 января 1887 года, о существовании которого можно было только подозревать. Восемь тетрадных страничек, густо исписанных узнаваемым, но трудноразборчивым почерком писателя<sup>17</sup>, заключают его ответ на обращение Кеннана от 21 декабря 1886 года<sup>18</sup>, в котором он благодарил Толстого за сердечный прием и просил разрешения опубликовать в нью-йоркском журнале «The Century Magazine», финансировавшем его поездку, рассказ о своем посещении Ясной Поляны. Ответ, однако, не формальный, каким он мог быть в этой ситуации. Письмо Толстого — еще одно подтверждение того, что разговор с американским гостем не был им забыт, что он весьма заинтересованно отнесся к замыслу Кеннана, полагая, что правдивая книга о России будет важна и для самой России.

«Dear Sir!

Продолжаю по-русски, т<ак> к<ак> вы знаете наш язык, а я могу свободнее и точнее выразить по-русски то, что хочу вам сказать. Сказать же я хочу вам сердечное спасибо за ваше письмо (столь же приятное по содержанию, как и по внешней форме) и за вашу добрую память обо мне.

Я действительно был на краю смерти и, хотя и не узнал, каково находится в самой смерти (чего никто из живых никогда не узнает и тем менее узнает, чем больше будет думать, что знает), я узнал, что находится на краю смерти скорее радостно, чем огорчительно, главное же — очень поучительно.

Радуюсь тому, что здоровье вашей жены восстановилось<sup>19</sup> и что вам ничто не мешает заниматься вашими литературными работами, из которых одна очень близка моему сердцу и всех русских<sup>20</sup>. Вы имеете все (я разумею не только знание предмета, но, главное, кроме основательности, правдивости — любовное отношение к людям, жизнь которых вы будете описывать), вы имеете все для того, чтобы написать верную историю жизни русского общества в один из самых критических моментов его жизни. Вы принесете этим большую пользу нашему народу, уяснив его сознание. А уяснение самосознания — это то и есть прогресс и его ступени. Помогай вам Бог. Вы мне предлагаете свои услуги среди вашего, самого родного мне по духу народа, и я ими воспользуюсь, когда понадобится. Но зато, пожалуйста, и вы распоряжайтесь мною. Я по своим отношениям более чем кто другой в состоянии доставить вам все те сведения и материалы, к<оторые> могут быть вам нужны. Пожалуйста, доставьте мне это удовольствие. Статья в «Century», написанная вами о нашем свидании, может доставить мне только удовольствие. Одно, что позволю себе заметить вам, это то, что мне попадается так много писаний обо мне, о моих убеждениях и с таким странным непониманием самого простого, что во избежание этих недоразумений желательно бы было, чтобы, объясняя или опровергая мои мысли, пишущий знал бы их. Это я пишу к тому, что мне бы очень желательно было, чтобы вы прочли «My Religion»<sup>21</sup> и еще следующую за этим статью «Что же нам делать» \*<sup>22</sup>. Вообще же ключ к моим взглядам находится только в Евангелии, которое у каждого под рукой и выше которого я ничего не знаю и не утверждаю. Разговор наш мне очень памятен, и чтение книги вашей души оставило мне впечатление самой интересной и значительной истории, которая оборвалась на решающем моменте.

До следующего письма. Еще раз благодарю вас за ваше доброе расположение и желаю вам [всего] лучшего: такой жизни духовной, при которой не нужно даже желать и счастья, и здоровья.

Ваш Л. Толстой.

1 января 1887.

\* Статью эту я бы вам переслал по-русски, если бы был уверен, что она не пропадет, но кроме того, она переведена (и очень хорошо) по-английски и находится у моего друга Черткова, к<оторый> хотел, кажется, напечатать ее в Америке.

<sup>17</sup> Разобрать его удалось при любезном содействии хранителя рукописного отдела Государственного музея Л. Н. Толстого Т. Г. Никифоровой.

<sup>18</sup> «Литературное наследство». М. 1965; т. 75, кн. 1. «Толстой и зарубежный мир», стр. 417. В примечаниях к этому письму (стр. 418) указано, что Толстой на него не ответил.

<sup>19</sup> В своем письме Кеннан сообщал, что хотел написать Толстому «тотчас по возвращении в Америку», но что жена его «была тяжело больна в течение почти двух месяцев» («Литературное наследство», т. 75, кн. 1, стр. 417).

<sup>20</sup> Речь идет о книге «Сибирь и ссылка», над которой Кеннан в то время работал.

<sup>21</sup> «В чем моя вера?».

<sup>22</sup> Точное название — «Так что же нам делать?».

Диалог с Кеннаном во время посещения им Ясной Поляны не был забыт Толстым и в дальнейшем.

«С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в «Септигу». <...> Очень, очень благодарен вам, как и все живые русские люди, за оглашение совершающихся в теперешнее царствование ужасов», — писал он американскому публицисту 8 августа 1890 года. И действительно, в дневниках Толстого находим весьма явственные следы того глубокого впечатления, которое произвели на него журнальные главы «Сибири и ссылки». Вот две записи.

26 ноября 1888 года: «Суждения о Русском правительстве у Кеннап'а поучительны. Мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячи и в том числе 16-лети[их] девушек»<sup>23</sup>.

5 января 1889 года: «Дома читал Кеннена и страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости. Бугь в деревне, чувство это рогило бы плод»<sup>24</sup>.

(Здесь заметим в скобках, что чувства, испытанные Толстым, принесли плод позже, когда писатель завершал «Воскресение», последние главы которого представляют обличение карательной политики царизма. Пригодилась Толстому книга Кеннана и с фактографической точки зрения — при описании сибирского путешествия Катюши Масловой.)

В заключение вернемся к уже цитированному письму от 8 августа 1890 года. Напомню, что Толстой обратился к Кеннану с просьбой содействовать правильному истолкованию в Америке известной картины Н. Н. Ге «Что есть истина?», а попутно высказал весьма поучительные и сегодня мысли о смертной казни. Коснувшись при этом и темы кеннановской книги, он указал на одну из основных причин обостренного интереса к ней в России:

«Об ужасах, совершаемых над политическими, и говорить нечего. Мы ничего здесь не знаем. Знаем только, что тысячи людей подвергаются страшным мучениям одиночного заключения, каторге, смерти и что все это скрыто от всех, кроме участников в этих жестокостях»<sup>25</sup>.

Строки эти нам довелось перечесть по рукописному оригиналу, также хранящемуся в вашингтонском архиве Кеннана. Притом что письмо Толстого многократно публиковалось, находка его не была бесполезной, ведь до сих пор оно было известно лишь в копии, а в ней, как показало сравнение оригинала с печатным текстом, имеются пропуски и искажения.

#### Публикация и комментарии Е. МЕЛАМЕДА.

<sup>23</sup> Л. Н. Толстой Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 5.

<sup>24</sup> Там же, стр. 20.

<sup>25</sup> Там же, т. 65, стр. 138.



Н. КОРЖАВИН



## АННА АХМАТОВА И «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»

**Р**абота эта, как ясно из заглавия, в значительной мере посвящена творчеству великого русского поэта — Анны Андреевны Ахматовой. Но из него же ясно, что она связана и с эпохой, сформировавшей поэта, — с так называемым серебряным веком русской художественной культуры<sup>1</sup>. Следовательно, это еще и попытка разобраться в самой этой эпохе, в наследстве, которое она оставила. А также и размышление о проблемах поэзии, о ее связи с духом времени и о ее сущности вообще.

Как и статья, напечатанная в «Новом мире» более четверти века назад<sup>2</sup>, она тоже написана в защиту банальных истин. Те, кому кажется, что это простое занятие, ошибаются. Выступать против «прогресса», против его «открытий» сегодня не менее обременительно, чем во времена Джордано Бруно — в его защиту.

Боюсь, что вся моя жизнь ушла именно на такого рода противооткрытия. Ничего не поделаешь — мне пришлось жить в такое время, когда это было важно.

### 1

Некоторых, вероятно, удивит и само мое отношение к «серебряному веку». Начать с того, что я вообще не поклонник этой эпохи — яркой, но несколько блудной, особенно на ее периферии. Ведь лицо эпохи — не только ее достижения, а и то, как они воспринимаются и усваиваются, то есть и ее периферия. Можно, конечно, сказать, что периферия всегда все опошляет. Фраза эта льстит самолюбию тех, кто ее произносит, и поэтому до сих пор часто употребляется, хотя верна она только отчасти и вряд ли здесь

<sup>1</sup> Строго говоря, термин «серебряный век» относится только к поэзии, поскольку был «золотой век», но здесь он применяется несколько иначе.

<sup>2</sup> Н. Коржавин, «В защиту банальных истин» («Новый мир», 1961, № 3).

применима. Периферия здесь ничего не выдумывала и ничего не опошляла. Она всецело опиралась в своих суждениях на то, что громче всего звучало в устных и письменных выступлениях главных действующих лиц этой эпохи. То, что в их выступлениях звучало и другие мотивы, показывающие, что они знают и нечто другое, более «простое» и, возможно, главное, важно, наверно, для определения подлинной сущности этих художников, но проходило мимо сознания периферии. Ибо все это было лишь корректированием пафоса, а пафос был в том, что они говорили громко<sup>3</sup>. И это заглушало, а для многих и теперь заглушает все остальное. Заглушало то, что кажется банальным, а на самом деле необходимо, да и трудно сознаваемо. Боязнь банальности — один из главных соблазнов и грехов «серебряного века» и его наследия.

То, что я сейчас пишу, отнюдь не филиппика. Среди деятелей этого «века» было много чистейших людей. Но проповедовали они часто худое: допустимость грязи, подлости, даже убийства (если только, как оговорился Блок, оно освящено великой ненавистью). Не о сложности человеческих ситуаций тут речь, а только о безграничном праве неповоротимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А уж это само вело к необходимости такой личностью

<sup>3</sup> То же можно сказать и об исследователях-формалистах. Люди высокой культуры, таланта и образованности, они безусловно, как свидетельствуют и их высказывания, смысл и значение этих банальных истин понимали не хуже меня. Но весь пафос их деятельности был в другом — в том, на фоне чего эти высказывания выглядят у них частными оговорками, как показывает опыт, малодейственными. Преобладал же в их деятельности дух времени, требовавший непрерывных открытий и переворотов. А то главное и вечное, о чем они между делом себе и другим напоминали, открытий явно не обещало. Этого нельзя открыть, к этому можно только приобщиться.

быть, во всяком случае претендовать на силу чувства, при которой «все дозволено». В поэзии эти претензии проявлялись невероятной «поэтичностью» (разными видами внешней экспрессии) и уточненностью (форсированной тонкостью). Это значило стимулировать и форсировать в себе все эти качества и восприятия. И естественно вырываться в разыгрываемые роли, а потом и писать от их имени, веря, что от своего. Как ни странно, это воспринималось как стремление к крайней (противоестественной, но противоречие это почему-то не замечалось) непосредственности. Были люди — самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамена на исключительность.

В сущности, это «нищпанство» — печать времени, лежащая не только на «талантах и поклонниках» искусства, а на всех, претендовавших на какую бы то ни было активность, в том числе и на революционерах. При всем различии этих радикализмов — эстетического и революционного — у них есть и общее: самоутверждение в творчестве, культ творчества, нахождение в нем смысла жизни. Только в первом случае, когда речь идет о творчестве художественном, это проявляется открыто, почти декларируется, а во втором, когда о творчестве историческом, — принимает обличье заботы о человечестве. Так что неудивительно, что две эти линии творчества временами частично скрещиваются и пересекаются — в одинаковом противостоянии «фальшивой мещанской морали», например. Но сейчас по условиям задачи нас интересует радикализм художественный, эстетический. И притом не в крайних футуристических, а в «спокойных», то есть в сущностных его проявлениях.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мое отрицание «серебряного века» не означает огульного отрицания всего написанного или всех писавших в это время. Оно касается только атмосферы, влияние которой испытали и настоящие таланты. Влияние это было и для них неблагоприятно, но, к счастью, не тотально и не фатально: сильные индивидуальности не могут уходить от себя слишком далеко. Но в этой атмосфере ведь жили не только они. А была она такова, что отсутствие в ней редкостного художественного дара воспринималось как отсутствие права на достоинство (если не на жизнь). И все пыжились. Тот, кто еще не «творил», говорил, что «ищет себя, но пока не нашел», — такой статус тоже признавался достойным человека.

Всему этому способствовали и некоторые общие обстоятельства. К тому времени

часть публики начала терять интерес к политике — тот «политический мистицизм», о котором писали «Вехи» и который до этого был основой духовной жизни почти всей русской интеллигенции; идея светлого будущего мало-помалу обнаруживала свою скудость. А раз так — захотелось счастливо-го настоящего, да такого, которое было бы способно наполнить жизнь не меньше, чем отмененное грядущее царство справедливости. Престижность героизма и жертвенности кое-где сменилась престижностью изысканного вкуса, культом красоты и изящества, богатства страстей и душевной сложности. И все это начиналось с чувства прекрасного, специфика которого открывалась наиболее наглядно через изобразительные искусства. И когда внимание публики было обращено на то, что в искусстве вообще есть специфика, и публика, ужаснувшись собственной «серости», ударились в «изучение» и освящение секретов и тонкостей «мастерства», это было прежде всего «мастерство» искусства изобразительного. Из провинциальной библиотеки, зрительного или концертного зала, то есть из мест для «непосвященных», приобщение к живописи выводило человека прямо туда, где происходило главное, высокое и передовое дело времени, отстать от которого всегда боялся русский интеллигент (оказывается, это вовсе не революция, как думали раньше!), — в святая святых профессиональной посвященности, в мастерскую художника, где творилось искусство и обитали небожители. Только теперь уже ими были не герои-террористы, с чьими «методами борьбы» можно было и не соглашаться, но чьей жертвенностью полагалось восхищаться, а жрецы вечно обновляющегося искусства, завлекательно свободные от Добра и Зла.

Существует легенда о том, как художник Сомов писал знаменитую «Женщину в синем» (находится в ленинградском Русском музее). Женщина, с которой он эту картину писал, будто бы была страшно в него влюблена, а он ее мучал. Но не просто так, от дурного характера, а сознательно, целенаправленно, во имя искусства — чтоб каждый раз добиваться соответствующего трагическому замыслу выражения и цвета лица. Но любящая женщина об этом вампирстве не догадывалась и все принимала всерьез, ее бросало то в жар, то в холод. Да и что она могла сделать? Ведь в духе времени она знала, что ее возлюбленный — сложный человек изменчивых настроений, что он сам для себя загадка и таким должен и имеет право быть. В конце концов картина была

написана, стала шедевром Русского музея, а женщина заболела чахоткой и умерла.

Я все-таки надеюсь, что это только легенда. Но сам факт, что такая легенда, без особого отвращения предоставляющая художнику право быть вурдалаком, тогда возникла и существовала, достаточно показателен для этой эпохи. Поразительно, что вся эта суетность связана именно с живописью, то есть с самым несуетным из искусств, требующим, кроме всего прочего, много профессиональной, отчасти и чисто ремесленной учебы, много незаметного труда и с которым будней связано еще больше, а праздников еще меньше, чем со всяким другим. Судя по части «нонконформистов» и вообще представителей «второй культуры», такое представление о якобы необходимых для творчества правах художника кое-кого сблизняет еще и сегодня, после всего, что мы пережили. Но для нас сейчас важно, как это все отразилось на истории поэзии.

## 2

За ближайшие века в культурном обиходе накопилось множество великих людей и их биографий. Накопляясь, биографии эти не только все больше волновали воображение, но и возбуждали честолюбие — короче, приобретали особый интерес. Все были благодарны секретарю Гёте Эккерману за его ежедневные записи. При Толстом таких Эккерманов было уже несколько. В силу сложной ситуации, которая возникала вокруг Толстого, это было вполне объяснимо и вовсе не суетно. Потом такие окружения появились у многих «величин», иногда мнимых, временных. Так что нет ничего удивительного, что и в подсознании авторов возникло «естественное» желание идти навстречу будущим биографам (Ахматова потом высмеяла это: «А ты письма мои береги, чтобы нас рассудили потомки»). Или, что точнее, смотреть не только на творимое, а и на самих себя как бы из будущего.

Такая ретроспективность, направленная главным образом не на творение, а на творца, естественно, ничего, кроме проники, вызывать не может. Но с ретроспективностью все не так просто. Когда она направлена на творение, она необходима художнику как органический элемент самооценки. Ведь то, что волнует поэта в данный момент, должно быть раскрыто так, чтоб это было эмоционально понятно и после его смерти. Долговечность — не суетная забота тщеславия или даже честолюбия, она критерий добротности произведения. То, что разрушается спустя срок, не приносило настоящей эстетической радости с самого начала, даже

если встречалось шумными аплодисментами многолюдных залов и раскупалось на корню. Оно затрагивало, заставляло звучать те струны души, которые способны откликаться только на злобу дня или на его «ауру». Этот отклик подменял другой, куда более ценный, который вызывается произведением настоящего искусства и задевает иные струны, дает иное наслаждение. Даже если он тоже как-то связан со злобой дня: не игнорировать ее надо, а не замыкаться в ней.

Под недолговечностью я понимаю не просто позднейшее забвение, не всякую ситуацию, когда знаменитого в свое время автора потом вдруг перестают читать. Иногда такие вещи объясняются случайными историческими обстоятельствами, то есть просто бывают временной несправедливостью. Недолговечными в этом смысле я считаю те когда-то волновавшие читателя произведения, которые, будучи прочитаны потом, не рожают эмоционального отклика, становятся эмоционально непонятными. Так что некоторая контролирующая способность к интуитивному «ретроспективному взгляду» из будущего сама по себе отнюдь не грех для художника, а требование вкуса и составная его таланта.

В той или иной форме это понимают все. Но говорить об этом надо потому, что в XX веке неоднократно предпринимались разнообразные попытки техническим или психологически-актерским способом сконструировать и обеспечить бессмертие — себе или своей школе. Эти творцы (в кавычках и без них — бывали всякие), подсознательно усваивая, изобретая и используя методы и приемы рекламы, а также позднейшей тотальной пропаганды (вот уж где термин «прием» вполне уместен, не то что в литературе), стали преподносить публике искусственные критерии, как нечто очевидное, всем давно известное и обязательное. Установилось нечто вроде контроля над восприятием. Результат был ошеломляющим. Сконфуженный читатель терялся и сам старался настроиться на нужную волну. Тем более что это было объявлено его обязанностью — дорастать до высокого уровня тех, кто достаточно уверенно объявлял сам себя творцом. В наше время на Западе, как когда-то у нас (да и сегодня тоже, только «неофициально»), все это давно утвердилось, вошло в быт, и то, что было когда-то «вызовом», стало нормой respectableности, светским приличием. И «давит авторитетом» — готовит псевдописателей и псевдочитателей, изучателей то есть людей, выдающих в литературе исключительно объект изучения.

Естественный же читатель при этом давно уже смят. Продолжая даже иногда поддакивать авторитетам, не переставая «признавать» и даже восхищаться, читатель этот тем не менее помаленьку приобретает комплекс культурной неполноценности и самоликвидируется: перестает читать. Во всяком случае — стихи. Вероятно, поначалу это наступление на читателя было связано с общей атмосферой «серебряного века», с общей легализацией самоутверждения и тщеславия, с невиданным доселе стремлением подменить вечность одной современностью: объявить современное состояние Духа, мелькание моментов абсолютом. Но потом это, став преданием, развивалось уже само по себе. То, что призвано было быть средством коммуникации, постепенно превращается в свою противоположность, отчуждает человека не только от других людей, но и от самого себя. Таким образом, проблема подлинности — подлинности восприятия и подлинности эстетического наслаждения — оказывается частью общей проблемы выживания культуры.

Так что попытки проникновения в секрет долговечности — занятие сейчас отнюдь не пустое. Причина, побуждающая меня к этому, — желание освободить читательское восприятие от всех навязанных ему не столько даже самим «серебряным веком», сколько его легковверными последышами наслоений, фобий и маний. Творчество Анны Ахматовой наиболее удобно для этого разговора тем, что у нее наряду со стихами, в высшей степени удовлетворяющими критерию долговечности, есть и всю жизнь были стихи, этому критерию не удовлетворяющие.

В порядке защиты от демагогии хочу уточнить то, что и так должно быть ясно из этой статьи. Во-первых — защищая читателя от посягательств, я под словом «читатель» понимаю не профана, который случайно взял в руки книгу и возмутился, ничего в ней не поняв, а человека, испытывающего личную, человеческую (даже если он профессионал) потребность в серьезном чтении (читатель — очень высокое звание в моих глазах). И, это во-вторых, освободить я его хочу не от сложности (что делать! — мы еще будем об этом говорить — бывают исторические ситуации, когда невозможно выйти к простоте и законченности), а от косметической усложненности, от навязывающего ему себя самоутверждения, предстającego перед ним в качестве нормы душевного и духовного богатства. Короче — я не защищаю примитив, как может показаться, а защищаюсь от него.

## 3

Анна Ахматова не раз говорила, что еще в десятом году, когда она месяц жила в Париже, поэзии там уже не было: «...парижская живопись съела французскую поэзию». В России, правда, тогда ничего подобного как будто не происходило. Слишком сильны были жившие тогда поэты. Но влияние этой соблазнительной тенденции испытали на себе и они.

Живопись — повела. Логика живописи механически переносилась на литературу, в основном на поэзию. Хотя сходны эти виды искусства, как и все другие, только в результате: от того и другого должен исходить дух поэзии. Все остальное у них иное. Прежде всего — материал. Краски и холст — это вещества и предметы, всецело принадлежащие тому, кто их приобрел, только он при желании может заставить их заговорить. Слово же, с которым имеет дело поэт, никогда ему полностью не принадлежит. Определенное значение было связано со словом до рождения автора и будет независимо от него связано с ним всегда.

То же и звук. До того, как его поставил в стройный ряд композитор, он факт природы, а не культуры, он не имеет смысла. Слово же может лишиться смысла только искусственно — от неверного употребления. Так что можно и должно выявлять и использовать скрытые возможности слова, его «потаенные» смысловые и эмоциональные оттенки, но нельзя относиться к нему как к инертному материалу. А поскольку оно само — осмысление, само — явление культуры, то и связано оно с Духом прямой и тесней, чем различные тела, вещества, предметы или их свойства, в том числе и свойство при взаимодействии производить звук. Всякое настоящее искусство — от Бога, всякое есть победа Духа над материей. Но поэзия воплощает эту духовность наиболее прямо, она «скоропись духа» (выражение Пастернака). Другими словами, поэзия как искусство есть наиболее прямое выражение поэзии как сущности. Именно той сущности, без которой все другие искусства теряют всякую ценность (мысль С. Я. Маршака). И следовать логике направлений, иногда плодотворных для живописи, ей противопоказано. И характер мастерства и атмосфера мастерских ей, по существу, чужды; мастерских поэтам не надо, а мастерство их в силу изложенного никак не может быть совершенствуемо отдельно от сути. Но, как показало время, никто даже из хороших поэтов не избежал воздействия отравленной атмосферы той эпохи и ни для

кого это не прошло совершенно безнака-занно. Даже для Ахматовой. «Даже» — хотя бы потому, что она никогда специально не занималась тем, что бездумно называется вопросами формы. Она при всем техниче-ском совершенстве не придавала мистиче-ского значения техническим приемам.

Сама эта проблематика родилась из недо-разумения, которое я тоже объясняю атмо-сферой «серебряного века». Ведь этот «век» в истории поэзии был отчасти и ответом на потерю критериев, позволяющих отличить произведение поэзии от рифмованного заяв-ления о предполагаемом (но, может быть, мнимом — ведь не воплощено!) благородст-ве собственных чувств и намерений, то есть на распад того, что делает искусство искусством, поэзию поэзией, — на распад художественной формы. Ответ на наивные прекраснотушные упражнения, заполняв-шие страницы журналов в конце XIX века, на излияния Надсона и ему подобных «пев-цов поруганного идеала» действительно на-зрел. Но полученный ответ отчасти оказался таким лечением, что хуже самой болезни.

Наиболее значительные представители «века», в мироощущении которых резкое отталкивание от этой наивной «болезни» занимало тоже непропорционально боль-шое место, все же никогда не чувствовали себя уютно в обстановке, создаваемой «лечением». В этом смысле чрезвычайно ин-тересна последняя статья Александра Бло-ка «„Без божества, без вдохновенья“», на-писанная им в апреле 1921 года, за четыре месяца до смерти. Конечно, это статья вре-мен речи «О назначении поэта» и стихотво-рения «Пушкинскому Дому», то есть пери-ода его культурного отрезвления и грустного возвращения к нормальным, «традицион-ным» ценностям. Но такие зрелые и четкие мысли не вызревают в один день. Блок вроде бы и не отказывается от «серебря-ного века», он даже защищает символистов от акмеистов, да статья прямо и направлена против последних. Не думаю, чтоб нападки его на акмеистов были справедливы. Ак-меисты у него оказываются чуть ли не един-ственными носителями всего того, что те-перь называют прегрешением «серебряного века», а символисты — людьми традицион-ной культуры. Между тем в творчестве но-сителями традиционной культуры были скор-рей акмеисты Правда, в высказываниях, так сказать, в педагогике они действительно предстают воплощением демонстративно-го техницизма. Они, конечно, не отрицали того главного, духовного, без чего техника теряет смысл, но это опять-таки полагалось само собой разумееющимся. А оно, к сожа-

лению, само собой вне их круга вовсе не разумелось, и в различных своих студиях они своими лекциями дали мощный толчок развитию снобистского графоманства во-круг литературы, а часто и в ней. Важно не «что?», а «как?» — так их и понимали. То-гда, в начале 20-х, для многих их учеников это было еще и наиболее простой, доступ-ной и безопасной формой якобы духовной независимости. И помогло приспособле-ние — даже в 30-е годы эти люди, халтура от страха, могли тем не менее чувствовать себя творцами, ибо ставили перед собой и решали «чисто литературные задачи»: стре-мились подбирать эпитеты «посвежей» к мудрости Сталина и к счастью рядовых гру-женников. Но это уже только следствие их педагогики — сами акмеисты (разве что кро-ме «примкнувшего» С. Городецкого) были весьма далеки от приспособленчества.

Но для нас сейчас важна не справедли-вость обвинения Блока по адресу акме-истов, а, так сказать, положительное содер-жание этих нападок, содержание тех пред-ставлений о литературе и культуре, в защи-ту которых Блок считал нужным высту-пить — независимо от того, действительно ли их нарушителями были именно и только акмеисты. По существу, мысли Блока в этой статье шли вразрез не только с «педа-гогикой» акмеистов, а и с общепринятыми в тогдашней литературной среде представ-лениями вообще. Например, его тревожит, что читатель (в том числе и интеллигент-ный, то есть считающий и имеющий право считать себя таковым) начал отходить от современной русской литературы. Между тем читателя было принято презирать. До сих пор еще бытует схема, по которой во всех неудачах художника всегда виноват только читатель, не до конца преодолевший свое «мещанство». Блок, конечно, это знал. «Мне возразят, что мнение большой пуб-лики, так же как слава, — „дым“», — пред-сказывает он. И парирует неожиданным: «Но дыму без огня не бывает...» Другими словами, не всегда читатель отходит от ли-тературы по своей вине, иногда это проис-ходит и в ответ на то, что литература от-ходит от него. Блок считает, что причин этому много, но называет только одну из них: «Эта причина — разветвление потока русской литературы на мелкие рукава, в се-растущая специализация (раз-рядка моя. — Н. К.), в частности — различ-ные поэзии и прозы...» Под прозой здесь понимается не только жанр, а и связанный с ним некий «нормальный» интерес к «прозе жизни», к другим людям. Разрыв с прозой как с жанром означает для Блока,

видимо, и разрыв со всем этим, с почвой, даже со здравым смыслом.

Никакой специализации интереса к культуре Блок не признает. Это идет дальше отношений поэзии и прозы: «Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».

Правда, Блок в соответствии со своими тогдашними настроениями относит эту требуемую им цельность к культуре только русской: «Россия — молодая страна, и культура ее — синтетическая культура». И еще жестче: «Это — признаки силы и юности; обратное — признаки усталости и одряхления». Я тут не возражаю против сравнительной оценки возрастов Запада и России — это скорей всего правда. Но думаю, что «французская травка с уксусом в виде отдельного блюда может понравиться лишь гурманам» не только у нас, как полагал Блок, и не потому, что «мы привыкли к окрошке, ботвинье и блинам», а потому что это вообще приправа, а не пища. То есть я настаиваю на том, что требования, предъявляемые Блоком к русскому искусству и русской культуре, обязательны для культуры и искусства вообще. Ведь не только в России, «когда начинают говорить об искусстве для искусства», а потом скоро — о литературных родах и видах, о «чисто литературных» задачах, об особенном месте, которое занимает поэзия и т. д. и т. д., — это, может быть, иногда любопытно (тогда это еще было внове. — Н. К.), но уже не питательно и не жизненно».

Итак, по мнению едва ли не самого возвышенного и поэтичного поэта в мире, поэзия должна быть питательна и жизненна. В этой связи полезно задуматься над тем, чего мы уже слегка касались выше, а именно: как понималось (и до сих пор иногда понимается) самое простое на вид, но и самое важное для постижения природы искусства понятие — форма.

## 4

Все согласны, что это понятие важнейшее. Но от больших забот о нем оно потеряло всякие очертания, стало означать сразу и нечто мистически-таинственное, и совершенно рукотворное: сумму технических приемов.

Я отнюдь не против исполнения, не против «мастерства», «образов» и т. д. То есть не против всего того, что А. Т. Твардовский

(впрочем, никак не покушаясь на необходимость овладения всем этим) называл малыми секретами мастерства. Но как бы мы ни овладели этими «секретами», это никак само по себе не будет владением формой. Ибо формой вообще раз навсегда овладеть нельзя. Ею (в том и состоит творческий процесс) каждый раз овладевают заново. Ибо формой произведения является само произведение, воплотившее художественный замысел (который нам и дается только в форме, в образе).

Правда, тут есть еще одна интересная проблема — соотношение самовыражения и замысла. Безусловно сам замысел — централизованное самовыражение. С этим все согласятся. Но забывают, что, родившись, он обретает автономность и господство. Автор становится его рабом и занят только его воплощением, чутким следованием уже не своей, а только его воле, его законам. Этим отличается творчество от просто самовыражения, возможного и в частном письме.

Это, как говорится, с «чисто профессиональной» стороны. Но есть и другая. Дело в том, что формы в принципе, без соотнесения переживаемого автором с миром не существует. А для этого надо иметь в душе какой-то хотя бы смутный «образ» мира и жизни в целом, а также должного, то есть «идеала». Впрочем, это очевидно: не только поэтом, но и «просто» личностью можно стать только по отношению к миру, к жизни и абсолютно невозможно при равнодушии ко всему этому.

Между тем и со «злободневностью» в искусстве все не так просто. Ибо бывают времена (боюсь, что именно такие выпали на нашу долю), когда без таких реакций не обойтись, ибо независимо от того, занимается ли личность ею, эта злободневность слишком непосредственно занимается личностью, регламентируя все ее проявления. Это печальные и, возможно, не очень плодотворные для искусства времена. Но игнорировать собственную судьбу, когда мы вынуждены или ежечасно оказывать этому внутреннее сопротивление, или духовно перестать существовать, значит притворяться. А это еще менее плодотворно. У Ахматовой просто не было иного выхода чем стать отчасти гражданским поэтом. Конечно, поэзия существует не для решения злободневных задач (чем Ахматова и не занималась), но сама злободневность может быть воспринята художником как проявление «вечной драмы человечества». Правда, злободневность по своей природе всегда стремится

эту драму заслонить и подменить. Но на то и художник, чтоб этому не поддаваться. Мы сейчас и говорим о личности художника, и прежде всего — об объеме и горизонтах его внутреннего мира. Но пора переходить к Ахматовой.

## 5

Образ этой необыкновенной женщины, человека высокой духовной и интеллектуальной культуры, сумевшей через невероятные испытания пронести царственное достоинство и верность себе, живет в сознании многих. Но многих может удивить, что все это — самостоятельность и глубину восприятия, широту умственных горизонтов — я в ней нахожу с самого начала.

Сегодня все больше появляется людей, признающих Ахматову поэтом народным, философским и даже гражданским. Но это взгляд сегодняшний, да и основан он больше на ее позднем творчестве. Тогда же, в 10-е годы, и много позже никто или почти никто не сомневался в том, что она первый и единственный представитель женской, а то и просто дамской интимной лирики. И то, что стихи ее были точны и изящны, этому как бы только соответствовало: стихи изящной женщины и должны быть изящны. Ею восхищались, несомненность ее таланта никем не оспаривалась, да и новизна явления была очевидна. К тому же, вероятно, по старой памяти импонировало столь явное доказательство женского равенства: женщина заговорила полным голосом о своем интимном, что раньше как бы разрешалось только мужчинам. Импонировало это прежде всего, конечно, курсисткам. И тут нет ничего удивительного: при всей своей — во всяком случае, позднейшей — чуждости уже упоминавшемуся «политическому мистицизму» русской интеллигенции, цитаделью которого обычно и бывала Женские курсы, Анна Андреевна и сама была, а в чем-то и навсегда осталась курсисткой. В поэзии тоже. При всей «женственности» ее стихов в отсутствии потребности в некоем равенстве их не обвинишь. Просто она отличалась от большинства поборников равноправия, ибо равенство женщины понималось ею не как претензия на тождество, а как духовная самооценочность женщины в ее именно женской сущности. И она вовсе не стремилась, как некоторые дамы на современном Западе, создать для женщин особую «национальную» культуру (не замечая, что это стремление запереть самих себя в гетто как раз и есть отрицание равенства), а претендовала «только» на свое — женское, а не обезличенное — участие в общей

культуре, на свой — женский — выход к общим ценностям. И все-таки Ахматовой в общественном сознании отводился второй план. Но за ней устремились толпы женщин, поверивших вдруг в значительность и значимость нюансов своего душевного состояния. Как видно из «Эпиграммы» 1958 года:

Могла ли Биче, словно Дант, творить,  
Или Лаура жар любви восславить?

Я научила женщин говорить...

Но, Боже, как их замолчать заставить! —

она отнюдь не гордилась тем, что оказалась их предтечей и учителем. И неудивительно: каждого творческого человека раздражает профанация того, что ему дорого или им создано. По-видимому, научились они не тому, чему бы стоило или что было главным в Ахматовой. Но этому как раз и нельзя было научиться. Ибо для этого мало быть тонкой, интеллигентной женщиной, умеющей улавливать и передавать современным стихом нюансы своего душевного состояния и любовных перипетий, а надо быть поэтом. Надо уметь улавливать в этих переживаниях и перипетиях нечто такое, что важно и прекрасно независимо от них, от чего человек, пройдя путем этого переживания, становится богаче, утверждается в своей человеческой сущности, короче — поэзию. И тут уже то, что стихи написаны женщиной, — только новая краска, новый сюжет, новое условие достоверности поэтического переживания и открытия, но не более того. Так что стихи Ахматовой — даже психологические — интересны не раскрытием женской психологии (в прозе для этого больше возможностей — впрочем, как и для раскрытия мужской), а тем, что она в себе содержала, — поэзией. Но это было件то — во всяком случае, если говорить о широкой публике и даже о поклонницах Ахматовой, — к сожалению, далеко не сразу.

Не зная, сразу ли поняли масштабы ее дарования поэты, но необычность и подлинность его оценили все. И все же ее гворчество многих сбивало с толку. Например, в своей уже упоминавшейся статье А. Блок, нападая на акмеистов и Ахматову из их числа решительно выделяя («Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова»), тут же характеризует ее манеру не только как женскую и самоулубленную, что очевидно, но еще и как усталую и болезненную, с чем согласиться сегодня просто невозможно. По-моему, наоборот, она одна из самых здоровых поэтесс своего времени. Правда, она действительно болела туберкулезом и в связи с

этим много думала о смерти, но ведь болезненная реакция на реальную болезнь происходит от жадности жить, от душевного здоровья. Да ведь и не медицинское состояние Ахматовой имел в виду Блок.

Но при всем несогласии должен признаться, что утверждение Блока об усталости и болезненности манеры Ахматовой, даже если оно полемически заострено против поэтики акмеизма, основано все же на живом впечатлении. Так же как и знаменитые его слова (сейчас не помню, где я их читал и кому они были сказаны, и цитирую по памяти, ругаясь только за точность смысла): поэт должен писать так, как будто на него смотрит Бог, а она пишет так, как будто на нее смотрит мужчина.

## 6

Вероятно, такие стихи она писала в минуты слабости, когда — в жажде непрерывного творчества — отдавала дань и сочинительству. Поразительно, что наряду с гениальными и просто хорошими стихами (о них позже) у нее встречаются и такие:

Я сошла с ума, о мальчик странный,  
В среду, в три часа!  
Уюлола палец безымянный  
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,  
И, казалось, умерла она,  
Но конец отравленного жала  
Был острее веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,  
Улыбнется ль мне твое лицо?  
Посмотри! На пальце безымянном  
Так красиво гладкое кольцо.

Все есть: и любовь, и трагедия, и даже ахматовская точность (в среду, в три часа), и вроде движение стиха тоже ахматовское, — а в общем, никакой Ахматовой тут нет. И дело не в том, что мы до конца не знаем, что такое оса в этом стихотворении. Беда в том, что в нем начисто отсутствует содержание чувства. Мальчик, конечно, странный (такие ценились — во всяком случае, в литературе), но чем он странен и почему эта странность должна вызвать наше сочувствие и интерес, остается для нас тайной. Кольцо, которое появляется в конце стихотворения, указывает на то, что героиня замужем, но ничего не раскрывает. Конечно, сюжетно не так уж это и мало, хотя было бы вполне достаточно, если бы читателя прежде заставили дорожить чувством, которое разбивается об это кольцо. Но вместо чувства есть только термин, якобы его обозначающий. То, что в данном случае этот термин — «любовь», ничего не меняет.

Несколько иначе выглядит сочинительство в следующем стихотворении:

Мальчик сказал мне: «Как это больно!»  
И мальчика очень жаль...  
Еще так недавно он был довольным  
И только слышал про печаль.

А теперь он знает всё не хуже  
Мудрых и старых вас,  
Потускнели и, кажется, стали уже  
Зрачки ослепительных глаз.

Я знаю: он с болью своей не сладит,  
С горькой болью первой любви.  
Как беспомощно, жадно и жарко гладит  
Холодные руки мои.

Это стихотворение тоже сочинено. Но не в том смысле, что предыдущее. Чувство, стоящее за ним, не сочинено, сочинен ореол вокруг него, трагическая значительность, оно без всяких оснований раздуто до масштабов рокового и утонченно-сложного. И соответствующего ампула — модного тогда ампула роковой и сложной женщины, против воли приносящей несчастье. Правда, судя по стихотворению, несчастья пока еще никакого не произошло. Но есть надежда, что оно зреет. Во всяком случае, так об этом говорится, таким тоном. Между тем в сюжете нет ничего рокового и необычного. Хороший мальчик влюбился (а может, даже его нарочно в себя влюбили, интереса ради, — тональность позволяет и это предположить) в женщину, которая старше и опытней, чем он, но его не любит. Отчего он, естественно, страдает. Вот и все. Впрочем, беда здесь совсем не в теме. О безответной любви написано — в том числе и самой Ахматовой — много хороших и даже гениальных стихов. Но как об этом говорится здесь! «А теперь он знает всё (разрядка моя. — Н. К.) не хуже мудрых и старых вас». Больше всего меня умиляет это «всё». Неужто все нажитое за жизнь этими «мудрыми и старыми» сводилось к тому, что любовь может приносить и страдания? Впрочем, тогда было модно сводить все свои интересы к «миру страстей», ограничиваться им, углубляться в него. Но чувства мальчика для этого ампула, сочиненного и разыгрываемого в духе всех сложностей и красот «серебряного века», — только фон, повод, а «раскрывается» нелюбовь. Из-за стремления поднять ее на большую высоту получается чуть ли не наслаждение этой нелюбовью, упоение ею, к чему автор вряд ли стремился. И что в принципе противоречит вкусу, ибо читателю, к слову сказать, нет особой радости идентифицировать себя с подобным чувством. А ведь это — Ахматова, человек, которому вкуса не занимать. Да-



леко может увести от себя ампула, даже если оно «в духе времени». В духе времени, а не поэта Ахматовой. Капитуляции, как известно, всегда бывают в духе времени. Надо ли оговариваться, что не этими капитуляциями определяется творчество Ахматовой и что эти капитуляции у нее были всегда частные и касались только «сочинительства»?

Сочинительство же, конечно, начисто исключало не только откровенность, но и откровение, катарсис. Стихи эти иногда и «затягивали» в себя, но никуда не вели и не выводили. Но не всегда такие стихи основывались на сочинительстве. Например, вот стихи явно не сочиненные:

Хочешь знать, как всё это было?—  
Три в столовой пробыло,  
И, прощаясь, держась за перила,  
Она словно с трудом говорила:  
«Это всё... Ах нет, я забыла,  
Я люблю вас, я вас любила  
Еще тогда!»  
— «Да».

Мне лично эти стихи не кажутся выдуманными. Они даже по-своему выразительны и точны, хорошо написаны. Но именно «по-своему» — минует суть самого чувства. А ведь речь тут только о чувстве. Стихотворение как бы представляет сцену разрыва или неудачного признания в любви из какого-то романа. Это его сюжет. Но сюжет здесь в центре всего. Через него мы должны ощутить чувство. Остальное — звучание, ритм, экспрессия — все работает на сюжет, выявляя и обыгрывая чисто сюжетные обстоятельства и действуя через них. Стих передает и ритмически подчеркивает сбивчивую речь женщины в полуобморочном состоянии. Но, к сожалению, из сюжета (ведь это лирика, а не проза) мы опять получаем представление только о количестве чувства, о его действии и (бессвязная речь, обморок и т. п.), а никак не о его сути и качестве, то есть о личностном содержании. Поэтому нам опять не к чему прибавиться, не с чем идентифицироваться. В конце стихотворения мы узнаём, что чувство это у женщины давнее и что он это знает, но тем не менее... Собственно, это то, к чему ведет все стихотворение: «Я люблю вас, я вас любила еще тогда». И в конце максимально укороченная строчка — основной удар: «Да!» Этот удар должен был бы нас сразить. Но не сражает. Потому что опять речь только о количестве чувства. Правда, сделана здесь одна попытка вырваться из закодированного круга. Она в слове «тогда». По-видимому, сло-

во это должно нести не только количественное обозначение давности, но и какую-то цепь качественных ассоциаций: что-то такое «тогда» было — вокруг, во мне, в жизни, в мсем доверии к ней, в том, какой я тогда сама была, и т. д. Но этого нет. Эти неработающие интимные намеки на то, о чем якобы может и даже должен знать или догадываться читатель, тоже связаны с отношением «серебряного века» к творчеству и личности художника. Парадоксально, что хоть Ахматова никогда не была полностью во власти этого культа, но никогда не была и полностью свободна от него. Рецидивы его не раз возникали у нее даже в старости, совсем в другую эпоху. Вот стихотворение 1961 года, то есть написанное после всех событий, размышлений и переживаний признанным великим поэтом:

Угощу под заветнейшим кленом  
Я беседой тебя не простой —  
Тишиною с серебряным звоном  
И колодезной чистой водой,—  
И не надо страдальческим стоном  
Отвечать... Я согласна,— постой,—  
В этом сумраке темно-зеленом  
Был предчувствий таинственный зной.

Уж эти стихи явно не сочиненные. И намного более убедительна их интонация, чем в предыдущих. И чувствуется — даже в модуляциях голоса, — что речь о серьезном. Но не более. Мы вроде что то чувствуем, но сами не знаем, что именно. Такое ощущение, что мы при чтении пропустили какую-то мелочь и только поэтому нам трудно понять, к чему относятся и что значат «предчувствия», к которым в этом стихотворении все сводится. Но мы ничего не пропустили. Просто и это стихотворение словно рассчитано на то, что мы знаем и должны знать все стоящие за ним обстоятельства жизни автора или какого-то романа, к которому это относится. Но мы их не знаем и потому не понимаем, о чем речь. Не понимаем не только логически, но и эмоционально. Стихотворение вовлекает в себя, ведет читателя, но из-за этих недоговоренностей оставляет его потом растерянным среди дороги. Слово заманивает пиришеством и только мажет по губам.

Но тут возникает еще одна проблема, спорная и непростая, — о музыке стиха, о границах ее возможностей, о той роли, которую она может или не может играть в поэзии. Безусловно, тому «заманиванию», о котором мы сейчас говорили, помогает музыка стиха. Она придает некоторую иллюзию выраженности и завершенности. Но от неудовлетворенности нас не защищает. Некоторых эти мои рассуждения удивят.

Чем в стихах больше музыки, тем, по их мнению, лучше, ибо стихи должны звучать, должны быть музыкально убедительны. Но тут легко забыть, что для воплощения поэтического замысла этого недостаточно. Стихи обязательно где-то должны еще и прорезаться смыслом. Этот смысл (необязательно мысль, но — смысл волнения) должен где-то подходить к своей кульминации или выходить на поверхность. Ей-богу, стихотворение от этого не станет поверхностным. И никак это не умалет возможностей читательского сотворчества, о котором многие так пекутся<sup>4</sup>.

Соблазны, которым Ахматова уступила в этих стихах, действуют и поныне. Дело в том, что она «научила женщин» (и мужчин тоже) «говорить» именно такими стихами. А не теми, которые я люблю и о которых дальше пойдет речь.

## 7

Как ясно из заглавия работы, я отделяю Ахматову как поэта от породившего ее «серебряного века» и даже противопоставляю ее ему. Но только в том смысле, что она преодолевала его в себе и сохраняла свою независимость от него. Как уже говорилось, я не собираюсь отрицать ее многообразную связь с ним. Ахматова и сама всегда ощущала себя во многом человеком 10-х годов, мысленно и творчески, если не корнями то человеческими связями тяготела к этой эпохе и всегда возвращалась к ней (особенно яркий пример, при всей неапологетичности этого произведения по отношению к тем годам, — «Поэма без героя»). Вовлеченность Ахматовой в атмосферу «серебряного века» в те годы очевидна хотя бы потому, что 10-е годы в жизни столетия совпали с 20-ми ее собственной долгой жизни — от двадцати одного до тридцати одного. Кстати, и лично для Ахматовой этот «век», вероятно, кончился с революцией, а отчасти даже и с началом первой мировой войны, когда, говоря ее словами, приблизился вплотную «не календарный — настоящий Двадцатый Век». С этим можно и не согласиться — в духовной и культурной жизни век, по-моему, начался раньше, еще в по-

следние десятилетия прошлого века, но понять, что она хочет сказать, можно вполне.

Эпоха, которая совпала с молодостью Ахматовой и «серебряным веком», была эпохой кризисной во всех странах европейской культуры. И везде — это ясно прочитывается, например, в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна — были явления, подобные нашему «серебряному веку». Впрочем, на кризис это вовсе не походило. Скорее на расцвет. Казалось, цивилизация торжествует окончательную победу. Все несовершенства бытия одними воспринимались как частные недоделки величественного здания, а другими — как проявление чьей-то злой воли. Как же — такой расцвет, а еще есть бедные и голодные! И нет еще полной свободы! Как можно с этим мириться! Отсюда и стремление (потом, как известно, кое-где, к сожалению, воплотившееся) вообще покончить с обществом, где эта злая воля свободна. Но другие, более чуткие, если не понимали, то чувствовали, что голодных и в рамках этого общества в их странах скоро не будет (ведь голод, в общем, исчезал на глазах), а свободы, во всяком случае личной, и так становится все больше, да уже и сейчас почти достаточно. Единственное, что еще оставалось неосвоенным и неприрученным (и потому представлявшим интерес), был «мир страстей». И совсем не в ракурсе открытий Достоевского, то есть не в смысле стремления осознать эту унижающую тайную власть подпочвы и самоутверждения не только над мгновенными решениями и поступками людей, но даже и над самыми их высокими побуждениями — и по возможности от нее освободиться. Наоборот, культивировалась как признак душевного богатства не защита от страстей, а беззащитность перед ними. Это отчасти объясняет и тот культ личности художника и художественности, о котором шла уже здесь речь неоднократно.

На этом культе стоит еще немного задержаться. Речь идет о той повышенной серьезности, чтобы не сказать поклонении, с которым в это время в определенных кругах относились к любому, кто пишет, рисует, играет на сцене или музицирует (и они сами к себе так относились). Но ведь это вообще свойственно романтической традиции — в чем же разница? Конечно, отнести этот «век» к романтизму можно, но окажется, что это «романтизм» особый, ибо он почти начисто лишен романтики в общепринятом смысле этого слова — хоть героической, хоть байронической, хоть идиллической. Культ художника в былой романтической традиции определялся его причастием к

<sup>4</sup> Иногда это очень удобно. Существует даже специальное «интеллектуальное искусство», требующее от потребителя больших интеллектуальных затрат, чем от создателя, который на то и надеется, что неясный ему самому смысл другие «откроют» (то есть придумают) за него. На то он и медиум. Творчество безусловно интуитивно, но этот рассудочный самообман — спенуляция на интуитивизме.

некоему общему идеалу или хотя бы к чему-то, за идеал принимаемому. В сущности, это был культ самого идеала, несомого художником. И только в связи с этим — культ его, как сказали бы сегодня, профессионально-творческих возможностей. В эпоху же «серебряного века» происходило обратное — высокие качества личности, ее причастность к идеалу практически выводились из ее способности к профессиональным занятиям, зачастую чуть ли не техническим. Это давало и «право» на «исключительные страсти», и всеобщее уважение к ним как к проявлениям обязательно ярких признаков оригинальной и богатой личности, ставших чем-то вроде необходимого сырья для обработки — чтоб эта «техника» не совсем вхолостую крутилась. Побочный продукт всего этого — литературный быт, «круг посвященных», особый вид светскости (в подлинном виде вымиравшей). Так и получилось, что любая подробность существования человека, «овладевшего формой» или даже просто мастерством, была окружена мистическим ореолом служения: то ли Богу, то ли некоей утонченной духовности, то ли прямо демону — существу, в представлении многих имевшему самое непосредственное отношение к «миру сложных страстей», а следовательно, к искусству, по этой причине тоже ходившему в духовных чинах и уж во всяком случае легко избавлявшему от самого позорного — от мещанства и банальности.

Поэзия — всегда требование от жизни невозможного. Но только невозможной гармонии, а не вечного упоения, например, или вечной нирваны. Теперь поэтичным начинает казаться «штурм невозможностей» — экзистенциальных, конечно. К этому «штурму» располагало представление об избыточности возможностей цивилизации.

Здесь, хоть это и не относится к теме, я должен оговориться. Я вовсе не склонен, как может показаться, следовать обновившейся моде и относиться с пренебрежением к достижениям цивилизации. То, что есть страны, где никто не голодает, где людям доступны достойная их одежда и сносное жилье, то, что в этих странах действуют (или, во всяком случае, считается необходимым, чтобы действовали) регулирующие жизнь и взаимоотношения людей законы, меня только радует. И если цивилизация погибнет от нашей неумеренности в пользовании ее благами, от нашей безответственности по отношению друг к другу и к той силе, которую лучше из нас с ее помощью для нас добыли, то в этой катастрофе (а это будет катастрофа, и она возможна, даже не-

обязательно ядерная) будем виноваты мы, а не она. Гибельна не цивилизация, гибельна мысль или ощущение, что условия, ею созданные, освобождают нас от тревоги за жизнь, от духовных забот и оставляют только одну заботу — о дальнейшем развитии потребительской изощренности. То, что говорилось здесь об искусстве «серебряного века», можно сформулировать и так: с одной стороны, оно — проявление этой тенденции, а с другой — реакция на нее.

Презрение к «прозе жизни» становилось существенным требованием, несоответствие которому обрекало и саму жизнь на санкции, хотя бы поэтические. Разумеется, не у всех это заходило так далеко, как зашло у Блока (кстати, как мы видели, далеко не всегда презиравшего эту «прозу»), который поначалу внутренне поддерживал буквально все жестокости революции — лишь бы покарать и очистить этот негармонический, антипоэтический мир. Большинство отделялось поэтизацией ощущений, собственной страстности, а иногда и мистифицированной животности — принявшим иные формы, но все тем же (как у Надсона и у всех, кого принято было презирать) конфликтом чувствительной души с не понимающей или не удовлетворяющей ее пошлой действительностью. Зато, как говорится, форма была модернизирована, причем сразу всеми, как в промышленности, где нельзя отставать. В культуре наступала эпоха массового индивидуализма. Следы его мы видели отчасти и в творчестве Ахматовой.

Впрочем, она сама в себе это ощущала, и отнюдь не с радостью. Д. Е. Максимов в интересном мемуарном очерке<sup>5</sup>, комментируя «Песенку слепого» из несостоявшейся пьесы 40-х годов «Пролог»:

Не бери сама себя за руку...  
 Не веди сама себя за реку...  
 На себя пальцем не показывай...  
 Про себя сказку не рассказывай...  
 Идешь, идешь — и споткнешься,—

задается следующим вопросом: «Не звучит ли в содержании этой незатейливой песенки, слетой каким-то мудрым слепцом (может быть, странником, «простым человеком»), не звучит ли в ней предостережение об опасности, заключающейся в той индивидуалистической стихии «сказки» (разрядка моя.— Н. К.) о своем «я», которую автор в себе и своем творчестве несомненно ощущал?»

Я с ним вполне согласен: звучит.

<sup>5</sup> Д. Е. Максимов, «Об Анне Ахматовой, какой помню» («Материалы и сообщения по славяноведению». Серед 1984).

## 8

От этого не свободны и многие другие, иного качества стихи Ахматовой, даже такие блистательные, как знаменитая и вызвавшая множество подражаний «Песня последней встречи». Но все же такие стихи сильно отличаются по качеству и значению от тех, о которых мы говорили до этого. «Сказочка о своем „я“» дает о себе знать и в них, но они все же не поглощены ею. Попробуем прочесть это стихотворение, следуя за его течением.

Итак, первые шесть строк:

Так беспомощно грудь холодела,  
Но шаги мои были легки.  
Я на правую руку надела  
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,  
А я знала — их только три!

Совершенно замечательное начало, особенно первые две строки, отличающиеся чисто ахматовской точностью в передаче психологического состояния. Сюжет (а в этом стихотворении есть сюжет) здесь довольно прост: последнее запретное свидание, завершение какого-то тайного обреченного романа. Детали передают не только напряженность, но и характер волнения: грудь беспомощно холодеет, а шаги легки — навстречу любви. И от нетерпения (а может, и от страха) кажется, что много ступенек, хотя наперед известно, что их только три. В волнении же (настолько оно велико) произошла и знаменитая путаница с перчатками: именно эти строки о перчатках и произвели наиболее глубокое впечатление на многих дам, желающих ощущать свои чувства значительными. Появились, по свидетельству И. Одоевцевой, даже подражания типа: «Я на правую ногу надела галошу с левой ноги».

Вроде бы и здесь все эти детали, кроме тех, которые заключены в первых двух строках (конечно, если рассматривать все это как прозу, только как детали сюжета), говорят больше о количестве чувства, чем о его качестве или характере. Но есть еще тон, звучание, музыка этих строк, и они тоже имеют прямое отношение не только к впечатлению, но и к содержанию чувства. При всей тревожности создается ощущение какой-то легкости, следовательно, высоты чувства, этой тревожностью только подчеркнутой, легкости не от легкомыслия, а от необременяющей высоты, что свойственно подлинной любви. Свет этой тревоги из первых двух строк как-то проникает и в строки про перчатки. И поэтому они звучат не только

не смешно и не суетно, как должно было бы быть по сюжету (подумаешь, барышня перчатками перепутала, спеша к кавалеру!), но серьезно и значительно. Все это можно отгнать и к строкам про ступеньки. Чувство высокой тревожности нарастает, но мы еще не знаем, с чем оно связано. Это должны разъяснить следующие шесть строк:

Между кленов шепот осенний  
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,  
Переменчивой, злой судьбой».  
Я ответила: «Милый, милый!  
И я тоже. Умру с тобой...»

Не знаю как для кого, но для меня именно здесь, где по месту в стихотворении чувство, до этого только смутно ощущавшееся, должно выходить на поверхность, в сюжет, в содержание, стихотворение застопоривается и буксует. Опять качество заменяется количеством — в этих строках все цело. Я много раз (особенно в юности) слышал, как разными людьми бормотались начальные строки этого стихотворения, но не помню, чтоб кто-либо для себя бормотал эти. Их как бы признавали, не вспоминая. В сущности, мы ничего из них больше не узнаем про это чувство, диалог, из которого мы как будто должны что-то понять, так и остается неопределенно-условным, театральным. Уж слишком «в духе времени» этот многозначительный, почти загробный голос (здесь все равно — слышащийся в ветре или слышимый сквозь ветер), жалующийся на свою переменчивую и злоую (то есть не жалкую все же, а только «сложно-красивую») судьбу. Голос из сказки о самом себе. Как и голос самой героини, готовой умереть вместе. Занятого у предшествующих строк волнения не хватает на то, чтобы преодолеть невыразительность финальных. Процесс художественного творчества ведь, кроме всего прочего, еще и процесс осознания чувств, а здесь его нет. Одна декларация.

Но стихотворение на этом не кончается. Последние строки опять конкретны и по качеству приближаются к первым шести:

Это песня последней встречи.  
Я взглянула на темный дом.  
Только в спальне горели свечи  
Равнодушно-желтым огнем.

Строчки эти, объединяясь с началом и вместе с ним ассимилируя середину, достойно завершают и, в общем, «вывозят» стихотворение. Ощущение обреченной любви, а вместе с этим ограниченности земных возможностей прекрасного все же достаточно пронзительно. Ограниченность возможностей

бытия здесь не внушаемая внешняя идея. Она в самом ощущении греховности этой нереализованной возможности счастья Равнодушно-желтый огонь свечей, как обычно, горящий в спальне уже заснувшего (тоже как обычно) дома, — напоминание о продолжающемся жестком порядке вещей, из которого героиня наспех и крадучись на минутку ускользнула, для того чтоб проститься со своей обреченной любовью. Стихотворение вовсе не бунтует против этого порядка, оно, по-видимому, признает его власть (чем оно, как и его автор, скажу, забегая вперед, в общем, и противостояло — пусть и аполитичной, но экзистенциально все равно ниспровергательской — атмосфере «серебряного века»). Кстати говоря, если бы стихотворение этого порядка вещей и «мещанских норм» не признавало, не было бы его внутренней коллизии и оснований для его появления. А может, уменьшилось бы обаяние всего творчества Ахматовой, обаяние напряженного драматического смирения, свойственного вершинам русской поэзии со времен Пушкина.

По характеру это стихотворение представляет собой то ли поэтическую новеллу, то ли опять-таки сцену из некоего романа, который как бы предполагается известным читателю и на этот раз действительно что-то отдаленно напоминает. Может быть, Тургенева. Только дается эта сцена здесь в восприятии не автора, а одной из героинь — допустим, Наташи Ласунской из «Рудина» или Аси из одноименной повести.

В отличие от многих других стихов Ахматовой — о некоторых из них мы еще будем говорить — это стихотворение, безусловно, не образец законченной и чистой формы. Но нас сейчас интересует другое. Нас интересует то волнение чувства и, главное, то дуновение поэзии, которое мы все-таки в небольшой степени ощущаем за его сюжетом и ритмом. Это как бы ответ иного, совсем не тургеневского романа. Роман этот прошел через всю жизнь Ахматовой и приобретал разное историческое содержание, он был естествен и неизбежен для нее и для тех эпох, на фоне которых развивалось его «действие» и ее творчество, он стимулировал культурную устойчивость.

Конечно, лучшими стихами Ахматовой были и остаются те, которые вырывались из границ даже такого романа, используя и его только как площадку для взлета. Но и многие из тех стихов, которые настолько связаны с этим романом, что трудно существуют вне его (но все же существуют), тоже представляют серьезную эстетическую ценность.

9

В сущности, такой (а в каком-то смысле именно этот) «роман» — «в общем виде» — лежит в основе творчества каждого настоящего поэта: для подлинного взлета нужна площадка. Без нее можно обойтись только при спортивных полетах — допустим, в глайдерном спорте, когда летят невысоко, недалеко и, главное, без груза. Роман этот — вечный роман поэзии (то есть гармонии) и бытия. В разные времена этот роман проявляется по-разному, ибо по-разному выглядит бытие, а значит, и невозможность полного воплощения в нем гармонии, в чем и состоит «коллизия» этого вечного романа. Беда «серебряного века» была не в том, что с ним был связан этот роман, а в том, что «век» его подменял другим, менее значимым, но выглядевшим более эффектно и «современно», романом, границы мира которого почти целиком определяются представлениями времени и даже круга общения. Впрочем, об «иерархии романов» в творчестве Ахматовой мы еще будем говорить.

Правда, невозможность, которая лежала в основе ее романа, имела наибольшее жизненное основание: Ахматова была одновременно и женщиной и поэтом, а не просто сложной поэтической личностью. Но в духе времени был роман именно такой личности, и порой он брал свое и в ее творчестве. Оснований для него тоже было достаточно. Ведь и в самом деле фигурой она была незаурядной, отличавшейся даже в кругу, где незаурядность считалась нормой. Все-таки не на каждом шагу встречались женщины столь образованные, яркие, умные и самобытные, да еще и писавшие невиданные доселе женские стихи, то есть стихи не вообще о «жажде идеала» или о том, что «он так и не повял всю красоту моей души», а действительно выражавшие, причем грациозно и легко, женскую сущность. И через нее (но это уже не все понимали) — поэзию. Как же тут не поддаваться «духу века» и не начать сочинять сказку о таком (!) «своем „я“», не начать писать как бы из глубины важного для всех и как бы должного всем быть известным романа, где каждая деталь подчеркивает значительность героя. И где это ощущение общей важности происходящего, приобщение к этому ощущению, чуть ли не суть якобы эстетического наслаждения. «Якобы», ибо происходит легкая и поначалу малозаметная подмена: вместо наслаждения значительностью чувств читатель черпает ауру стихотворения приобщается к чувству авторской значительности и наслаждается этим.

Во всяком случае, нисколько не удивительно, что в этой атмосфере самых разных претензий к возможностям бытия, претензий на невозможное — «претензия» талантливой и обаятельной женщины быть настоящим поэтом должна была тогда восприниматься как одно из многих явлений того же ряда. А ее роман должен был выглядеть частным случаем общего романа поэтической личности, противостоящей пошлостью усредненности. Следы этого иногда видны даже в очень хороших стихах, в принципе вырвавшихся из-под власти этого поветрия (ведь настоящий ее роман был другим, и было нечто, что было выше всяких романов). Такие стихи — как бы на переходе, совмещают разные тенденции, разные романы. Яркий пример — стихотворение, написанное в январе 1914 года:

В последний раз мы встретились тогда  
На набережной, где всегда встречались.  
Была в Неве высокая вода,  
И наводнения в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,  
Что быть поэтом женщине — нелепость,  
Как я запомнила высокий царский дом  
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,  
А как подарок Божий — так чудесен.

В этом стихотворении двенадцать строк. Привел я пока что только десять — о двух последних буду говорить позже. Строки эти никаким романом не отдадут, ни на какие посторонние обстоятельства, которые читателю надежит знать заранее, не намекают и ни в каком романе не нуждаются. Тут все настоящее: и характер отношений и чувство. Между героями есть какая-то близость. И то, что их сближает, почему-то важно и для нас, радует нас — в том и поэзия. Эта радость разлита в воздухе — в воздухе Петербурга и самого стихотворения. И конечно, сделано это точно, с мастерством — иначе бы не ощущалось. Этому ощущению способствует все, что замечает глаз, самый фон этой встречи — высокая вода в Неве, грозившая наводнением которого в городе боялись, но теперь уже, видимо, не бояться. А может, и раньше боялись зря: ничего не было. Во всяком случае, в момент воспоминания об этой встрече (а именно он воплощен в стихотворении) ничто им больше не грозит. Все вокруг вспоминается только как красивое и праздничное, даже этот страх, который встретившимися, наверно, и не разделялся. Хотя бы потому, что их занимало, во всяком случае нас сейчас занимает, нечто другое. Мы еще не знаем, что именно, но уже заражаемся ощущением тревожной

праздничности, праздничной важности этой встречи, чистоты, растворенной в воздухе. И даже не важно, любовная ли это встреча или просто в ней было только что-то от любви, не получившее развития. Важно, что чувство, движущее стихотворение, при всей его неопределенности — прекрасно.

Во втором четверостишии эти впечатления только усиливается. Конечно, герой, когда «говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине — нелепость», говорил вещи, не совсем приятные для ее слуха, но ведь и не совсем неприятные. Он, по-видимому, не только признаёт, что она — поэт (кстати, «нелепость» ни вообще, ни в этом контексте не означает «невозможность»), но и волнуется так остро эта «нелепость», может быть, еще и потому, что он имеет на нее иные виды. Хотя то, что возбуждает в нем эти «виды», возможно, имеет отношение к тому, что она — поэт.

Тут мимоходом задета очень серьезная тема. Ибо хоть высказывание это с точки зрения многих и ретроградное, но, как мы потом увидим и как еще в 1914 году понимал Н. Недоброво (о его статье, которую Ахматова до конца жизни считала лучшей работой о себе, чуть ниже), не вовсе бессмысленное. Конечно, я не собираюсь всерьез обсуждать вопрос, может ли женщина быть поэтом. Тем более в статье, посвященной Ахматовой — одному из самых крупных современных поэтов. Однако проблема тут есть. Желания отказать от своей «нелепости» героиня не испытывает — только боль. Но эта боль — боль от столкновения ограниченности бытия и безграничности прекрасного — светла и не тяжела. «Высокий царский дом и Петропавловская крепость» появляются здесь не потому, что героиня переводила на них глаза, скрывая смущение и недовольство (хотя, может, и это было), а потому что все это по-особому вырисовывалось в воздухе, который был «как подарок Божий — так чудесен».

Но в конце стихотворения как бы выдыхается, и «серебряный век» подсказывает простейший выход в духе своей мифологии. И поэтому последние две строки возвращают нас к уже знакомому нам «роману творческой личности»:

И в этот час была мне отдана  
Последняя из всех безумных песен.

Строки эти провисают, как неживые. После двух предыдущих сильных и внутренне наполненных строк здесь, как мне кажется, и музыка стиха как-то сбивается, и интонация пропадает. Мы ведь и

так — по тому, что сказано до этого, — понимаем, что он вполне способен посвящать ей стихи. А уж сводить к этому все стихотворение и вовсе не было оснований. Ибо до этих строк оно было наполнено движением другого чувства. Ценность и прелесть этого часа (в стихотворении, то есть для нас) не определяется тем, что ей написано стихотворение, пусть оно не просто «безумное» (комплимент того времени, означающий неукротимость и богатство натуры), а даже гениальное. Ибо читатель идет путем стихотворения Ахматовой, находится как бы внутри его, и любые другие стихи, упоминаемые в нем, для него не более чем деталь сюжета.

Соблазн обойтись таким приблизительным решением и подкрепить чьими-то неизвестными стихами поэтичность наполняющего стихотворение воздуха — чудесного, как Божий подарок, — мог подействовать на человека такого четкого вкуса, как Ахматова, только в такой атмосфере, в которой уже сам факт занятия искусством воспринимается как доказательство высоты и глубины чувств, а именно такой была атмосфера «серебряного века». Между тем подлинный замысел стихотворения к этой атмосфере отношения не имеет.

Странным образом связана с ней только тема «женщина-поэт», которая все же не вовсе исчезает из этого стихотворения (она в основе всех его невозможностей), хотя в значительной мере и растворяется в более широких поэтических обобщениях.

Тем меньше исчезает эта проблема из ее судьбы. В этой коллизии — вся ее жизнь. Что, конечно, как-то отражается на ее поэзии, хотя прямо темой стихов становится редко. Коллизия эта безусловно трагическая. Тут я неожиданно влез в «женский вопрос», когда-то волновавший русскую интеллигенцию, а теперь — западных феминисток.

Но меня сейчас интересует не справедливое распределение профессий между мужчинами и женщинами, а поэзия. И тут все начинает выглядеть еще сложнее. Прежде всего поэзия не профессия, а призвание. С этим согласятся все. Но ведь многие согласятся и с тем, что женственность тоже не профессия, а призвание. Только вот призвания эти плохо совмещаются друг с другом. В женственности есть много поэзии, но поэзия требует совсем не так много женственности. Для того чтоб быть поэтом, то есть все время пребывать в этом состоянии (а иначе ничего не получается), женщине приходится частично (и в существенной части) жертвовать своей женственностью. Великие «банальности» бытия: дети,

семья, вообще личная жизнь, — для нормальной женщины и в нормальных обстоятельствах всегда имеют больше значения, чем общее отношение к жизни. «Больше значения» вовсе не означает неспособности женщины тонко понимать и чувствовать высокие материи. Тонких ценителей поэзии — это еще Пушкин заметил — среди них всегда было много. И это никак не противоречит, скорее соответствует, их женской сущности. И умение самовыражаться в стихах им дано не в меньшей степени, чем мужчинам. Но все время оставаться главным образом поэтом (а для того чтоб жить и расти, надо быть в это погруженным непрерывно) и при этом непрерывно оставаться главным образом женщиной (а это тоже нельзя делать наполовину) все-таки, увы, затруднительно. И дело даже не в будничной тяжести, а в душевной озабоченности.

Поэзия ведь вообще занятие не совсем естественное — и для мужчин тоже. Многие поэты (преимущественно того же «серебряного века» — например, Блок) жаловались на то, что приходится живые чувства заключать в клетки фраз и слов, теряя возможность непосредственно воспринимать жизнь и радоваться ей. Вероятно, в этих жалабах есть и преувеличение. Но что в душе поэта все время должна происходить внутренняя работа, связанная с эмоциональной ориентацией в окружающем мире, для меня бесспорно. А если принимать во внимание эпоху, когда поэт почти «официально» должен был доказывать себе и другим свое небожительство, то есть непрерывное экстраординарное чувствование, — короче, все время занимать всех романом своей неповторимой творческой личности, тем более Безусловно, это противоречит нашему представлению о женственности, о том, что она вносит в мир.

## 10

Однако факт остается фактом — Ахматова была и женщиной и поэтом. Полагаю, что и появление ее и приятие было связано с общими процессами, происходящими в жизни. И как бы в ее окружении при этом ни отрицали бездушное чудовище прогресса, все это, как мы уже говорили, было отчасти связано, а иногда и в духе времени даже сознательно связывалось, именно с ним — с прогрессом не только культуры, но даже и положения женщины в обществе.

Н. В. Недоброво был первым, кто по двум успешным к тому времени выйти сборникам — «Вечер» (1912) и «Четки» (1914) —

и несколькими журнальным публикациям после них по достоинству определил масштаб явления, понял, что перед ним серьезный большой поэт, а не просто молодая способная женщина, «погруженная в узкий мирок своих личных переживаний». Жданов был не первый и не единственный, кто обвинял Ахматову в узости «мирка», — многие вполне порядочные люди, любившие ее стихи, тем не менее думали так же и только прощали ей и себе эту слабость.

Но при всей тонкости это все-таки статья того времени, обращенная к тогдашнему ценителю, не свободная от понятий того времени. Хотел этого автор или нет, он отчасти рассматривал явление Ахматовой и в плане прогресса и развития женской эмансипации. Рассуждал он так. Поскольку вся лирика до сих пор была «мужской», то мужчины создали в лирике традиционное представление (теперь сказали бы: «миф») о вечно женственном. Трудности Ахматовой как создателя женской лирики практически заключаются в том, что специфически женское представление о вечно мужественном пока выработано не было и ей предстояло открывать его самой, на ощупь. По-видимому, в дальнейшем по этой логике такое представление — в значительной степени благодаря усилиям Ахматовой — должно было быть выработано и женщины в лирике получили бы равные с мужчинами возможности.

С этим согласиться трудно. Не могу я согласиться и с тем, что лирика, которая существовала до Ахматовой, была только регионально-мужской, она была «просто лирикой», касающейся всех. И читающие женщины не чувствовали ее чужой. Также «просто лирикой», нужной всем (это доказывает и Н. В. Недоброво в других местах своей статьи), была и лирика Ахматовой. В ее стихах есть женское чувство, никак не противоречащее мужскому представлению о нем и мужской потребности в нем, есть, может быть, даже игра этим самым вечно женственным. Но стихи этого рода — только исходный рубеж для выхода к иным горизонтам, или, как сказано выше, «площадка для взлета». Особенно если речь идет о ее шедеврах. Например, таком, как это знаменитое стихотворение из триптиха «Смятение» (1913):

Не любишь, не хочешь смотреть?  
О, как ты красив, проклятый!  
И я не могу взлететь,  
А с детства была крылатой.  
Мне очи застит туман,  
Сливаются вещи и лица,  
И только красный тюльпан.  
Тюльпан у тебя в петлице.

Это стихотворение никак нельзя назвать новеллой или сценой из какого-либо романа, о котором мы должны знать или догадываться заранее. Все, что говорит стихотворение, и все необходимое для его понимания оно содержит в самом себе, в своих восьми коротких строчках, в своем лирическом взрыве. В этом стихотворении герой вроде бы тоже неясен, в сущности, он и не герой, он объект чувства, повод, а героем стихотворения оказывается сам взрыв чувства. Сюжет, объект, да все внешнее содержание вообще — если его выделить — мало что говорят: любимый красив, но не любит и не хочет смотреть. И еще известно, что у него «тюльпан в петлице». Но сюжет здесь определяет содержание меньше чем где бы то ни было. Да автор и вообще не занят сюжетом, прояснением сюжетных обстоятельств. Нет и игры на сложности и таинственности этих обстоятельств (как отчасти в «Песне последней встречи»). О них специально ничего не говорится. «Не любишь, не хочешь смотреть?» — это не сообщение о том, что кто-то кого-то не любит, а сразу реакция на это. То же и следующая строка. Она вовсе не для того, чтоб сообщить нам о красоте возлюбленного. В ней смятенность, сраженность этой подавляющей красотой. И «красный тюльпан в петлице» из последней строки появляется там не столько как деталь внешности (хотя это деталь внешности, и отчасти даже характеризующая) и даже не как сообщение о том, что женщина так любит, что уже ничего, кроме этого тюльпана, не видит (хоть и это правда), а опять-таки прежде всего как реакция: женщина поражена тем, что уже ничего не в состоянии видеть, кроме этого красного тюльпана, потому и говорит о нем. Кстати, это и есть самая высокая степень мастерства — проявляется только реакция на чувство, а все ясно. Только смятение, только чувство.

Но тут возникает один детский, «шестидесятилетний» вопрос: а так ли уж нам важно это чувство, чтоб имело смысл приобщаться к нему? Подумаешь, барышня влюбилась в красавчика и страдает от его невнимания! Ведь такое переживание по ценности может быть сродни и юным переживаниям госпожи Лариной, будущей матери пушкинской Татьяны, которая, когда «был еще жених ее супруг... по неволе... вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более» и о ком дальше без обиняков говорится:

Сей Грандисон был славный франт,  
Игрок и гвардии сержант.



Нет, я совсем не против того, чтоб читать истории таких барышень, но все же — если речь о художественных произведениях — мне интересней читать о них, а не их самих. Ибо при всей симпатии к госпоже Лариной мне было бы трудно эмоционально отождествить себя с ней. А читатель поэзии, как мы не раз говорили, всегда в процессе чтения отождествляет себя с автором, как бы читает от его имени, становится им на время чтения. И поэтому отождествление должно как-то «окупаться» для читателя, обогащать его — зрящее же отождествление может только раздражить, как всякое действие, не оправдавшее ожиданий. На госпожу Ларину мы глядим с удовольствием и сочувствием, но глазами Пушкина, а не ее собственными.

Итак, тот же «шестидесятнический» вопрос в другой форме: «окупается» ли для читателя, имеет ли для него смысл отождествление с этим смятением молодой барышни или дамы?

Содержание чувства, что не надо доказывать, зависит от содержания личности, от всего, чем она живет вообще, а не только в тот момент, который вылился в стихотворение и в котором это «все» так или иначе присутствует. А сформирована эта личность не только природой, но и эпохой, обществом, всем, чем живут люди в ее время. И все это так или иначе проявляется в стихотворении. «Что?» и «как?» неотделимы друг от друга, и оба исходят из «кто?».

Уже первая строка: «Не любишь, не хочешь смотреть?» — поражает какой-то требовательной, возмущенной интонацией. Это не традиционная женская жалоба на безответную любовь, а по меньшей мере изумление: как может такое происходить с мной, которая столько за собой чувствует? Энергия стиха такова, что читатель — хочет он этого или нет — воспринимает это удивление как естественное и правомочное. Само обаяние стиха как бы санкционирует это авансом. Иначе б это звучало пустой претензией. Но кредиты в поэзии недолгосрочны.

Вторая строка: «О, как ты красив, проклятый!» — вносит в эту возмущенную уверенность нотку беспомощности, растерянности, здесь-то впервые и выходит наружу смятение. Оно именно в этом столкновении горделиво-удивленной интонации первой строки и вырвавшегося против воли беспомощного и восхищенного стопа второй. Кредит доверия еще не компенсирован, но что-то в его погашение мы уже начинаем получать. Но что именно? Это должно разъясниться, разрешиться чем-то, что

объяснит и этот тон и причину смятения. И разрешиться тут же, иначе стихотворение обанкротится и строчки эти обвиснут, как паруса без ветра. И это действительно тут же разъясняется. Следующими же строчками: «И я не могу взлететь, а с детства была крылатой».

Так вот оно что — крылатость! Все напряжение предыдущих строк получает обоснование и оправдание. Ведь крылатость — это как раз то, отсвет чего мы ощущали в предшествовавших строках и что придавало достоверность их уверенности и обаянию.

Но стихи эти отнюдь не заявление о собственной крылатости, каких много было тогда и бывает поныне. Крылатость тут появляется попутно, как бы против воли. Крылья начинают ощущаться, о них вспоминают и говорят только потому, что они вдруг отказывают. Все это стихотворение, в сущности, о том, как отказывают крылья под напором внезапно налетевшей страсти. Обыкновенной женской. Без чего не было бы ни обаяния этого стихотворения, ни самой «крылатости». Этой страстью очерчен незримый круг, замкнутый красным тюльпаном в петлице. Из его поля не то что не вырваться, а и не хочется — им унижающе подавлено само желание вырваться. Высокое индивидуальное начало на лету подсекается общей женской способностью к побежденности: уступает своей природе, своей «земности». Он не хочет смотреть, а ей все равно глаз не отвести. Какие уж тут взлетания!

Так в чем же все-таки обаяние этого стихотворения? Неужели только в том, что, как говорили в старину, небесное начало побеждается в нем земным, или дух плоть? Но ведь этого быть не может, это противоречит не только сути искусства, но и самому смыслу слова «обаяние».

Нет, обаяние стихотворения именно в том, что этой победой и не пахнет. Победа эта существует только в сюжете. На самом деле стихотворение, если можно так выразиться, борется с сюжетом как с предопределенностью бытия. Главное, что существует и действует в нем, это именно неукротимость этих крыльев или, если хотите, ощущение потерянной крылатости. В поэзии такое ощущение и есть присутствие. Да и сама сила страсти ощущается здесь именно в связи с ее парализующим действием на эти крылья, обессиленные, но ни на секунду не забываемые, осязаемые. В этой осязаемости — напряженность, острота и высота стихотворения, того ценного чувства, которым оно живет. Надо ли напоминать, что в поэзии всегда присутствует неразрешимая коллизия

между духом и плотью, где дух никогда не отрывается от плоти, но и не поглощается ею. И именно потому, что это более чем женское стихотворение пронизано общей для человеческого духа коллизией, оно совершенно естественно читается и мужчинами. И вероятно, через это общее они вдобавок проникаются и ощущением высокой женской души, где это откровение родилось. Но главное — само откровение.

Стихотворение это, как уже сказано, совершенно женское, лирическое, вроде бы вообще далекое от общественных проблем. Между тем, кроме всего прочего, оно еще и ответ на проблемы и споры времени. Хотя бы на споры о «женском вопросе».

Мы уже раньше говорили о том, что для самоутверждения женщины как личности Ахматова сделала больше, чем многие из тех, кто этим специально занимался. Завершенность и совершенство ее стихов превращали самоутверждение в самоутвержденность. Думаю, что многие в стихотворении эту самоутвержденность, не сознавая, чувствовали и благодарно на нее откликались. Таких стихов у Ахматовой много, они-то и есть Ахматова, и большинство из них относится к «чистой», даже интимной лирике. Ну чем не интимная лирика, например, такие, тоже знаменитые, стихи:

Настоящую нежность не спутаешь  
Ни с чем, и она тиха.  
Ты напрасно бережно кутаешь  
Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные  
Говоришь о первой любви.  
Как я знаю эти упорные,  
Несытые взгляды твои!

В этих стихах нет и не нужно обстановки, деталей времени и места, налицо опять только реакция, взрыв чувства. Только обобщенность, только эмоциональная и содержательная суть. Это тоже стихотворение высокой и чистой формы. Это стихи на любовную тему, но, конечно, не о любви. Но это и не попытка раздуть отсутствие любви до уровня глубокого лирического чувства, как в приводившихся выше стихах о мальчике, узнавшем печаль неразделенной любви, а естественный и благородный ответ вечной женственности на посягательства вечной изменности, выучившей все высокие слова. В этом ответе — высокое представление, высокий образ любви, приобщение к миру вечных ценностей. Но родилось оно, конечно, из опыта своего времени, своей жизни. Это можно и выявить при желании (даже если взять одну только внешнюю ситуацию, попробуйте представить та-

кую свободу обращения с мужчиной и с такой темой на фоне пушкинского времени), но вряд ли здесь есть такая необходимость.

## 11

Хоть блистательный мирок «серебряного века» загуманивал голову иногда и Ахматовой, но она в глубине души всегда чувствовала меру вещей и знала, с чем имеет дело. И вот как виделось ей то, что ее окружало, и она в этом:

Все мы бражники здесь, блудницы,  
Как невесело вместе нам!  
На стенах цветы и птицы  
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,  
Так странен дымок над ней.  
Я надела узкую юбку,  
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:  
Что там — изморозь или гроза?  
На глаза осторожной кошки  
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!  
Не смертного ль часа жду?  
А та, что сейчас танцует,  
Непреренно будет в аду.

Эти, так сказать, новогодние стихи (они написаны 1 января 1913 года) не очень нуждаются в комментариях. Все, на что они реагируют, нарочито и замысловато. От странного дымка из трубки до узости юбки, позволяющей и без того стройной женщине зачем-то «казаться еще стройней». Во всем этом какая-то нервная потребность в чрезмерности, в экстрактах чувства. Это естественно, если «невесело вместе нам», если обычное восприятие от этой погони за остротой притуплено. «Невесело» ведь «нам» именно от этой нарочитости и чрезмерности «А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду» — так заканчивается стихотворение. Но чувствуется, что и та, что не танцует, а только надела свою узкую юбку, подозревает, что и сама — хоть не столь «непреренно» — может оказаться там же. Какой-то шабаш ведьм, совместное погружение в грех. Не зря ведь она о себе: «сердце мое тоскует», словно «смертного... часа жду». Ведь весело нам или нет, «все мы (а не только «та, что танцует». — Н. К.) бражники здесь, блудницы», а это, по внутреннему убеждению стихотворения, карается. Такое сочетание естественного взгляда с неестественностью реальности и собственного поведения встречается в русской поэзии, кажется, еще только у Блока. Возможно, в этом сказались и никогда не покидавшая Ахматову — ни на высотах про-

свещенности, ни в каких бы то ни было «падениях» — религиозность. Но я думаю, что имел значение и ее естественный вкус, естественное чувство большого поэта. Ведь вкус в поэзии — это тотальное чувство со-ответствия: не только выражения выражае-мому, но и выражаемого — сущности поэ-зии и месту того, что выражается, в мире. Поэтому в этом шабаше, сама включаясь в его «мы», она сохраняет удивительную трезвость взгляда. «На глаза осторожной кошки похожи твои глаза» (вспомним: «Как я знаю эти упорные, несытые взгляды твои!» из предыдущего стихотворения). Конечно же, все это тоже похоже на сцену из ро-мана. Но если это даже так, то это уже ро-ман жизни в трезвом восприятии художни-ка и судьбы, а не просто «глубокие внутрен-ние переживания» творческой личности. А скорей всего это не описание сцены, а мгно-венная реакция на нее, опять-таки взрыв чувства, то есть нечто, поднимающееся над таким романом, хотя и рожденное из него, как это было и в двух процитированных восьмистрочных стихотворениях. Во всех этих стихах перед нами законченный, мудрый, самостоятельный поэт, не завися-щий ни от каких «атмосфер времени», от его «романов». А это ведь стихи раннего периода. Независимость от атмосферы вре-мени давалась ей не всегда и не просто. Вот как она отдыхала от этой атмосферы, когда удавалось оторваться:

Я научилась просто, мудро жить,  
Смотреть на небо и молиться Богу  
И долго перед вечером бродить,  
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи  
И никнет гроздь рябины желто-красной,  
Слагаю я веселые стихи  
О жизни тленной, тленной и

прекрасной,

• • • • •

Лишь изредка прорезывает тишь  
Крик аиста, слетевшего на крышу.  
И если в дверь мою ты постучишь,  
Мне кажется, я даже не услышу.

Безусловно эти стихи тоже из «романа о себе», но только из романа подлинного и существенного. Стихотворение посвящено отдыху от привычной суетности и прихо-ду к мудрости простоты и покоя. Правда, здесь все происходит в рамках романа че-ловека «серебряного века». Приближение автора к земле и естественной жизни, а также его открытие, что жизнь однове-менно тленна и прекрасна, предстают перед нами отчасти как бы в ходе выражения чисто профессиональной радости, предста-ют — и автор чувствует необходимость, находит время и место специально отметить

это — возможностью «слагать» об этом «веселые стихи». Это, конечно, гармонирует с подлинной сущностью Ахматовой как человека и поэта, но такая «профессиональ-ная озабоченность» все-таки мешает читате-лю идентифицировать себя с автором, все-таки снижает уровень обобщения.

Для того чтобы личное чувство (оставаясь личным, в том и трудность!) стало обобщен-ным, оно должно быть очищено от всего уж слишком личного, касающегося только автора. Разумеется, внешних признаков то-го, что касается всех, а что — только од-ного автора, не существует. Но очевидно, что сама по себе проблема писания или не-писания им стихов — его личное дело. Она может иметь значение при интересе к его биографии, но не при чтении его стихов.

В XIX веке стихов о проблеме писания или неписания стихов почти не было. Были стихи не о профессиональных страданиях, а о самих поэтах как о носителях не столь-ко некой судьбы, сколько некой сущности. Даже в знаменитой пушкинской «Осени», которая прямо заканчивается тем, что «пальцы просят к перу, перо к бумаге» и т. д., речь идет не столько о писании сти-хов, сколько о состоянии, которое стоит за этим, — об осени, дарующей поэту и твор-ческий подъем. Интриговать же читателя профессиональными муками творчества поэ-ты стали только в XX веке, когда это бы-ло возведено в ранг светской ценности.

Но в этом стихотворении нет ничего «свет-ского» — интригующего или обольщающе-го. Подобно пушкинскому, оно пронизано состоянием природы. Только у Пушкина упоминание о стихах — просто крайнее вы-ражение упоения осенью, с которым для него связана и радость творчества, а у Ах-матовой здесь творчество имеет самодовле-ющее значение. Возможностью писать она опять оперирует как доводом. Она ушла от неверной жизни и суеты, и теперь ей хо-рошо пишется. Сделано это очень тактично, приглушенно, это только включение темы пишущего человека, а не сведение к ней всего стихотворения.

Конечно, при прочих равных лучше, если в произведении вообще нет следов какого бы то ни было «романа» и нужды в нем, если те конкретные исторические ситуа-ции, в схватке с которыми оно создавалось, отошли на тридцатый план, то есть если стихотворение настолько вылупилось, опре-делилось, другими словами — роди-лось, что совсем не нуждается в какой-либо связи с пуповиной (а всякий «роман» и свя-занная с ним чрезмерная интимность тона и есть такая пуповина).

Странная черта развития Ахматовой, требующая специального рассмотрения противоположные и, казалось бы, исключают друг друга тенденции ее творчества в процессе развития не изживали друг друга, а развивались одновременно и параллельно. Лучшие ее стихи, отличавшиеся с самого начала внутренней и внешней законченностью, с годами становились все глубже, серьезней, шире и мудрей, но не лучшие при этом отнюдь не исчезали окончательно, хотя с ростом личности и внутреннего опыта их автора тоже изменялись — становились изощренней и по-своему даже глубже. Слово в ней с самого начала и до конца одновременно жила и развивалась два разных художника: один — всецело ограниченный эстетикой и психологией «серебряного века», и другой — абсолютно свободный от всего этого и даже всему этому противостоящий. Так что неудивительно, что у нее еще и в 1961 году встречались такие стихи, как «Угощу под заветнейшим кленом...», хотя они и были рядом с такими, как «Слушая пение»

Женский голос как ветер несется,  
Черным кажется, влажным, ночным.  
И чего на лету ни коснется —  
Всё становится сразу иным.  
Заливает алмазным сияньем,  
Где-то что-то на миг серебрит  
И загадочным одеяньем  
Небывалых шелков шелестит.  
И такая могучая сила  
Зачарованный голос влечет,  
Будто там впереди не могила,  
А таинственной лестницы взлет.

Здесь ничто специально не утаено, а между тем уловлено неуловимое, выходящее далеко за границы восхищения пением. Хотя и непосредственное впечатление от этого пения и от «женского голоса» тоже здесь присутствует и передано вполне мастерски. Правда, к этому стихотворению есть еще и примечание, в котором после обозначения даты и места его написания: «19 декабря 1961 (Никола Зимний) Больница им. Ленина» — в скобках приписано пояснение: «Вишневская пела „Бразильскую баховиану“ или „Бахиану“». Но определенность стихотворения от этого не зависит, оно было бы вполне живо и без всяких пояснений. Оно нашло свою форму и существует самостоятельно — даже для тех, кто никогда не слышал Вишневскую и не знает, что Ахматова лежала в больнице. Потому что, остро ощущая сиюминутное (мне даже кажется — впрочем, я в этом профан, — что само ощущение голоса певицы передано точно, что он узнаваем), стихотворение это прозревает в нем и остро

чувствует вечное: прелесть и трагичность бытия, неотрывное присутствие в нем духовности. Это воплощенное торжество Духа.

## 12

Я несколько раз здесь употреблял слово «роман» и давал понять, что не всегда имею в виду одно и то же. Намекал даже, что речь тут идет об иерархии романов. Надеюсь, что заинтересованный читатель, даже если не соглашался со мной, понимал, что я имею в виду. Тем не менее следует прояснить эту терминологию, ибо речь идет о некоей, пусть вспомогательной и условной, классификации. Итак, если грубо «подбить итоги», поэтическое наследие Ахматовой разделится на четыре части:

роман ролевой — когда героем отражающегося в лирическом стихотворении «романа о себе» оказывается не подлинная личность автора, а роль, взятая им на себя;

роман подлинный, но без катарсиса — когда героем такого же романа оказывается подлинная личность автора и в основе — действительная его жизнь, в какой-то мере даже действительная коллизия его взаимоотношений со средой и временем, но одним самовыражением все и ограничивается. Нет — даже через трагически неудовлетворенную жажду этого — выхода к катарсису, к небу, к поэзии;

роман подлинный с катарсисом — когда в основе романа, стоящего за стихотворением, тоже лежит действительная коллизия взаимоотношений личности со средой и временем, но роман не ограничивается самовыражением — при любой тяжести его коллизии все в нем окрашено ощущением вечности и стремлением к катарсису;

и наконец откровение — когда творческий замысел, порожденный этой коллизией, кристаллизуется в законченную форму и начинает самостоятельно существовать во времени и пространстве. Откровение (Пушкин называл его вдохновением и противопоставлял самопоению восторгу) — это максимальное приближение к подлинной, а следовательно, и вечной мере вещей. Замысел, полностью отмеченный откровением, не нуждается в подпорке со стороны даже самого подлинного, породившего его «романа» и поднимается не только над обстоятельствами биографии автора, но даже и над самой его личностью вообще.

Таких стихов — о некоторых из них мы здесь говорили — у Ахматовой на редкость много. Для поэта XX века особенно. И бы-

ли они отнюдь не только на общие темы и не только в последний, «умудренный возрастом и пережитым» период ее творчества. Такие стихи — и в первую очередь как раз «сугубо лирические», как в просторечии принято называть почему-то только стихи о любви, — появлялись у нее с самого начала ее творчества.

Конечно, моя «итоговая классификация», как уже сказано, условна и понадобилась мне только для более четкого изложения дорогой мне шкалы ценностей.

Из всех ахматовских стихов я абсолютно не принимаю только те, которые относятся к первым двум группам. Полагаю, что на счет первой (как, впрочем, и четвертой, только с другим знаком) группы все ясно. Со второй группой стихов могут возникнуть трудности. Многие не догадываются, что самовыражение — не все в искусстве. В неумении отличать подобные стихи — главный соблазн и самообман современной культуры. От этой болезни нет иной защиты кроме вкуса. О вкусе, в принципе и защитившем Ахматову, мы и пытались сейчас говорить, нащупать, что это значит.

Главная загвоздка — со стихами третьей группы, в которых самовыражение стремится стать откровением. Они безусловно относятся к поэзии: в поэзии стремиться (если стремление воплощено) уже означает в какой-то степени обладать. Просто возможность восприятия таких стихов тесно связана с необходимостью иметь представление об атмосфере, их породившей: пуповина — не перерезана.

Но в эпохи, когда на человека наваливается слишком много «современности», появление таких стихов неизбежно и даже желательно. Что делать, если время навязывает трудный и безысходный роман с собой. К сожалению, в XX веке почти ни один поэт не смог обойтись без такого «романа».

Это значит, что поэт как романтический герой собственных стихов — явление не только распространенное, но, наверно, и естественное для нового времени. Роман выстаивания, роман отстаивания — это ведь тоже роман, отстаивание и выстаивание обрекают человека на страдания и жертвы, на то, чтобы он на самом деле был героем — иногда отнюдь не только в литературном смысле. Так было и с Ахматовой.

Об Ахматовой в связи со всеми этими вопросами необходимо говорить и потому, что, несмотря на погруженность в «романность» своего века, по природе она поэт скорее пушкинского плана, чем «романного» или романтического. Ведь даже приво-

дившееся чуть выше стихотворение о пении Вишневской никак не романтическое. В нем автор никак не романтизируемый герой, а только духовная личность перед лицом жизни и смерти.

И уж никак не романтичен написанный за три года до этого гениальный, как я думаю, «Приморский сонет»:

Здесь всё меня переживет,  
Все, даже ветхие скворешни  
И этот воздух, воздух внешний,  
Ночной свершивший перелет.

И голос вечности зовет  
С неодолимостью нездешней,  
И над цветущею черешней  
Сиянье легкий месяц лет.

И кажется такой нетрудной,  
Белея в чаще изумрудной,  
Дорога не скажу куда...

Там среди стволов еще светлее,  
И всё похоже на аллею  
У царскосельского пруда.

За чувством, породившим стихотворение, стоит многое: опыт размышлений, заблуждений и открытий незаурядного человека, — но в стихотворении об этом ничего не говорится. Только чувствуется. Остается в подтексте, но подтексте без кавычек, ибо тут и речи нет об искусственном умолчании. О том, о чем говорится, говорится все. А о себе как раз почти ничего. Разве что — «здесь все меня переживет...». Но интонационное ударение здесь стоит на другом слове — на «в с ё». И чтоб не было сомнений — «все, даже ветхие скворешни». Вот вроде бы до чего дошло: меня — ветхая скворешня. Но в стихотворении нет и тени обиды или возмущения тем, что это так. Есть только любовь ко всему, что «меня переживет», и щемящая боль от необходимости с этим расстаться. Все подготавливает высокое и трагическое смирение завершающих шести строк, содержащих тайную надежду увидеть в будущей жизни улучшенное продолжение всего того, что здесь «меня переживет». Конечно, смирение последних строк окрашено естественным и привычным религиозным чувством. Но Ахматова — поэт, а не проповедник. И это напряженное драматическое смирение, конечно же, ближе Ахматовой, чем все соблазны «серебряного века». Одно слово «кажется» чего стоит. Стихотворение знает, что дорога «не скажу куда» только кажется нетрудной. От этого оно такое щемящее, но и острота смирения — тоже от этого.

Стихотворение представляет собой законченную форму. Для того чтоб его понять и почувствовать, необязательно даже знать,

что с царскосельскими аллеями связаны детство и юность его автора. В нем нет никаких следов романтического «романа о себе» Реализм, можно сказать, да и только. Реализм. И состоит он в том, что Ахматова действительно и реально, а не в восторженном воображении или выгравшишь в роль, поднимается сама и поднимает нас фактически над историей — на один уровень с жизнью и смертью, с вечностью. Но тот, кто думает, что можно подниматься над временем и историей, к вечности, с самого начала ощущая себя вне всего этого, соблазняется иллюзией. Летать можно куда угодно, но взлетать можно только в то время и над тем местом, где находишься. Ахматовой же пришлось взлетать над «серебряным веком» в России и как раз перед катастрофой.

В этой связи мне хотелось бы напоследок привести еще одно стихотворение Ахматовой, написанное осенью 1913 года. В нем как будто нет предчувствий — только боль и тревога да чувство вины.

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,  
О смерти Господа моля.  
Но всё мне памятна до боли  
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,  
Над ним, как кипень, облака,  
В полях скрипучие воротца,  
И запах хлеба, и тосна.

И те неяркие просторы,  
Где даже голос ветра слаб,  
И осуждающие взоры  
Спокойных, загорелых баб.

К какой бы группе ни отнести эти стихи, они хороши и значительны. Можно это стихотворение отнести и к одному из романов, ибо буквального смысла первых двух строк я никогда не понимал. О какой неволе идет речь и зачем из-за томления в ней надо молить Господа о смерти — для меня и теперь тайна. Возможно, речь идет о потере своей дороги, то есть своей воли, — о чем-то, по-видимому, связанном с темой стихотворения «Все мы бражники здесь, блудницы...». Вероятно, так оно и есть. Ибо то, что следует дальше, выглядит как ответ именно на эту ситуацию, по существу — ответ «серебряному веку».

Стихи эти очень важны для понимания всего творчества Ахматовой. Это как бы

возвращение в Россию — только не из чужой земли (если вспомнить блоковское: «И опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли»), а из «серебряного века», что, может быть, было еще дальше. Впрочем, и Блок, наверно, имел в виду то же самое. Это стихотворение не только всплеск любви к забываемой как будто за сложными заботами и тревогами, но на самом деле всегда неотрывной от сердца и от судьбы родной земле, не только тревожное ощущение ее неблагополучия, но еще и взгляд на себя ее глазами — осуждающими взорами этих «спокойных, загорелых баб». В этом — возвращение не только к родной земле, но и к самой себе, к своей сути, от которой ее много раз и после этих стихов куда-то отвлекало, но от которой она никогда не отходила так далеко, чтоб было трудно вернуться.

Я не пытаюсь исчерпать все, что есть в этом стихотворении. Одна строка «И запах хлеба, и тоска» неисчерпаема. Это ощущение России, ее пейзажа и ее судьбы — в едином образе. Все то, что относится к перипетиям судьбы самой Ахматовой, отходит в этих стихах на второй план. На первом — «просто и только» сама Россия, любовь к ней, стыд перед ней и тревога за нее. Но это и есть главное в ее судьбе — судьбе человека и поэта.

Вот к чему пришла, какой была Ахматова накануне первой мировой войны, разразившейся всего только через несколько месяцев после этого стихотворения. В ней с самого начала жили и заявляли о себе те качества, творческие и человеческие, которые всю жизнь заставляли ее отталкиваться от «серебряного века» и которые в трагические времена дали ей возможность стать в полном смысле этого слова народным поэтом, тем, кто потом мог о себе с полным правом и без всякого преувеличения произнести слова, столько раз уже цитировавшиеся: «И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомильонный народ» — или: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

Публикуемый вариант статьи подготовлен редакцией нашего журнала и авторизован писателем. Первый ее вариант был опубликован в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне), 1987, № 144.

# Ж Н И Ж Н О Е    О Ь О З Р Е Н И Е

## СО Д Е Р Ж А Н И Е



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Архангельский. Строгость и ясность.— Евг. Иванова. О слепых поводырях...

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Р. Музафаров, Г. Федоров. Рассчитано на неведение.

## Литература и искусство

### СТРОГОСТЬ И ЯСНОСТЬ

Георгий Владимов. Верный Руслан. История караульной собаки. «Знамя», 1989, № 2.

Георгий Владимов. Не обращайтесь вниманья, маэстро. Рассказ для Генриха Бёлля. «Сельская молодежь», 1989, № 6, 7.

Очередной парадокс нашего парадоксального времени: целый ряд писателей русского зарубежья (и Георгий Владимов в их числе) рассказывают о себе на страницах «Иностранной литературы» (1989, № 2, 3). Заново знакомимся со «своим» при посреднической помощи «чужого» — и за этим стоит проблема, повергающая в растерянность своей неразрешимостью: так кто же они для нас? и кто же мы для них?

Растерянность часто прикрывается ажитацией, интонацией болезненного преувеличения — будь то безмерная радость или безумное негодование. Все это легко понять; принять — невозможно. Возвращение в пределы отечественной словесности книг, от нее до недавнего времени отторгнутых, призвано восстановить не только справедливость, человеческую и социальную, но и полноту нашей культуры; той же цели служат и публикации «из наследия», и реабилитация некогда запрещенных тем, и снятие табу с целого ряда философских идей. А культура есть прежде всего иерархия уравновешенных ценностей, и то, что ее возрождение повсеместно встречается неуравновешенно — с восторгом ли, с негодованием ли, — свидетельствует о нашем внутреннем удалении от нормы.

Но вот как раз о прозе Владимова с умеренностью и пафосом не поговоришь.

Не потому, что плоха, — напротив, это один из самых интересных, донесшихся к нам «голосов за холмами», — а потому, что все в ней сопротивляется избыточности, несдержанности, захлебу.

Это, притом что темы самые болевые, объекты изображения неординарные: в повести — лагерь в период десталинизации, в рассказе — интеллигентская квартира, ставшая для КГБ пунктом наблюдения за опальным писателем из дома напротив... Но читаешь — и не столько о темах и объектах думаешь, даже не на мысли автора сосредоточиваешься, в общем-то не выходящей за общегуманистические рамки, сколько исполняешься строгостью и ясностью самого текста, говорящего своим художественным составом нечто такое, что восполняет и тему, и идею, и проблему и как бы смягчает и просветляет получаемый при чтении заряд. Возможен соблазн интерпретировать это как романтическое размягчение темы, размывание взгляда на страшную реальность. Но это не так.

Общеизвестен парадокс Лессинга о Лаокооне: древнегреческий скульптор изображает страдание гибнущего Лаокоона, но под его резцом страдание становится предметом искусства, частью Прекрасного, не переставая быть страданием в самом точном и страшном смысле слова. Современ-

ная культура в большинстве своем поступает иначе: или отворачивается от ужаса бытия, погружаясь в сладостную грезу, или стремится усилить, перекричать предсмертный крик, повергнуть читателя, зрителя, слушателя в шок. К чести Владимова, он отвергает и то и другое. В «Верном Руслане» есть вполне лакооноовская по своей внутренней катастрофичности сцена: отказавшихся выйти на работу зеков обливают водой из брандспойта. Интонация Владимова, повествующего об этом, не срывается, она остается мерной и напряженной. Писатель не отводит взгляд от человеческой муки, но изображает ее как гибельно высокую, неоправданно высокую Жертву. Культура не выпрямляет кривизну реальности — она преобразует ее.

Стоит ли забывать и то, какая смысловая роль отведена в рассказе «Не обращайтесь вниманья, маэстро» Писателю, так и разу и не выходящему на первый план повествования? Участники (со-участники) трагикомического действия, воссоздаваемого Владимовым, могут быть смешными и жалкими, подловатыми и страшными; они способны вызывать смешанные чувства — подобно тридцатилетнему герою, аспиранту, втихую читающему запрещенные книжки и не решающемуся на открытое противостояние тем, кто оккупировал его собственную квартиру; они могут замолкать и опасливо переглядываться при появлении опального соседа, но весь мир их изменится, если Писателя удастся выпихнуть за рубеж, если нельзя будет поднять голову и увидеть, как он стоит у незанавешенного окна и смотрит куда-то. Смешно сказать, он даже службисту Коле-Моцарту, который «при исполнении обязанностей» любит мурлыкать «не оставляйте старраний, маэстро!» (у Владимова множество подобных комичных деталей), нужен. Не прагматически, нет; просто если Писатель начнет «обращать вниманья» и его «старанья» все-таки будет оставлено, жизнь лишится некоего связующего звена и станет дробной, бесцельной. Собственно, в такой символизации образа Художника для европейской литературы XX столетия ничего неожиданного нет; Художник в новейшей прозе заместил собою ту роль, которую недавняя традиция отводила Священнику, а давешняя — Святому, но для владимовской прозы важно не это. Важно то, что писатель — не только герой рассказа, но и любой писатель вообще — действительно призван вносить в бытие самими своими текстами (не призывами, не поучениями — текстами) некое смысловое равновесие, ус-

танавливать ими эстетический баланс жизни. Иначе она «выйдет из берегов». Отсюда — отказ от проповеди: она неизбежно выпадает из проясненного, соразмерного текста. (Писатель по ходу сюжета сажает во дворе елочки; ясное дело, под Рождество их спливают; будь он проповедником, он обличал бы сограждан за это и зывал к их совести, но он Писатель, его дело, «не обращая вниманья», сажать елочки, а не учить уму-разуму.) И это качество присуще давным-давно написанному «Верному Руслану» ничуть не меньше, чем сравнительно недавно появившемуся рассказу.

При таком раскладе мастерство из элемента технического становится фактором мировоззренческим. Недаром с глухим раздражением говорит Владимов о «Детях Арбата» в ответе на анкету в «Иностранной литературе» как о романе «тематическом» (не будем сейчас обсуждать меру его справедливости), ведь у самого Владимова не социальная острота выступает «расширителем» сюжета, но сюжет — рамкой, сжимающей повествовательное пространство и тем самым фокусирующей все, попавшее в обзор Там же, где необычность темы, горечь личной обиды или сочный жизненный материал берут верх, — там читатель Владимова попросту раздражается из-за срыва.

Даже развернутое изложение провокационных звонков «гебиста» Коли писателям-правозащитникам в рассказе со столь отчетливой и прихотливой фабулой кажется избыточным и нежелательным. Фабулу эту можно передать формулой «минус на минус»: интеллигентное семейство доносит на КГБ в милицию. Почти все, что препятствует раскручиванию сюжета, отсекается. Если бармен в кафе, где отец с сыном обсуждают детали «заговора» против всеисильной организации, армянин, ясно, что его спросят, не тоскует ли он по родине: разлука и верность (писатель и его страна) здесь лейтмотивы. И армянин отвечает: «Я могу завтра туда поехать, значит, я там живу». Так и выходит, что каждый сюжетный прием работает на магнитное поле смысла.

И поэтому (перехожу к «Верному Руслану»), когда приходит пора сформулировать школьное «что хотел сказать автор своим произведением», это лучше сделать не прямо, в лоб, а косвенно, через литературную ассоциацию.

Первое самоочевидное для сегодняшнего читателя сравнение — с «Собачьим сердцем». Та же тоскливая ветреная ночь вначале («Всю ночь выло, качало со скреже-



том фонари, брякало наружной шеколкой...»), то же конфликтное соприкосновение «собачьего» с «человечьим», причем «собачье» оказывается куда человечнее человеческого... Но кое-что отличается — решусь ли выговорить? — в пользу Владимова. Сюжет его повести построен по закону вывернутой перчатки, которую предстоит вернуть в нормальное положение. Руслан взрачен искаженным, дьяволовато отразившимся в «обратном», вогнутом зеркале миром, но в своей преданности этому искривленному миру он прям и, следовательно, чист.

Руслан и за оградой закрывшегося лагеря продолжает служить его законам, служить верой и правдой — лжи и кривде. Двойным, безупречно страшным, преданно искаженным взглядом караульной собаки показана жизнь пристанционного поселка, где послесталинское бытие трудно и медленно, но начинает входить в нормальное русло, выпрямляется зеркало, восстанавливается истинное изображение. И чем ближе бытие к норме, тем ближе Руслан к гибели, ибо его «изнаночная» жизнь может быть вывернута лишь в смерть. Он и гибнет — в тот самый момент, когда в лагерь прибывают строители, чтобы перепрофилировать его, то есть — метафорически — дезавуировать сталинизм. И гибнет от рук тех, кто призван вернуть жизнь в ее естественное состояние.

Как быть с Шариковым — ясно. У Булгакова можно все выправить хирургическим путем: скальпель в руке профессора Преображенского — как жезл в руке демиурга.

Фук. Фук Фук. Не было Шарикова Но Руслан — был. И он автору дорог. И нет в этом никакого оправдания преданных режиму стражей. Тут есть вопрос, обращенный к себе и к нам, вопрос, делающий невозможным «хирургическое» решение проблемы: «где обращаешь аз?» Не только система, не только, но и мы, каждый и все в разной мере, несем бремя вины за судьбу Руслана, мы искривляем мир ежедневно, это к нам обращен эпитафия из «Варваров» Горького: «Что же вы сделали, господа?»

Вопрос для Владимова, по всей видимости, роковой, ибо повторяется из книги в книгу; пафосной кульминацией рассказа, написанного гораздо позднее повести, становится тоскливое вопрошание: «Что же с нами со всеми происходит?» Но нам не выкрикивают в лицо обличения — к нам обращаются, с нами беседуют. И за этим особым типом взаимоотношений с читателем стоит все то же стремление к строю и ясности, структурности и отчетливости, которые стали определяющими чертами владимовской прозы, так что ее хочется назвать трезвой, несмотря на невольную возникающую ассоциацию с названием журнала «Трезвость и культура».

Да и в каком-то высшем смысле одно без другого действительно невозможно, и литературно выверенная, вернувшаяся в родные пределы с достоинством (а потому без нервного потрясения читающей публики) проза Георгия Владимова как нельзя лучше демонстрирует это.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.



## О СЛЕПЫХ ПОВОДЫРЯХ...

Виктор Астафьев. Зрячий посох. Книга прозы. М. «Современник» 1988. 590 стр.

При первом появлении повести «Зрячий посох» — «литературных и житейских» воспоминаний Виктора Астафьева — вызывал удивление сам повод для ее написания: фигура критика А. Н. Макарова. По выразительности, по колоритности она явно уступает в повести другим ее персонажам — провинциальным писателям и поэтам, имена которых значат для нас сегодня гораздо больше (не говоря уж о фигуре самого автора). Судьба Макарова не кажется такой уж значительной и на фоне проблем, о которых размышляет Астафьев. Но прошло время, повесть вышла отдельным изданием, отстоялось впечатление, и стало очевидным, насколько важна и необходима личность этого критика и история его в том разговоре, который повел Астафьев со страниц своей последней книги.

Между тем обаяние критика Макарова — благодарные упоминания о нем мы найдем у многих прозаиков и поэтов, деботировавших в 50-е, 60-е и 70-е годы, — сегодня может показаться даже некой загадкой. В витиеватых, порой откровенно растяннутых статьях, переполненных лирическими отступлениями, все время что-то разъясняющих, подчас разжевывающих, тщетно искать большие идеи, самостоятельно им рожденные, и потому почти невозможно представить себе, что слышало в них целое поколение талантливых писателей, а ведь нет никаких оснований не доверять искренности их похвал и видеть в них дежурную любезность. Да и как организатор литературного процесса тех лет Макаров смотрится вполне заурядным функционером: заместитель В. Ермилова в «Литера-

турной газете», заместитель В. Кожевникова в «Знамени» — типичная номенклатура, хотя бы и субъективно честная, но тем не менее «задействованная» общим маховиком.

Основной сюжет «Зрячего посоха» составляет история многолетней дружбы, начавшейся с ритуальной отправки первой книжки критику, авторитетному в глазах начинающего писателя, с переписки, завязавшейся на этой почве. Свой рассказ Астафьев строит на документальной основе: в текст бережно включены письма Макарова — полностью, с датами, обращениями, приветами семье и приписками жены, с тщательностью, подобающей развее академическим изданиям. Эта даже несколько нарочитая опора на документ сообщает повествованию особую безыскусность, раздвигает границы жанра так, что в него свободно влетают и впервые услышанная от Макарова басня Крылова, и стихотворение Н. Минского, и отрывок из юбилейной статьи о Макарове Л. Аннинского. Завершает же повесть и вовсе отзыв о ней К. Симонова — «Зрячий посох» появляется в свет как бы заранее отрецензированным, и это притом, что автор не обнаруживает никаких экспериментальных попользований, не пытается сообщить своему произведению подобия литературной игры.

Рассказ о покойном друге переплетается с воспоминаниями о судьбах других писателей и погружает нас в атмосферу литературной жизни тех лет. Астафьев приглашает взглянуть на деятельность Макарова новыми глазами, понять, что ее значение несводимо к статьям, которые мы находим в изданиях его сочинений. В Макарове он обнаруживает исчезающий ныне тип критика, существующего не ради самого себя, а ради писателя и читателя, видящего в посредничестве между читателем и писателем не тягостную обязанность, а смысл деятельности. В бережности и заинтересованности, с которой осуществляет Макаров литературное наставничество по отношению к Астафьеву, и содержится ответ на вопрос, что ценили прозаики и поэты в критике. Макаров умел полюбить чужую мысль, чужую идею больше своей и направлял силы на то, чтобы помочь писателю понять себя, научиться говорить своим голосом, что во все времена было и остается самым трудным. Но, увы, собственный его пафос, собственный голос ныне почти неотличим от официального вероисповедания эпохи.

То, что высветляет Астафьев в личности и в творчестве Макарова, во многом согла-

суется с отзывом Л. Аннинского, приводимым в повести: «Макаровская критическая речь смутно напоминала какие-то давно прошедшие времена — то ли Белинского, то ли „до Белинского"». Однако время поставило его отнюдь не в те условия, в которых реализовал себя «нействый Виссарион». Нашему критику пришлось быть литературным функционером, в чем и состоял скрытый драматизм его судьбы. Только перечень обязанностей Макарова в Союзе писателей занимает полстраницы петита, а если добавим к этому еще и нескончаемую вереницу совещаний и семинаров, на которые он то уезжает, то вылетает?.. Нет, во времена Белинского творческая энергия расходовалась куда более рационально!

Драматизм усугубляется еще и борьбой, происходившей в самом критике между убеждением, что литературу надо строить, ею надо руководить, ее надо направлять, и возникавшей в это время крамольной мыслью: «а зачем?» Теперь, с высоты прожитых десятилетий, «зашоренность», ограниченность Макарова слишком очевидны, чтобы лишний раз распространяться о них, но это та самая историческая слепота, то самое пребывание в плену у времени, вырваться из которого могут только заложники вечности. Макаров не из их числа.

Читатели найдут в «Зрячем посохе» немало поводов поразмыслить над тем, во имя чего была воздвигнута весь этот бессмысленный строй человеческих отношений, при котором талантливый критик, искренне любящий и понимающий литературу, так и не успевает написать статью, которую считает самой важной, не успевает поддержать тех, кто в этом нуждается, и вместо этого в очередной раз правит и дорабатывает ненужную ему, по существу, книгу о Д. Бедном. Задумаются они и над тем, почему бедствовали талантливые фронтовые писатели, такие, как К. Воробьев, почему только благодаря вмешательству К. Симонова, если обратиться к нашему времени, пробился в литературу Вяч. Кондратьев. Много возникает таких и подобных вопросов, и самое, пожалуй, для автора драматическое открытие заключается именно в том, что «колесиком и винтиком» этого заведенного механизма был и сам Макаров ..

Может быть, и этого было бы достаточно, чтобы прочитать «Зрячий посох» с живым интересом, но тут есть еще и важное художественное обобщение, так что Астафьев, повторяющий в тексте несколько

раз, что пишет именно воспоминания, не ошибся, назвав в конце концов свое создание повестью. Характерная черта астафьевской прозы последних лет: почти вся она документальна, воспоминательна в своей основе, писатель словно бы не видит смысла в том, чтобы выдумывать, не случайно после некоторых его публикаций появлялись даже протесты в печати, словно рассказы — фельетон или передовица. Но читая эти произведения, действительно ни на минуту не сомневаешься, что при желании можно пройтись по всем адресам и все описанное обнаружить, будь это загрязненное Рыбинское водохранилище, или Череповецкий металлургический комбинат, осуществляющий бесперебойную поставку фенола в реки и озера, или рыбаки, в спецовках выползающие на лед с удочками. Кажется, что можно разыскать в одном из водоемов даже героя рассказа «Ельчик-Бельчик», до того сильна в нем иллюзия реальности.

Осмыслить эту особенность Астафьева помогает вторая часть сборника — книга «Затеси», составленная из коротких рассказов, своеобразных в жанровом отношении миниатюр, как бы имитирующих дневниковые записи — зарубки в памяти. Случайно услышанный разговор незнакомых людей, увиденная в городском саду сценка, наблюдения во время рыбалки или прогулки в лесу — все это повод для непрекращающихся размышлений писателя о месте современного человека на земле. Окружающий мир, и в первую очередь природа, для Астафьева — неиссякаемый источник разумности, смысла, которые человек не хочет или не может понять. Здесь мысль писателя идет вразрез с известной базаровской формулой — «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Истинная жизнь, по Астафьеву, там, где природа для человека храм, с молитвенным трепетом он внимает подсказкам природы, внимает ее урокам, как это делали поколения предков. Там же, где человек пытается оспаривать разум природы, писатель видит корень всех наших бед. И здесь Астафьев — наследник толстовских идей, а не тургеневского Базарова, и многие интонации его последних произведений оживляют в памяти начало романа «Воскресение»: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезыва-

ли деревья и не выгоняли всех животных и птиц...»

С трепетом наблюдает писатель, как припадает к земле, чтобы набраться силы, побитый градом колос, и, негодуя, пишет о том, как извлекают со дна водоема продукты человеческой деятельности: бутылки, битое стекло — все то, чем так охотно заполняет он свою мастерскую... На всем, что видит писатель вокруг себя сегодня, читает он гибельные знаки. Природа прогибается, сдается в смертельном поединке с цивилизацией, а человек не хочет остановить свой натиск, и можно не сомневаться в том, как оценивает писатель эту победу. Здесь источник враждебности, почти ненависти Астафьева ко всему, чем дорожит современный мир. Все блага цивилизации для него только наркоз, которым пытается заглушить человек просыпающееся в нем время от времени стремление к естественной жизни. «Никогда еще, никогда не был человек так несвободен и обезличен, как в двадцатом веке, в особенности в наши дни, на исходе века» — этот мрачный вывод звучит как приговор, и на фоне такого коренного отвержения всего строя нашей цивилизации бессмысленно возмущаться тем, что ему не нравится та или иная ее часть — завод-загрязнитель, глупый редактор или учительница... Там, где в «Печальном детективе» глаз художника останавливается на вчерашней крестьянке, все свои способности употребившей на то, чтобы стать туповатой студенткой, которую к тому же показывают как некий раритет, для Астафьева начинается шум и ярость. Для него это очередная бессмысленная победа над природой — над природой человека. Многие в нашей сегодняшней жизни предстает под пером Астафьева как сплошной поворот северных рек, и если спорить с точкой зрения писателя, то спор надо начинать с исходной точки, а не нападать на частности, как делают его оппоненты...

Повесть о критике Макарове по-своему продолжает эти магистральные темы Астафьева, потому что ее можно читать и как еще один роман о жизни современного интеллигента. Для писателя Макаров помимо прочего — человек, вырванный ветром истории из породившего его бытового уклада (а по происхождению он вчерашний крестьянин) и брошенный в гущу литературной жизни. Но если в «Печальном детективе» Астафьев интеллигентов откровенно не любит и их характеры часто деформируются под натиском авторских обличений, то Макарова он любит, почти боготворит.

И тем не менее не может понять эту безытностность, вечную присягу времени «военного коммунизма», жизнь словно бы накануне решительного марш-броска... Пыль на книгах, бестолочь совместного существования, где каждый занят своим и где усталый и замученный литератор ищет место, чтобы притулиться с листом бумаги, — разумеется, это нелегко было прочитать близким критика, и при желании можно увидеть в этом посягновение на частную жизнь. Но ведь написано это в укор нам всем. Вглядываясь в быт нового интеллигента, Астафьев старается и не может понять, что мешает современному человеку жить

основательно и мудро, своим Домом, как жили веками. Почему предпочитает современный человек затурканное существование на летучках, планерках, посреди распеканий, деля побег к реке как неосуществимую мечту, словно воля его вовсе не свободна? Поиски ответа на эти вопросы и делает «Зрячий посох» не только воспоминаниями, но и повестью о жизни современного горожанина вообще, то есть прямым продолжением темы, к которой обращено многое из того, о чем пишет Астафьев в последние годы, — и художественное, и документальное...

Евг. ИВАНОВА.



### Политика и наука

## РАССЧИТАНО НА НЕВЕДЕНИЕ

Крым: прошлое и настоящее. М. «Мысль». 1988. 109 стр.

В четырехтомных «Очерках по истории Крыма» (Симферополь. 1951—1967) — критический разбор которых, в свое время написанный одним из нас по заказу А. Т. Твардовского и уже отправленный в набор, так и не появился на страницах «Нового мира» — многие исторические события были изложены вульгарно и просто неверно. Упомянем здесь лишь о необъективном, предвзятом освещении периода Великой Отечественной войны. Авторы «Очерков...» показывали крымских татар только как буржуазных националистов, из которых гитлеровцы вербовали старост и полицейских, проводников карательных экспедиций и т. д. Не однажды упоминалось о бежавших из оккупационной армии в Крыму словаках и румынах, вступивших в наши партизанские отряды, и ни разу не было сказано о партизанах — крымских татарах...

Может быть, крымско-татарский народ действительно весь представлял собой предателей, буржуазных националистов, прислужников фашизма? Обратимся к фактам. В книге «Партизанское движение в Крыму в 1941—1944 гг.» (опубликованной в Симферополе в 1959 году) Е. Н. Шамко, сама бывшая партизанка, дважды называет имя одного из руководителей партизанского движения — секретаря подпольного Крымского обкома партии татарина Р. Р. Мустафаева. Об активном участии крымских татар в партизанском движении свидетельствуют и издания военных лет. Например, в книге «Крым», выпущенной в

1943 году политическим управлением Черноморского флота, сказано: «...подавляющее большинство крымско-татарского народа, изнывающего под ярмом проклятого «нового порядка», сопротивляется немецким захватчикам». Многие тысячи крымских татар сражались против фашистов как на фронтах, так и в тылу врага. В их числе дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан, Герои Советского Союза А. Решидов, С. Сейтвелиев, Т. Абдуль, У. Абдураманов, генерал Исмаил Болатов, командиры и комиссары партизанских отрядов А. Аединов, С. Менаджиев, М. Мамутов, Н. Билялов и многие другие. В одном только южном соединении партизанских отрядов Крыма, состоявшем из 2300 человек, третью часть составляли крымские татары. Таковы немногие из бесспорных фактов — ни один из них не был упомянут в «Очерках по истории Крыма».

Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1967 года крымские татары полностью реабилитированы. С них снято позорное клеймо, несправедливо полученное ими в период нарушения социалистической законности.

Что же изменилось в освещении истории Крыма за истекшие два с лишним десятилетия, с тех пор как завершилось издание «Очерков...»? Как выполнили свой долг в отношении крымско-татарского народа наши историки?

Небольшая книжка «Крым: прошлое и настоящее», несопоставимая, конечно, с

«Очерками...» по своему объему, во многих смыслах выгодно от них отличается. История древнего Крыма изложена здесь более квалифицированно: отсутствует грубая модернизация, анахронизмы вроде применения по отношению к древним римлянам и грекам терминов «оккупанты», «интервенты»... Добрых слов заслуживают и некоторые другие разделы книги. И все же этот труд одиннадцати ученых, имеющих сразу двух ответственных редакторов (докторов исторических наук С. Г. Агаджанова и А. Н. Сахарова), оставляет после себя чувство неудовлетворения и даже невольности.

В некоторых случаях авторы книги страдают удивительной забывчивостью. Скажем, приводя имена членов временного правительства Крымской Советской Социалистической Республики в 1919 году (Д. Ульянова, П. Дыбенко, Я. Городецкого, Ю. Гавена и даже видного турецкого коммуниста Мустафы Субхи), они почему-то не сообщают, что в это правительство входили также крымские татары Сулейман Идрисов, Селим Меметов, Ибрагим Арабский, Али Боданинский (см.: «Таврический коммунист», 6 мая 1919 года).

Но что особенно печально — в разделе «Крым в Великой Отечественной войне», написанном доктором исторических наук А. В. Басовым, мы встречаемся с уже знакомым нам необъективным подходом и... новыми ошибками!

Начать с того, что армяне и болгары, жители Крыма, представлены здесь только в качестве членов «различных националистических и религиозных организаций». Вместе с крымскими немцами и греками их обвиняют в «отдельных фактах предательства». И ни слова о том, что множество армян, болгар и греков (среди них были командиры партизанских соединений грек М. Македонский и болгарин И. Генов) боролись с оккупантами в Крыму, сотнями и тысячами гибли от рук фашистов, угонялись на каторгу в Германию. Кстати, крымские армяне, болгары и греки, выселенные постановлением ГКО от 11 мая 1944 года вместе с татарами, до сих пор не реабилитированы.

Пожалуй, ни в чем так не сказалась тенденциозность книги, как в оценке поведения во время войны самих крымских татар. «По сведениям западногерманского историка И. Хоффмана,— пишет А. В. Басов,— до марта 1942 г. в Крыму было набрано из татар 6 тыс. добровольцев (в 203 селениях) и 4 тыс. среди военнопленных в лагерях Симферополя, Джанкоя, Херсона,

Николаева. Старосты татарских селений создали полицейские отряды самообороны общим числом свыше 9 тыс человек. Немецким командованием было набрано около 20 тыс. человек из примерно 200-тысячного татарского населения Крыма».

Но, по данным других западногерманских историков, до марта того же года было набрано всего лишь 1632 так называемых добровольца, причем далеко не все они были крымскими татарами. Что же касается 4000 военнопленных, то это были татары и узбеки. Заметим, что отряды «добровольцев» именовались по-разному: Национальная армия по защите Крыма, Русская освободительная армия, полицейские батальоны... Формирования эти были разнонациональными, причем командирами батальонов были немцы.

Теперь об «отрядах самообороны», которые создавались для борьбы с партизанским движением. Поскольку партизанские отряды дислоцировались в местах, где жили люди разных национальностей, эти отряды также включали представителей разных народов. «Самооборонцы» Бия-Салы, Новободрака, Буры, Тернаира, Тавеля и других русских сел, конечно, состояли в основном из русских; украинских сел Соловьевка, Константиновка, Мусаби — из украинцев; крымско-татарских деревень Корбек, Молбай, Улу-Узень — из крымских татар и т. д. Распространению «отрядов самообороны» в определенной степени способствовали ошибки некоторых руководителей партизанского движения Крыма (Мокроусова, Мартынова), которые «грабеж продовольственных баз партизан фашистами рассматривали как мажордерство со стороны местного населения и любого попавшего в лес гражданина растреливали» (протокол заседания бюро Крымского обкома от 18 ноября 1943 года). В книге численность «самооборонцев», на наш взгляд, сильно преувеличена.

Не соответствует действительности и общая цифра — 20 тысяч крымско-татарских коллаборационистов А. В. Басов, как сотрудник Института истории АН СССР, должен быть знаком с документами из научного архива своего же института. Из них явствует, что в 1942—1943 годах в Крыму насчитывалось около 30 тысяч «добровольцев», в том числе двенадцать власовских батальонов, закавказский полк «Бергман», казачий полк, туркестанский, армянский, грузинский, кавказско-магометанский легионы, несколько полицейских батальонов, набранных из татар (крымских и поволжских), русских, украинцев, армян, болгар, греков и других крымчан, а также военнопленных

и иных лиц. Далее, подавляющее большинство татар, проживавших в оккупированном Крыму, составляли женщины, дети, старики, не пригодные к строевой службе. В годы оккупации из Крыма в Германию были угнаны тысячи трудоспособных крымских татар, а часть крымско-татарского населения была истреблена гитлеровскими захватчиками. Приведем для сравнения данные о половозрастном составе 188 тысяч крымских татар, депортированных 18 мая 1944 года по постановлению ГКО. Примерно 50 процентов из них составляли дети до шестнадцати лет, 35 процентов — женщины и лишь 15 процентов (то есть около 28 тысяч) — мужчины, включая стариков, инвалидов, бывших партизан, партийно-хозяйственный актив, прибывший для восстановления советской власти. Таким образом, если верить А. В. Басову, оккупантам удалось поставить под ружье не только поголовно всех крымских татар, пригодных к строевой службе, но и значительное число строев того!

Этих несуразностей удалось бы избежать, если бы автор обратился к фактам и привел достоверные данные — скажем, об участии татар в подпольно-партизанском движении в Крыму. До войны татары составляли лишь 19,4 процента населения Крыма, однако двое из трех комиссаров партизанских соединений и десятеро из тридцати комиссаров партизанских отрядов были татарами. Следовало бы упомянуть в книге и о том, что за оказанное сопротивление или помощь партизанам оккупантами были снесены с лица земли «десятки татарских деревень, а сотни и тысячи крымских татар казнены» («Красный Крым» от 18 февраля 1944 года). Это было бы куда честнее, чем ограничиваться голословным и неточным заявлением, что «в партизанских отрядах сражалось много коммунистов и комсомольцев, в том числе и татарской национальности (Джеват и Сайфетдин Менаповы, Алима Абдинанова и др.)». Тем более что братья Эннановы (а не Менаповы) и Алиме Абденнанова (а не Алима Абдинанова) не были ни партизанами, ни коммунистами: братья-патриоты помогали армейской разведчице А. Абденнановой...

По А. В. Басову, существовал единый «татарский комитет», созданный нацистской службой безопасности на базе «мусульманского комитета», причем «комитет преследовал не национальные, а классовые, социальные цели — уничтожение Советской власти и восстановление здесь буржуазных по-

рядков» Но в Крыму не было общекрымского «мусульманского комитета», функционировали лишь городские и районные (в местах проживания татар, турок и других мусульман). Что же касается «восстановления буржуазных порядков», то этим занимались гражданские власти — городские управы, возглавляемые бургомистрами. Бургомистром Симферополя был Севостьянов, Севастополя — Супрягин, Керчи — Токарев, Феодосии — Андржевский, Ялты — Мальцев, Джанкоя — Польской, Евпатории — Елифанов, Старого Крыма — Арцышевский. Полицейстерами в этих городах также были не татары. Этот список показывает, в чьих руках была гражданская власть в Крыму. На полное неведение читателя рассчитана и фраза о «последнем отпрыске ханской династии Султан-Гирее», которого «фашисты намеряли экспортировать» в Крым. В действительности он был главарем «адыгейской контрреволюции» и вернулся, соответственно, в Майкоп...

Авторы книги допустили множество других фактических ошибок. Например, упомянутый в ней «националист» Чапчакчи Хататов — не одно лицо, а два разных человека: Чапчакчи и Хаттатов. «Получившие известность» в нашей стране книги «Преданность», «С юным задором» написал Сафтер Нагаев, а не Осман Нагаев. Произведения «Красная роза», «Обручальное кольцо», «Ты всегда со мною» написаны не Урие Эдемовым, а Урие Эдемовой — женщиной. Зато в других случаях авторы книги умеют заглядывать в будущее. Они сообщают, например, что «в селе Скалистом Бахчисарайского района установлен памятник жертвам фашистского террора в Крыму. Среди них имена людей разных национальностей, в том числе и крымских татар». Но к дню выпуска книги в печать (29 марта 1988 года) этого сооружения еще не существовало — памятник был поставлен в мае 1988 года, и на нем значатся имена двадцати пяти человек, только один из которых (И. Негрибецкий) не является крымским татаринем!..

Остается сказать, что рецензируемая книга никак не отвечает требованиям современной исторической науки. О Крыме следовало бы писать в соответствии с реальными фактами и документами, вместе с историками Крыма, в том числе и крымско-татарской национальности.

**Р. МУЗАФАРОВ,**  
доктор филологических наук  
**Г. ФЕДОРОВ,**  
доктор исторических наук

## КОРОТКО О КНИГАХ



**МАРИЯ БЕЛКИНА.** Скрещение судеб. М. «Книга». 1988. 464 стр.

Эта книга — повествование о жизни поэта Марины Цветаевой со дня ее возвращения в СССР из эмиграции 18 июня 1939 года до трагического 31 августа 1941 года, когда она, находясь в Елабуге в эвакуации, покончила с собой. Книга имеет подзаголовок: «Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени, людей, обстоятельств». Уже из названия ясно, что речь пойдет не об одной судьбе, а о трагическом пересечении многих судеб, где поэт — та болевая точка, в которой все они сошлись. Книга распадается на три части. Гибелью поэта завершается первая; смертью в бою красноармейца Георгия Эфрона, Мура, совсем еще юного, мечтавшего стать писателем сына Марины Цветаевой, — вторая; третья часть — самая населенная людьми, самая насыщенная человеческими страданиями, протяженная во времени чуть ли не до сегодняшних дней... В целом эта книга, можно сказать, о судьбе поэта и народной судьбе.

Первая встреча автора со своей героиней состоялась в 1940 году в доме Марины Цветаевой. «Прежде всего в глаза бросились руки, грубые, рабочие руки с распухшими пальцами, перетянутыми тугими перстнями, угол передника заткнут за пояс, из кармана торчит тряпка, потом выяснилось, что она прихватывала его чайник». И дом ее: «Чужая комната, забытая мебелью, чужой, не ее, какие-то этижерки, полочки, вазочки... Но вещи отскакивают от нее, как и стены, она вне их, она сама по себе». Дома-то и нет, отсутствует даже стол для работы, он всегда заставлен кастрюлями, тарелками, тетрадками и учебниками Мура...

Бездомность, тревога за близких, собственный крестный путь — кого минула в те годы эта судьба? Но даже на фоне такой эпохи судьба Цветаевой кажется перебором.

Марина Ивановна с сыном вернулась в Россию вслед за мужем и дочерью. Семья соединилась в Болшеве на предоставленной Сергею Яковлевичу Эфрону половине летней дачи, где предстояло жить и зимой. 27 августа 1939 года здесь была арестована Аля (Ариадна Эфрон), 10 октября увели Сергея Яковлевича. Марина Ивановна с сыном остались одни — и не выдержали, бежали в Москву. Но здесь жить было нелегко. В тревоге за близких, в постоянном ожидании собственного ареста Цветаева хлопочет о жилье, ищет заработок — ведь на ее попечении остался сын. Она обращается к Фадееву с просьбой помочь ей с жильем и

посодействовать в получении с таможни своих рукописей, вещей, книг. Фадеев отдает только одно распоряжение: подыскать комнату в Голицыне, поблизости от Дома писателей, и прикрепить к столовой. Комнатка в Голицыне маленькая, без воды, без электричества. «Новый неприятный дом — по ночам опять не сплю — боюсь — слишком много стекла — одиночества». Два раза в месяц ночами нужно было ездить в Москву: на Лубянке содержалась Аля, в Бутырской тюрьме — Сергей Яковлевич. Стихи не пишутся, на стихи нужно время, а его нет. Цветаева зарабатывает деньги переводами.

В первые дни войны Марина Ивановна продолжает по инерции переводить, но стихи уже никому не нужны, и она лишается своего единственного заработка. Спешная эвакуация в Елабугу, куда они с Муром прибывают на пароходе 18 августа 1941 года. В коротком промежутке до 31 августа — метанья: Елабуга — Чистополь, мучительные и безрезультатные поиски работы и, наконец, понимание, что «дальше бороться бессмысленно, что она бессильна, что она больше ничего не может, даже заработать на кусок хлеба не может. И что ее присутствие на земле не столь уж необходимо сыну... Без нее его хотя бы пожалеют».

Существует множество версий, предположений, почему Цветаева покончила с собой, а между тем стоит просто перечислить все эти события — и ясно видишь, как неумолимо затягивалась петля вокруг горла. Анна Ахматова — Але: «Я знаю, существует легенда о том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии — не верьте этому! Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы — безумием было окружающее: аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко всему».

...Белкина вспоминает, что Марина Ивановна как-то сказала: «Писать обо мне по существу — не отчаялся бы только немец». И вроде бы нелогично добавила от себя: «А я отчаялась! (Хотя и не немец.)». От «отчаяния», вырвавшегося в слове, к «отчаяться» отчаянного поступка — таким путем следует автор за своей героиней Ее (автора) собственное положение в книге ниже всех и меньше всех, но при этом читателя все время не оставляет убеждение в абсолютной внутренней свободе и независимости рассказчика. Это книга, которая действительно, как признается М. Белкина, «не могла не быть написана».

Л. Бусуек.



**ТАМАРА ХМЕЛЬНИЦКАЯ.** В глубь характера. О психологизме в современной советской прозе. Л. «Советский писатель». 1988. 255 стр.

«...Это не серия литературных портретов, а характеристика разных психологических методов,— читаем мы в начале книги. Не могу согласиться с этим никак. На мой взгляд, это именно серия портретов (иногда зарисовок, штрихов к портрету), втиснутых в одну раму и довольно искусственно объединенных общим сюжетом. Иными словами, перед нами серия хороших, нестандартно и в разное время написанных рецензий, волею редакции, редактора, а вдруг и самого автора возведенных в высокий ранг теоретического исследования «разных психологических методов».

Пишу об этом с известной долей горечи. Ведь среди критиков есть люди, пожизненно приверженные одному какому-нибудь способу освоения и истолкования своего материала. И переучивать критика-портретиста на мастера «концептуальности» так же неразумно, по-моему, как добиваться перекалфикации воздушного гимнаста в атлетгиревика. Тамара Хмельницкая — портретист по самой своей сути.

По-издательски прямолинейно понятая «концептуальность» с неизбежностью предполагает сравнение и даже предпочтение одного «психологического метода» другому, предполагает некое неперемное прочерчивание темы. Так появляются в книге утверждения, совсем в ней, на мой взгляд, не обязательные, доведки некие в конце той или иной главы. Вот, к примеру, «довесок» к главе о Битове (лучшей, кажется, в книге): «Подлинная сложность и диалектичность исследования жизни осуществится только после того, как от литературы состояний автор перейдет к литературе поступков и поведения, от иллюзорной и несколько расплывчатой внутренней жизни, выключенной из большого мира Деяний, к активному взаимопроникновению мира сознания и мира действительности». Ту же мысль встретим мы и на последней, итоговой странице книги: «Мне важно было на материале повестей Быкова показать прозу глубоко психологическую, но целиком воплощенную в реальных поступках людей, в органических свершениях и завершениях жизни. Прозу естественно и правдиво активную, в отличие от тонко разработанной прозы состояний, раздумий и самоанализа героев, столь характерных для Битова и городских повестей Трифонова».

Так что же все-таки предпочтительнее: проза Битова или проза Трифонова? Или, может быть, проза Быкова вообще лучше всего?

Если все же говорить по существу внутренней концепции книги Тамары Хмельниц-

кой, то ее можно нащупать отнюдь не по линии психологического анализа, а скорее ощутится эта объединяющая тенденция в доброй и настойчивой мысли о совести, о совестливости художника.

Поэтому, наверное, сам принцип рассмотрения писателя в книге просто вопиет против литературных игр в «хуже—лучше». Хмельницкая как никто другой умеет для каждого портрета находить свои краски, свое освещение и форму, умеет находить оригинальное, неожиданное, образное «окольное» слово для характеристики именно этого и только этого писателя.

У героя Битова, например, «сложное отношение к себе, в котором скрещивается самобичевание с самооблизыванием...». Границы: «Мысль его упорно и неустрашимо торчит, как пружина из дивана, причиняя боль, заставляя задуматься, пробуждая совесть». Грекова «„влезает в шкуру“ каждого своего героя, меняет ракурсы и всю изображенную ею жизнь окрашивает сочувственным юмором». Олег Базунов: «Взволнованная неловкость, захлебывающееся смущение делают рассказчика чем-то очень похожим на Макара Девушкина в его письмах, но Макара Девушкина, прошедшего через утонченную культуру Пруста». Астафьев: «Если говорится о нересте рыбы, Астафьев нерестится словами. Они тоже в какой-то непролазной тесноте толкаются, наступают друг на друга невпророт, кружатся в насыщенной образной гуще... Бурливые слова брошены навалом...». «Дом памяти» Майи Данини согрет «теплом звероловского юмора». Герой Риды Грачева — «еще щенок и уже волчонок». В сказке «Хеопс и Нефертити» Житинский «утверждает победу организма над механизмом». В таких находках, без сомнения, главная прелесть этого критика. Притом что в каждой главе не только щедро рассыпаны подобные импрессионистические штрихи, но есть свой сюжет, своя доминанта творчества писателя.

Легко увидеть, что Хмельницкая по преимуществу критик-«хвалитель». Хорошо писать она умеет лишь о близких себе и непременно любимых писателях. Здесь, однако, притаилась и некая ловушка для автора. «Удивительно», «поразительно», «замечательно», «неповторимо», «неподражаемо», «предельно», «подлинно», «по-настоящему», «на редкость» и тому подобные усилители найдем мы почти на каждой странице книги, не считая еще заветного словечка «очень» («очень поэтичная», «очень точно», «очень метко» и т. п.). Мне же всегда казалось, что услышать слова «я вас люблю» — это прекрасно, слова же «я вас очень люблю» свидетельствуют об обратном...

Но это так, между прочим. Потому что живая, оригинальная книжка Тамары Хмельницкой мне действительно очень нравится

И. Питляр.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи. 23 декабря 1922 г.—2 марта 1923 г. 64 стр. Цена 10 к.

**А. Лебедев.** Честь. Духовная судьба и жизненная участь И. Д. Якушкина. («Пламенные революционеры») 399 стр. Цена 1 р 40 к.

**Нинита Сергеевич Хрущев.** Материалы к биографии 367 стр. Цена 2 р 40 к.

**С. Тхоржевский.** Закон совести. Повесть о Николае Шелгунове («Пламенные революционеры») 287 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Пришвин.** Творить будущий мир («Писатель — молодежь — жизнь») 222 стр. Цена 1 р 20 к.

**Процальная дискотека.** Повести. Перевод с венгерского, чешского, болгарского, немецкого 304 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Сялон.** Свет небесный. Роман, повесть, рассказы 398 стр. Цена 1 р. 30 к.

**С. Стейн.** Фокусник. Роман. Перевод с английского 143 стр. Цена 75 к.

## «РАДУГА»

**М. Грюн.** Лавина. Роман. Перевод с немецкого. 271 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Дипчанд Бихари.** Путешествие на Маврикий. Роман. Перевод с хинди. 264 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Ма Ван Кханг.** Когда в саду облетают листья. Роман. Перевод с вьетнамского 384 стр. Цена 1 р 60 к.

**Я. Моравцова.** Врата взаимопонимания. Повесть и рассказы. Перевод с чешского. 286 стр. Цена 1 р 90 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**Н. Гумилев.** Стихотворения и поэмы. («Феникс. Из поэтического наследия XX в.») 461 стр. Цена 4 р.

**«Минувшее меня объемлет живо».** Сборник 416 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Ренвием.** Стихи русских советских поэтов. 430 стр. Цена 4 р.

**А. Чайнов.** Венецианское зеркало. Повести («Из наследия») 236 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**А. Жигулин.** Черные камни Автобиографическая повесть. 273 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Ф. Исхандер.** Сандро из Чегема. Роман. Кн 1 479 стр. Цена 2 р.

**Ахто Леви.** Такой смешной король! Повесть первая. «Король». 236 стр. Цена 70 к.

**Л. Чуновская.** Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуновском. 221 стр. Цена 70 к.

## «ИСКУССТВО»

**М. Алленов, О. Евангулов, Л. Лифшиц.** Русское искусство X — начала XX века. Архитектура, скульптура, живопись, графика. 480 стр. Цена 13 р 70 к.

**М. Жванецкий.** Год за два. Сборник 415 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Ю. Золотов.** Пуссен. 375 стр. Цена 12 р.

**Е. Нерасова.** Ломоносов — художник. 143 стр. Цена 2 р

## «НАУКА»

**М. Кургинян.** Человек в литературе XX века. 244 стр. Цена 3 р 40 к.

**И. Момейко.** 1185 год Восток—Запад 524 стр. Цена 2 р 10 к.

**Рассказы бабушки.** Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. («Литературные памятники») 472 стр. Цена 8 р

**Творчество Александра Твардовского.** Исследования и материалы. 384 стр. Цена 2 р. 30 к

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**М. Амрханян.** Русская художественная литература и геноцид армян. Ереван. «Ай-астан» 269 стр. Цена 1 р. 60 к

**А. Борщаговский.** Русский флаг. Роман. («Тихоокеанская библиотека») Владивосток. Дальневосточное книжное издательство. 704 стр. Цена 2 р 90 к.

**Б. Кряччо.** Битые собаки. Повесть, рассказы Таллинн «Ээсти раамат». 224 стр. Цена 95 к

**В. Сапожников.** Друг нашего друга. Повести («Современная сибирская повесть») Новосибирск. 272 стр. Цена 1 р. 20 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2, Тел. 200-08-29

Сдано в набор 20.04.89 г. Подписано к печати 02.06.89 г. А 05488.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.  
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.) 27,29 уч. изд. л.

Тираж 1 595 000 экз. (3-й завод 465 001—665 000 экз.). Зак. 1319 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в типографии «Красная звезда», 123826, ГСП, Москва Д-317, Хорошевское шоссе, д. 33

1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 7, 1—272.